

Нагибин

ЮРИЙ

Нагибин

ЮРИЙ

**В Е Ч Н А Я
МУЗЫКА**

НАГ

Юрий
Нагибин

**ВЕЧНАЯ
МУЗЫКА**

Издательский Дом «Подкова»
Москва
1998

ББК 84.37
Н 16

המחלקה לביטחון מידע
3304

2922
..... מס' 1564/1

Нагибин Ю.М.

Н 16 Вечная музыка. — М.: Издательский
Дом «Подкова», 1998. — 480 с.

ISBN 5-89517-012-9

Тексты публикуются в авторской редакции

© А. Нагибина, 1998

© Е. Селиванова. Оформление. 1998

ISBN 5-89517-012-9

ПЕРЕД ТВОИМ ПРЕСТОЛОМ

Бах подходил к дому, когда его окликнули. Он ждал этого оклика, уже издали уловив присутствие в окружающем пространстве своего соседа, члена магистрата, синдика Ганса Швальбе. Бах не мог разглядеть Швальбе в волглых осенних сумерках, и даже двухэтажный, с эркерами и башенками, нарядный дом синдика скорее угадывал по уплотнению тьмы, нежели видел, — ко времени нашего рассказа знаменитый кантор церкви святого Фомы начинал слепнуть. Он испортил зрение в отрочестве ночной, тайной перепиской нот и с каждым годом видел все хуже и хуже, а перешагнув за пятьдесят, уже не сомневался, что кончат дни в непроглядной тьме. Кто мог думать, что его ночные бдения над тетрадкой с нотами Фишера, Пахельбея, Букстехуде и Бёме, которые он переписывал при лунном свете за неимением свечи, приведут к таким горестным последствиям? Он воспитывался после смерти родителей у старшего брата, чей нудный педантизм равнялся его же скарденности. Этот черствый человек считал преждевременным, даже губительным для несозревшей души прикосновение к столь серьезной и трудной музыке.

Но как ни страшила Баха неизбежная слепота, он не падал духом. Он знал, что музыка останется при нем и что в грядущей ночи его удел будет легче удела других слепцов. Взамен гаснущего зрения он обрел иную, странную способность: слышать пребывающие в пространстве существа и предметы, даже когда они погружены в молчание. Бах чувствовал: абсолютного покоя не существует и живые, и мертвые тела пребывают в некоей легчайшей, не уловимой

глазом вибрации. Подобной же, но еще более тонкой вибрацией обладает и человеческая душа, и Баху дано было отзываться волнам, насылаемым на него скрытыми колебаниями тел и душ.

Поэтому и мог он идти бодрым шагом своих крепких ног, отмахавших в юности бессчетные версты, сквозь густеющие сумерки и колкую изморось, уверенно обходя препятствия, огибая выроставшие на пути незримые деревья, перепрыгивая через невидимые канавы, глубокие лужи, послушный тончайшим сигналам из окружающего мира. Лишь изредка спотыкался он на неровностях дороги, но от этого не убережен никакой острогляд.

Бессмысленно пытаться избежать господина Швальбе, коли им владеет противоположное намерение. Настаивать на своем и в большом и в малом — его жизненная позиция. Он уже пытался раз остановить Баха, когда тот поспешал в отдаленную, за городской чертой церквушку послушать заезжего органиста, но Бах избежал разговора, сославшись на предстоящий нелегкий путь. Теперь у него не было отговорок, да и не стоило сердить господина Швальбе, уже сделавшего ему поблажку.

По правде говоря, Бах несколько опасался господина Швальбе. Будь он помоложе и почестолубивей, а это чувство и в молодости не слишком его отягощало, ныне же вовсе сникло, он опасался бы синдика куда больше. Швальбе принадлежал к тем наделенным властью людям, что могут сделать и много хорошего, и много дурного, но лишь для второго пускают в ход свое влияние. А Бах достаточно настрадался в жизни и от магистратов, и от консисторий тех городов, где ему довелось служить. Правда, месяцем тюремного заключения он был обязан не жестокости городских властей, а самоуправству вздорного герцога Веймарского. И богоспасаемый город Лейпциг, подаривший оседлость бродячему музыканту, не являл собой счастливое исключение, пожалуй, даже превзошел докуками остальные города, включая и недоброй памяти Арнштадт, где

двадцатилетнего органиста и регента небольшого школьного хора беспощадно травил консистория вкупе со старшими учениками, с последними дело дошло до уличной схватки на шпагах — горяч и неуступчив был юный Иоганн Себастьян!

В Лейпциге кантора церкви святого Фомы чтили как великого органиста, одобряли и музыку, которую он поставял для богослужений, считая в простоте души чем-то само собой разумеющимся, что в иные годы он каждую неделю создавал новую кантату, но никогда не были довольны им как руководителем хора и вовсе не скрывали этого. Отсутствие должной строгости, неумение навести порядок сводили на нет замечательный педагогический талант Баха. Не слишком высокого мнения были власти и о характере музыканта. Рассеянный, погруженный в свой внутренний мир и покладистый от равнодушия к делу, которое не ладилось, кантор вдруг по ничтожному поводу вставал на дыбы и начинал яростно драться за свои сомнительные права. Людям невдомек было, что Бахом двигало не желание малой выгоды, а чувство собственного достоинства. Так было и в двухлетней тяжбе с университетским начальством за должность директора музыки, и во время еще более изнурительной свары, вошедшей в историю певческой школы как «борьба за префекта». Слались политые желчью и кровью бумаги, гремели ожесточенные речи, а дело заключалось всего-навсего в том, кому назначать префекта хора: кантору, как велось исстари, или ректору. Эта последняя история восстановила против Баха и ректора Эрнести, бывшего поначалу его другом, и всю консисторию, и весь магистрат. Тяжба могла кончиться для Баха крайне унижительно, но курфюрст Август пожаловал его званием «придворного композитора», и городским властям пришлось пойти на компромисс.

Тому без малого десять лет, но не все раны затягиваются со временем, да и рубцы обладают способностью воспаляться и болеть, и сейчас старому, усталому, полуслепому

Баху вовсе не хотелось раздражать господина Швальбе, человека сильного, крайне удачливого во всех начинаниях, дьявольски проницательного и, главное, странного, не подходящего под обычные мерки. Эта странность обнаруживалась в слишком живой и заносчивой мысли синдика, которую не предугадаешь, не проследишь. Бах никогда не знал, куда затащит его этот беспокойный ум, — тревога пробуждалась в изношенном сердце.

Появился Швальбе в городе сравнительно недавно, когда баховские баталии уже оттремели, налегке, но в сопровождении молодой и весьма привлекательной служанки. Слишком молодой, слишком привлекательной, слишком смуглой, глазастой и кудрявой, чтобы не дать пищу сплетням. Чужак, пришелец, темноватый человек, Швальбе ничуть не смутился добавочными трудностями и в короткое время создал себе выдающееся положение в городе. Конечно, Швальбе не с нуля начинал, деньги у него водились, и он умно распорядился ими, вложив в наиболее доходные отрасли торговли. Он приобрел старый добротный дом возле церкви св. Фомы, не пропускал ни одной службы, старательно пел в хоре и своим знанием церковной музыки поражал самого Баха. Ревностный прихожанин, коммерсант с большим размахом, Швальбе был избран в магистрат, но все понимали, что это лишь начало восхождения.

И все-таки что-то непросто было с господином Швальбе. Он лишь старался казаться безупречным. Выдавали его глаза. Черные и блестящие, они метались на округлом, сытом лице, никак не сочетаясь с обвислыми щеками, массивным носом, высоким, выпуклым лбом и увесистым добропорядочным подбородком. Бескорыстной игрой природы, любящей пошутить, Швальбе и Бах были созданы почти на одно лицо, да и сложением походили друг на друга. Но обширный мирный пейзаж лица Баха озарялся двумя тихими голубыми озерцами, и это мешало окружающим видеть поразительную, родственную схожесть композитора и синдика. Выражение, а оно — в глазах, не только

убивало сходство, но и превращало Баха и синдика в антиподов. Причем создатель музыки рисовался согражданином умиротворенным, сонливым бургером, а коммерсант — вулканом, готовым вскипеть огненной лавой.

Однажды Бах поинтересовался: не допускает ли господин Швальбе, что между их семьями существовали в прошлом кровные узы. Синдик отверг эту возможность: его корни в Венгрии. Но ведь и основатель рода Бахов, полуполулегендарный Фейт Бах, что пек хлеба и играл на цитре, жил долгое время в Венгрии, спасаясь от религиозных преследователей. «Вы допускаете, дорогой Бах, — со смехом сказал синдик, — что один из Швальбе нагнал некогда девицу Бах?» — «Или наоборот, — обиделся Бах, — один из Бахов нагнал девицу Швальбе». Тогда синдик высокомерно заявил, что среди его предков не было ни пекарей, ни игроков на цитре. Баха покоробил его тон: можно подумать, что знатный род Швальбе от века поставлял лишь королей, полководцев, светил церкви. Смутная и вроде бы беспочвенная неприязнь его к синдикю еще усилилась. Бах многое прощал людям за любовь к музыке. Но редкая, изумительная даже музыкальность Швальбе была ему неприятна, ибо усугубляла тревожную загадку: зачем понадобилось господину Богу создавать дубликат Баха, но, устремленный лишь на земное, алчное, лишенный творческой силы, бесплодный, как горелое дерево, синдик похоронил двух жен, и ни одна из них не принесла ему дитя. В чем тут замысел, а он должен быть, ведь ничто не делается без цели и смысла, для чего создан второй Бах, бесплодный, жутковатый Бах с огненными глазами дьявола?

Не надо дразнить дьявола, зыркающего угольными зенками из припухлых век. И Бах свернул с дороги и пошел через улицу по чавкающей грязи к дому Швальбе, навстречу мощным волнам опасности.

Швальбе сидел у открытого окна и курил трубку. Свечи, горевшие за его спиной в глубине помещения — судя по густым запахам еды, то была столовая, — позволяли

Баху различать контур головы и верхней половины туловища, обрезанного оконницей. Но когда он совсем приблизился, силуэт оживился промельками белков беспокойных дьявольских глаз и багровыми отсветами затяжек, изымавшими из черноты толстые губы, защемившие чубук, увесистый подбородок и кончик нависшего над ложбинкой верхней губы мясистого носа. На Швальбе не было парика, округлый череп облеплен слабыми седыми волосами, и это уменьшало сходство между ними и делало Баха свободней.

— Не очень-то подходящее время для прогулок избрал почтенный кантор, — заметил синдик, после того как они обменялись церемонными приветствиями.

— О, когда я был помоложе, никакая буря не могла удержать меня в четырех стенах, если мне хотелось послушать музыку! — пылко сказал Бах.

Он не верил господину Швальбе, побаивался его, хотя не знал за собой никаких серьезных прегрешений, кроме тех, хронических, что давно уже стали неотъемлемой частью жизни здешней певческой школы, и был достаточно защищен и своей четвертьвековой службой, и покровительством курфюрста. Но в последние годы он настолько отстранился от всех мирских забот, что ему мучительно было вторжение грубых земных голосов в музыку сфер, звучащую в его душе. И, желая обезопасить себя от господина Швальбе, он бессознательно взял с этим умником и хитрецом, пожалуй, единственно верный тон безоружной и обезоруживающей искренности.

— Но ведь сейчас вы далеко не молоды, — заметил Швальбе.

— О да! — согласился Бах. — Мне шестьдесят два.

— Вы всего на девять лет старше меня. — Голос прозвучал кисло. — Я думал, разница больше.

— Она действительно больше. Вы вон какой молодец, а я беспомощный слепой старик.

— Ну, ну!.. Не прибедняйтесь. Вы крепки, как старый дуб. А глаза надо лечить. Я знаю одного замечатель-

ного окулиста в Йене, он делает чудеса. Хотите, я ему напишу?

— Премного благодарен! Вы очень добры, господин синдик!

— Но что же погнало вас сегодня из теплого дома в холод и непогодь? — спросил синдик, жмурясь от ласкового тепла, насылаемого ему в спину жарко растопленной печью, тепла, особенно приятного, поскольку грудью, обращенной к открытому окну, он ощущал стынь и влажный неуют улицы, подчеркнутый фигурой старика в мокром плаще, грязных ботинках, тяжелой шляпе, унизированной по полям бусинами дождевых капель. Он и подозвал Баха отчасти для того, чтобы сильнее, телеснее ощутить свою добрую защищенность.

— Музыка, конечно, музыка, господин синдик! — улыбаясь, воскликнул Бах. — Как всегда, музыка!

Неутомимая жажда звуков гнала его, шестнадцатилетнего гимназиста и стипендиата церковного хора, из Люнебурга в Целе прикинуть слухом к непривычной и волнующей французской музыке, часто исполняемой при дворе Вильгельма Брауншвейгского. Позже, когда переходный возраст осадил в хрипоту чистый, сильный дискант Иоганна Себастьяна и его перевели из хора в школьный оркестр, он топал пешком в Гамбург — сорок верст в один конец — насладиться игрой восьмидесятилетнего Рейнкена и недоверчиво, хоть не без удовольствия, послушать немецкую оперу, взбодренную мелодическим талантом Кейзера. А еще позже, уже солидным органистом Новой церкви в Арнштадте, он устремится в Любек к поэту органа Дитриху Букстехуде, так блистательно доказавшему жизненность и неисчерпаемость национальной традиции в церковной музыке; сотни верст — где на попутных крестьянских телегах или на купеческих повозках с товарами, но больше — мерным шагом мускулистых ног — ах, как хорошо напрягала ему икры дорога! — на палке через плечо узелок с пожитками: праздничный скюртук, новые ботинки и нот-

ные тетради. Да еще совсем недавно, предлагая своему первенцу Фридеману навестить в Дрезден, дабы послушать «Красивые песенки» — так ласково-пренебрежительно называл он оперу, оставшуюся чуждой его искусству, Бах с надеждой заглядывал в подпухшее лицо сына, рано сдружившегося с чаркой, не согласится ли тот проделать хоть часть пути пешком. Но обленившийся Фридеман пропускал мимо ушей намеки отца. Что ж, Бах пользовался каждой возможностью, когда лошади усиливались в гору или осаживали раскат на спуске, чтобы помять серую дорожную пыль подметками сапог. Музыка прочно связалась для него с дорогой. И, как встарь, он всегда был готов ради музыки мчаться хоть на край света.

— Музыка? Вот как! Интересно. — Голос жесток, хотя что может быть обидного, досадительного для синдика в поступке Баха.

— Мне сказали, что в Петерскирхе приезжий молодой органист творит чудеса. Он временно замещает больного Хемпеля...

— Это меня не касается, — перебил Швальбе. — Но, неужели в игре на органе есть чу-де-са, не известные господину кантору?

Ого, как лестно! — отметил про себя Бах. Высокого же мнения он о моей игре. Но почему волны тревоги и опасности продолжают накатывать от этого любезного человека? Ну, не слишком любезного, зачем преувеличивать! Он сидит в тепле, в удобном кресле, я же стою под окном, как нищий, и меня пронизывает ветер, а за ворот льет, он вдыхает сладко-горький трубочный дымок, у меня же першит в горле от измороси. Все-таки знатные люди куда демократичней. Когда он служил у ангальткётенского Леопольда и они путешествовали вдвоем, принц сажал Баха в свою карету и вообще не позволял ему стоять перед собой. Так же вел себя и юный принц Иоганн-Эрнест, племянник веймарского герцога. Но эти одаренные дилетанты видели в Бахе скорее старшего коллегу, наставника, нежели слугу. А

отец талантливого Иоганна-Эрнеста во время празднеств одевал музыкантов гайдуками, другой веймарский герцог бросил Баха в тюрьму за ничтожную провинность. Нет, все они одним миром мазаны — власть и силу имущие. Пожалуй, лишь чуть большей вульгарностью отличается денежный мешок от знатного спесивца. Эти мысли всколыхнули природную независимость в Иоганне Себастьяне. Коронованному властителю противиться бессмысленно, к его услугам солдаты, другое дело синдик, с ним можно расстаться в любую минуту. «Спокойной ночи, герр Швальбе, вернее, беспокойной, ведь вас поджидает смуглая Марихен». Но Бах не произнес этих слов, щекотавших кончик языка, скорее из любопытства, нежели из робости. Хотелось, чтобы приоткрылся тайник, в котором хоронится его загадочный собеседник.

— Разве вы не достигли совершенства? — строго и важно уронил в затянувшуюся паузу Швальбе.

— Совершенство недостижимо, на то оно и совершенство. Достигнутое совершенство — смерть.

— Я неудачно выразился, — с досадой сказал Швальбе. — И вы отлично поняли, что я имел в виду. Нехорошо, когда старый человек отделяется общими фразами, лишь пародирующими мысль.

— Быть может, это самозащита старости? — улыбнулся Бах. — Чем больше живешь и думаешь, тем меньше находишь ответов даже на самые простые вопросы. Общие фразы выручают. Иначе можно так запутаться в поисках ответов, что не хватит времени для жизни и дела. Если вас интересует, научился ли я чему-либо у приезжего органиста Гедо, то следует ответить отрицательно. Он умело пользуется педалью — играет на басах ногами, как другим рукой не сыграть. Но я умел это еще в Арнштадте, когда милейшего Гедо и на свете не было. Можно подумать, что он учился у меня, но мы никогда не виделись.

Они не увиделись и на этот раз. Никто не узнал Баха в полутемной холодной и почти пустой церкви, и он не за-

хотел смущать органиста, игравшего хорошо, даже виртуозно, но без душевного жара, как может играть очень искусный, но усталый или разуверившийся человек. Бах ничего не знал о Гедо, кроме того, что он молод, не более тридцати, приехал откуда-то издалека, чуть ли не из Копенгагена, и будет замещать больного Хемпеля. Он не мог одобрить такого исполнения и потому не подошел к Гедо. Если это случайность, быть может, Гедо не совсем здоров, или погода действует на него удручающе, или какие-то иные причины заморозили ему душу, а он искренне любит музыку, то сам придет к кантору церкви св. Фомы, как делали почти все заезжие музыканты, и покажет, на что способен. Ну а не придет, Бах повторит свое небольшое путешествие: ведь если такую технику одушевит настоящее чувство, его музыка доставит много радости. Тогда только и можно будет судить, чего стоит Гедо. Но разве он жалеет о том, что пошел сегодня и послушал Букстехуде и Пахельбеля и перенесся в далекую юность? Сколько забытых чувств всколыхнулось, и вот уже что-то складывается, растет, ширится, тшится стать музыкой, ах, как легко загорается он от чужого, даже самого слабенького огня! А ведь когда из ничего рождается нечто, это всегда чудо. Вот почему нельзя прямо, ясно и односложно ответить на вопрос синдика Швальбе, звучащий, если отбросить все околичности, примерно так: за каким чертом носило тебя на ночь глядя в такую даль? Чтобы вернуть свою душу, которая, едва заслышав о новом органисте, унеслась под скверно резонирующие своды бедной Петерскирхе. А что обрела там моя душа, я еще не ведаю. Восторга и удивления не было, но, может, случилось что-то куда большее. И когда-нибудь мы это узнаем.

А синдик злился, и не на шутку злился. Он совершил сегодня выгодную, да что скромничать — наивыгоднейшую сделку: приобрел почти даром огромную пустошь под городом, где под слоем тощей почвы, дающей жизнь лишь колючему кустарнику да чертополоху, таились несметные

залежи каолина, годного для производства фаянса. И главное, Швальбе наткнулся на золотую, поистине золотую пустошь не случайно, не с помощью слепой удачи, щедрой к дуракам, а в силу своей любознательности, приверженности к чтению, особенно рукописных книг. Он «вычитал» скрытое богатство пустоши в одной старой хронике — полуистлевшие, хрупкие листы и объединенный крысами переплет из свиной кожи. Наняв надежного и знающего человека, произвел тайком разведку, подтвердившую и даже превзошедшую по результатам самые смелые мечты. Разыскал владельцев пустопорожней земли и, не возбудив их подозрительности, а с ней и алчности, получил пустошь за бесценок. Конечно, теперь предстоят расходы, и немалые: наладить добычу, поставить фаянсовый завод, проложить дорогу, но ведь это и было высшей целью Швальбе: найти такое помещение капитала, чтобы в кратчайший срок выйти в тузы.

Необходимо иметь большую цель в жизни. Но нередко огни, манящие вдали, обесценивают сегодняшнее существование, кажущееся в сравнении с грядущим блеском мелким и тусклым. Несчастливы люди, пропускающие жизнь мимо себя ради химерического будущего, и Швальбе, слава создателю, к ним не принадлежал. Он умел пользоваться настоящим, ценить сиюминутное бытие, которое построил по своему вкусу, привычкам и даже капризам, что не так уж часто удается смертным, даже стоящим на верхних ступенях иерархической лестницы. Впрочем, тут ему сказочно повезло, и Швальбе честно признавался себе в этом. Без Марихен его жизнь не имела бы такой сладости, странности и остроты.

Правда, надо было угадать Марихен среди многочисленных служанок, которых сердобольные люди посылали к нему после смерти его второй жены. А были среди этих девушек и женщин и помоложе Марихен, и посвежее, и подороднее, а он углядел чудо в тридцатилетней сухопарой смуглянке.

Потеряв синеокую рослую и статную, почтительно любимую Доротею, а еще раньше Бог забрал нежную крошечную кареглазую Лотту, которую он любил до умиленных слез, суеверный Швальбе дал клятву никогда не жениться, если только жена не принесет ему такого же большого приданого, как маленькая Лотта или величественная Доротея. Но он не считал нужным говорить о своей клятве Марихен, у которой было множество достоинств, но ни полушки за душой, — женщине необходима, пусть несбыточная, надежда, тогда она больше старается. Даже поверить было трудно, что такая красивая, яркая, сметливая, ушлая, разбитная женщина не имела бы хоть горшка с червонцами, припрятанного в надежном месте. Господин Швальбе был убежден, что в прошлом у Марихен была какая-то темная, если не кровавая история. Едва ли она сама убивала, но вполне могла быть тесно связана с людьми, не питавшими излишнего уважения к человеческой жизни и уж подавно — к имуществу и кошельку. Разумеется, он предпочел ничего не знать и спокойно принял невразумительную версию о невинной страдальце, чей муж — бродячий торговец — разорился дотла и скоропостижно покинул юдоль страдания, не оставив вдове ничего, кроме доброго имени. Имя, впрочем, трудновато считать добрым по причине разорения мужа Марихен, но удобным оно было несомненно: попробуй навести справки о бродячем торговце Мюллере.

Как и в каждой лжи, в легенде Марихен был малый проговор правды, он заключался в слове «бродячий». Тут действительно попахивало бродяжничеством. Хотя Марихен выдавала себя за уроженку Австрии и горожанку, более вероятно, что увидела она свет посреди раздольной валашской степи в шатре или кочевой кибитке. Она была по-цыгански смугла и черноглаза, с сухими черными волосами. А тело у нее — светлое, цвета слоновой кости, и на шее отчетливо виднелась неширокая полоска, где ореховая смуглота, стекая с лица, растворялась в белизне с легкой

прижелтью. Швальбе казалось, что полоса эта — след удавки, которую палач захлестнул на долгой и гибкой шее красавицы ведьмы. Но ведьму топить надо, не вешать, вот Марихен и выкрутилась из петли.

В том, что Марихен ведьма, Швальбе не сомневался. Она врачевала любые болезни, заговаривала кровь, вечно возилась с луговыми, лесными и приречными травами, сушеными, свежими, истолченными в порошок, запаренными, перемешанными невесть с чем; а готовила так, что любое нехитрое кушанье обретало какой-то особый, острый, греховный вкус, и, расправившись с блюдом свиных голяшек, господин Швальбе чувствовал потребность в очистительной молитве, ибо постигал, почему чревоугодие в Священном писании причислено к смертным грехам: жратва колдуньи Марихен начисто перечеркивала Бога.

Марихен проворачивала за день уйму дел, обходясь без чьей-либо помощи, хотя господин Швальбе не раз предлагал нанять кухонную девушку для черной работы, но Марихен нравилось все делать самой: прибирать в доме, топить печи, выбивать ковры, закупать провизию, кухарить, подавать на стол, мыть посуду, заготавливать на зиму разные соленья и копчения, вялить рыбу, варить варенье в громадных медных тазах. Она допускала лишь помощь дровокола и прачки, впрочем, рубашки господина Швальбе она стирала, гладила и крахмалила сама. На редкость домовита и хозяйственна была эта ведьма. А натрудившись за день до последней устали, она ложилась в постель синдика свежая, с прохладным телом, горячим ртом, быстрыми руками, нежными, теплыми пятками, неутомимая и неистоцимая на выдумки. Швальбе молодец с нею на двадцать лет. Когда же они наконец засыпали, их сладостный сон озвучивался странным шумом, доносившимся из столовой, казалось, там бесчинствуют бесы: грохот, задушенный писк, царпанье, скачки, падение мебели. Господин Швальбе улыбался во сне — очередная крыса, отведавшая «лакомства» Марихен, подыхала в страшных мучениях.

Синдик ненавидел крыс. Когда он еще качался в люльке, крыса укусила его за щеку, навсегда оставив под глазом две белые метины. Где бы он ни жил, дом его всегда был полон крыс. С одной стороны, это хорошо как признак прочности и зажиточности, с другой — собственное жилье становилось омерзительным синдиком. Избавиться от крыс — дело непосильное. Крысы могут уйти сами — громадным бесстрашным стадом, если дому грозит гибель от пожара, наводнения или другого бедствия. Но всем известно, чем кончаются попытки повального истребления крыс. Жители Гаммельна, где ваши дети? Куда увела их из родного города волшебная дудочка странствующего крысолова? И, не желая навлекать на себя гнев крысиного бога, господин Швальбе отваживался лишь на осторожную войну с крысами.

В его лейпцигском доме крысы хозяйничали главным образом под полом, нанося немалый ущерб погребу, да по сусекам, где хранились мука, крупы, но с этим господин Швальбе еще мог мириться. Раздражали его до сумасшествия те нахальные крысы, которые, не довольствуясь подполом, кладовыми и кухней, обследовали столовую. Они тыкались острыми мордами в дверцы буфета, царапали гадко-голыми лапками столешницу обеденного стола, обгрызали не только кожаную обивку кресел — это в доме-то, полном еды! — но и ножки стола, дивана, кресел, кисти гардин, опрокидывали вазы с цветами, оставляли свой омерзительный помет в самых невероятных местах: в завитках резных рам, из которых строго глядели постные лица мнимых предков господина Швальбе, в чаше старинной лустры, в пузатеньком, с узким горлышком обливном кувшинчике. Они походя сожрали двух дорогих ангорских кошек и, усмехаясь в длинные усы, играючи избегали наихитрейших ловушек. Случалось, они хватали аппетитную приманку: поджаренный кусочек сала или окорока, железная скоба захлопывалась, но они утаскивали крысоловку под пол и там с грохотом освобождались. Это были пасюки — самые

крупные, злые и сильные крысы с красноватой жесткой шерсткой и красными глазами. А потом за дело взялась Марихен, и теперь каждое утро господин Швальбе обнаруживал в столовой трупы своих врагов. Ни одна крысоловка не была больше утащена. Крысы бесновались, громыхали мебелью, но что-то мешало им уйти под пол, хотя бы попытаться. То ли они обалдевали от приманки Марихен, то ли некое родовое чувство запрещало им тащить страшную отраву в крысиную обитель.

Можно было бы вообще обойтись без крысоловок, просто раскидать яд, но господину Швальбе доставляло несказанное удовольствие слышать сквозь сон, как агонизируют его враги. Самое же главное происходило по утрам, когда с бьющимся сердцем он вступал в столовую. Тушки крыс как будто светились, и свечение это было то зеленым, то голубым, то лиловым, то желтым, то розовым, то серебристым. Ему никак не удавалось угадать, в какой цвет перекрасит Марихен пасюков. Размеренный, аккуратный, плотный от дел и забот быт господина Швальбе возносился, приобщался к тайнам, о которых лучше помалкивать. И взволнованно думалось о женщине, что так тихо, почти без дыхания, спала у него под боком, свернувшись теплым клубочком, и будто не ведала о своем причастии к темным силам, менявшим установленный свыше порядок, согласно которому пасюку надлежит быть цветом в ржавь, светиться же дано лишь ангелам небесным, а из земных обитателей — светлячку — божьему огонечку, но никак не крысе, гадчайшей из всех тварей.

Да, Марихен внесла и остроту, и поэзию в его жизнь, спасибо ей! Но сильное самосохранительное чувство заставляло господина Швальбе держать ухо востро и не растекаться в доверчивой откровенности даже в самые задушевные минуты. Он не только скрыл от Марихен свое решение не вступать больше в брак, но и недвусмысленно дал понять, что женится на ней, если она родит ему дитя. Швальбе знал, что ничем не связывает себя подобным обе-

щанием. Пораженный бесплодием своих жен, таких разных во всем, но равно молодых, крепких и здоровых, он обратился к знаменитому доктору Теофилусу, пользовавшему самого курфюрста. Оказалось, бедные жены ничуть не повинны в том, что оставили его без наследника. Это его обделила природа. И все неистовые ночные усилия Марихен не способны приблизить ее к заветной цели. А почему бы ему не жениться на Марихен, которая устраивала его по всем статьям? Да потому, что не за горами срок, когда он перестанет устраивать Марихен, и молодая, в соку, женщина захочет молодого мужа, способного сделать ее матерью. А господину Швальбе вовсе не улыбалось разделить участь пасюка и воссиять розовым, изумрудным или лазоревым светом.

Выходит, и ведьме не по силам тягаться с ушлым лейпцигским коммерсантом. Обвел вокруг пальца дочь тьмы добропорядочный синдик, член магистрата, знаток церковной службы и музыки. Было чем гордиться господину Швальбе, да он и гордился — и своим домом, таким простым и строгим снаружи, таким артистичным и мудреным внутри, и своей властью над красавицей кодуньей, и своим весом в магистрате, и своим богатством, и деловой хваткой, и величием далеко идущих планов, и тем, что не похож ни на какого другого жителя этого большого города. А сегодня, когда он провернул лучшее дело своей жизни, его так и распирало от гордости. В довольном и благостном настроении уселся он к окну с трубкой в руке, дабы лицезрением тех, кому холодно, сыро и сирое, усилить и укрепить торжествующее чувство своей избранности. Для этого ему хорошо служили и жмущиеся к стенам сиротливые фигуры прохожих, и понурые возницы на облучке, и прочавкавший по грязи взвод измученных солдат, и пастор в захлюстанной сутане, и стайка голубых от стыни и голода школяров, и девочка-служанка с мелочью, зажатой в красном кулачке, и тучный старик в шляпе с обвисшими полями, полуслепой кантор, проковылявший куда-то с отрешен-

ным видом и едва отозвавшийся на оклик, — вся зримая неустроенность, хилость, зависимость населяющих мир питала Швальбе сознанием своего превосходства, защищенности и важности.

Но вот, в исходе большого, радостного дня, когда, отверев, синдик вернулся на свой наблюдательный пост и раскурил последнюю перед сном трубку, возле дома вновь появился неумный старик Бах и сбил, а там и вовсе испортил отменное настроение господина Швальбе. Почти слепой, а ишь как шагает, даже не силится опробовать землю толстой ясеновой палкой! Промокший, со шляпы течет на сизые щеки и толстый нос, ботинки и чулки залеплены грязью, а вид такой бравый, что хоть сейчас в полковые барабанщики! Господин Швальбе полагал вначале, что Баха погнала вон из дома какая-нибудь беда: болезнь жены, родовые схватки незамужней дочери, пожар, учиненный слабоумным сыном, или известие, что первенец Фридеман сломал шею по пьянке. А оказывается, старый шут бегал в деревню орган послушать. Мало ему в городе органов и органистов. И, даже не услышав ничего путного, лучится непонятной радостью, будто наследство получил. И наплевать ему на все успехи синдика Швальбе, которые послужат к вящему преуспеянию славного города Лейпцига, наплевать ему на богатство, на дом, скот и угоды господина Швальбе, и на радость его очей, усладу души и не остывшей с годами плоти тоже наплевать этому неотесанному и самонадеянному мужлану.

Почему Бах, потомственный музыкант из старого, почтенного, всюду уважаемого рода, стоявшего много выше рода Швальбе, оказался неотесанным мужланом, синдик и сам не знал. Он, правда, слышал, что Бах, человек просвещенный и начитанный, не получил университетского образования в отличие от большинства известных музыкантов, но сам Швальбе не кончил даже гимназии и ставил это себе в заслугу, почитая самообразование выше готовых знаний, вдалбливаемых учителями в тупые головы учени-

ков. Но Швальбе злился. Швальбе пылал гневом. Этот Бах, черт бы его побрал, задирает перед ним свой нос!

Ах, канальство! Если ты бедный, если ты жалуешься на погожую осень, лишившую тебя доходов с отпеваний, если, замороченный семьей, едва сводящей концы с концами, ты ходишь в спущенных чулках и с вывернутыми карманами, если вечно теряешь ключи от всех тех мест, куда опаздываешь, если ты распустил учеников, которые только и знают, что шалиться по деревням и выпевать у крестьян плохо поставленными голосами битую птицу, яйца и серые лепешки, если ты зависишь от снисходительности и терпения отцов города, то думай ежечасно, ежеминутно о хлебе насущном для себя и близких своих, в поте лица добывай этот хлеб, смиренно и неустанно убогай высоких покровителей, заслуживай милость у сильных, а не бегай за музыкой, как за девкой, в дождь и слякоть через весь город!

Гнев синдика окрасился болью. Откуда его презрение ко мне? — яростно и горько вопрошал себя Швальбе, хотя музыкант не давал ему ни малейшего повода для подобного умозаключения. Увы, детский смех не звучит в моем доме, но ведь это несчастье, вызывающее к сочувствию, а не порок. Да, я не умею играть на органе, а он не отличит брюссельских кружев от грубой подделки, лионского полотна от местной дряни, не заключит и простейшей сделки, грош не превратит в талер. Он хороший, даже преотличный ремесленник в своем цехе, а я в своем. В конце концов, можно поспорить, что нужнее людям — хорошая музыка или хорошая торговля. Да и кто из прихожан церкви святого Фомы, даже из тех, что старательно гнусают в общинном хоре, знает цену прелюдиям, хоралам, кантатам и мессам старого кантора? Быть может, по всем немецким землям лишь горстка людей догадывается об истинном достоинстве этой музыки? Да еще горстка делает вид, будто догадывается. И то скажи им, что Бах выше не только Телемана или Гассе, но и самого Генделя, пожмут плечами или расхохочутся в лицо.

К сожалению, я знаю ей цену. К сожалению, ибо зачем коммерсанту, торговцу, человеку дела, участнику жестокой конкурентной борьбы, землевладельцу и будущему заводчику, так сильно, остро, так безысходно чувствовать музыку, до задыхания, стога, сладко-стыдных слез? Зачем мне абсолютный слух и цепкая, как волчец, музыкальная память, если я не в силах сочинить даже простенькой песенки, если ни клавишин, ни скрипка, ни флейта не оживают под моими нечуткими пальцами. Но что стоил бы Иоганн Себастьян Бах, если б ни одна душа на свете не отзывалась его музыке? Кто-то должен слышать музыку, иначе она бессмысленна, иначе ее просто нет.

— Господин Бах, — сказал Швальбе тихо, а Баха буквально оглоушила скрытая в его голосе угроза. — Не кажется ли вам, что тот, кто создает великую музыку, и тот, кто способен постигнуть созданное во всей бессмертной красоте, равны перед лицом Гармонии?

— О, конечно! — живо согласился Бах. — Разница между ними лишь в том, что второй не владеет материалом. Но это вопрос чисто ремесленный, в духовном же отношении эти люди равны.

И улеглись грозные налеты душевных крутений синдика. Теперь он гнал хоть и бурные, но ласковые волны.

— Творения Баха заслуживают самой широкой известности, а между тем их нигде не услышишь, кроме Лейпцига, — негодовал синдик. — Немецкие княжества кишат органистами, но они уперлись в Пахельбеля, Букстехуде, Бёме... Великие «Страсти по Матфею», перед которыми Гендель должен снять шляпу, исполнялись один-единственный раз, и никто не знает о существовании этого шедевра... Баха ценят лишь как исполнителя, и даже серьезные музыкальные писатели, вроде гамбургца Матесона, ставят его ниже заведомых посредственностей...

— Но разве это так важно, господин синдик? — со слабой улыбкой спросил Бах, равно удивленный музыкальными познаниями торговца и страстностью его тона.

— Конечно важно, дорогой Бах! Почему люди должны довольствоваться вторым сортом?

— Гендель — второй сорт?

— Оставим Генделя в покое. Все остальные рядом с вами второй сорт.

— Попробуйте объяснить это Матесону! — Бах с добродушным смешком развел руками.

— Вы когда-нибудь издавали свои вещи?

— А «Клавирные упражнения»? Я имел честь послать вам экземпляр.

— И это все? А ваши оркестровые произведения, ваши прелюдии, хоралы, фуги?

— Клавирное переложение одной из фуг...

— Одной!.. О святая простота!.. — нетерпеливо воскликнул Швальбе. — А ваши кантаты — вершина церковной музыки?..

Суровое даже под маской вынужденной любезности лицо Баха смягчилось, помолодело. Вопрос синдика напоминал ему о счастливейшей поре его жизни. Мария Барбара из рода Бахов была уроженкой Арнштадта, города, нанесшего столько уязвлений его чести и самолюбию, а под конец одарившего величайшим сокровищем — любовью этой прелестной, нежной и на редкость музыкальной девушки. Небольшое, но чистое, звонкое, серебристого тембра сопрано Марии Барбары надоумило Баха осуществить давнишнюю мечту — ввести в церковный хор женский голос. Дерзкую мечту, ибо еще апостол Павел поучал: «Да молчит женщина в хоре». Они разучивали сольную партию сопрано, когда в пустую церковь сунулся зачем-то консисторский служащий. Каша заварилась круто. Баху припомнили все: и развал дисциплины в хоре, и уличную схватку со старшими учениками, и «странные вариации к хоралу, смущающие общину», и «непонятную гармонизацию мелодий», а сверху навалили новые грехи: музицирование в церкви с «чужой девушкой» и бунт против апостола Павла. Объяснения, что девушка вовсе не чужая, а его наречен-

ная, не смягчили ханжей. И тогда Иоганн Себастьян, вместо того чтобы смиренно покаяться, закусил удила. Он подался в Мюльгаузен, где искали органиста для церкви св. Власия, блестяще выдержал испытания и был утвержден в должности. Ему положили отличное содержание: восемьдесят гульденов в год да еще натурой: три меры пшеницы, две сажени дров, шесть мешков угля, шестьдесят вязанок хвороста и три фунта рыбы, все довольствие — с доставкой к дверям дома. Для молодого, не избалованного жизнью музыканта это было настоящим богатством. Теперь он мог повести к венцу Марию Барбару. Они обвенчались в скромной деревенской церквушке, сыграли веселую свадьбу, и, будто несомый на крыльях удачи, Иоганн Себастьян получил от мюльгаузенского магистрата заказ на кантату. Ее надлежало исполнить в дни празднеств по случаю выборов в городской совет. Ведь известно, чем меньше город, тем больше в нем спеси. Кантата торжественно прозвучала в Мариенкирхе, и убогатворенные отцы города расщедрились на богатое издание посвященного им сочинения.

На всю жизнь запомнился Баху едкий, раздражающий ноздри запах свежей типографской краски доставленного прямо из-под печатного станка оттиска. Они стояли с Марией Барбарой, сблизив головы и держа за уголки нарядную обложку, в которую вложены голоса. Крупной готической вязью были выведены имена двух бургомистров и мелким шрифтом набрано имя композитора. Тогда казалось, что в его жизни будет еще много таких вот оттисков, но Господь рассудил иначе.

— Городские власти Мюльгаузена издали мою «Выборную кантату», — произнес он вслух. — Мне было тогда двадцать три года. Мы с женой... первой моей женой безмерно радовались! И немного удивлялись, почему фамилии бургомистров, господ Штректера и Штейнбаха, написаны такими большими буквами, а моя — такими маленькими. Мы были молоды и тщеславны.

— Это для меня новость, что фамилия покровителя... — Не dokonчив фразы, господин Швальбе круто сменил тему. — Зачем называть тщеславием благородное стремление человека уберечь свое имя от забвения? А ведь вас забудут, мой дорогой, и ваши клавирные упражнения при всей их несомненной полезности и музыкальных достоинствах не пропуск в бессмертие.

— О каком бессмертии вы говорите? Я не заношусь так высоко. Помогите мне Бог справиться как-то со своим земным делом. Служить тем, кто дышит со мной одним воздухом, видит те же небеса, возносит те же молитвы и сойдет в могилу чуть позже или чуть раньше меня, на весах вечности это так ничтожно, что можно сказать — в один час со мной.

— Велеречиво и постно! Не из такого материала работает создатель «Страстей по Матфею». Кого вы обманываете: меня или самого себя, что куда хуже?

— Я никого не обманываю, — тихо сказал Бах. — У меня слишком много обязанностей, забот и огорчений, чтобы думать о суетных вещах. Поверьте, господин Швальбе, когда ты родил столько детей и столько утратил, едва успев полюбить, когда твои милые дочери не пристроены, когда тебя допекает начальство и ты из последних сил стараешься уберечь свое скромное достоинство, когда ученики вечно голодны и простужены, распухлены и нерадивы, то каждый выпавший тебе в одуряющей мороке свободный час, каждую свободную минуту хочется посвятить музыке, только ей, а не возне с надуманными, необязательными делами.

— Надуманными?! Необязательными?! — вскричал Швальбе. — Разве есть на свете композитор, который не стремился бы издать свои произведения? Нет — и быть не может. Как нет такого писателя или поэта.

— Откуда вы знаете? — пожал плечами Бах. — Я вполне допускаю, что есть поэты, которые не помышляют о бессмертии с помощью печатного станка, а поют как пти-

цы небесные. Наверное, их радует, когда песни подхватывают, но они не замолкают и если голос их тонет в пустоте.

— Из этого следует, что они счастливы, Бах. Кстати, птицы не поют бескорыстно, они вымалывают любовь. Так и поэты.

— Я с детства переписываю чужие ноты и даже испортил на этом зрение. — Бах словно не расслышал замечания Швальбе — У меня большое собрание. Там находятся и мои собственные сочинения. Каждый желающий может получить их для переписки и даже не платить талер, как заведено у других композиторов.

— И много таких желающих?

— Нет, не много, совсем не много, — чуть помедлив, ответил Бах. — И это доказывает, что на мою музыку нет спроса. Возможно, она кажется трудной для исполнения, хотя я этого не нахожу. Так зачем же ее издавать?

— Ну хотя бы для будущего. И потом, вы же знаете: людям на все наплевать. Творцы искусства не являют исключения из правила. Надо быть Бахом, чтобы пускаться в дождь и ветер через весь город послушать незнакомого органиста. Не следует ни от кого ждать чрезмерных усилий. Будут хорошо изданные ноты — найдутся исполнители. Раз издано, значит, чего-то стоит. В этом причина успеха многих посредственностей. Но главное — это будущее, дорогой Бах, будущее! Безразличие — это для современников. К ушедшим относятся куда бережнее. Ваши ноты существуют в одном экземпляре, а пожары так часты в Лейпциге. Но пусть даже огонь пощадит их. Вы уверены в своих наследниках? Сберегут ли они эти бедные листы? Бумага требуется для разных нужд, в том числе и весьма низменных. Разве можно доверять равнодушию близких свое бессмертие?

— Бог с ним, с бессмертием, — хмуро сказал Бах. — Музыку жалко.

— Наконец-то! — обрадовался Швальбе. — Вы с таким упорством защищали право на безвестность и забвение,

что я усомнился в ваших умственных способностях. Так почему же вы не издаетесь, господин Бах?

— Дело в том, — с явной неохотой начал Бах, — что типографское издание очень дорого, а гравирование требует уйму времени. Первое мне не по карману, а второе можно позволить лишь изредка, когда хочешь сделать подношение высокопоставленному лицу. Иначе не останется ни времени, ни сил на музыку.

— А разве издания не окупаются?

— Возможно, у Гассе или Телемана окупаются. Но я едва смог расплатиться с Вейгелем за «Клавирные упражнения». Там есть Итальянский концерт — ах, какая веселая музыка! — наивно сказал Бах. — Но покупатели крепко держатся за карман. Что же говорить о мессах, кантатах, хоралах?

— Из этого следует одно, дорогой Бах, — внушительно произнес господин Швальбе. — Вам надо найти покровителя, мецената, человека, любящего и понимающего музыку, достаточно богатого и бескорыстного, чтобы думать только об искусстве, а не о барышах, готового даже на потери, если они неизбежны, и доверить ему издание своих сочинений.

— Но где же найти такого человека? — уныло начал Бах и осекся, только сейчас постигнув в своей бесхитростной душе, что ему сделано, пусть в завуалированной форме, неслыханно щедрое предложение. Этот странный, непостижимый человек, сотканный из противоречий: канонист и сожитель красавицы цыганки, тонкий ценитель музыки и крысолов, самовлюбленный, тщеславный богач с мятущимся взором, готов взять на себя издание его бесчисленных, затеснивших семью в доме, непризнанных и полупризнанных музыкальных сочинений. Но это было слишком хорошо, чтобы поверить...

Сейчас, когда минул переходный от дня к вечеру смутный сумеречный час и темнота на улице стала чистой и плотной, глаза Баха обрели большую чувствительность к свету. Четко обрисовался в окне прежде размытый силуэт

Швальбе, а малый костерок трубки, раздуваемый толстыми губами, багряно-ярко высвечивал крупное лицо, выигравшее от возбуждения в резкой выразительности. Оно словно подсушилось, наострилось, округлости стали углами, складки кожи обернулись глубокими шрамами дуэлей и битв, а глаза в глубоких впадинах глазниц метались, словно летучие мыши. Дьявол! — вспыхнуло в мозгу. Можно ли принимать помощь нечистого? Но уж если дьявол решился на столь богоугодное дело, как распространение духовной музыки, значит, зашатался ад, значит, некими высшими силами он, Бах, избран для обращения князя тьмы. И зачем же противиться тому, что определено там?..

— Я не нахожу слов, чтобы выразить ту глубочайшую благодарность... — начал Бах, но собеседник живо перебил его:

— Меня не за что благодарить, любезный Бах! Я просто наметил возможность. Постарался дать понять, что все далеко не так безнадежно, как вам кажется, мой дорогой композитор! Совсем не безнадежно!..

Баху почудилось, что в голосе господина Швальбе прозвенели слезы. Да нет же, быть не может, вряд ли синдик вообще знает, что такое слезы. И с какой стати ему плакать?.. Бах ошибался: то действительно были слезы — короткий, мгновенно подавленный, зажатый в гортани взрыд. Господин Швальбе, пытаясь отпереться от своего, ему самому непонятного порыва, вдруг обнаружил, что вопреки намерениям и воле подтверждает опрометчивое обещание взять на себя издание сочинений Баха. Значит, в глубине души решение принято: взвалить на себя докучный и ненужный груз, швырнуть кошке под хвост громадные деньги. Сколько же это будет стоить? — растерянно спрашивал себя Швальбе, потрясенный собственной расточительностью. И тут кто-то, маленький и жалкий, беспомощно всхлипнул у него внутри.

— Прощайте, дорогой господин Бах! — вскричал синдик, совсем теряя себя. — И да благословит вас Бог!..

Окно захлопнулось, прозвенов стеклами. Бах еще постоял, понуриив тяжелую голову, затем двинулся к дому. Не сделав и десятка шагов, он вдруг обнаружил, что жестом слепца ощупывает мостовую толстой ясеновой палкой. Он встряхнулся, вырвался из западни странных, новых, ошеломляюще радостных и тягостных до боли в груди мыслей, разбуженных Швальбе, и, вскинув палку на плечо, бодро зашагал к дому, полагаясь на спрятанный внутри звуковой компас.

Анна Магдалена велела ему разуться в прихожей, снять забрызганные грязью чулки, надеть толстые шерстяные носки и теплые домашние туфли. Она приготовила ему питье из сухих вишен с каплей спирта, сахаром и корицей, придвинула кресло к камину, сама уселась на низенькую скамеечку у ног мужа и приготовилась слушать. Согретый и ублаженный Бах стал рассказывать жене о приезде органисте, о мастеровитой и равнодушной, усталой игре его, распространился о качествах небольшого, но полнозвучного органа, преодолевающего скверную акустику убогой Петерскирхе, и несказанно удивился, когда Анна Магдалена перебила его чуть ли не с раздражением:

— Ну, хватит о пустяках! Что случилось?

— Как «что случилось»? — опешил Бах, намеревавшийся ничего не говорить жене о встрече с синдиком, дабы не волновать ее понапрасну. — Что могло со мной случиться за такое короткое время?

— Вот об этом я и хотела бы знать! — решительно заявила маленькая женщина.

Анна Магдалена была умна и наблюдательна, но то, что она обнаружила сейчас, выходило за пределы обычной человеческой наблюдательности.

— Я не понимаю... — пробормотал сбитый с толку Бах.

— Милый муж, посмотри бы ты на себя, когда вошел в дом. Лицо красное, словно выпил полбочонка рейнского, глаза блуждают, губы шевелятся. Если хочешь что-то скрыть от меня, следи за своим лицом.

— Да нечего мне скрывать! — В облегчении, что все так просто объяснилось, Бах тут же поведал жене о встрече с господином Швальбе.

— Уму непостижимо! — задумчиво произнесла Анна Магдалена. — Надеюсь, ты не относишься серьезно к этим посулам?

— Но почему? Ведь никто не тянул его за язык.

— Я не люблю господина Швальбе и не верю ему. Боже тебя сохрани придавать хоть какое-либо значение его сладким речам. Он надежен лишь в недоброхотстве.

— Почему тебе так хочется испортить мне радость? — печально спросил Бах.

— Ах, Господи, Себастьян! Неужели ты и впрямь обрадовался? Старый ребенок! Да этот скупердай тысячу раз подумает, прежде чем расщедрится на один талер. Не связывай с ним надежд, побереги сердце. Может быть, ты издашь свои опусы, но только не с помощью этого оборотня.

— Наверное, ты права, — вздохнул Бах.

Но он не поверил жене, он верил синдику Швальбе.

...А Швальбе провел скверную ночь. Он никак не мог уснуть, раздираемый противоречивыми видениями. В одном ему зрились красивые переплеты, на которых крупно, золотом, изящно-мощной готической вязью значилось: издано на средства синдика Ганса Швальбе. Переплетов — неисчислимое множество, и на каждом сияет имя лейпцигского мецената. Об руку с Иоганном Себастьяном взлетал он в бессмертие, шелестя страницами нот, словно перышками ангельских крыльев. В отдаленном будущем, куда проникал он жадным взором, его поступок отливал дивными красками бескорыстия, благородства, королевской щедрости, редкостного прозрения, но все разом менялось, когда он возвращался в настоящее. Мечта тускнела, блекла, гасла, чадя, как грошова свечка. В тоске и унынии он видел, что нотная несметь не продается. Золотое тиснение на переплетах осыпается, страницы желтеют, шрифт блекнет.

Человечеству нет дела до божественных озарений то ли запозднившегося с приходом, то ли явившегося слишком рано великого чудака. Впрочем, человечество — миф, лучше говорить просто — рынок. В конечном счете все на этом свете сводится к купле-продаже. Есть ремесленник, есть торговец, есть покупатели. В данном случае Бах делает музыку, Швальбе берется ее продать, а покупателям нужен совсем иной товар. Не кантата, а опера, не созерцание, а действие, не мысль, а чувство. Конечно, у Баха — громадное, будто застывшее в изумлении перед самим собой, чувство, но кто это понимает, кроме сумасшедшего расточителя, готового отдать нажитые потом и кровью деньги на заведомо не идущий товар. Конечно, он не разорится, но кто знает, во что станет фаянсовый завод и не окажутся ли поблизости от уже приобретенной пустоши иные земли, богатые каолином? Тогда ему дорог будет каждый талер. Не надо лицемерить с самим собой, денег у него хватит, но есть другое: провалившись с изданием, он будет смешон в глазах коммерсантов, ибо никто не поверит в его бескорыстие и все решат: Швальбе дурак, растяпа, проstack, мечтатель, с ним нельзя вести дела. Бесконечно трудно создать себе репутацию в деловом мире, но еще труднее восстановить пошатнувшуюся репутацию. А это непременно случится, если он сунется в издательское болото.

А если не ставить своей фамилии на переплете? Ну, это несерьезно. Люди прекрасно знают, что у Баха нет денег, и, конечно, легко докопаются, откуда они взялись. К тому же, уйдя в тень, он не сможет вести переговоров с издателями и продавцами нот, а Бах при его непрактичности окончательно все погубит.

И все-таки жаль расставаться с красивым и не изведанным прежде чувством, вознесшим душу к небесам, столь щедрым к нему все последние годы. Порой ему казалось, что одной лишь усердной молитвы мало, нужен поступок, дабы отблагодарить небо. (А что, если не горний мир, а присподняя твой покровитель? — змейкой шевельнулась

мыслишка.) Интересно, зачитывается ли неосуществленное доброе намерение? Быть не может, чтобы оно пропадало впустую, особенно такое светлое, возвышенное и богоугодное, как издание музыки Баха, славящей престол господень. И как-никак он пробудил в Бахе ответственность перед собственным гением и беспокойство за судьбу своих сочинений, о чем тот вовсе забывал в житейской замороченности. Нет, конечно же, такое должно учитываться в небесном реестре и оплачиваться хоть бы по самой низкой таксе. И пусть хоть на грошик медный перепадет ему от вседержителя в воздаяние за благородный порыв, он будет счастлив и малым знаком Божьей милости. Но ведь недаром говорят, что добрыми намерениями дорога в ад вымощена.

Синдик Швальбе ворочался с боку на бок, взбивал подушку, то натягивал, то сбрасывал одеяло, но сон не шел, и все попытки изобретательной Марихен отвлечь его от тягостных мыслей не приносили успеха.

Среди ночи он услышал знакомый грохот в столовой, звон стекла, падение стула, но, кажется, впервые не отозвался сладостной музыке, а утром едва глянул на излучавшего фиолетовое сияние дохлого пасюка.

Желая избежать встречи с Бахом — а Швальбе был уверен, что композитор не замедлит явиться, — он быстро собрался и укатил на свою пустошь, откуда подался в Дрезден. Намаевшись в неудобных гостиницах, испортив желудок, он вернулся в Лейпциг преисполненный к кантору церкви св. Фомы чувств, весьма близких ненависти.

И все время он тщился понять, каким образом угодил в ловушку, расставленную для другого. Началось с того, что его разозлила независимая, отдающая самодовольством повадка полуслеплого старика. Захотелось озадачить его, уязвить, сбить с толку, поставить на место. Все правильно, но в какой-то момент он поддался своему артистизму, темпераменту и, смешно сказать, почти искреннему сочувствию гениальному неудачнику. И щелкнула пружинка капкана..

Бах в его отсутствие не заходил, и это давало надежду, что тот не принял всерьез обещаний, оброненных под влиянием минутного настроения, легкого помрачения рассудка, которое может постигнуть и самого уравновешенного человека от переутомления или дурной погоды.

Швальбе плохо знал мудрую и наивную, детски доверчивую душу музыканта. Бах был озабочен лишь одним: как можно скорее подготовить к изданию рукописные ноты. Каждую свободную минуту он проводил за просмотром и правкой своих сочинений. Опечаленная Анна Магдалена деятельно и покорно помогала мужу. То была каторжная работа. Похоже, Бах и сам изумлялся — сколько музыки сочинил он за свою жизнь! В чем, в чем, а уж в лени его не обвинит и злейший враг. И страшно было подумать, что весь этот исполинский труд мог превратиться, как пророчествовал Швальбе, в горку пепла или груды мусора.

Когда господин Швальбе появился в церкви, его встретила такая широкая, такая лучезарная, доверчивая и радостная улыбка Баха, что алчное сердце синдика на миг дрогнуло. «А что, если все-таки издать эти несчастные сочинения? Не разорюсь же я, в самом деле?..» Но то была последняя вспышка слабости. После этого синдик стал как железо. Вот таким, и только таким, любил он себя.

Швальбе нетерпеливо ждал, когда Бах заговорит об издании, и ноздри его хищно раздувались. Но Бах молчал и только улыбался, словно они оба участвовали в каком-то веселом заговоре. И синдик молчал, но не улыбался. Он любил прямую схватку и ненавидел, когда его брали на измор. Нажим кротости, деликатности и веры был невыносим его нетерпячей душе. При этом сам он, когда надо, умел и затаиваться, и выжидать, и бить исподтишка, в спину. Но за противниками своими он признавал право лишь прямого, открытого наступления. Бах не думал наступать, и синдик решил принять меры. Пусть честолюбивый кантор поймет, что у него есть более насущные дела, нежели заботы о бессмертии. Господин Швальбе уже забыл, что

сам вколачивал в упрямую голову Баха мысли об ответственности перед будущим и что музыка должна пережить своего творца.

И Бах ощутил, как вспенилось и забурлило вокруг него житейское море. Опять пошли разговоры о распущенности учеников певческой школы, занятых лишь вышибанием денег у горожан и провизии у деревенских, о небрежении должностью равнодушного кантора, переложившего все заботы на плечи старших учеников; к сему присовокуплялось, что консистория и магистрат не намерены дольше терпеть заносчивой нерадивости своего подчиненного, который жалованье получает от города Лейпцига, но, чуть что не по нем, шлет наветы курфюрсту в Дрезден. А он-то думал, что подобные разговоры остались в далеком прошлом.

Но еще хуже было другое. Вновь усиленно стал обсуждаться проект ректора Эрнести, закоренелого недруга Баха; о превращении певческой школы в обычную гимназию. Мол, нынешнему времени требуются образованные люди, а не сиплоголосые певчие, и в основу школьного обучения должна лечь общеобразовательная программа, пению же следует отвести скромное место, как предмету второстепенному. Ректорский проект подрывал самую основу существования семьи Баха.

Удивлял странный поворот событий: нечаянная радость и порожденные ею надежды вдруг разом сменились напастями и преследованием. Известно, что за сегодняшнее счастье приходится расплачиваться завтрашней болью, но здесь расплата что-то уж слишком поторопилась. За тень надежды и призрак счастья платить приходилось действительными неприятностями. Неужели тут есть какая-то связь?..

Он убедился в этом вскоре после исполнения своей новой кантаты. Он давно уже не создавал кантат и был блаженно и тягостно полон, как переспелый плод — аж трещит и лопается кожица под напором сладчайшего сока.

И он дал густому соку выношенных идей излиться в эту кантату. Бах редко бывал так доволен собой и обрадовался, когда при выходе из церкви столкнулся с господином Швальбе. «Набравшись нахальства», как он сам выразился, передавая Анне Магдалене свой разговор с синдиком, Бах спросил высокочтимого господина Швальбе: достойна ли кантата занять место в его собрании сочинений?

Тот не ответил на вопрос, но, побледнев от ярости, прошипел в лицо Баха:

— По-вашему, существование господина Бога нуждается в доказательствах?

Никогда еще тягчайшее, да и опасное для создателя духовной музыки обвинение в рассудочности, рационализме, отсутствии простой, теплой веры не выражалось с такой злобной откровенностью. И кто же выступил обвинителем? Человек, как никто другой понимавший и чувствовавший его музыку!

— Вы считаете, что спастись можно только через мысль? — безжалостно напирал Швальбе.

Бах мог бы много сказать в свою защиту, но тут ему вспомнилось опечаленное лицо Анны Магдалены над кипами нот, ее глубокие вздохи, и ему открылась истина. Да, он был крепкодум, медленно усваивал новое, нелегко менял мнение, но уж если понимал что-то, то до самого конца. И сейчас все тягостные события, огорчения и недоумения последнего времени связались в один тугой узел с ядовитыми фразами, выплюнутыми синдиком ему в лицо. По счастью, этот узел легко развязывается.

— Господин Швальбе,— тихо, но очень внятно произнес Бах,— позвольте сказать о другом. Мне хотелось бы разрешить одно недоразумение, по-видимому, возникшее между нами. Я вовсе не жду, что вы поможете мне издать мои сочинения. Вы никогда ничего мне не обещали, и у меня нет ни малейшего права рассчитывать на вас в докучном и обреченном на провал деле. Я и сам поставил на нем крест.

— Ну это напрасно, напрасно! — пробормотал Швальбе, и бледное лицо его стало медленно и жутковато наливаться тяжелой темной кровью. — Человек должен верить и надеяться. Нам не дано знать будущего. Быть может, наши желания, неисполнимые сегодня, осуществятся завтра.

— О, конечно! — улыбнулся Бах. — Не сомневаюсь, что именно так и будет со всеми вашими желаниями. Для себя же я желаю лишь одного — покоя.

— Вы его вполне заслужили, господин Бах! — Твердость нерушимого купеческого слова прозвучала в голосе синдика.

На этом можно было бы поставить точку, но артистическая натура Баха прорвалась сквозь благолепную бюргерскую оболочку.

— Вы казались мне дьяволом, господин Швальбе, а вы всего-навсего бедный провинциальный черт.

И господин Швальбе вдруг съежился, как будто из него выпустили воздух, и сказал покорно:

— Вы правы, добрейший Бах, я действительно лишь бедный провинциальный черт... Но я упомяну вас в завещании...

— Вы очень добры, господин Швальбе, расточительно добры! — И Бах, смеясь, пошел прочь, но на душе у него было черно...

Господин Швальбе не упомянул Баха в завещании по той причине, что, подобно многим суеверным людям, не позаботился составить его своевременно, считая, что для выражения последней воли еще достаточно времени впереди, а времени и не оказалось. Да ведь противно в расцвете лет и сил устраивать свое посмертное хозяйство. И хотя по отсутствию наследников Швальбе намеревался все нажитое завещать городу для благотворительных целей, а это легче, чем обогащать людей, только и ждущих твоей смерти (Марихен за многообразные услуги причиталась весьма скромная сумма), нотариус не успел перешагнуть

порога его дома. Исход синдика Швальбе был внезапен и нелеп.

Заподозрив, что хозяин водит ее за нос, Марихен решила прояснить будущее и радостно объявила ему о своей беременности. У нее не было четкого плана, все зависело от того, как примет известие господин Швальбе. В случае чего беременность могла оказаться и ложной. Но если бы синдик обрадовался наследнику и пожелал вступить в законный брак с матерью своего будущего ребенка, ловкая женщина представила бы младенца в положенный час, недаром ее настоящее имя было Мариула. Но меньше всего рассчитывала цыганка на те открытия, которые обрушил на нее разъяренный синдик. Потеряв голову от гнева и ревности, господин Швальбе не подверг и минутному сомнению признание Марихен. Ее измена потрясла его гордость, отняла уверенность в своей силе и власти, лишила всякой осмотрительности. Подлый расчет Марихен был ясен как день. Она воспользовалась его отсутствием, когда он бежал от Баха сперва на пустошь, потом в Дрезден, чтобы понести от прохожего молодца и, обманув его мнимым отцовством, женить на себе. А ведь он обязан был предвидеть такую возможность, когда давал ушедшей девке свои лживые посулы. Он сам во всем виноват! И, бешено злясь на себя, Швальбе еще сильнее ненавидел изменницу, бесстыжую, наглую тварь, вздумавшую завладеть его добром с помощью чужого пащенка. И почти с наслаждением выложил Марихен всю правду о себе. «Так ты пустоцвет?» — каким-то странным? оползающим голосом произнесла Марихен и что есть силы ударила себя кулаком в лоб. А потом она валялась у него в ногах, каясь в глупом, но необходимом для чести господина обмане, клялась в любви и верности, умоляла вызвать доктора Теофилуса, чтобы тот удостоверил ее полную невиновность. Но синдик остался глух. Он выгнал Марихен из дома, даже не позволив толком собраться. Она ушла в слезах, прихватив лишь тощий узелок.

На другой день один из постоянных клиентов Швальбе, войдя в незапертый и словно брошенный дом, обнаружил в спальне сияющий всеми цветами радуги труп. Он с воем выскочил на улицу. Ни один пасюк не был расцвечен так щедро и ярко, как почтенный синдик, — Марихен расстаралась для бывшего любовника. Не будь Швальбе таким богатым человеком, ему наверняка отказали бы в церковном погребении, тут крепко припахивало нечистой силой. Но он оставил после себя много всякого добра: земель, недвижимого и движимого имущества, товаров (наличных денег, ко всеобщему удивлению, не оказалось), и само богатство свидетельствовало о праведности господина Швальбе. Позвали цирюльника, под его мазями, помадой, пудрой исчезли разноцветные полосы, вот только легкого свечения не удалось погасить, его щедро приравнивали к таким явлениям святости, как нимб. Отпевали Швальбе в Томаскирхе, но не Бах управлял хором, он в это время находился в Потсдаме, у короля Пруссии...

Давно уже Эммануил, второй по старшинству, но первый по разумности, солидности и положительности сын Баха, связал свои жизненные надежды с Фридрихом Прусским. Он поступил к нему на службу аккомпаниатором («Флейтист-поэт» — называли Фридриха при дворах европейских монархов), когда тот был еще кронпринцем, не любимым, жестоко притесняемым, даже не раз публично битым по щекам своим отцом Фридрихом-Вильгельмом I. Скромный аккомпаниатор терпеливо делил все невзгоды, выпадавшие на долю его господина. Безупречная преданность была вознаграждена. Когда Фридрих вступил на престол, Эммануил стал, по существу, директором всей дворцовой музыки и доверенным лицом государя. В эту счастливую пору отец гостил у него в Берлине, и Эммануил загорелся желанием свести его с королем. Бах, посмеиваясь, отказывался. Зачем ему это надо: он носит звание придворного композитора курфюрста саксонского Августа и не собирается менять покровителя.

— Об этом и речи нет, — настаивал Эммануил. — Но почему бы не иметь в запасе прусского короля?

— Я боюсь Гогенцоллернов. Они властолюбивы, воинственны, грубы и бесцеремонны.

— Только не Фридрих! Да и какой он Гогенцоллерн? — Эммануил понизил голос до шепота, хотя разговор происходил в его доме при закрытых дверях. — Ты же знаешь, отец не признавал его... Но независимо от этого — он весь в мать. Настоящий гвельф, чистый ганноверский тип. А все гвельфы любят искусства и науки. Генрих Лев покровительствовал поэтам, Антон-Ульрих сочинял церковные песни, весьма изрядные, и романы, довольно скучные. Сам Фридрих обожает флейту.

— Но еще больше, я слышал, он обожает лошадей, и еще больше — военные походы. Не успел вступить на престол, а уже напал на Силезию.

— Сами виноваты!..

— Вот-вот. Ты настоящий придворный, сын мой, оправдываешь любой поступок своего государя. Интересно, что ты скажешь, когда он нападет на Саксонию?

— Этому не бывать! — пылко вскричал Эммануил. — Ты просто дразнишь меня, отец.

— Ничуть. Помяни мое слово. И как я тогда буду выглядеть в глазах курфюрста Августа?

Поистине в воду глядел Иоганн Себастьян. Через четыре года после этого разговора прусские полки вторглись в Саксонию, сожгли Лейпциг. А еще через два года Бах отправился в Потсдам. Фридрих II стал уже тем государем, чьим приглашением не пренебрегают. Бах мог сколько угодно твердить Анне Магдалене и домашним, что едет познакомиться с женой сына и покачать колыбельку внука, он ехал потому, что прусский король обмолвился о своем желании видеть «старого Баха». А если б он посмел заглянуть в себя еще глубже, то обнаружил бы, что связывает с этой поездкой некоторые тайны-надежды. Зброшенное в него синдиком Швальбе не изжило себя в первом жестоком

разочаровании. Пусть Швальбе оказался жадным ничтожеством, разбуженные им мысли и чувства этим не обесценивались и тревога за будущее своих детищ проросла в кровь Баха. Было бы преувеличением сказать, что он безраздельно отдался этой тревоге. Во вселенной разлито столько прекрасной незаписанной музыки, и к ней, прежде всего к ней, были устремлены помыслы Баха. Но когда музыка отступала, темное облако наплывало на душу. Приглашение короля прусского, переданное Эммануилом, зажгло огонек робкой надежды...

Верный своей привычке, Бах вышел из Лейпцига пешком, а в пяти верстах от города его нагнал заранее нанятый возок, где лежали чемодан с праздничным платьем, скрипка в футляре. Бах заехал в Галле, где забрал своего любимца, старшего сына Фридемана. Он опасался, что сына не отпустят, но Фридеман лишь высокомерно усмехнулся: «Я сам себе голова». Отцу не могло не польстить столь независимое положение сына. Иоганн Себастьян считал, что во Фридемане, единственном из даровитого клана Бахов, есть искра гениальности, и боялся, как бы от слишком усердных возлияний эта искра не погасла. И хотя во внешности Фридемана появилось что-то от забулдыги-офицера: красноватая кожа, пористый, какой-то нахальный нос, задиристый блеск глаз из-под лихо нахлобученной широкополой шляпы, от него веяло бодростью и жизненной силой. В радужном настроении отправились отец с сыном в путь. Фридеман все время добродушно посмеивался над младшим братом — придворным втирушей — и более зло — над его державным покровителем.

— Он не успокоится, пока не перевоюет со всей Европой. Единственно, что по-настоящему влечет «просвещенного» монарха, — это слава первого полководца века.

— Он хорошо начал свое царствование.

— Ты имеешь в виду нападение на Силезию?

— Нет, его внутренние преобразования.

— А-а! Он действительно распустил полк великанов.

— Не только. Отменил пытки. Продажу должностей. Ускорил судопроизводство.

— Небось Эммануил напел? О втируша, лукавый царедворец! Все указы Фридриха — для господина Вольтера и будущих историков. Ему смертельно хочется стать «великим». Этому не удостоились ни его отец, ни дед, и пора бы уже на прусском троне воссесть «великому». Он отменил пытки, а избиение подследственных продолжается. Он якобы реформировал суд, на деле же подменяет собой и судей, и всех прочих чиновников.

— А хлебные магазины для крестьян?

— Да, он понял, этот светлый ум, что если крестьяне перемерут от голода, то некому будет кормить армию.

— Ты слишком строг к великому государю.

— Вот, вот, ты уже говоришь «великому». А почему? Тебе льстит его приглашение. Ты, наверное, и музыку ему посвятишь... Что ж, он, надо полагать, тоже не поскупится. Еще одна чистая душа уловлена венценосным пауком.

«Пусть будет так! — подумал Бах. — Улови мою душу, король. Для этого так мало надо: сколько-то белой бумаги да типографской краски. Улови мою душу, король. Сними проклятье немоты с моих созданий, дай им жизнь и будущее...»

Катился возок мимо истощенных военными поборами городков, нищих деревень — грустный пейзаж столь блестящего царствования, — приближаясь к резиденции короля Пруссии.

О приезде Баха Фридриху сообщили почти в ту самую минуту, когда запыленные, усталые путники переступили порог дома придворного аккомпаниатора. Что-что, а служба наблюдения была поставлена образцово, как и положено в каждом истинно просвещенном государстве.

— Немедленно звать во дворец! — приказал Фридрих.

Он вертел в руках флейту. В зальце для камерных концертов музыканты настраивали инструменты, за клавишном сутулилась широкая спина Эммануила. Приглашенные почтительно ждали выхода венценосного солиста.

— Господа! — громко сказал, появляясь, Фридрих и сам удивился волнению, перебившему его твердо поставленный на плацу и в битвах голос. — Концерт отменяется. Старый Бах приехал.

Он обернулся к обрадованному Эммануилу.

— Сейчас ваш отец будет здесь. Встретьте его.

Бах даже не успел помыться и переодеться с дороги. Приглашение короля, переданное гайдуком, звучало с грозной вежливостью, исключаяющей медлительность. Он с грустью поглядел на извлеченный из чемодана слегка помятый сюртук английского сукна — невестка уже раздувала утюг, — обмахнулся веничком из перьев, натянул парик и со вздохом сказал посланному, что готов следовать за ним. Фридеман отнесся к случившемуся с философским спокойствием и даже не потрудился выбить пыль из складок дорожного платья, да ведь не его ждали во дворце с таким нетерпением.

Старый Бах интересовал Фридриха. Это объяснялось и музыкальными наклонностями короля, и высочайшей репутацией Баха как исполнителя клавирной музыки, и рвением Эммануила, широко познакомившего своего повелителя с произведениями отца, в том числе с пленительной сонатой для флейты, но, пожалуй, более всего — его исключительным нюхом на людей выдающихся. Насколько глубоко постигал он музыку Баха, сказать трудно, у него было слишком мало свободного времени — и физического и душевного, но безошибочным чутьем он угадывал, что эта музыка останется, в то время как музыка куда более популярных композиторов замолкнет в самом непродолжительном времени. Остаться же, разорвать тенета века было для Фридриха высшей целью, какую мог поставить себе смертный человек. Сам он хотел остаться как лучший полководец своей эпохи. Разумеется, смешно объяснять многочисленные, да что там — бесконечные войны Фридриха желанием доказать свой полководческий гений. Всякая власть, даже неограниченная, деспотическая, дается на

неких условиях, что нигде не фиксируются, никем не подписываются, но настолько непреложны, что любая попытка нарушить их ведет к краху власти. Условия, на которых получил свою власть Фридрих: сильная, неуклонно расширяющаяся за счет соседей Пруссия. Но выполнять условия можно разными путями: переговоры, интриги, подкупы, союзы, главный смысл которых — вовремя изменить; Фридрих же признавал лишь один путь — войну. И вовсе не по солдатскому прямодушию, чуждому кривым обходам. Написав в молодости программный труд «Анти-Макиавелли», привлекая к нему лучшие и наивнейшие сердца Европы, Фридрих, взойдя на престол, действовал в государственной практике только по рецептам циничного итальянца, с той разницей, что в своих наставлениях государю Макиавелли исходил из условий слабых, дробных итальянских княжеств, а у Фридриха были иные масштабы...

Иоганн Себастьян понравился королю. Статью это был тот же Эммануил: кряжистый, тучный немецкий бюргер, но лицом куда благообразней и значительней. Эммануила портил растянутый лягушачий рот. Другой сын, на которого Фридрих едва взглянул — зачем ему копии, если имеется подлинник? — ближе к отцу сильной лепкой простых и правильных черт, но во взгляде его не было отцовской спокойной сосредоточенности, скорее дерзость, чего Фридрих терпеть не мог. И он сморгнул Фридемана, как соринку с века. К сожалению, старый Бах затеял длинные, витиеватые и нудные извинения по поводу своего дорожного вида. И так известно, что он не виноват, ему велено было явиться как есть, вот он и явился. Может, так принято у них в Саксонии?

— Хорошо, хорошо, дорогой Бах! — нетерпеливо воскликнул король. — Клянусь Богом, мы рады видеть вас и без вашего превосходного, в том нет сомнений, черного канторского сюртука.

Кто-то из придворных хихикнул, Бах и бровью не повел. Он продолжал свои извинения, напирая на то, что ока-

занная ему великим монархом честь требовала от него явиться в полном параде. «Это характер! — отметил про себя Фридрих. — Его нелегко сбить». Наконец Бах закончил свой монолог, низко, с достоинством поклонился и сказал, что весь к услугам его величества.

Сохранился рассказ Вильгельма Фридемана о пребывании Баха при Потсдамском дворе в передаче музыковеда Иоганна Николауса Форкеля. Мне нравится точность и простота этого непритязательного рассказа. «Король пожелал услышать из уст старого Баха, как его называли уже тогда, оценку фортепиано работы Зильбермана, которые стояли во многих комнатах дворца. Музыканты ходили вместе с Бахом и королем из комнаты в комнату, и Бах пробовал каждый инструмент и импровизировал при этом. Опробовав таким образом инструменты, Бах попросил у короля дать ему тему, чтобы сразу же симпровизировать на нее фугу. Король пришел в восхищение от того, с каким знанием дела была разработана без подготовки его тема, и высказал желание, якобы лишь с целью полюбопытствовать, на что может быть способно такое искусство, послушать еще и фугу с шестью облигатными голосами. Но так как не всякая тема может быть проведена с таким количеством голосов, то Бах сам выбрал тему и исполнил ее сразу же, к громадному восторгу присутствующих показав такое же искусство и умение, как и в проведении темы короля...»

Но то ли Вильгельм Фридеман не все рассказал Форкелю, то ли сдержанный профессор сам пожертвовал некоторыми подробностями, поскольку не был любителем острых блюд. Так, Фридриха приметно смутила его промашка с шестью облигатными (обязательными) голосами, он покраснел и зафыркал, что было у него признаком крайнего раздражения. И придворные совсем оробели, когда старый Бах не только не сгладил ошибки короля, а усугубил ее своими слишком подробными разъяснениями в учительско-назидательном тоне. Но, как было вскоре замечено, раздражение короля не косну-

лось Баха, и он продолжал держаться с музыкантом милостиво, даже почтительно.

Бах произвел на короля куда более сильное впечатление, чем представлялось окружающим. Фридрих высоко ценил профессионализм в людях. А этот грузный старик с летучими руками знал все в своем деле, для него не было никаких тайн и секретов. И еще Фридрих никогда не думал о смерти, боялся этих мыслей, не думал и о загробной жизни и, кажется, не очень верил в нее, но часто, много и охотно думал о том втором и высшем бытии, которое выпадает иным избранникам и, без сомнения, выпадет ему. Разве Александр Македонский, Юлий Цезарь, Ганнибал, Сенека или Данте менее реальны в сегодняшнем дне, чем какой-нибудь герр Штрумпф с раздутым от пива брюхом, или крестьянин, надрывающийся на пашне, или те безакиие, которыми он унавоживает поля сражений? Во всяком случае, Фридрих соизмерял свои поступки с деяниями Александра или Цезаря, а не герра Штрумпфа, хотя телесно те давно обратились в прах, а герр Штрумпф ест, пьет, горланит песни, смердит, трясет постель, вообще многими вульгарными способами заявляет о своем пребывании в мире. Но он-то как раз дух, призрак, ничто, а Александр и Юлий Цезарь, Сенека и Данте живут в других великих, и даже чернь благоговейно повторяет их имена. И Фридрих смотрел на Баха как на своего возможного партнера по бессмертию. Их имена, верно, будут сталкиваться там, за чертой физического существования, в недоступном для простых смертных далеке, которое одно лишь — навсегда. В вечности не будет людей, окружающих Фридриха на поле битвы. О тех же, кто составляет его совет, и говорить не приходится, их уже все равно что нет, но будет этот мощный старик с голубым взором, замутненным надвигающейся слепотой.

И, желая видеть Баха в наилучшем виде в той вечной жизни, где им предстоит встретиться, Фридрих заботливо осведомился, когда намерен тот подарить миру собрание своих сочинений. «Все мы смертны, дорогой Бах, и, хотя вы

держитесь молодцом, есть дела, которые нельзя затягивать. Вы сами должны проследить за изданием». Ощущение чего-то уже раз бывшего коснулось Баха, но он не стал в нем копаться. Слишком неожиданным и радостным было сказанное государем. Ужели его тайная мольба проникла в душу Фридриха? Не заговори король об этом сам, он так бы и уехал из Потсдама. Разве хватило бы у него духу обратиться с денежной просьбой к чужому повелителю? Конечно, оставалась надежда на Эммануила. Да согласился бы этот осторожный, осмотрительный и крайне расчетливый во всех поступках царедворец ходатайствовать за своего отца? Наверное, согласился бы скрепя сердце, но тяжело и недостойно просить через другого, даже если другой — твоя родная плоть и кровь. И как же все сейчас божественно упростилось!..

— Увы, ваше величество, о каком издании может идти речь? Мне оно не по карману.

— Не прибежняйтесь, дорогой Бах! — чересчур поспешно вскричал король. — Никогда не поверю, что мой кузен Бранденбург не прислал вам славного подарка за концерты, названные его именем.

— Осмелюсь ли я говорить неправду вашему королевскому величеству? Я не корысти ради делал скромное подношение герцогу Бранденбургскому, но вправе был рассчитывать хоть на маленькую благодарность, на знак того, что мой дар принят милостиво. Мои ожидания оказались напрасны.

«Браво, Бранденбург! — хохотнул про себя Фридрих. — Это надо иметь в виду, поскольку и меня ожидает подношение. Даже табакерочки пожалел великому музыканту. Вот жмот так жмот! И гром не грянул, и земля не разверзлась. Неблагодарность не значится среди смертных грехов. Очевидно, всевышний полагает ее естественной принадлежностью своего любимого творения».

— Когда я победил знаменитого Маршана... — На больших, чуть обвисших щеках проступила лиловая сетка —

Бах никогда не хвастался своими музыкальными триумфами, и ему было стыдно, — французский органист просто не явился на турнир, послушав накануне мою игру, удрал с утренней почтой, я опять не дождался ни вознаграждения, ни обещанного подарка. И все же я встретил однажды щедрого господина: русский посол при Дрезденском дворе граф Кейзерлинг пожаловал мне сто луидоров в золотом кубке за «Гольдберговские вариации».

— Ого! — вскричал Фридрих. — Сто луидоров и золотой кубок за одно сочинение! Недурно, недурно! Хотел бы я так зарабатывать. Он чертовски богат, граф Кейзерлинг. К тому же русская царица щедро оплачивает его сомнительные услуги. Мне бы царскую казну! Какая несправедливость: варвары имеют все — золото и серебро, руды и драгоценные камни, а в бедной маленькой Пруссии нет ничего, кроме желудей.

Фридрих уже понял, что к нему обратились с замаскированной просьбой, которую он сам неосмотрительно спровоцировал. Никогда не надо лезть в чужие дела, там всегда неблагополучно. Мог ли он думать, что этот величавый старик, этот плодовитейший музыкант бедней церковной крысы?

Фридрих был скуп, как мелкий лавочник или как настоящий Гогенцоллерн. Тут уж в нем не было ничего от гвельфов. Он знал за собой эту черту и ценил ее, ибо деньги были нужны для войны, их постоянно не хватало, и всякая щедрость, даже в малом, преступна. И все же на мгновение в нем шевельнулось: кому-кому, а старому Баху стоило бы дать... Нет! — одернул он себя чуть опечаленно, но твердо. Что я — меценат, Лоренцо Великолепный, папа Юлий, покровитель искусств, чтобы опустошать скудную казну для публикации музыкальных шедевров, до которых никому нет дела? Я не Генрих Лев и не Антон-Ульрих и вообще не настолько гвельф, чтобы служить музам, я служу Марсу. Будь хотя бы он в моем штате, приноси славу моему царствованию, идее Великой Пруссии, пробуждай в сердцах

юнкеров и бюргеров патриотический восторг, тогда бы... Тогда бы мы еще подумали, стоит ли тратиться. Но его музыка недоступна моим добрым подданным, и хорошо, что недоступна. Когда они подымутся до такой музыки, то перестанут быть добрыми подданными. Конечно, нежелательно было бы лишиться приношения. Этот старец, поди, в заговоре с вечностью и может мне крепко навредить там. Музыкальное приношение должно состояться, я предложу ему новую тему. Это повяжет нас прочнее прочного. Зачем его отталкивать? Пусть сам откажется от просьбы, так и не выговоренной вслух.

И Фридрих сказал тепло, доверительно, с оттенком легкой грусти:

— Дорогой Бах, вы что-нибудь слышали обо мне как о военачальнике?

— Государь, молва называет вас величайшим полководцем века. Я ничего не смыслю в военном деле и могу лишь тихо сожалеть, что звук боевой трубы заставляет вас прятать в футляр флейту, в игре на которой вы, ваше величество, достигли выдающегося мастерства.

«Он льстит, дело плохо!» — отметил про себя Фридрих.

— Да, вы не много знаете, во всяком случае, не больше других, приписывающих мне стратегический гений и черт знает какие еще полководческие достоинства. Так вот: наемная армия исключает гениальность полководца. Тут все predetermined: построение, нехитрый маневр — сплошной шаблон и рутина. Знаете, чем я беру? — Фридрих понизил голос: — Шесть выстрелов и еще зарядение в минуту. У меня этим владеет каждый пехотинец. Вот и все.

— И ничего больше? — спросил опешивший Бах.

— Ровным счетом ничего. Но надо было додуматься до такой простой мысли. И научить этих олухов с негнушающимися пальцами скорострельности. Добро бы раз научить. Но ведь их убивают, все равно рано или поздно убивают вражеские солдаты, стреляющие куда медленней, а тут еще

дезертирство — бич наемных армий. И надо учить новобранцев. И одевать. И снабжать оружием. И пулями. А для того чтобы так быстро стрелять, нужно очень много пуль. На все требуются деньги, дорогой Бах, очень, очень много денег. Знаете, кто выигрывает войну? Тот, у кого остается один лишний талер. Пора Фермопил миновала, нынешние войны идут на измор, поэтому они так продолжительны. Воюют не до победы, а до полного изнеможения, до окончательного истощения сил. И вот, когда уже все выдохлись, у кого-то оказывается в кармане лишний талер, и эта блестящая монетка решает дело.

— Кажется, я понял, ваше величество, — задумчиво, будто издали, проговорил Бах. Он в самом деле отдалился от собеседника, ушел в самого себя, пытаясь постигнуть то страшное ощущение уже раз пережитого, которое овладело им с обморочной силой.

О Господи, спаси и помилуй, ведь сейчас снова звучала тема синдика Швальбе в том последнем ее повороте, когда поддельный демонизм обернулся обывательской дребеденью. Но что общего у великого короля, прославленного полководца с лейпцигским обывателем? Многое! Скупость. Неспособность вышагнуть из своих пределов, Убогий прагматизм. А разница лишь в масштабах. Бах взглянул на Фридриха. Какой он щуплый, узенький в своем мундирчике, какое у него обобранное, нищее лицо. И тут их прервали. Стремительно вошел долговязый человек, весь в черном, и протянул королю свернутый в трубку лист бумаги.

— Я сказал, чтоб меня не тревожили! — обрушился на него Фридрих, но Баху показалось, что он рад помехе.

— Ваше величество приказали все дела по кавалерии...

— А-а! — смягчился Фридрих. — Что там у вас?

— Суд вынес смертный приговор улану за мужеложство.

— Еще чего? — холодно сказал Фридрих. — Так я и вовсе без армии останусь. Если этот улан такая свинья, перевести его в пехоту.

Он взял приговор и разорвал на четыре части.

Человек в черном низко поклонился и, пятясь, вышел.

— Идиоты безмозглые! — взорвался Фридрих. — Убивать солдата — дело врага. Пусть истратит на него хоть пулю. Хоть мускульное усилие на удар штыком. Всем на все наплевать. Можно подумать, что Пруссия нужна мне одному. Приходится вникать в каждую малость. Иначе все пойдет прахом. Я считаю себя первым слугой государства, но я уже не слуга, а лакей!. Боже, юношей я мечтал о лаврах поэта. Создать «Атала» мне казалось куда почетней, чем выиграть Тридцатилетнюю войну. В сущности, я и сейчас так считаю. Какой же вы счастливый человек, Бах, что можете думать о гармонии, а не о свинье улане, насилующем новобранцев. Мне бы чистоту ваших забот. Как я вам завидую!..

Король явно переигрывал, и Баху стало неприятно, что из-за жалких денег, которые Фридриху как ему — мелочь, бренчащая в кармане, он так ломается и фальшивит. Отказывать надо с большим достоинством. Зачем все это шутовство, когда уже и так все ясно.

— Не смею злоупотреблять драгоценным временем вашего величества! — сказал Бах, наклонив в поклоне крупную голову под крепко завитым париком.

Фридрих удивился странной грусти, охватившей его, когда за Бахом закрылась дверь. Казалось, ушло что-то важное, чистое, нужное, чего постоянно недоставало его жизни, но без чего он вроде бы приучил себя обходиться. Конечно, это чувство пройдет, все станет на свои места. А уж если допечет ничтожество и зависимость окружающих, можно отвести душу в письмах, есть же в мире настоящие люди. Но сейчас ему было грустно, и общество себе подобных казалось невыносимым. Он закутался в плащ и вышел из дворца. Назвав пароль часовому, пересек парадный двор и, толкнув деревянную калитку, оказался возле служб.

Плотный, теплый запах лошади и овса, замоченного вином, приятно заложил ноздри. Конюхи, конечно, узнали

короля, но как ни в чем не бывало продолжали заниматься своим делом. Так им было приказано. Лишь старший конюх и объездчик Фриц, слышав быстрый, цокотливый от высоких каблуков шаг своего венценосного тезки, вышел с ведром и скребницей из денника шестилетней кобылы Тилли, королевской любимицы.

Тилли, переступив копытами, чуть слышно, нутряно заржала и потянулась к Фридриху мордой, вздергивая сафьяновую губу над желтыми резцами. Фридрих знал, что лошади глупы, беспамятливы, неблагодарны и в этом смысле мало чем отличаются от людей. Но он заставлял себя думать, что Тилли радуется ему, а не куску сахара, который он всегда носил в кармане и, прежде чем дать ей, очищал от крошек табака. Ему хотелось бескорыстной любви. А вообще-то маленькая жадность к сахару прощительна. Зато лошадь никогда не лжет, не ищет выгоды, не заискивает, покорно и достойно принимает любые тяготы, бесстрашно идет в бой, погибает без жалобы, никогда не предает и не бежит с поля битвы, если ее не заставляет всадник. Во всем этом лошадь так безмерно возносилась над человеком, что Фридрих понимал Гая Калигулу, который ввел своего коня в сенат. Уж наверняка этот добрый конь, не тягаясь с сенаторами в лукавом красноречии, превосходил их честностью и благородством. И потом — лошадь так красива, так гармонична и совершенна в каждом движении: упругой работе ног, вскиде и повороте гордой головы, лебяжьим выгибе шеи. И какая чудная музыка в ее аллюре, шаге, нарыси, курц-галопе, галопе, марш-марше слани, когда лошадь стелется по земле и сердце готово разорваться от счастья. И как дико, что лошадь, Богово совершенство, должна служить человеку, а не наоборот. Справедливость восстанавливается лишь в конюшне, у тех, кто умеет по-настоящему ценить лошадь. Он заставляет своих конюхов языком вылизывать денники. А как издеваются над лошадью простые люди, особенно крестьяне, целиком зависящие от ее труда. Хлещут кнутом даже по глазам, мерзавцы, не

кормят, не чистят, то весь день не поят, то опаивают до порчи. Слеза посолила уголок губ. Фридрих обнял Тилли за шею, прижался щекой к шелковистой морде. Мягкое хрумканье щекотно отозвалось в ухе.

— Милая!.. Красавица!.. Какая ты чистая, шелковая!.. Как вкусно от тебя пахнет!.. До чего же ты вся хорошая, славная моя лошадка! А твой папа Фриц не был сегодня хорошим, ох не был. Дрянью твой папа Фриц, скупердяй, мелочная душонка. Раз в жизни мог совершить доброе, святое дело и не поднялся над собой. Думаешь, побоялся украсть несколько грошей из приданого бедной девочки Пруссии? Да нет же, просто гнусный скряга. Настоящий Гогенцоллерн, этим все сказано. Какая шваль смешивала свою кровь из столетия в столетие, чтобы создать столь мерзкий родовой тип? И отец еще не считал меня своим сыном! Ну уж сегодня-то он понял, что мы одна плоть. Ох и гордился же мною папаша, облизывая сковородки в аду...

...С обычной щедростью бедных людей к богатым Бах выполнил свое обещание Фридриху: его «Музыкальное приношение» содержало трехголосный и шестиголосный ричеркар, шесть канонов и каноническую фугу. Не постояв перед расходами, он отдал гравировать ноты.

Через некоторое время Эммануил в сдержанных до сухости выражениях уведомил отца, что приношение его принято милостиво...

Анна Магдалена, умная и любящая жена, давно уже заметила тщательно таимую мужем душевную невзгоду. Она стала уговаривать его издать сочинения за свой собственный счет, не надеясь на благородный жест равнодушных и жадных богачей. Бах упрямо возражал, что скудный его нажиток принадлежит семье и он скорее уничтожит все написанное, нежели пустит по миру своих близких. Анна Магдалена выражала твердую уверенность, что издание не только окупится, но даже принесет им богатство, пусть и не сразу. Она была уверена в обратном, но голос ее звучал так искренне, что Бах дрогнул. Как бы легка была

ему кончина, которая уже не за горами, если б он оставил дорогой жене и милым детям чуть побольше денег. В тяжелые минуты, когда свет совсем погасал в его глазах, он видел внутренним вещим зрением Анну Магдалену в нищенском образе обитательницы дома призрения. И слезы катились по его осунувшемуся лицу.

Анна Магдалена нашла способ значительно удешевить издание. Они будут сами гравировать ноты. Таким образом, деньги уйдут лишь на медные доски и на бумагу. «Мне понадобится еще одна жизнь, чтобы справиться с такой работой», — мрачно шутил Бах, но в конце концов решил сделать опыт — издать «Искусство фуги». Превозмогая режущую боль в глазах, он принялся каллиграфическим почерком переписывать ноты для гравирования. Эта тонкая и напряженная работа окончательно доконала его больные глаза. В отчаянии Бах решился на тяжелую, мучительную операцию, в успех которой не верил. Знаменитый английский хирург (раздутое ничтожество) бесстрашно сделал свое черное дело. К полной слепоте прибавились непрестанные боли. Пришлось подготовленные к гравированию ноты отослать в типографию Шюблера, которому Бах некогда поручил издание «Музыкального приношения».

Отдав это распоряжение, Бах как будто потерял всякий интерес к судьбе своих сочинений. Он диктовал мужу старшей дочери, музыканту Артникулю, хоральную фантазию на мелодию «В тягчайшей скорби», но назвал ее первыми словами молитвы «Перед твоим престолом».

Из тьмы и нестерпимой, пронзающей мозг боли исторглась не жалоба, не мольба о милосердии, не скорбный упрек, а чистая, прозрачная хвала Господу, исполненная смиренного благочестия.

И, давно разочаровавшийся в созданных им по образу и подобию своему, Вседержитель поверил, что еще не все пропало, и, умиленный, ниспослал чудо, чего за ним давненько не водилось: отверз Баху вежды.

Бах увидел прекрасное лицо жены, освобожденное любовью и терпением от всех земных тяжестей, увидел милые, бедные, испуганные лица детей и тихо, спокойно простился с ними, ибо понял, что за ниспосланной ему милостью последует не исцеление, а скорая кончина. О своих сочинениях он даже не упомянул, и это больше всего мучило Анну Магдалену.

А что бы Вседержителю расщедриться и сунуть Баху под подушку полный кошелек! Тогда бы знал умирающий, что не пропадет, не сгинет созданное им, и блаженно легко, светел стал бы его исход. Да ведь то был скаредный немецкий бог, так же не способный вышагнуть из самого себя, как не смогли этого ни Ганс Швальбе, ни Фриц Гогенцоллерн.

Старшие сыновья Баха не были в Лейпциге, когда он умер. Но они приехали на похороны, имевшие место 31 июля 1750 года во дворе церкви св. Иоанна. А на другой вечер после похорон Фридеман и Эммануил заперлись в кабинете отца, где хранились его музыкальные сочинения. Конечно, они многое знали, да почти все знали, кроме, разумеется, новых фуг и последнего хорала, но кое-что забылось, кое-что звучало сейчас по-иному, а главное, впервые стал обозрим весь геркулесов труд. Оба читали с листа так же бегло, как их отец. Всю ночь напролет просидели братья в запертом кабинете при тусклом свете оплывающих свечей, спиной друг к другу, уставясь в ноты, прижав кулаки к вискам, будто в опасности, что лопнет черепная коробка под напором звуков. Пот орошал высокие баховские лбы, истекла слезами родовая голубизна глаз, и, если бы какой-нибудь лейпцигский обыватель заглянул в прорезь ставен, он принял бы этих людей за сумасшедших.

Оцепенелый от свежей утраты, погруженный в тяжелый, провальный сон, старый дом был так тих, что слабый шорох, треск рассохшейся половицы, чей-то прерывистый вздох казались пугающе громкими. Но братья не слышали

пустой тишины дома, им гремели оркестры, и стон хоралов, возносящихся к престолу Бога, надрывал душу.

Под утро они разошлись, не сказав друг другу ни слова. После короткого сна снова заперлись в кабинете. Так длилось несколько дней и ночей. Когда же наконец окончился невероятный концерт, они были в полном изнеможении.

— Какие же мы все-таки дети рядом с Ним! — вздохнул Фридеман и смял ладонями лицо.

— А ведь, пожалуй, если все это обнародовать, — задумчиво проговорил Эммануил, — не станет ни династии, ни роду, ни семьи музыкантов Бахов. Будет один Иоганн Себастьян во веки веков.

Этот голос унылого практицизма снял колдовские черты, Фридеман громко расхохотался.

— Неужели ты, братишка, метишь на роль Главного Баха?

— Ни на что я не мечу, — кисло отозвался Эммануил. — Но чем скорее мы выработаем собственный стиль, тем будет лучше для нас. На стезе отца мы останемся его бледными тенями.

— Целиком согласен с тобой. Но при чем тут его музыкальное наследство?

— Ни при чем. Я только хотел сказать, что нелегко нам будет выпростаться из-под такой махины.

— А что, если собрать все это в кучу да...

— Перестань, Фридеман! Ты был любимцем отца, как поворачивается у тебя язык, пусть даже в шутку... — оскорбился Эммануил.

— Не ханжи! — оборвал брат. — Я пытаюсь понять, что у тебя на уме.

— Я ничего не скрываю...

— Ну так не тяни! — вскипел Фридеман.

Старшие сыновья унаследовали недостатки отца, так же как и его достоинства. Но если достоинства перешли к ним в ослабленном виде, то недостатки, напротив, усилились до степени пороков. Так, вынужденная и разумная

расчетливость Баха обернулась в Эммануиле болезненной скупостью; отцова настойчивость переросла во Фридемане во вздорное упрямство, а готовность защищать свое достоинство стала всегдашней настроенностью на ссору и скандал. Эммануил знал характер брата и побаивался его. Он оставил без внимания его оскорбительную выходку и сказал миролюбиво:

— Мы должны позаботиться о памяти нашего отца.

— Почему так робко, так неопределенно? — насмешливо спросил Фридеман. — Наша обязанность — издать все произведения отца.

— Все? — переспросил Эммануил. — Я не ослышался? Ты действительно сказал «все»?

— Не бойся. Это не помешает твоей блистательной карьере. «Старый Бах» не затмит своего передового сына. Время нашего отца миновало, Эммануил. Горько, что он не сумел им воспользоваться. Он был гением полифонии, мир ее праху. Едва ли во всей Германии наберется горстка людей, способных не то что наслаждаться, а хотя бы выдержать все это! — И Фридеман небрежным жестом указал на груды рукописных нот, загромождавших стол, диван, кресла.

— Значит... — с надеждой начал Эммануил.

— Нет, не значит, — жестко перебил Фридеман. — Тебе очень хочется, чтобы старший брат взял грех на душу и сказал: мы не должны издавать сочинений отца. Ты этого не дождешься. Должны! Устарел Иоганн Себастьян или не устарел — должны.

— Если ты так богат, — от злобы Эммануил перестал бояться, — то о чем говорить? От души рад за нашего отца. Тем более что вкусы меняются. Пусть в ближайшие пятьдесят лет его сочинения не найдут покупателей, кто поручится за будущее? Я уверен, его звезда еще вспыхнет и затмит все остальные светила.

— К чему это витийство? — презрительно, но с ноткой неуверенности сказал Фридеман. — Ты прекрасно знаешь, что денег у меня нет.

— А у меня подавно. Зато у меня есть семья... в отличие от тебя.

— Так что же нам делать? — внезапно пал духом Фридеман. — Ведь не можем же мы...

Подобное случалось нередко: дряблые нервы пьяницы в какой-то момент сдавали. Так было и на этот раз — ослабленный ночными бдениями, горем, лишенный возможности зарядиться — нельзя же пить в доме, где еще витает дух покойного, — Фридеман сник, а там и вовсе рухнул. Теперь, пока факел вновь не возгорится, из него можно веревки вить. И Эммануил уверенно взял в руки бразды правления.

— Я считаю, — сказал он внушительно, — что мы обязаны закончить издание «Искусства фуги». Если оно разоидется, мы издадим хоралы...

— А потом мотеты, мессы, оркестровые произведения! — подхватил Фридеман. — У тебя хорошая голова, братишка. Значит, решено...

Они не лукавили друг с другом и были бы искренне рады и горды, если б сочинения отца нашли спрос. В этом они сходились: расчетливый, трезвый семьянин Эммануил и беспечный кутила Фридеман. Но и любовь к отцу, и преклонение перед его гением не могли заставить их пойти на заведомо убыточное предприятие. Фридеман, возможно, и рискнул бы, но он и так не вылезал из долгов, а Эммануил знал цену каждому талеру и не собирался приносить свой трудно нажитый достаток в жертву сомнительному сыновнему долгу.

«Искусство фуги» увидело свет через два года. На том кончились и хлопоты Эммануила по отцовскому музыкальному наследству. Покупателей нашлось лишь на десяток экземпляров, и, дабы покрыть расходы, Эммануил продал медные доски по цене металла — на вес. Анна Магдалена не могла остановить пасынка, к этому времени она тихо угасала в доме призрания.

Зато Эммануил сохранил ноты отца, доставшиеся ему при разделе, не то что бродяга Фридеман, беспечно разба-

заривший и растерявший большую часть своей доли. А ведь он не меньше брата чтит отца, но оба не могли подняться над временем, отвергшим «старого Баха».

Иоганна Себастьяна забыли настолько основательно, что стали путать с другими членами рода и семьи, его черты вписывали в некий общий портрет полулегендарного музыкального чудесника, что заставлял звучать давно обезголосевшиеся органы, завораживал музыкой зверей и птиц, исцелял недуги. Этот граф Калиостро от музыки не имел никакого отношения к создателю «Страстей по Матфею», «Бранденбургских концертов», «Искусства фуги», «Клавирных упражнений». И Великим Бахом стал-таки в глазах современников одаренный и трудолюбивый Эммануил, который с достоинством нес это звание. Дебошир, пьяница и бродяга Фридеман, растерявший в своих бесконечных странствиях все, кроме исполнительского мастерства, спокойно-иронически следил, за возвышением Эммануила, довольствуясь славой несостоявшегося гения. Но, пожалуй, самым знаменитым из всех Бахов стал младший брат, Иоганн Христиан, так называемый Лондонский Бах, автор популярных опер. Он плохо помнил отца, был безразличен к его музыке и пренебрежительно называл «старым париком».

Непроглядная ночь поглотила Иоганна Себастьяна, и казалось, навсегда...

В самом начале девятнадцатого века тонкий голос безвестного геттингенского профессора Форкеля назвал Баха «гордостью нации». И никому не пришло на ум, что бессмертие робко постучало в наглухо забитую дверь. Форкель не унимался. Он выпустил небольшую, чрезвычайно ценную по сведениям книжечку о Бахе — первую биографию композитора. Но разве по силам было бедному Форкелю сдвинуть глыбу человеческого равнодушия? Чтобы вернуть в мир гения, нужен другой гений. И он нашелся. Рысьи глаза двадцатилетнего юноши Феликса Мендельсо-

на-Бартольди высмотрели жемчужину в музыкальной заваляшке прошлого — «Страсти по Матфею».

11 марта 1829 года тонкая рука сидящего за роялем Мендельсона (он дирижировал, согласно традиции берлинской Певческой академии, сидя за роялем, боком к публике) подавала знак хору, и спали чары векового забвения. Великий Бах вернулся в мир, и начался новый отсчет музыкального времени.

В начале нашего столетия другой высокоодаренный молодой человек, эльзасец родом, сочетавший в своей личности немецкую мечтательность с французским рационализмом, философ, богослов, органист, написал замечательную книгу об Иоганне Себастьяне Бахе. Его звали Альберт Швейцер. И, создав эту удивительную по глубине и проникновенности для тридцатилетнего человека книгу, трогательно притворившись в ней бесстрастным исследователем, строгим, не поддающимся увлечению ученым-педаантом, когда вся душа его трепетала от восторга перед объектом исследования, он устыдился вторичности своего дела — рыбка-паразит в акульей челюсти. Он бросил кафедру, блестяще начатую карьеру, отринул все заманчивые предложения, уселся на студенческую скамью и принялся зубрить мучительную, как зубная боль, медицинскую латынь. Зная, что ему не по плечу творческий подвиг, достойный Баха, он решил подняться до него живым деянием и, выпущенный врачом, уехал в африканские тропики лечить туземцев, вымирающих от сонной болезни, проказы и туберкулеза. Уехал на всю жизнь. Вот так аукнулось гулким стоном органных труб в глубине восемнадцатого века и откликнулось в наше время великим подвижничеством...

Когда перекапывали заброшенный погост при церкви св. Иоанна под крепкие шуточки веселых гробокопателей — ничто так не бодрит душу, как близость иного мира, — полусгнивший гроб с останками Баха нашел приют на маленьком кладбище Томаскирхе. А вскоре прах композитора, признанного «гордостью нации», торжественно пе-

ренесли в церковь, где он столько лет прослужил в скромной должности кантора, и его надгробная плита легла на самом почетном месте. Собственно говоря, вся церковь св. Фомы стала как бы мавзолеем Баха. Это ли не торжество справедливости?

О терпеливый Бах! О неторопливое человечество!

А может, никто не виноват и даже сыновья Баха безвинны перед его тенью? Просто не пришло тогда время для его музыки, и ничего тут не поделаешь, а когда пришло, то все стало на свои места. Поистине «Gottes Zeit ist allerbeste Zeit». Пошли и всем нам мудрого баховского терпения...

КАК БЫЛ КУПЛЕН ЛЕС

Жгутов резко остановился, косо вверх задрал тяжелую голову, будто конь, наскочивший на плетень. Из полуоткрытых окон второго этажа опять звучал низкий, грудной голос хозяйки, порой заглушаемый роялем:

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я страдал
И как я страдаю...

Впервые Жгутов, которому за минувшие дни в ушах настряли и слова и мелодия, заметил, что хозяйка поет о себе, будто о мужчине: « как я страдал». И ему подумалось, что поет она правильно. Барыня Надежда Филаретовна и по характеру, и по сухой, крепкой стати, и по жесткому лицу, и по голосу, и по манере вести дела, заглядывая в самый корень и мгновенно ухватывая главную суть, впрямь походила на мужика. Но голос ее, хоть и низкий для женщины, был все же с подвизгом, чего Жгутов терпеть не мог. Он басов любил и сам в молодые годы подтягивал на клиросе свежим, чистым баском. Но потом застудил горло, осип, да и не до пения ему стало. Впрочем, раздражал его не столько голос поющей, сколько эта изо дня в день повторяющаяся песня, которую управляющий Василий Сергеевич называл «романцем». Она звучала за высокими, полуоткрытыми по теплоте, даже жаркому октябрю окнами обычно за полдень, когда мальчишка-посыльный возвращался с почты.

Барыня ждала какого-то письма, а письма все не было. По выработавшейся с годами привычке думать лишь о своем деле, отменяя чужие заботы. Жгутов поначалу не проявил ни малейшего интереса к этому обстоятельству. Сто-

ворившись с управляющим именьями фон Мекк — он уже имел с ним дела к обоюдному удовольствию, — Жгутов живо прикатил из своей Затрапезовки, но узнал, что барыня «не в духах» и нужный разговор откладывается до более благоприятной минуты. Это его не особо удивило и того менее встревожило. За четверть века, что он ворочал крупными делами, скупая лес, землю, запущенные и вовсе разоренные именья, бездоходные заводи и убыточные фабрики, Жгутов привык к изменчивому, причудливому нраву людей благородного звания и знал, что самое верное средство против их капризов — терпение, выдержка.

Правда, Надежда Филаретовна казалась ему не такой: она была прямая, решительная, твердая в слове, недаром же деловой мир величал ее «мужик в юбке». Но, видать, мужик в юбке не настоящий мужик. Вовсе не по-деловому повела она себя на сей раз. Конечно, он, Жгутов, — черная кость, вчерашний крепостной, и далеко ему до мекковских миллионов, но, коли выгорит у него нынешнее дельце, глядишь, вскорости и самое Меккшу обставит. Главное же — мысль эта странно и щекотно ласкала утрюмую душу Жгутова, — зашибет он капиталец на том самом железнодорожном строительстве, что в сказочно краткий срок принесло покойному инженеру фон Мекку все его миллионы. Правда, Жгутов не собирался сам строить дорогу, ему еще не по чину такой разворот. Читал он по складам, писать почти вовсе не умел, только подписывался, зато счетом владел отменно. Вообще-то построить дорогу не такая уж мудреная штука, вот концессию в Петербурге получить — для этого надо быть не Ивашкой Жгутовым, а фон Мекком или партнером его фон Дервизом. Ладно, мы и на шпалах свое возьмем. Но для этого надобно прежде всего купить лесу, и не где-нибудь, а у Надежды Филаретовны, под боком тех мест, где пройдет новая железная дорога. И купить сегодня же, пока никто еще, включая самое Меккшу, не проведал о предстоящем строительстве, пока цены на лес не подскочили выше самых высоких сосен.

Лес Надежды Филаретовны ценен не только своей близостью к будущей стройке, но и особым качеством: в самом что ни на есть возрасте, дерево к дереву, его б на мачты, а не на шпалы пустить! Да чего там, другого такого леса не то что по всей губернии, а и по всем окрестным землям не сыскать. Везти же издалека — половины прибыли лишиться. Если же к тому добавить громадную взятку за подряд, то наивыгоднейшее, сказочное дело — такое разве присниться может — становится и малоодоходным, и настолько хлопотным, что уж лучше и вовсе отказаться. Нет, лес купить надо у фон Мекк, благо она и цену запросила самую божескую. Тут уж Василий Сергеевич, управляющий, расстарался. Цена настолько была умеренной, что, послушав денек-другой чувствительный романец, Иван Прокофьевич сам накинул малую толику да и управляющему посулил прибавку. Не то чтобы обычная выдержка изменила Жгутову, но дорог был каждый день. Он конкуренции опасался, а более всего — как бы не проведала о строительстве сама Меккша. К исходу недели он стал всерьез подозревать, что до нее дополз какой-то слушок. Может, ожидаемое письмо только предлог, чтобы потянуть время и все разноухать, а может, еще проще — письмо-то и должно внести ясность по части леса.

Правда, Василий Сергеевич глухо говорил о каком-то сердечном интересе хозяйки, но Жгутов не придавал значения его словам. Не любил он пустопорожней болтовни о том, что его не касалось, и вообще не любил, когда на людей напраслину возводили. И года не минуло, как умер супруг Надежды Филаретовны, достославный Карл Федорович фон Мекк, наживший такое неслыханное состояние, и не положено ей было ни о ком другом думать, да нешто и поставишь кого рядом с покойным! Разве что компаньона его, фон Дервиза. И годы у Филаретовны не те, к пятидесяти подступают, и семья огромнейшая, и забот полон рот, нет, глупость какую-то обронил управляющий. А может, вовсе и не глупость то, а хитрость? Морочит ему голо-

ву на пару со своей барыней? А сама тем часом с кем другим сговаривается или, того хуже, с инженерами-железнодорожниками стакнулась? Свой свояка чует издалека. Небось, фон Меккша запах чугулки за сотню верст слышит; у ней все богатство, весь нажиток шпальной смолой, варом да паровозной гарью пропах.

Гляжу я шаль, нет сил,
Темнеет око.
Ах, кто меня любил,
Где он?.. Далеко..

В голосе не было обмана. Звучал он чисто, сильно и печально. О муже покойном тоскует, решил Жгутов. Сорок шесть — бабье лето... Но мысль эта не принесла желанного успокоения. Оставалось письмо, загадочное письмо, за которым каждое утро, не дожидаясь прихода почтальона, гоняли на почту двенадцатилетнего Ванька рыжего, веснушчатого сына кухарки и швейцара. Письмо тревожило. Карл Федорович не пошлет о себе вестей с того света, особливо по почте, а какие сведения с этого света могла ожидать вдовствующая богачка с таким волнением и болью? Трудно представить, чтобы после незабвенного Карла Федоровича его вдова могла испытывать душевное расположение к другому человеку. Темна вода, ох темна!..

Жгутов пересек двор и вышел за ворота. Перед ним горбатно изогнулся, весь в золотой листве, Рождественский бульвар. Листья кружились в воздухе и пластались на еще зеленую траву, на песчаные дорожки. Совсем не по-городскому пахло сухим нагретым листом, травой, почвой. Паутинка проплыла в воздухе и тишайше коснулась лица Жгутова. Он закрыл глаза, и все городское окончательно исчезло, сильнее запахло землей, травой, лесом. И закачались в чуть одурманенном мозгу Жгутова прямые, высоченные сосны его леса. Ах, боже мой, нет больше таких лесов во всей средней полосе. Где вы, прежние леса? Одно гнилье осталось да молодые посадки, начинающие сохнуть и хиреть, не войдя в возраст. Ах, что за лес ждет его не дождет-

ся, богатырь, красавец, мечта, — самое время валить его и разделявать на шпалы!..

«Подкину Сергеичу пяток «лебедей» сверх последнего уговора, пущай нынче же добьется мне встречи с барыней», — решил Жгутов, снимая со щеки липучую, нежную паутинку. И будто отпустило в груди. Ведь когда решаешься на трату, все становится простым и доступным.

Жгутов вернулся во двор. На верхушке старой липы покрикивала резким, стеклянным голосом все еще не отбившая в теплые края голубая цапля, прилетавшая, как говорили, каждую весну на это самое дерево. Жгутов опасно обошел липу, чтоб цапля не нагадила на голову. Противная птица, если что не по ней, брызжет сверху жидким и клейким пометом, потом его не отмыть, не отскоблить. Задержавшееся летнее солнце перевернуло все в природе. Вторично зацвели вишневые деревья в глубине двора, и сирень, похоже, собралась наново распуститься, в траве выжелтились и высинились ранние летние цветочки, а голуби разворковались с такой грубой страстью, что хоть уши затыкай. Беспорядок охватил мироздание, и Жгутова это раздражало, как всякое нарушение правил. А что Вседержитель думает? Установил законы, так уж следи, чтоб они соблюдались!..

Сделав указание Богу, Жгутов направился к флигельку, где управляющий жил во время своих наездов в Москву. Семья его оставалась на Украине, поблизости от главных владений фон Мекк. Василий Сергеевич питался в людской, хотя ему полагался господский стол. Происходя из городских мещан, он имел пристрастие к простой русской пище: грибным щам с кашей и картофельной запеканке... Готовила же здешняя кухарка, мать письмоносца Ванька, отменно. Потому и сам Жгутов столовался в людской вопреки всем уговорам управляющего. Но до обеда было еще далеко, и Жгутов задумался, где искать Василия Сергеевича, как вдруг его рослая, представительная фигура возникла у каретного сарая. Управляющий не выходил оттуда и че-

рез двор не шествовал, иначе бы Жгутов увидел его раньше. Многих изумляла чудодейственная способность этого крупного, приметно-нарядного человека появляться по-воробьиному — из воздуха.

На управляющем был темный сюртук аглицкого сукна и такие же брюки, ниспадающие на подъем черных кожаных сапожков, однобортный жилет с обтяжными пуговицами, рубашка тончайшего полотна и черный атласный галстук. Прямо-таки барин московский! Увидев Жгутова, он заулыбался своим плотным, чуть продолговатым, гладко выбритым лицом с колбасками густых каштановых бакенбард и двинулся навстречу купцу, чуть разведя пухлые, с холеными кистями руки.

— Утро доброе, почтеннейший Иван Прокофьевич! — радостно улыбаясь, еще издали произнес управляющий.

В его открытой улыбке и радушном жесте не было ни малейшей фальши. Он действительно от всей своей корыстной, но вовсе не злой души почитал Ивана Прокофьевича. Управляющий смотрел на кряжистую, кузую, нелепую фигуру гостя, облаченную в длинный, до щиколоток халат кафтанного покроя, на ситцевый шейный платок, потемневший от пота, на высокий черный картуз, венчавший глубоко ушедшую в плечи, большую, как котел, голову, и восхищение все усиливалось в нем, распирая грудь. Господи, думал Василий Сергеевич, так одевались разве что целовальники во дни моей юности! Если перевести на деньги все, что на нем есть, это не составит стоимости моих сшитых на заказ сапог. А дома он вовсе в пестрядинной рубахе навывпуск да полосатых штанах щеголяет, как московский мастеровой. А чего я перед ним стою во всем моем наружном великолепии? Он меня вчетверо сложит и в карман сунет. Давно уже в сотнях тысяч ходит, к миллиону подбирается. А тут хитришь, ловчишь, крутишься как белка в колесе, из себя выворачиваешься, а того не скопишь, чтобы какое ни на есть дельце собственное завести! И вроде бы Господь ни умом, ни памятью, ни внешностью не обидел,

верный нюх на людей дал, а поди ж ты!.. Вот что значит с нуля начинать. Покойный родитель хорошо свою линию вел, а напоследок разорился и семейство нищим оставил. А жгутовский батька, даром что так крепостным и помер, всем четверым сыновьям по капиталу завещал, вот и пошли они крутить. Конечно, Иван Прокофьевич против братьев куда способнее, оборотистее, он давно их обставил, хотя один из всех не променял на город деревенское житье. Так и обитается в отцовских хоромах с земляным полом, духотой, вонью и тараканами. А у самого три имения отличнейших, и в одном — настоящий барский дом с колоннами. Но он не спешит переезжать туда со своим немалым семейством. А может, потому и взошел Жгутов так высоко, что не соблазнился ни жильем роскошным, ни одеждой модной, ни тонкими винами, ни прочей «тревогой мирской суеты», как поет барыня Надежда Филаретовна чудеснейший романс недавно открытого ею московского композитора Чайковского.

Жгутов подошел к управляющему, снял картуз, сунул его под мышку, достал из кармана допотопного кафтана фуляр и вытер лысеющее темя в слабых русских волосках. Спрятал платок, надел картуз, оставив на лакированном козырьке дымный, тающий следок своих пальцев. Потом посунул широкоскульное, смугловатое, пористое лицо к уху управляющего и сказал несколько слов хрипатым, непрокашлянным голосом.

Управляющий всплеснул холеными, мягкими руками, которые каждый день вымачивал в уксусе, чтобы сохранить благородную белизну.

— Господи, Иван Прокофьевич, благодетель! Пойду, конечно, пойду, только, поверьте, без пользы мое хождение будет. Мы ведь не набиваем цену, поверьте, господи! Жгутов! А мне ваше доверие всего важнее. Чай, смею надеяться, не в последний раз...

— Ладно, — перебил Жгутов, — в завтрава нечего заглядывать. Дай с нынешним днем рассчитаться. Она ведь

ума-то не решилась. Объясни ей, по человечеству, мол, не может покупатель дольше ждать, дела у него стоят, хозяйство брошенное, семья там, детишки плачут.

— Все, все уже говорил! На другой день, как они из Италии возвратились. И намерен опять речь завел. На все один ответ: не до лесу мне сейчас.

— Ступай, — коротко, не повышая голоса, сказал Жгтов. — Авось Господь милостив.

Василий Сергеевич тяжело вздохнул. Он держался за место управляющего, боялся прогневить барыню, но понимал Ивана Прокофьевича и себя самого понимал: другого такого шанса у него не будет. У Прокофьевича, может, и будет, даже наверняка будет. Ну, пусть малость похуже, он-то свое все равно возьмет, а вот ему, Василию Сергеевичу, едва ли жизнь такой подарок вторично подкинет. Хочешь не хочешь, а надо идти...

Управляющий на своем веку сменил не одно место. Нигде не жилось ему лучше и нигде не жилось труднее, чем у фон Мекков. И жалованье, и содержание были вне сравнения, к тому же пронизательное доверие хозяйки как бы признавало молчаливо ту скромную дань, которую взимал с доходов имения управляющий в свою пользу. Это ее устраивало, и Василий Сергеевич знал, что, пока не перейдет черты, может быть спокоен. А душевный покой он ценил почти так же, как деньги. Собственно говоря, он и деньги ценил лишь потому, что они лучше всего другого обеспечивали душевный покой. Но у фон Мекк было множество мелких причуд, досаждавших служающим ей людям сильнее иных крупных несправедливостей. Она требовала не только от лакеев и горничных, но даже от мажордома и самого управляющего бесшумной поступи. Боже упаси, чтобы твои шаги прозвучали не то что громко, а хоть сколь-нибудь слышимо. Правда, и лестницы, и коридоры, и все комнаты, кроме зала, были устланы восточными коврами и ковровыми дорожками, глушившими шаг, но ведь подметка может скрипнуть, и голенище хляпнуть

воздухом, да и оступиться легко с ковра на паркет или на дубовые ступени лестницы. А слух у Надежды Филаретовны был острейший. Она слышала малейший шум сквозь стены и двери, и у нее тут же каменела маленькая нижняя челюсть. И тогда к ней лучше не подступаться ни с докладом, ни с просьбой, ни с важной вестью. Особенно бесил ее звук захлопываемой двери. Надо было так отворять и закрывать дверь, чтобы и с комариный писк не на шуметь. Убирать у нее в комнатах, по словам лакеев, было горше всякой муки. От таких напастей Василий Сергеевич был избавлен своей должностью, да и не состоял он безотлучно при особе Надежды Филаретовны, все больше находясь в разъездах, но многие запреты распространялись и на него. Громко не дышать, не сопеть носом, не кашлять, не отхаркиваться, не вещать чревом, не пахнуть щами, луком, печеным тестом, постным маслом, пивом, не говоря уж о спиртных напитках, табаком и хлебом — под этим подразумевалась всякая нечистота, невесть откуда взявшаяся, которую мгновенно унюхивала своим тонким носом Надежда Филаретовна. Прислуживающие ей люди то и дело полоскали рот, жевали освежающие пастилки или травки, опрыскивались одеколоном, ежемесеячно отпускаемым кастеляншей. Как будто мелочь, пустяк, да и что значит для вчерашних крепостных, знавших и арапник, и розги, и зуботычины, подобная чепуха, а вот люди не держались подолгу у Надежды Филаретовны, хотя сама она редко кого прогоняла, разве что за тягчайшие провинности, вроде воровства, соблазнения горничных или пьяного дебоша. Просто не выдерживали слабые нервы вчерашних дворовых вечного напряжения, и люди поступались отличным жалованьем ради своих слабостей, привычек, даже простой беспечности, а в сущности, ради собственного лица. Но Василий Сергеевич не собирался поступаться своим положением и жалованьем, он-то не на орешки играл, и беспрекословно подчинялся железной дисциплине.

Подойдя к черной лестнице, ведущей со двора в господские покои, Василий Сергеевич потянулся, ощутил упругую послушность мышц и крепость суставов, размял стопы, хрустнул пальцами рук, устраняя возможность лишних шумов в организме, сунул пастилку в рот, старательно разжевал и, придав лицу спокойно-почтительное выражение, а фигуре осанистость, проник в двери, словно дух или привидение, почти не стронув с места чуть приоткрытые створки, поднялся, вернее — вознесся на второй этаж, прислушался к тишине, вещественно, плотно наполнявшей весь большой, красивый дом, и услышал слабый шорох в малой гостиной, где стоял любимый рояль хозяйки из розового дерева. Он скорее угадал, нежели услышал, тихий звук отпахиваемой крышки. Так и есть, Надежда Филаретовна снова собиралась играть. Теперь остается одно: замереть и не двигаться. Василий Сергеевич так и поступил, и все же внезапный громкий аккорд заставил его сильно вздрогнуть. Укорив себя за отсутствие выдержки, он снова обратился в изваяние, но после второго аккорда рояль смолк, затем громко хлопнула крышка, и управляющий вновь не удержал вздрога. Надо заметить, самой себе Надежда Филаретовна разрешала любой шум.

Напряженный слух подсказал управляющему, что Надежда Филаретовна прошла в кабинет. Мысленно препоручив себя Богу, Василий Сергеевич скользнул по коридору и царапнул ногтем дверь кабинета.

— Да!.. — послышался резкий, нетерпеливый голос фон Мекк.

..Она стояла у окна, держась длинными худыми пальцами с коротко подстриженными ногтями за складки штофных гардин, и не обернулась к вошедшему, хотя знала, кто это, в чем управляющий не сомневался. В людской говорили, что Надежда Филаретовна «видит спиной».

— Осмелюсь доложить... относительно... господина Жгутова.

— Какого Жгутова? — незнакомым, далеким голосом произнесла Надежда Филаретовна, и было в звуке ее голо-

са что-то такое, отчего озабоченное сердце управляющего на миг потревожилось добрым порывом к чужому человеку.

— Я докладывал вашей милости... Который лес покупает. Он теперь крайнюю цену дает... и передать просит, что дальнейшее...

— Вон, — будто уронила фон Мекк.

— Что-с? — не понял управляющий.

— Ступайте вон! — своим обычным сильным голосом сказала Надежда Филаретовна.

Управляющий, пятясь, вышел...

«О чем он?.. — будто возвращаясь из сна, подумала Надежда Филаретовна. — Лес... Какой лес? Ах, лес!.. Боже мой, какое мне дело до леса?.. До чего же одинок каждый живущий в этом мире. Пока ему хорошо, он всем мил и угоден, особенно если этот человек способен давать другим деньги, удобства, внимание, комфорт, любую выгоду. С ним носятся и близкие, и далекие. Но когда ему плохо, когда он растерян, смятен, болен душой, когда его сердце занято собственной мукой, когда рука не подымается для милости, он остается один, в пустоте. От него отворачиваются дети, полные юного эгоизма, к нему теряют интерес родственники и так называемые друзья, паразиты худшего разряда, и даже слуги, которые служат тебе лишь в той мере, в какой заставляют тебя служить им. Этот взяточник и вор управляющий ведь знает же, что я не могу, не хочу думать о делах, о каком-то лесе, который он за бесценно сбывает другому жулику, чтобы положить в карман жирную взятку, но с маниакальной настойчивостью пристает ко мне с того самого рокового дня, когда вернулась из-за границы и узнала, что писем нет. Но бог с ним, с этим ничтожеством!.. Какое мне до него дело, если в круг моей пустоты не вступит с рукой, протянутой для помощи, даже Юлия, дочь-подруга, если крошечная Милочка глядит волчком! Быть может, страдающие люди источают какой-то запах, по которому другие существа, даже такие нера-

зумные, как четырехлетняя Милочка, угадывают неблагополучие, недуг души и брезгливо, опасливо отстраняются?.. Куда подевались все эти горничные, няньки, мамки, гувернантки, от которых не повернуться было? Истаяли, как нежить с первым криком петуха. Неужели так отчетлив зажатый в груди, в горле крик боли, что он проник в их замурованные, карликовые сердца?..

Петр Ильич, милый друг, что же вы сделали со мной? И с собой...» — произнесла она мысленно, обращаясь к миниатюрному портрету Чайковского, выполненному на фарфоре искусным миниатюристом Севастьяновым, выходящем из Мстеры. Тонко прописанное лицо Петра Ильича в окладе седеющей бороды сияло почти ангельским благообразием. Розовая тонкая кожа, алый рот, блестящие, отливающие синью глаза, живые и вместе усталые, не то вопрошающие, не то виноватые, — лицо оставалось одухотворенным и прекрасным даже под «мелочной» кистью мстерского искусника. Такое лицо и должно быть у человека, создавшего Первый фортепианный концерт, «Франческу да Римини», сочетающие страсть и печаль, восторг и предчувствие гибели. Но что ей до внешнего облика творца этой музыки! Будь он безобразен, черен, крив, горбат, ее восхищение, ее преклонение, ее высокая одухотворенная любовь к нему не стали бы меньше. Внезапно ее шатнуло прочь от окна. Она не хотела признаться себе, что понимает силу и смысл толчка, заставившего ее пересечь комнату, отпахнуть дверь зальца, пройти его какими-то странными зигзагами, отражаясь в зеркалах и стеклах высоких дверей, затянутых с другой стороны штофной материей, и увидеть себя как сильный росчерк или как смещение цветных плоскостей, красочных пятен, смотря по тому, где отражалась ее высокая прямая фигура в бледно-зеленом, отливающим изумрудом домашнем платье с гладкой спереди и сильно присборенной сзади юбкой. Пояс с металлической пряжкой помогал прямизне ее чуть сухопарого стана. Она знала, как выглядит, скорее по ощущению своего тела, нежели

по зыбким образам, мелькающим в отражающих плоскостях. Замерев у рояля, она должна была вплотную приблизить лицо к его глянцевиной крышке, чтобы зримо всплыть себе навстречу. Она увидела высокий чистый лоб, чуть тронутый двумя продольными морщинами, бледные щеки, узкий тонкогубый рот, маленькую, усеченную нижнюю челюсть, не соответствующую крупному лицу, и, будто полумаску, — темные, широко и спокойно лежащие в затененных глазницах, блестящие, прекрасные, почти незрячие глаза, которым, дабы увидеть предмет, надо было чуть ли не вобрать его в себя; эти, почти бесполезные, глаза были великолепны и спасали, возносили лицо Надежды Филаретовны.

Глаза сообщали своей владелице так мало сведений об окружающем мире, что в восполнение ущерба в ней достигли удивительной тонкости иные чувства, в первую очередь слух. Конечно, слухом она была одарена от природы, но развила и довела до нынешней, почти болезненной изощренности не столько даже музыкальными занятиями, сколько постоянным, напряженным вслушиванием в голоса, шумы и шорохи мира и в какой-то ранее не ощущавшийся ею шумовой фон, принимаемый обычным слухом за тишину. В пустоту этой мнимой тишины и насылает свои волны музыка сфер, ее-то и слышала Надежда Филаретовна. Именно слух дал Надежде Филаретовне редкую полноту восприятия жизни. Звуки содержали и рисунок, и цвет. Фон Мекк, видевшая мир четко оконтуренным и ярко расцвеченным лишь в лорнет — для невооруженных глаз окружающее едва проступало из одноцветного тумана, как на картинах Каррьера, — обретала четкость линий, форм и красок окружающего мира в музыке не умоглядно, а ясным и острым внутренним зрением. Не потому ли она вечно испытывала музыкальную жажду? После смерти мужа и отпадения большинства светских обязанностей она населила музыкой дом, заведя небольшой, но превосходно подобранный оркестр. Он замолкал лишь в часы отдыха, сна

и хозяйственных занятий Надежды Филаретовны, а в остальное время аккомпанементом сопровождал все, чем был заполнен ее день: чтение, мечты, разговоры с дочерьми и сыновьями, примерку платьев, рукоделие и даже стрельбу из пистолета — занятие, доставлявшее Надежде Филаретовне опять-таки слуховое удовольствие, ибо в цель она никогда не попадала.

С некоторого времени репертуар оркестра, весьма многообразный, резко сократился — играли чуть ли не одного Чайковского. А в последние дни оркестр вообще замолк: Надежда Филаретовна не могла слышать музыки, кроме тех внезапных страстных и мучительных звуков, которые вырывались вдруг из ее горла или из-под пальцев, которые она как будто пыталась размозжить о клавиши.

И вот сейчас ее пальцы сами потянулись к желтоватой слоновой кости и странно скрючились, словно хотели сомкнуться на горле музыки, которая вот-вот родится.

Нет, только тот, кто знал
Свиданья жажду,
Поймет, как я...

Слезы прихлынули к глазам. Надежда Филаретовна запрокинула голову и стояла так в позе «Молящейся» Луки Кранаха, пока слезы не отхлынули назад, лишь чуть увлажнив уголки глаз. Шаги в коридоре были как полет ласточки, и все же Надежда Филаретовна услышала их и мгновенно узнала. Она выпрямилась, упокоила голову на долгой, прямой шее и не оглянулась, когда дверь бесшумно отворилась. Словно свист рассекаемого телом птицы воздуха, и худые теплые руки обвились вокруг ее плеч.

— Мама, простите мое вторжение, но вы пели так горестно, что я... не выдержала... Вы так никогда не пели!.. Что с вами, мама, милая? У вас какое-то горе, поделитесь со мной. Я так люблю вас!..

Люблю!.. Исстрадавшееся и не понимающее себя сердце Надежды Филаретовны мгновенно откликнулось этому слову. Она повернулась к Юлии и растроганно поцеловала

ее в лоб... Они были очень похожи друг на друга, но в лице Юлии все черты матери отразились в смягченном, ослабленном виде: и недостатки — подбородок Юлии был круглее, женственней, и достоинства — черные материнские глаза были у Юлии просто красивыми глазами, а не богowymi колодцами.

— Вы здоровы, мама?

— Совершенно здорова... обычные мигрени... — Надежде Филаретовне впервые после смерти мужа захотелось опереться о чью-то руку. — Меня заботит... нет, терзает, мучает судьба Чайковского. Я места себе не нахожу!

— Вы так его любите, мама? — тихо спросила Юлия.

Надежда Филаретовна сжала тонкие губы, но ответила мягко, терпеливо:

— Это не та любовь, о какой ты думаешь. Ту любовь я изжила до конца с твоим отцом. — И, говоря так, она была искренна. — Я боготворю Чайковского, преклоняюсь перед ним и жалею его. В той, другой любви надо видеть человека, быть с ним, — мне не нужно видеть Чайковского, мне надо лишь знать, что ему хорошо, не страшно, что будет его музыка, дающая мне ни с чем не сравнимое наслаждение. Ему плохо сейчас, я это знаю... сердцем знаю.

— Он вам писал... что ему плохо? — осторожно спросила Юлия.

— Нет. Последнее письмо пришло две недели назад. Я спрашивала его о Четвертой симфонии, о нашей симфонии... — Голос ее пресекался.

Юлия взяла ее руку и поцеловала. Она с печалью заметила, что нежная, тонкая кожа матери начала грубеть... Бедная, бедная мама!..

Надежда Филаретовна овладела собой, лишь голос чуть напрягся обузданным волнением.

— Это письмо — самое удивительное и проникновенное из всего написанного о музыке. Я дам тебе прочесть. Оно все о музыке. Ни слова о себе, о своих невзгодах. Удивительная, необыкновенная скромность! — Темные глаза

ее сверкнули. — Это даже не деликатно в отношении такого друга, как я. Он должен сделать свою боль моей болью, свою муку моей мукой, свою беду моей бедой...

— Но, может быть, вы заблуждаетесь, мама, и ему во все не так плохо?

— Я не ошибаюсь, — почти гневно произнесла Надежда Филаретовна. — Я знаю все, что происходит с ним, с такой же точностью, как если бы это было со мной.

— Мама, я хотела просить у вас прощения за один наш разговор... Я была не права. Я дурно думала о господине Чайковском... Наверное, я ревновала вас к нему. Простите, мама. Он достойный, высокопорядочный человек...

Некоторое время назад Чайковский попросил в письме разрешения посвятить Надежде Филаретовне Четвертую симфонию. Они с Юлией вместе читали это письмо, держа его за уголки. «Он посвящает мне Четвертую симфонию!» — вскричала Надежда Филаретовна. «Он просит у вас займы, мама!» — холодно заметила дочь, успевшая дочитать письмо до конца. «Я впервые устаиваюсь такой чести!» — «Почему, у вас многие просили займы.» — «Я говорю о симфонии». — «А я думала о деньгах». — «Вы очень непонятливы, дочь моя. Господин Чайковский оказывает мне величайшее доверие своей пустяковой просьбой и величайшую честь посвящением музыки. А теперь оставьте меня!»

Надежда Филаретовна дословно вспомнила ничтожный разговор, настолько далекий от тех горних высей, где душа ее пребывала возле души Чайковского, что не мог ни обидеть, ни задеть ее. Но задела ее слова Юлии: «достойный, высокопорядочный человек». И это о Чайковском!..

— Вы снова ничего не поняли в господине Чайковском, дочь моя! — надменно сказала фон Мекк. — Все эти жалкие слова хороши для обывателей. Господина Чайковского нельзя мерить обычной меркой, он — гений!.. — И, на миг обратив к дочери сверкающую тьму прекрасных, почти невидящих глаз, вышла из комнаты...

...Поразительно, что даже Юлия не понимала главного, Юлия, близкая ей всею кровью. И рядом с досадой в Надежде Филаретовне вновь заговорило тайное торжество ее безмерного открытия. Никто не понимал и не понимает Чайковского, даже преданный ему Николай Рубинштейн. Это она, Надежда Филаретовна фон Мекк, осмелилась назвать Чайковского великим. Это она открыла в нем гений. В скромном профессоре Московской консерватории, пишущем музыкальные сочинения, она признала гения, подобного Баху, Моцарту, Бетховену. И тут не было ни каприза, ни оригинальничания богатой меценатки, позволяющей себе в необузданном своевласти казнить и миловать, возвышать и развенчивать, ничего, кроме правды безошибочного слуха, музыкального и душевного. Надежда Филаретовна твердо знала, что рано или поздно, но наверняка при жизни Чайковского ждет мировое признание, он станет знаменит, как ни один русский композитор, его слава не уступит славе Моцарта. Это было для нее настолько очевидным, что она больше дивилась глухоте окружающих, нежели гордилась собственной проницательностью. Но она никому не позволяла догадаться о странном своем торжестве. Об этом ведал лишь дух Карла Федоровича фон Мекка. Не веря в Бога, Надежда Филаретовна верила в бессмертие души. Чайковский был ее выигрышем, тем великим выигрышем, каким для молодого, страстного, легко бледнеющего инженера фон Мекка была Курско-Киевская железная дорога, принесшая ему первый миллион. Тогда этот желторотый птенец оказался прозорливее, находчивее, умнее, решительнее и талантливее старых матерых волков и взяла Великий приз. Сейчас барынька со странностями, какой считали ее в свете, восторженная любительница музыки, прозрела то, что не распознали ни знаменитые братья Рубинштейны, ни всезнайка Ларош, ни сам Стасов, ни проницательный Балакирев, ни музыкальный генерал Кюи. Она взяла реванш у Карла Федоровича за то чувство превосходства, которым он сам, возможно того не

желая, давил на нее всю совместную жизнь. Он был всем, она — ничем. Перед мощью его практических достижений все остальное обесценивалось, становилось игрой, заполнением времени, «своим мирком» — этим жалким прибежищем слабых, не состоявшихся в творчестве или действенной жизни душ. И вообще-то нет ничего неблагодарнее и бесплоднее изнурительного труда любительщины. Расход душевной энергии не дает почти никакой отдачи. Меценат выглядит куда лучше, хотя и в этой роли есть что-то ущербное. Впрочем, история знает примеры, когда меценат становился чуть ли не вровень с тем, кому покровительствовал. Но без ложной скромности можно сказать, что немногие явили такую пронизательность, как Надежда Филаретовна, ибо куда легче открыть и возвысить безвестность, нежели человека с уже испорченной репутацией. Не надо вспоминать даже о шумном и в чем-то справедливом провале опер Чайковского — его симфоническим, а равно и камерным произведениям выпало куда больше брани, издевательств, насмешек, нежели похвал. «Маленьким», «жалким» печатно называл Чайковского друг его юности Ларош, и Петр Ильич даже не обижался. Конечно, его творения играет Николай Рубинштейн, и это уже кое-что. Но ведь Рубинштейн отверг посвященный ему Первый фортепианный концерт, лучшее произведение Чайковского. Стало быть, Рубинштейн не понял истинной ценности столь доверчиво поднесенного ему дара. И то, что Чайковский так готовно, так страдальчески-радостно откликнулся ей, подтверждает, что он смертельно устал от непонимания, что знает о своем праве быть понятым, «открытым». Они вдвоем одолели разделявшее их расстояние. Все люди бесконечно далеки друг от друга, но кто измерит пространства и бездны между непризнанным нищим консерваторским профессором и вдовой миллионера? С быстротой мысли, с мгновенностью страсти оказались они рядом, душа приникла к душе, но о встречах вживе решили — этого никогда не будет.

Ей казалось прекрасным и то, что Петр Ильич почти сразу попросил займы. Все люди, приходящие в соприкосновение с семейством фон Мекк, рано или поздно заводили речь о деньгах. Большинство — рано, и то были порядочные и бесхитростные люди. Куда большую опасность представляли выжидавшие своего часа, будто в засаде, чтоб вернее нанести удар. С ними кончалось нередко разрывом, ибо сумма, на которую претендовал терпеливый скромник, обычно превышала разумные пределы щедрости и снисходительности Надежды Филаретовны. Чайковский попросил в долг сразу — сумму хоть и круглую, но отнюдь не чрезмерную — и этим не только покорила Надежду Филаретовну, но и облегчил задуманное ею — установить ему пенсию, избавить от хлопот о хлебе насущном. В ее делах существовал строгий порядок, к тому же она не собиралась делать тайны из своего покровительства Чайковскому, — расходы на композитора заносились в графу бюджета: музыка. Эта же графа включала расходы на домашний оркестр и на молодого скрипача Пахульского, недавно принятого на службу. Пахульский предназначался для той роли, какую исполнял при дворе князя Эстергази знаменитый Иосиф Гайдн. Впрочем, от Пахульского не требовалось собственных сочинений, достаточно было, чтобы он перекладывал для маленького оркестра все сочинения своего учителя Петра Ильича Чайковского.

И вот едва начавшаяся жизнь сердца была потрясена известием о женитьбе Чайковского. Конечно, он волен поступать как ему угодно, в их негласном договоре не было пункта о безбрачии, и вообще ее не касалась интимная жизнь композитора, по слухам, весьма аскетическая. Ему приписывали лишь короткую и неудачную любовь к итальянской певице Дезире Д'Арто — ей посвящен романс «Средь шумного бала», — ни с какой другой женщиной имя Петра Ильича не связывали. Надежда Филаретовна, конечно, не собирала сплетен, но ведь сплетни, подобно запахам, проникают сквозь все преграды, независимо от

нашего желания и даже вопреки ему. Узнала же она о Дезире, о страстной любви и внезапно, необъяснимом разрыве, хотя в ту давнюю пору еще не успела заинтересоваться Чайковским и была равнодушна к певице. Прослышала она и о Милюковой Антонине Ивановне еще до того, как Петр Ильич сам оповестил ее о своих матримониальных намерениях.

Антонина Ивановна первая написала Чайковскому. Положа руку на сердце Надежда Филаретовна не могла осудить ее за этот весьма смелый для девицы поступок. Уж если придерживаться такого ханжеского взгляда, то и вдвое не слишком прилично писать первой холостому незнакомому мужчине. Но вдова отнюдь не стыдилась своего поступка. Антонина Ивановна объявилась в ту пору, когда Петр Ильич, мечтая о новом оперном сюжете, уже приглядывался к «Евгению Онегину», и письмо бывшей посетительницы музыкальных курсов, предложившей ему себя столь же чисто, доверчиво и скандально, как пушкинская Татьяна Онегину, дало Петру Ильичу ключ к опере, которую злоязычный Ларош тут же окрестил, перефразируя Евангелие, «Онегиным от Татьяны».

«Евгений Онегин» имел какой-то особый смысл в отношениях Надежды Филаретовны с Чайковским. Признавшись однажды в своей нелюбви к Пушкину и любви к Писареву и выразив надежду, что он, Чайковский, вырвется из «жалкого романтизма и унесется в высшие сферы человеческого духа», она получила суровую отповедь от милого друга. Чайковского жестоко огорчило, удивило и возмутило, как может Надежда Филаретовна с ее редкой музыкальностью восхищаться Писаревым, приравнивающим любовь к музыке любви к... соленым огурцам и ставящим Бетховена в один ряд с поваром ресторана Дюссо! И хотя удар получился увесистым и довольно неожиданным, ибо милый друг был сама деликатность, сама тонкость, Надежда Филаретовна после легкого потрясения почувствовала себя обрадованной и даже польщенной этим наго-

няем. Она поняла, что Чайковский впервые заговорил с ней на равных, прямо, серьезно, без обиняков, как говорят о самом важном с теми, кого уважают. И это было прекрасно в нем, стеклянной хрупкости человеку, обремененном мучительной необходимостью прибегать к помощи состоятельной поклонницы. Но когда дело доходило до главного, Петр Ильич отбрасывал прочь компромиссы. Он не терпел бесчинства перед лицом искусства и потому отвергал Писарева и не спустил нигилистской выходки своей корреспондентке.

Он впервые заставил Надежду Филаретовну усомниться в том, что изо всех поэтов романтической школы достоин признания лишь Лермонтов. И впрямь ли не слышит она музыки пушкинского стиха или просто отдает дань моде, благородному заблуждению времени, его глашатаю Писареву? Господи, устало подумала Надежда Филаретовна, при чем тут Пушкин? Петр Ильич превращает в музыку все, к чему ни притронется. И я давно примирилась с «Евгением Онегиным», не только примирилась, но стала нетерпеливо ждать оперы, как и всего, что выходит из-под его рук. И примирилась с этой нелепой женитьбой, коль из нее возникает новая божественная музыка...

Надежду Филаретовну задело, больше чем задело — ранило, что Петр Ильич так поздно посвятил ее в свои обстоятельства. Он писал ей письма, просил займы, рассуждал о музыке, о своей будущей опере и ни словом не обмолвился о том, что так тесно повязалось с оперой, что заставляло его, по свидетельству скрипача Котека, сомнамбулически бормотать пушкинское: «Мой идеал теперь хозяйка, да шей горшок, да сам большой». Не по-божески это, милый друг! Хоть маленький намек могли вы себе позволить, ну хотя бы ради того, чтобы избавить преданного человека от бестактного замечания о «трivialности сюжета 'Евгения Онегина'». Вот уж действительно не в бровь, а в глаз угодила! Прелестное «мо» для какой-нибудь востренькой мещаночки, но не для госпожи фон Мекк. Дове-

рием оберегают друзей от ошибок. Вы своего друга не оберегли.

По свежему следу злосчастного письма узнала она о жениховстве Петра Ильича и устыдилась своей непреднамеренной бестактности. Так ли уж устыдилась?.. А может, в тайнике сердца была обрадована возможностью высказать — пусть косвенно — свое настоящее отношение к выбору Петра Ильича, достойному какого-нибудь помощника столоначальника, но никак не гения. Французы говорят, что не важна бутылка, важно опьянеть, но ведь следует проявлять вкус и в выборе бутылки. А может быть, здесь что-то другое?.. Гете, Жан-Жак Руссо — сложным натурам в бреду каждодневности нужна крепкая, надежно-простая опора. Но ведь Антонина Ивановна, похоже, нечто иное, более сложное. Она красивая, ну если и не красивая в том высшем смысле, какой принято вкладывать в это понятие, то хорошенькая, привлекательная. Профессор Ланге, у которого короткое время занималась Милюкова, на просьбу Чайковского нарисовать ее устный портрет ответил коротко и ясно: «Дура!», а потом все же прибавил в порыве добросовестности: «Но смазливая дура!» Милый Котек рассказал даже об этом, думая угодить Надежде Филаретовне. Неужели Котек, да и все остальные думают, что она видит в ничтожной Милюковой соперницу? Да и в чем соперницу? Госпожа фон Мекк не претендует на руку и сердце Чайковского, ей нужна его душа, творящая высшее на свете блаженство, а этого никакие милюковы не могут у нее отнять. Так ли?.. Антонина Ивановна училась музыке, значит, не вовсе чужда миру Петра Ильича. И почему-то из всех холостяков Москвы, а их немало, она остановила выбор именно на Чайковском. И ведь она знала, конечно, что Петр Ильич человек вовсе не богатый, что жить с семьей на консерваторское жалованье и случайные доходы от издания музыкальных сочинений почти невозможно. Петру Ильичу и в одиночку не удавалось сводить концы с концами. Не могла же Антонина Ивановна прозреть покрови-

тельство фон Мекк? Конечно нет! И все же она написала Чайковскому, не затворнику, конечно, но уж никак не сердцееду, призналась в своей любви, любви к человеку и музыканту. Она спародировала поступок самой Надежды Филаретовны, хотя, разумеется, не ведала о том. Правда, Надежда Филаретовна не предлагала себя любимому композитору, да и как отважиться предложить такой товар?.. Она почувствовала, что при этой мысли закривился болью и отвращением сухой рот. Тело сорокашестилетней женщины, давшей жизнь одиннадцати детям. Да нет же, она и не думала ни о чем подобном! Ну зачем уж так?.. — прервала себя Надежда Филаретовна. — Человек думает о чем угодно и в мыслях имеет порой такое, за что мало колесовать, сжечь живьем или до конца дней поставить к позорному столбу. Если бы судили за мысли, едва ли бы кто избежал виселицы. Даже святые схимники, не то что стареющая грешная женщина в самой опасной поре бабьего лета, как принято называть печальную пору последнего цветения, за которым пустота, бесплодие, холод умирания.

И все же, положила руку на сердце, — продолжала убеждать себя Надежда Филаретовна, — мне ничего не нужно было от Петра Ильича, кроме музыки. Но ведь музыка неразрывна с человеком. И если мне нужна была только музыка, зачем же понадобилось вступать в переписку с композитором? Значит, и человек мне нужен. Да, Человек — торжественно, с большой буквы, но не муж и не возлюбленный. И не надо в самоуничижении ставить себя на одну доску с замоскворецкой девицей, — поверим этой святой лжи, — Милюковой Антониной Ивановной. А имею ли я право подвергать сомнению честность намерений Антонины Ивановны? Да, я не верю ей. Не верю наивности ее порыва, заставившего написать незнакомому, известному, одинокому мужчине. Да, не верю! И потом, девица, приближающаяся к тридцати, — уж очень перезрелая и, надо полагать, опытная девица. «Перестарок», — как говорят у меня в людской. И вы знали, кому пишете, Антонина

Ивановна! Не то чтобы вы знали истинную цену человеку, которому писали, понимали его музыку. Из писем Петра Ильича я поняла по каким-то неуловимым признакам, что бывшая посетительница музыкальных курсов даже не знает музыки Чайковского, а если и слышала ее, то безотчетно, не загоревшись, не заболев этой музыкой. Зато вы знали, что обращаетесь к человеку наивному, не искушенному в женских хитростях, не защищенному ни от лукавства, ни от дешевой игры, которую в два счета разгадал бы и высмеял средне опытный мужчина. Вы пошло и грубо обманули большого ребенка, затащив его к себе, а потом разыграв, весьма запоздало и холодно, девичий стыд и намерение покончить с собой. А он поверил, бедный, поверил, что ваш охладелый труп обнаружат в Канаве против Болота или в Москве-реке против Девичьего монастыря, что куда поэтичнее. Исполненный веры и жалости, обманутый собственной оперой, в судьбу которой вы с такой дьявольской удачливостью вплелись, понуждаемый к тому же семьей, страшившейся его одиночества и неприкаянности в будущем, Петр Ильич принес себя в жертву вашей корысти, своей несовременной щепетильности и рыцарственному отношению к слабому полу.

Несчастный, в последней отчаянной попытке спастись, ибо в угрожающей близости толстой, вульгарной, смазливой и алчной бабы заколебались все рыцарственные устои, он стал убеждать вас, какой у него тяжелый, непереносимый характер, какой он раздражительный, нервный и нелюдимый человек. Он изобразил себя ипохондриком, угрюмым отшельником, человеконенавистником, почти извергом, к тому же без гроша в кармане. Но вы, чувствительная натура, обрекающая себя на гибель за одно-единственное, невинное посещение, с выдержкой спартанского героя и равнодушием врача лепрозория, которому жалуются на простуду, и бровью не повели в ответ на этот жалкий лепет. Ведь у вас же не было иных намерений, кроме как холить и лелеять эту одинокую душу. А Петр

Ильич, к вашему сведению, вовсе не так одинок. У него есть близкие, которых он нежно любит, а сестру Сашу и вовсе боготворит, есть ученики, есть сильный покровитель Николай Рубинштейн, есть друг, готовый оборонить его от всех напастей, бед и невзгод, готовый сделать его жизнь безоблачной, готовый убрать с его дороги любой камешек, да что там, лечь ему под ноги, если понадобится!.. Но что значат отчий дом, сестра, что значат учитель и ученики, что значат друзья перед женщиной, которую он уже мысленно назвал женой!

И тут уже не в Милюковой дело, не в этом ничтожестве. Вы обманывали меня, милый друг. Не потому, что вам хотелось обмануть меня, а потому, что обманывались сами. Да, да!.. Люди тешат себя мыслью, что видят других насквозь. И так действительно бывает в отдельных, редких случаях, когда объект наблюдения руководствуется плоскими и прямыми вожделениями, преследует грубо практические цели. На самом деле это не значит «видеть насквозь», а всего лишь — какую-то малую, хоть и существенную сторону человека. Остальное — скрыто. И вообще мы удивительно плохо знаем друг друга. И не только тех, кто вдалеке от нас. Мы не знаем близких, самых близких людей, тех, в ком мы заинтересованы всей кровью, которых мы видим изо дня в день, наблюдаем сознательно и, что куда важнее, бессознательно, ибо знать их нам жизненно необходимо. Родители не знают детей, а дети — родителей, муж не знает жены, с которой спит четверть века в одной кровати, а жена не знает мужа, любовники не знают друг друга и не стремятся узнать, ибо тогда они перестанут быть любовниками, подчиненные не знают хозяев, а хозяева в той же мере — подчиненных. Все главное в человеке запрятано в такие глубины, что туда не проникает луч света. Но вот самое важное, милый друг, мы не знаем себя, как не знаем других. И я не в обиде на ваш невольный обман — самообман. Вы, пренебрегая честью мужчины, признавались в письмах, что жена внушает вам чуть ли не физичес-

кое отвращение, хоть и не произносили самих слов. А на деле вы... вы испытываете к ней если не страсть, то влечение, почти равное страсти?..

Надежда Филаретовна горестно гордилась своей прощательностью, умением читать между строк, извлекать истину со дна бездонного колодца, а между тем ее умозаключения не имели, да и не могли иметь, никакого отношения к Чайковскому. Она ни сном ни духом не догадывалась о трагикомедии перевертня, решившего зажить обычной жизнью, стать как все, и с отчаянием убедившегося, что этот путь ему заказан.

Страстная, бескомпромиссная душа Надежды Филаретовны, распятая на пыточном станке необъяснимым молчанием Чайковского, когда он должен, обязан был говорить с ней, могла либо навсегда осудить Петра Ильича за обман, либо полностью снять с него вину. «Он заблуждался в существо своего чувства к Антонине Ивановне и невольно ввел меня в заблуждение» — это был уже оправдательный вердикт. Но чего-то она все-таки не могла простить Петру Ильичу. То не было его нынешним молчанием, ибо за этим молчанием могли оказаться болезнь, беда, несчастье, нечто грозное и лишь до поры неизвестное...

Я не могу простить вам, Петр Ильич, что вы пробудили во мне слишком много женского, с чем я давно простилась. А уж если начистоту — чего даже не испытала в своей прежней жизни с мужем. Впрочем, мне претят категорические утверждения. Я никогда не изменяла Карлу Федоровичу, даже это бесспорное утверждение справедливо лишь до какого-то предела. Я без числа изменяла Карлу Федоровичу, но только с ним самим. И это тоже грех, если не идти на моральные сделки. Тем не менее могу я утверждать, что никогда не ревновала покойного мужа. Он, правда, не давал мне прямых оснований для ревности; и все же я ревновала его — и не только к работе, делам, поглощавшим почти все его существо, но и к молодым красивым женщинам. При этом довольно было чуть задер-

жавшегося взгляда, изменившейся интонации, дрогнувших век, чтобы во мне вспыхнула ревность. Я вообще ревнива. Я ревновала своих детей к кормилицам, мамкам, гувернерам, гувернанткам, к подругам и товарищам детских игр, друг к другу, к отцу особенно, даже к животным — собакам, кошкам, лошадям. Но я никогда не ревновала низко. Я расхваливала женщину, привлекающую взгляд мужа, и не пыталась унижить ее, бросить вскользь, что она косит или у нее дурно пахнет изо рта, да мало ли пакостей, на которые так щедрЫ ревнивые жены. А сейчас я унизилась до выслушивания сплетен об Антонине Ивановне, хотя и в глаза ее не видела, до высказывания вслух каких-то колкостей в ее адрес. И не важно, что эти колкости никогда не достигнут ее слуха. Тем хуже... Я думала о ней скверно, низко, мелко, желала ей зла. Пусть никто об этом не знает, но я-то знаю и не прощаю себе. И я продолжаю ее ненавидеть. Я боюсь этой самки, дуры набитой, недоучки, сладкоежки, полуживотного. Боюсь по-женски и не прощаю вам этого, Петр Ильич. Я сама не понимаю, откуда во мне столько злобы и низости. Со смертью Карла Федоровича кончилась моя женская жизнь, я удалилась из общества, стала жить только домом, детьми, их учением, играми, заботами. Я оставила для себя лишь музыку и в ней сохраняла прежний мир чувств. И я была счастлива и ни о чем не жалела, кроме безвременной смерти моего дорогого мужа. И вдруг в мою тишину и чистоту ворвалась баба, ревнивая, злобная, завистливая, ненавидящая, неопытно страдающая. И эта баба я сама. Боже мой, какой стыд! Старуха! Бабушка! Моя старшая дочь давно уже бывает в свете, мой старший сын — правовед. У меня седые пряди в волосах, кожа потеряла гладкость, стала сухой и жесткой, я забыла время, когда была женщиной, когда открывалась своему мужу и приносила ему детей. Природа была щедра ко мне, одиннадцать раз становилась я матерью. Слишком щедра, это иссушило меня до срока, — подумала она с внезапной злостью, и тут же нестерпимый стыд румянцем ожег ей щеки. Не хвата-

ло еще, чтобы она стала роптать на природу за самый лучший ее дар из многих даров, излитых на нее, — за то, что она дала жизнь стольким прекрасным человеческим существам. И почему она называет себя старухой? И пяти лет не прошло с тех пор, как родилась ее младшая, Милочка, так заинтересовавшая Петра Ильича. Трогала и волновала непонятная взаимная тяга композитора и девочки. Милочка подолгу рассматривала портрет Петра Ильича, и в конце концов Надежда Филаретовна не без сожаления подарила ей фотографию композитора с дарственной надписью, адресованной, разумеется, матери, а не дочери. Однажды, когда она писала милому другу, девочка спросила: «Кому ты пишешь?» — «Господину Чайковскому». — «А почему ты ему все время пишешь?» — «Потому что люблю господина Чайковского!» — «Почему же ты не пишешь королю Баварскому, ведь ты его тоже любишь?» — сказала с чуть смуглившей Надежду Филаретовну сложной интонацией четырехлетняя Милочка. Конечно, через мгновение мать поняла, что сама сочинила эту сложную интонацию, на самом же деле тут не было ничего, кроме очаровательной детской наивности. Надежда Филаретовна как-то обмолвилась при Милочке, что любит короля Баварского за его отношение к музыке и музыкантам. Цепкий детский ум запомнил эту фразу. И странно было, что Петр Ильич, которому она написала о смешной и трогательной выходке дочери, сухо промолчал в ответ. Ей захотелось сейчас же увидеть Милочку, эту живую связь с ее недавней, совсем недавней молодостью, — крепкую, крупненькую, здоровую и красивую Милочку.

Когда Надежда Филаретовна вошла в детскую, Милочка поспешно поставила на столик фотографию Петра Ильича. И Надежде Филаретовне привиделось нечто мистическое в том, что ее меньшая тоже пребывает с Петром Ильичом Чайковским. Радость или горе сулит столь удивительное совпадение? Подобно многим атеистам Надежда Филаретовна была суеверна.

— Ты рассматривала карточку господина Чайковского, маленькая? Не правда ли, какое у него прекрасное лицо?

— Да, мамочка. — Дитя исподлобья глядело на мать.

Надежда Филаретовна на мгновение поднесла к глазам фотографию и поставила на столик. Милочка с большим облегчением поняла, что мать не заметила крошечных дырочек в зрачках композитора, проколотых булавкой. Милочка только что произвела обряд страшной мести, ослепив Петра Ильича.

— Ты любишь господина Чайковского?

— Очень, — хладнокровно ответило дитя.

— Люби его, маленькая. Он замечательный, редкий человек! И величайший композитор.

— Я и люблю, — поспешила заверить Милочка.

Поцеловав ее в лоб и темя, прикоснувшись губами к тому нежному, благоуханному, что было залогом и ее дрящейся молодости, Надежда Филаретовна со слезами на глазах вышла из детской.

...Возвращаясь к себе, она глянула в залитый луной дворик. В серебристом свете небывало огромной, какой-то праздничной луны немудреный московский дворишко с чахлыми кустами сирени и высохшим плющом на брандамауэре соседнего дома, с каретным и дровяным сараями напоминал итальянское патио, задумчивое, исполненное грусти и тайны. Под необлетевшим кустом персидской сирени сидели на лавочке двое и тихо беседовали. Один из них курил, и красный огонек сигарки описывал плавные дуги в невидимой руке. По этой плавности жеста, сопровождающего речь, фон Мекк угадал своего управляющего. Другой собеседник был ей невидим и неведом. Внезапно она почувствовала острый укол зависти к этим безмятежным людям, которым нет никакого дела до всех ее забот, мук, сомнений, тревог; они вышли покурить и почесать языки в теплый вечер благостной осени и, накурившись, надышавшись прелой листвой, теплой землей, наслушавшись отдаленной, затухающей музыки громадного города,

спокойно завалятся спать и крепко проспят до самого утра, в то время как она лишь перед рассветом, когда пепельно обозначатся шелковые шторы, забудется коротким, не дающим утоления сном.

Надежда Филаретовна заблуждалась в отношении людей во дворе. Собеседникам под персидской сиренью не было ни спокойно, ни по-вечернему безмятежно на душе. Им было весьма тревожно, и предмет их тревог совпадал с тем, что не давал покоя Надежде Филаретовне.

— Неужто и слушать не стала? — тяжелым своим голосом спрашивал Жгутов. — Может, какая другая причина ихнего нерасположения? Не темнишь ли ты со мной, Василий Сергеевич?

— Грех вам так думать, Иван Прокофьевич, не то что всуе произносить! — искренне огорчился управляющий. — Кажется, не первый год дела ведем. Да и какая же мне корысть обманывать вас? Говорю и повторяю: в трауре она, ихний протеже, господин Чайковский, писать не изволит.

— Протеже — это как понять?.. Кем он ей доводится — симпатией или кем другим?

— Никем. Композитор он, музыку пишет.

— Нешто ее пишут? — удивился Жгутов. — Я думал, поют иль играют.

Наивность Жгутова не дала управляющему даже секундного ощущения собственного превосходства. Он лишь умиленно подумал: «Господи, да он даже не знает, что музыку пишут! Одет как чучело огородное, живет в избе, куда и скотина заходит погреться, а ведь одним зубком меня перекусит. И меня, и жену мою, душеньку, и сынков-гимназистов перекусит, как ласка птичье горлышко. Кто я против тебя: нуль без палочки». Он ответил обстоятельно и серьезно:

— Музыку сперва сочинить надо и записать нотными крючками, а там пой, играй, пляши, как твоя душа пожелает.

— И какую же он музыку сочинил?

— Всю, какая есть. И церковную: «Разбойника благоразумного», «Псалмы Давида», и светскую: «В пустынных дева шла местах», «Блоху», «Стонет сизый голубочек», «Тигренка»...

Василий Сергеевич перечислил все известные ему наиболее значительные музыкальные сочинения, о каких, быть может, слышан и Жгутов. К тому же он полагал, что хоть часть этих выдающихся вещей действительно принадлежит Чайковскому, иначе и поведение Надежды Филаретовны, и гонор композитора не имеют оправдания.

— Надо же! — удивился Жгутов и продолжал строгим голосом: — А чего же он барыне не пишет? Такую капитальную женщину огорчает.

— Он сам генерал... Но, — Василий Сергеевич понизил голос, словно опасаясь, что у ночи есть уши, — все подчистую в карты спускает, и барыня наша ему за это пенсион выплачивает. Видите, почтеннейший Иван Прокофьевич, насколько я с вами доверителен и весь нараспашку. Если до барыни дойдет, как я об ихнем протееже рассуждаю, быть мне без места.

Но Иван Прокофьевич вроде бы не слышал этих признаний, он что-то соображал своей большой и тяжелой, как котел, головой. И сообразил:

— Коли так... коли ты правду мне говоришь, должно быть письмо. Долго ему не продержаться, напишет. Вот только когда?

— Да... — вздохнул управляющий, — мы и сами ждем. Каждое утро мальчонку на почту гоняем, почтаря дожидаться не можем. Малый туда птицей летит, обратно едва ноги волочит и загодя ревмя ревет.

— Это почему же? — рассеянно спросил Жгутов.

— А ему непременно по затылку влетает, что пустой пришел. Хотя, с другой стороны, чем малец виноват?.. — справедливо рассудил управляющий и втоптал в землю окурок. — На боковую никак пора?

— За ворота выйду, — сказал Жгутов.

— А что бы по столице пройтись? — оживился управляющий. — Все-таки громадный городишко! У нас тут неподалеку, на Трубе, увеселения всякие, балаганы, полпивные и настоящие рестораны с шампанским, блинами, икрой! И насчет всего прочего, если пожелаете, — он снова понизил голос почти до шепота, — очень свободно. И заведения... и можно по-благородному комнату снять. Вот дом Малюшина на Сретенке — молодые девицы и замужние дамочки, даже из благородных случаются.

— А ты почему знаешь? — хмуро спросил Жгутов. — Или пользовался? Может, компанию составишь?

— Мне нельзя... Меня тут каждая собака знает. А вы человек приезжий, вольный...

— Без интереса! — грубо оборвал Жгутов. — Я за воротами постою.

— Как будет угодно, — поклонился управляющий.

...Иван Прокофьевич вышел за ворота. Довольно крепкий, хотя и теплый, ветер тревожил пламя газовых фонарей, отчего тени домов, деревьев, заборов на булыжной мостовой и плитняке тротуара находились в беспрерывном движении. Они смещались то в одну, то в другую сторону, наслаивались друг на дружку, сливались и размыкались, и казалось, сама улица раскачивается на волнах ночи. Ивану Прокофьевичу не понравилось шальное поведение улицы и окончательно отбило у него охоту знакомиться с этим большим и сомнительным городом, где скопилось столько богатств, столько золота и товаров, где заключаются ежедневно бесчисленные сделки, где все продается и покупается, где и по ночам горит свет, играет музыка, льется рекой вино, где спускают в карты целые состояния, где коммерческие дела зависят от записульки, которую музыкально-карточный генерал не удосужился послать чувствительной и ндравной барыне, вдове самого ловкого дельца, самого бесстрашного воротилы Российской империи. И кой черт его, человека семейного, богобоязненного, в делах стро-

того и точного, занесло в этот чертов вертеп? Не плюнуть ли на все да и махнуть домой? Дел и так не счесть, всех денег не заберешь, что-то и другим оставить нужно. Тут проиграл, там выиграл... Да и чего он такого проиграл? Ну потерял неделю, зато хоть Москву повидал, когда ехал на извозчике с Казанского вокзала на Рождественский бульвар, будет что рассказать старухе и про колокольный звон, и сколько тут церквей, крестов золотых, и какой пышный белый хлеб выпекают, и как чудно люди одеваются. А что, если впрямь зайти в дом Малюшина на Сретенке, переночевать там с какой-нибудь чиновницей или майорской вдовой и по утреннему холодку двинуться восвояси? Но близко, рукой достать, чернели убегающие вправо и влево нерослые деревья бульвара, и они вновь прикинулись стройными великанами, лесом, принадлежавшим ему по праву.

«Нет, погожу еще день, — решил Иван Прокофьевич, — авось напишет этот гусляр, а там, может, чего прояснится...»

...Из своего окна Юлия всегда могла определить, погашен свет у матери или нет. В этот вечер, тревожась за мать, она уже несколько раз вставала с кровати. И за полночь у матери все горел свет. Но в доме существовали правила, нарушать которые возбранялось и самой нежной любви. Надежда Филаретовна не терпела, чтобы к ней заходили в спальню. Лишь старая камеристка видела ее в утреннем беспорядке, остальным домочадцам, даже крошечной Милочке, она являлась при всех доспехах. «А как же у нее было с отцом? — краснея, думала Юлия. — Наверное, маму выручал наряд темноты...»

Некрасивая Юлия давно исключила для себя возможность счастливого брака. Замужество без любви она отвергла всей гордостью и душевной опрятностью. «Не я одна такая, — смиренно думала Юлия, — очевидно, для высокой игры господ Бога зачем-то нужны и такие, навек одинокие. Нужно, чтобы существовал какой-то свободный резерв любви, которым Господь может располагать по свое-

му усмотрению». Но пока Юлия не получила знамения свыше отдать свою любовь страждущим — она даже не очень отчетливо представляла себе, где находятся эти страждущие, рисовавшиеся ей чем-то вроде нахальных нищих Петровского пассажа, — все тепло души изливала на мать. Юлия не только любила мать, восхищалась ею, но порой страстно жалела, она постоянно думала о ней, о сильной жизни ее духа и плоти, способных во всем доходить до края. Сама Юлия, начинавшая задыхаться от слишком пристального взгляда молодого скрипача Пахульского, хотя он вовсе не нравился ей, с восторженным ужасом думала о том жизненном грузе, какой несла на своих прямых плечах ее мать. Дело не в том, что семнадцатилетняя девушка отважно и вполне сознательно согласилась разделить судьбу непростого и очень взрослого человека — Карла фон Мекка, и не в том даже, что, кроме самой Юлии, она дала жизнь еще десятерым, а в том, сколько любви, сил, забот, волнений излила она на каждого из них, не утерев при этом ничего в собственной личности, собственных, непричастных семье и детям интересах (нет, это слово слишком пресно, когда речь идет о таком человеке, как ее мать).

После смерти отца мать удалилась в некий внутренний монастырь. Все, что ранее широко, щедро тратилось на внешнюю жизнь и на мужа, теперь обратилось только на дом и детей. Ее чрезмерная требовательность, властность, неожиданная склонность к фаворитизму создали из домашней жизни некое подобие двора времен Анны Иоанновны. И какая-то угрюмость вдруг обнаружилась в ней. Она сама называла это звучным словом «мизантропия», но в русском варианте заграничная смесь из тоски, разочарования, отчуждения и нелюдимости отдавала Салтычихой. При всей своей безграничной любви к матери, а может, вследствие этой любви Юлия видела ее без прикрас, без розового флера. И тем радостнее было для нее, что она куда чаще заслуживала восторга, нежели осуждения. А потом мать придумала себе Чайковского, и мизантропию как рукой сняло. Юлия улыбнулась

собственной дерзости. Она знала, что мать не «придумала» Чайковского, а пришла к нему путем души, но ей нравилось так вольничать про себя. И в доме вновь стало легко, весело, музыкально. Она никогда не была так близка с матерью, как в «дни Чайковского», и невольно испытывала благодарность к нему за это сближение, хотя где-то рядом с добрым в ней все время шевелилась ревность.

Мать давала ей читать письма Петра Ильича, часто они читали их вместе. Играли в четыре руки музыку Чайковского, пели в два голоса его романсы, говорили о нем. И вскоре Юлии перестало быть в ревнивую тягость постоянное присутствие третьего лица. Ее любовь к матери не была эгоистической, захватнической, а кроме того, она узнала о договоре, заключенном между матерью и композитором: никогда не встречаться. Быть может, если б милый призрак материализовался и стал возле матери во всей грубой несомненности своего земного образа — при бороде и усах, — отношение к нему Юлии стало бы менее снисходительным.

Впрочем, в последнее время ее отношение к Чайковскому сильно поколебалось. Прежде всего Юлию оскорбило, что Петр Ильич так неловко соединил в письме свое намерение посвятить Надежде Филаретовне Четвертую симфонию с просьбой о деньгах. Получилась будто бы обменная сделка. Но гнев матери и собственное размышление убедили ее, что бьющая в глаза очевидность такой неловкости оправдывает Петра Ильича, свидетельствуя о его почти детской наивности. И Юлия была до конца искренна, когда просила у матери прощения за дурные мысли. Правда, она опять не угодила, она позволила себе выразиться о Чайковском как о смертном человеке, а он, оказывается, бог, не подлежащий людскому суду. Но если он бог, то бог жестокий. Ему доверилась высокая, патетическая душа, а он то и дело повергает ее в отчаяние...

Сперва эта нелепая женитьба, затем какое-то судорожное, почти истерическое раскаяние в содеянном, страш-

ное, черное письмо, а после короткого просвета, когда повеяло прежним Чайковским, творцом благодати, новый взрыв горести — и вдруг необъяснимое смирение перед судьбой, готовность принять случившееся и, наконец, провал в неизвестность. Мать все чего-то ждала, она не показала Юлии последнего письма Чайковского, лишь глухо сказала, что желает ему покоя, раз нет счастья, что худой мир лучше доброй ссоры. Ото всех этих тривиальностей, столь чуждых Надежде Филаретовне, веяло душевным смятением. Но и это было не так страшно, как теперешняя растерзанность. Это началось, едва они вернулись из Италии и переступили порог дома. Первый вопрос Надежды Филаретовны был о почте. Ей подали всю скопившуюся за время их отсутствия корреспонденцию. Она расшвыряла конверты, убедилась, что письма от Чайковского нет, и почти зримо рухнула душой. Почему ей так важно было это письмо? И что вообще в судьбе и жизни господина Чайковского может так болезненно затронуть мать? В конце концов, у матери к нему интерес чисто музыкальный, конечно, и дружеский, но опять же через музыку. Впрочем, мать всегда доходит до края в своих привязанностях, так же как и в своих антипатиях. Чайковский нанес удар ее гордости, вмешав в их отношения ничтожную, глупую мещанку. Неприятно, конечно, но отнюдь не смертельно. Жизни и здоровью Петра Ильича равным счетом ничто не угрожает, страхи и терзания матери лишены всякого основания и коренятся лишь в ее могучем, необузданном нраве. Придуманный господин Чайковский не состоялся, его реальный образ оказался куда сложнее, мутнее, хаотичнее. Чрезмерную самостоятельность мать трудно переносила и в людях, вовсе от нее не зависимых, отсюда ее вечные контры с мятежным Николаем Рубинштейном, в людях же зависимых — морально или материально — вовсе не терпела. Вот в чем истинная причина страданий матери, — содрогаясь от собственной пронизательности, решила Юлия. И пришла к выводу, делающему честь ее доброй душе: все взять

на себя. Пусть это и не слишком прилично, она сама напишет Чайковскому. Видать, ему на роду положено получать письма от незнакомых женщин. Она скажет одно: не будьте жестоким. Он поймет, ответит, и мать получит назад свою поломанную игрушку...

...Юлия ошиблась, думая, что Надежда Филаретовна томится бессонницей. Обморочный сон свалил ее мгновенно, и она просто не успела погасить ночника. Это был не сон даже, а какое-то новое существование. В этом странном сне она плакала настоящими слезами и чувствовала свои мокрые глаза; она кричала и слышала свой крик, все, что происходило с ней в этом сне, она ощущала телесно, и, когда очнулась, испытанное оставалось в костях и мышцах.

Ей виделась Москва, московский поздний вечер, промозглый вечер с ледяным ветром и мелким, секущим дождем. И Петр Ильич в черном длинном пальто с поднятым воротником и касторовой шляпе, глубоко надвинутой на глаза, все тащил ее куда-то, сильно, настойчиво и бесцеремонно сжимая ей локоть. Надежде Филаретовне был и радостен и чем-то страшен властный жим его руки, она хотела спросить, куда они идут, но вопрос не получался, словно она забыла, как произносятся слова. А Петр Ильич, догадываясь о невысказанном вопросе, раздраженно твердил: «Надо!», «Надо!», «Надо!» — «Почему надо?» — наконец вырвалось у нее. Спутник не ответил, и тут они оказались у высоких мрачных зданий, бывших одновременно соборами и театрами. Там шла вечерня, но отправляли ее не богослужители, а актеры, и у входа продавались билеты. Это не столько удивило Надежду Филаретовну, она готова была к чему-то подобному, сколько укрепило в тягостных предчувствиях. Она вдруг обнаружила, что храмы безмолвствуют и все вокруг погружено в мертвую тишину. «Звуки умерли!» — нетерпеливо и еще более раздраженно пояснил Чайковский, снова угадав ее вопрос. «Неужели вы сами не знаете, что звуки умерли?» Но она знала это, только почему-то скрывала и от Чайковского, и от самой себя.

Обеззвучились все скрипки, виолончели, флейты, трубы, рожки, ни один клавиш рояля не родит звука, ни одно горло — песни. Музыка умерла, потому что свершилось предательство. Какое — она не умела назвать. Музыка умерла в Петре Ильиче, оттого все смолкло вокруг. И чудовищные храмы-театры возникли из того, что всякая суть утратила свой образ.

Она не удивилась, когда черные громады зданий раздались и будто истаяли в воздухе, а они оказались у темной маслянистой воды. Она сразу узнала Канаву, рукав Москвы-реки и место — возле Большой Полянки, за Малым Каменным мостом. В мгновенно сгустившихся сумерках отчетливо рисовался округлый угол того ушедшего в землю дома, который, по слухам, строил Баженов. Тут все было привычно, как в яви: и высокая каланча в глубине улицы, и аптека против дома Баженова, и фонарь на углу. И две монашки, прошагавшие им навстречу грубым мужским шагом, обметая мокрый булыжник тяжелыми заклюстанными подолами, принадлежали обычной жизни, так же как и солдат-инвалид, пытавшийся раскурить трубочку с помощью огнива, прикрывая тлеющий шнур полой куртки. И вместе с тем все это: дождь, ветер, лужи, набережная, аптека, монашки, солдат — были знаками какого-то иного, оскудевшего, опустошившегося бытия, в котором не осталось никакой малости, ради которой стоило бы жить. И она вдруг покорила неизбежному, уторопила шаг и первая вышла к каменной лесенке, сбегаящей к воде. Река противно хлюпала, будто чмокала спросонок толстыми губами. И что-то плыло по темной, мутной, нездоровой воде — какие-то деревяшки, банки, трупы мелких животных, всякая городская нечистота, ворочаясь, неслась по течению, чтобы в конце пути раствориться в море.

Петр Ильич, чуть отставший, подошел к ней странной, дергающейся походкой, словно его поразил нервный тик, снял шляпу, перчатки вместе с тростью протянул ей. Надежда Филаретовна удивилась, зачем он это делает, и Петр

Ильич сказал все так же раздраженно: «Неужели вы не знаете, что шляпу, перчатки и трость следует сдавать в гардероб?» — «А пальто?» — робко и бессмысленно спросила Надежда Филаретовна. «Мы не в театре! — резко ответил Петр Ильич. — Ведите себя прилично!» И тут он вдруг напустился на Карла Федоровича фон Мекка, не потрудившегося за столько лет совместной жизни научить жену, как надо вести себя при самоубийстве. «Инженер-дворянин! — язвил Петр Ильич. — Остзейский дворянин!» — добавлял с дьявольской иронией. Надежде Филаретовне казалось, что мужа он мог бы оставить в покое. Но вообще Петр Ильич необыкновенно нравился ей в эти минуты. Нравился даже дерзким необоснованным осуждением остзейских дворян, допускающих грубые пробелы в воспитании своих жен. Он был очень хорош, Петр Ильич, — выше ростом и стройнее, чем она привыкла думать, суше, подбористее фигурой, лицом колючее, резче. Было в нем что-то мужское и победительное вопреки тому поступку слабости, что он намеревался совершить. И это так заворожило Надежду Филаретовну, что она не пыталась ни остановить, ни отговорить Петра Ильича.

Меж тем Петр Ильич уже вошел в реку. Предварительно он потрогал воду ногой в черной лакированной туфле, как это делают робкие купальщики, и произнес что-то похожее на «б-р-р!». Затем стал медленно погружаться: по щиколотки, по колени, по бедра — вот уже всплыли вокруг него полы длинного пальто. Она чувствовала своей плотью, как смертельный холод подымается у него от ног к животу, груди. А Петр Ильич шел все дальше, погружался все глубже, брезгливо отталкивая от себя гнилые доски, пустые бутылки, картонные коробки. И тут Надежда Филаретовна наконец поняла, что Петра Ильича больше не будет, он скроется под водой, а потом всплывет далеко отсюда, и его тоже понесет к морю черная равнодушная вода. Она страшно, пронзительно закричала. Петр Ильич испуганно повернул голову: «Замолчите! Услышит полиция!» Но она про-

должала кричать и проснулась под этот крик и уже наяву видела идущего к ней мокрого негодующего Чайковского. «А ведь я спасла его», — подумала Надежда Филаретовна и проснулась окончательно. И сон вовсе не показался ей таким уж диким. Петр Ильич говорил в письмах о своем намерении развязать все узлы смертью. Всезнайка Котек писал, что Петр Ильич пытался смертельно простудиться и для этого действительно ночью залез по горло в Москву-реку. Почему Надежда Филаретовна, столь внимательная ко всему, что касалось Чайковского, пропустила эти строки мимо себя с рассеянно-брезгливой гримасой? Надежда Филаретовна могла бы принять эту весть как метафору, выражающую последнюю степень крайности, до которой дошел милый друг. А тут не абстрагироваться надо было, а проглянуть простую и страшную суть. Чайковский вовсе не простудиться хотел в теплой воде Москвы-реки, а утопиться, покончить все расчеты с омерзительной жизнью. Но что-то вспугнуло его, заставило поспешно выйти на берег. «Ему помешал мой крик, — решила Надежда Филаретовна. — Это закричала моя душа, незримо следовавшая за ним...»

Позднее выяснится, что Петра Ильича и впрямь вспугнул чей-то крик. Мазурики, которых полно в этой части города, кого-то грабили, и пострадавший громко зывал к полиции. Петр Ильич смертельно боялся всех представителей власти, особенно дворников и городских, он поспешил выскочить из воды, когда от небытия его отделяли какие-нибудь полшага. И Надежда Филаретовна, узнав об этом, окончательно уверилась, что то был ее спасительный крик, хотя прозвучал он в хриплом горле прохожего, подвергшегося нападению. Юпитер для достижения своих любовных целей не брезговал преображаться в быка, почему бы мистической цели Надежды Филаретовны не использовать гортань какого-то простолюдина, дабы спасти Чайковского!..

Странный сон как-то успокоил Надежду Филаретовну: нет, Петр Ильич нисколько не преувеличивал своих мук с

этой женщиной, он заблуждался лишь относительно возможности длить свою жизнь возле нее. На деле ни о каком втором дыхании чувства не может быть и речи. Он вернется к своему настоящему другу, будет письмо, не может не быть, с первой же почтой...

...Еще один человек в доме провел дурную ночь, но не утешился пробуждением — Жгутов Иван Прокофьевич. Заснуть ему мешали мысли о племянниках, сыновьях вдовой и небогатой сестры, на которых оставил дела. Всю ночь он с тоской и злобой думал, как они там без него хозяйничают. А хозяйство у Жгутова скопилось немалое: в одном имении — конезавод, при другом — смолокурня, в третьем строилась ситценабивная фабрика, а еще было два постоянных двора и питейное заведение. Племянников его несмышлелышами никак не назовешь — все четверо были люди на возрасте, женатые, крепкой кости, низколобые, скуластые, узкоглазые, они при своей зверьевой внешности отличались редкой пройдошливостью. Иван Прокофьевич держал их в ежовых рукавицах, награждал скудно, и тем не менее каждый сколотил капиталец, с каким можно и собственное дельце завести. И это при том, что он не оставлял их без досмотра больше чем на два-три дня. Сейчас его отсутствие длилось без дня неделю, за такой срок и менее оборотистые люди много чего успеют. Конечно, убытка прямого они ему не нанесут, не дураки, но, пользуясь безнадзорностью, могут слишком глубоко сунуть свои носы куда не следует. В деловом мире нередко бывает, когда близкий сродник, вчерашний друг и компаньон, становится конкурентом и лютым врагом. Племяши были хороши в нынешнем своем положении, нельзя им рук развязывать. И Жгутов настоял, чтобы управляющий сходил к барыне еще до получения почты. Сейчас она в утренних одеждах, отоспамшись и к роялю еще не прикасалась, может, выгорит дельце с налету. Ведь он знал, как быстро, решительно и точно умела вершить дела

Надежда Филаретовна, достойная супруга, а ныне, увы, вдова незабвенного Карла Федоровича.

Управляющему до смерти не хотелось идти. Но потом он сообразил, что может увязать продажу леса с ремонтом сахарного завода, о чем Надежда Филаретовна писать изволила еще из Италии, а по приезде напрочь забыла, как и обо всем другом, не менее срочном. Перекрестившись, он отправился в господские покои. А Жгутов заглянул в людскую. Там сидел веснушчатый недоросток по имени Ванек, отпрыск кухарки и швейцара, Гермес этого дома, которого каждое утро отправляли на почту, дабы не ждать хромого, медлительного почтальона. Мальчонка был легок на ногу, расторопен и грамотен.

— Не ходил еще?

— Никаких нет, господин Жгутов, — отозвался Ванек.

— Коли принесешь письмо, получишь четвертак, — пообещал Жгутов и зачем-то погрозил Ваньку пудовым, в рыжем волосе кулаком.

Потрясенный громадностью суммы, Ванек решил не дожидаться сложа руки милостей судьбы. Двадцать копеек стоил билет в балаган, где показывали русалку. А на пятак можно закупить тянучек, липучек и постного сахара. Пойди дождись такого! Раздобыв у своего золотоокантованного отца бумаги и чернил, он уединился во дворе и, напрягшись всем трехклассным образованием, сочинил письмо. Это письмо он вручит Жгутову в обмен на четвертак, после чего затеряется до отъезда купца. Последнее на тот случай, если госпожа фон Мекк заподозрит подделку. Вот что он написал:

«Милая Надя! Во первых строках своего письма сообщая что жив здоров чего и вам желаю. Я сочиняю всякую красивую музыку больше церковную в карты играю только по маленькой в самой лутшей компании. А еще кланятся вам все наши и желают счастья в вашей цветущей жизни. Остаюсь вашим мил другом, господин Чайковский».

..Он сложил вдвое листок бумаги и сунул за пазуху. Нахлобучил шапку и побежал на почту, вдруг ему повезет

и он доставит настоящее письмо Чайковского, а если нет, то запечатает собственное послание. Конечно, только так говорится — побежал. Времени у него было предостаточно, и он тащился по улице, полной всевозможных соблазнов, тем разболтанным, медлительным шагом, каким слоняются по городу все московские мальчишки, даже когда им сказано: одна нога здесь, другая там. А Ванек был москвичом недавней выпечки. Швейцар забрал сына из деревни два года назад. Он шел вверх по крутизне бульвара. Полюбовался на голубей, сладко встревоженных теплой, совсем весенней погодой, посмотрел, как мужик нахлестывает клячонку, с возом березовых дров рывками и зигзагами одолевающую крутой подъем, повернул было за разносчиком фруктов с лотком яблок, коричневых груш и мраморных слив на голове, задержался возле слепой нищенки и долго вглядывался в ее глубокие глазницы, где слезились узкие бедные щелочки, пытаясь понять, вправду ли она не видит или притворяется. Пока он стоял, в кружку нищенки со звоном падали медные монетки. «Чего уставился? — грубым голосом сказала нищенка. — Шел бы себе!» И он пошел дальше, подсчитывая в уме, сколько она насобирает за день, если при нем — минуты за три-четыре — ей кинули шесть грошиков и копейку. Сумма получалась настолько солидная, что он несколько раз проверил счет, прежде чем уверился в громадном доходе старухи. Даже если вычесть морозные и дождливые дни, когда по улицам никто не ходит, получалось, что быть слепцом выгоднее, чем, скажем, лакеем, швейцаром или почтальоном. Зато скучно — стой как прикованный, заводи глаза под лоб и канючь тонким, жалостным голосом. Никаких денег не захочется.

Ванек вышел к Сретенским воротам, оглушившим его многоголосьем толпы, скрипом тележных колес, цокотом копыт, дребезжанием пролетов, уханьем бочек, скатывающихся в винные подвалы братьев Перхушковых, что сразу за углом бульвара, криками торговцев сладостями и фруктами. Он нырнул в толпу, как в омут, радуясь ее бессмыслен-

ному возбуждению, будто все были малость под хмельком, и сам хмелея от толчеи, запахов, шумов и вдруг укрепившейся веры, что четвертак у него в кармане и он увидит русалку и досыта наестся тянучками, липучками и постным сахаром. В этой светлой уверенности он добрался до почты, вошел в припахивающую склепом контору и узнал, что писем для госпожи фон Мекк нету. Он не то чтобы легко, а как-то ожесточенно-весело перенес удар. Купил конверт и самую дешевую марку с изображением царской короны. Натерев пяточок чернилами, он отпечатал его несколько раз на обрывке подобранной с пола газеты, затем бледно отшлепнул на марку. Написал адрес по всем правилам: «Москва Рождественский бульвар. Ее высокоблагородию госпоже фон Мекк в собственном доме». Спрятал письмо за пазуху и тем же путем отправился домой.

...За время его отсутствия произошло очередное изгнание управляющего из кабинета госпожи фон Мекк. На сей раз она была настроена вроде бы мягче, притихшая, сосредоточенная в себе, будто решала в укромье какую-то важную для себя задачу. Она даже не спросила о почте, указала управляющему на стул и сама села напротив, за маленький инкрустированный столик. Похоже было, что она рада отвлечься чем-то посторонним от своих дум, да и вид рабочего столика, за которым она подписала столько важных бумаг, подействовал на Василия Сергеевича ободряюще, и он совершил непоправимую ошибку. Ему бы сразу выложить главное дело, но над ним тяготел хитрый план, одобренный Жгутовым, да и вид Надежды Филаретовны располагал к неторопливости, и он завел речь насчет ремонта сахарного завода. Он еще не добрался до конца, когда Надежда Филаретовна устало и спокойно сказала:

— Хорошо, Сергееч, я все это знаю и писала вам еще с дороги: приступайте. Зачем вы докучаете мне одним и тем же? Вы разве не видите, я плохо себя чувствую, мне не до вас. Почему люди такие жестокие, Господи, почему?! — произнесла она с выражением, пора-

жившим управляющего до дна души и приведшим в действие его слезные мешки.

Истинное горе обладает свойством затрагивать даже самые замшелые души. А управляющий вовсе не был дремучим человеком. Ему стоило громадного труда побороть в себе слабость чисто человеческого сочувствия фон Мекк и продолжить свою линию.

— Я осмеливаюсь беспокоить вашу милость, ибо возникает необходимость в дополнительных средствах. В связи с этим обстоятельством прошу обратить внимание на предложение купца первой гильдии господина Жгутова о приобретении леса...

Фон Мекк давно не слушала управляющего, вновь погружившись в свою ночь. Но знакомое слово «лес», связавшееся в силу чисто временного совпадения с молчанием Чайковского, со всей ее мукой, пронизало глухоту невнимания и угодило искрой в пороховой погреб.

— Полите вон! — сказала она, побледнев от бешенства...

Управляющий вышел и поплелся по коридору, волоча ноги, совсем забыв о том, что барыня не терпит шарканья. Его мысль перескочила сейчас почему-то на прокламацию, невесть кем подброшенную наемдни во двор. Он с гневом порвал ее и кинул в печку, возмущаясь равнодушием полиции, допускающей распространение таких злокозненных воззваний. Там говорилось о царской власти и всех тех, кто поддерживает трон, и вывод был — надо с этим кончать. Василий Сергеевич думал, что при всей глупости листовки в ней содержится кое-что справедливое. Только потому, что Мекк какая-то «фон», она позволяет себе выдерживать в прихожей такого человека, как Иван Прокофьевич Жгутов, которому по уму и деловитости в подметки не годится. Россия вечно будет отставать от других стран, пока не сменятся порядки и у власти не станут люди, подобные Жгутову. Управляющий, сам того не ведая, пришел к сознанию необходимости буржуазной революции в России, то есть совершил громадный скачок в своем внутреннем развитии...

...Вернувшись с почты, Ванек сразу наткнулся на господина Жгутова, поджидавшего в воротах.

— Ну?! — грозно молвил Жгутов, схватив мальчонку за худое плечо.

Тот почувствовал тяжесть руки Жгутова и не посмел сказать свою ложь.

Жгутов в сердцах тряхнул Ваньку, из-под рубашки выпало письмо. Жгутов нагнулся, ухватил письмо и отпустил Ваньку, но тот и не думал бежать. Сильнее страха был в нем интерес, как воспримет Жгутов его писанину. Купец осмотрел письмо, повертел его так и эдак, глянул на просвет, чуть ли не понюхал, задержался взглядом на штемпеле и спокойно разорвал конверт. Медленно шевеля губами, прочел письмо.

— Неужто сам сочинил? — спросил он без улыбки. — Важно составлено! — И не в лад словам трижды стукнула мальчонку по лбу костяшкой согнутого указательного пальца.

Тот собрался было зареветь, но с удивлением обнаружил, что удары не причиняют боли, палец не наказывал, скорее поощрял.

— Четвертак с вашей милости, — сказал Ванек, собравшись с духом.

— Что-о? — Полуприкрытые тяжелыми веками глаза Жгутова распахнулись двумя неожиданно синими озерцами.

— А как же, — осмелел Ванек. — Уговор дороже денег. Обещали ведь: за письмо четвертак...

— Большие способности у щенка, — будто про себя сказал Жгутов и полез в карман.

Он вынул два пятака и пятиалтынный, погремел ими в ладошке и опустил назад в карман.

— Не дам, — сказал он, — за промашку твою не дам. Такие дела надо чисто делать. Чтоб комар носа не подточил. А ты штемпель не туда шмякнул.

Но отношения Ванька и Жгутова на том не кончились. Восхищенный способностями мальчишки, который в столь

нежном возрасте проявил недюжинную деловую сметку. Жгутов решил забрать его к себе. Хорошо иметь близкого и толкового человека, который был бы тебе всем обязан, тобой выращен и вознесен. К сожалению, судьба обидела Ивана Прокофьевича, наградив его двумя курицами-дочками и сыном-дурачком. Дочек — Бог с ними — выдаст замуж, даст за каждой сколько следует, и разговор окончен, но коли в сыне чужая кровь — это беда. Для него отцовы дела и заботы — ничто. Ноль внимания, фунт презрения! И бил его отец, и на хлеб-воду сажал, и лишением наследства грозил — все тщетно. Парню шестнадцатый год, а он только и знает, что всяких мошек да бабочек собирать и в коробку булавками прикалывать. Смотреть противно и перед людьми совестно. Словом, сын — зачеркнутая строка жизни. О племянниках Жгутов после задержки в Москве и думать не мог без злобы. Конечно, он использует их сколько можно, но при себе удерживать не станет. Тертые калачи! Когда рядом, впритык, живешь — не замечаешь, а издали все видно. А вот такой Ванек лет через шесть-семь будет незаменим в любом деле. И, не откладывая в долгий ящик, Жгутов в тот же день переговорил с родителями мальчика: важным глупым швейцаром с громадными, чисто промытыми бакенбардами и чернявой, похожей на галку, кухаркой, готовившей на челядинцев. Те, ясное дело, и не знали, как благодарить великодушного купца.

Пройдут годы, и сын Жгутова станет крупным ученым, членом Российской академии наук. Его именем назовут три вида бабочек, подвид жуков-дровосеков и красивую изумрудную муху, разносящую кожную болезнь, по его книгам будут учиться студенты-энтомологи... Ванек же не сделал карьеры, ошибся в нем Иван Прокофьевич. Характера он оказался шаткого, рассеянного, любил компанию, увеселения разные, рюмочку и гитару. Так и остался рядовым приказчиком, выделяясь среди других разве тем, что иногда подделывал векселек на мелкую сумму, бывал бит, сиживал в кутузке...

...После ухода управляющего Надежде Филаретовне долго пахло лесом. Так иной раз бывает: мелочь, мелькнувшая в разговоре, будто заноза впивается в душу, хотя весь остальной разговор ушел из памяти. Стоит задуматься, чем тебя задела, встревожила или рассердила пустая мелочь. Но Надежде Филаретовне не хотелось утруждать себя, она попыталась прогнать запах леса простым способом: дискредитацией собеседника. «И чего привязался хитрый дурак управляющий с этим лесом? Наверное, немалый куш с купца содрал. Но ведь тот как будто хорошую цену предлагает?.. О Господи, — оборвала она себя. — Какое мне дело до этого купчишки и его расчетов?..» Но запах леса не уходил, тревожный и горький, он повел ее привычным путем к Чайковскому, хотя лес вроде бы не играл никакой роли в их взаимоотношениях. Стоп!.. Играл-таки! Пусть не напрямую, а все же играл!

Петр Ильич связывал с лесом, принадлежащим Милюковым, какие-то жалкие расчеты. Да, да, Антонина Ивановна уверила его, что есть лес в Клинском уезде и есть покупатель на этот лес, что это ее приданое, совсем немалое по тем стесненным обстоятельствам, в каких находился Чайковский. Бедный великий человек! Он надеялся с помощью леса разделаться с долгами, заткнуть зияющие дыры, оплатить расходы по свадьбе, свадебному путешествию и устройству дома. Он с важной и наивной горделивостью писал Надежде Филаретовне об этом лесе. Впрочем, горделивости, может, и не было, но вера в облегчение жизни, несомненно, звучала в его письме. И еще: в лесе ему виделась гарантия какой-то если не респектабельности, то хоть порядочности сомнительной семейки Милюковых. Как ни прост и ни доверчив Петр Ильич, он, натура художественная, с обостренным чутьем и безотчетно угадывает истинную ценность людей, вещей и событий. И верно, не сама Антонина Ивановна вызвала в нем тот взрыв отвращения, который привел к попытке самоубийства, а позор

открывшегося обмана. Покупатель, как водится, в последний момент надул, а на лес предъявили наследственные права дальние родственники. Если только этот лес существовал не в одном разгоряченном воображении Антонины Ивановны. Да и невнятица, которую столь точный в письмах Петр Ильич допустил в изложении лесной истории, убеждала, что он не дал веры неуклюжим объяснениям Антонины Ивановны.

Так рухнули «лесные» планы Петра Ильича, и ему, надевшемуся перевести дух, пришлось обращаться к своему милому, но чуточку обиженному, чуточку обманутому, чуточку заброшенному другу с просьбой о деньгах. Да, Петр Ильич умеет просить, не унижаясь, не теряя чувства собственного достоинства, ибо знает цену себе и знает цену мне, — подумала с гордостью Надежда Филаретовна. Но на этот раз ему было тяжело и неловко. Только успел он поверить в свою независимость, обеспеченную не мною, а наследственными владениями бояр Милюковых, как пришлось просить деньги на бракосочетание и даже на брачную постель. Конечно, просьба Петра Ильича была выполнена незамедлительно и с предельной деликатностью. Я позволила себе лишь самую крошечную месть, приказав управляющему зачислить эти деньги в графу: «нуждающимся музыкантам». Но, ей-богу, это вовсе не страшная месть, дурак управляющий ничего не понял, а больше никто о моей выходке не узнает. А мне нужен был хоть какой-то выдох, чтобы не разорвалось сердце.

Теперь ясно, что разочарование Петра Ильича в браке с Антониной Ивановной было полным и несомненным: он не нашел в ней Татьяны. Не нашел ни пылкой возлюбленной, ни жены-матери, заботливого, всепонимающего, опекающего друга; не нашел и тонкого слушателя, а уж этого он, во всяком случае, мог ждать от бывшей посетительницы музыкальных курсов; не нашел в ее семье тех добродетелей, о которых мечтал, одушевленный стремлением к собственному очагу и горшку наваристых щей; не нашел,

наконец, и малой передышки в вечной своей материальной неустроенности. Зато увидел ложь, обман, лицемерие, мещанскую пошлость, птичий умок и железную хватку хищницы, вцепившейся намертво в свой «последний шанс». И музыка замолкла в нем. По счастью, выдался короткий перерыв, позволивший закончить вчерне «Евгения Онегина» и приступить к инструментовке. Но Четвертая симфония, наша симфония, моя симфония, где она?..

Петр Ильич отказался выполнить маленький ее заказ — пьеску «Упрек» по теме Конне, сославшись на отсутствие необходимого творческого расположения. Все, что он написал по этому поводу, было очень интересно, глубоко, приоткрывало дверцу в тайное тайных художника. Но грустная истина состояла в том, что одержимость творчеством вообще покинула его. Он всегда утверждал, что работает как сапожник, так же неустанно, упорно, изо дня в день, в поту и в мыле; что, отнюдь не отвергая вдохновения, счастливого подъема всех душевных сил, ценит куда больше каждодневный кропотливый труд, без которого все эфемерно, ненадежно и лишено истинного величия. Его кумир, хрупкий, изящный Моцарт с детски припухлыми щечками, трудился тоже как сапожник, как настоящий ремесленник, уважающий свое ремесло и знамя цеха (в противопоставлении Моцарт — Сальери, Моцарт — тяжелый труд, а легкость — Сальери), так же работали Бетховен и божественный Рафаэль, создавший за свой короткий век больше, чем целая художественная школа. И сам Петр Ильич умел так работать, а сейчас что-то сломалось в этом могучем и вместе хрупком механизме. Почему нет закона, оберегающего творцов? Почему в них можно стрелять, как Дантес в Пушкина, Мартынов в Лермонтова? Почему их можно распинать на кресте бытовых невзгод, порой столь же смертельных, как выстрел? Общество должно защищать своих гениев и в крайних случаях даже вмешиваться в их личную жизнь. Расторгнуть брак Чайковского и сдать Антонину Ивановну в арестантские роты! Нет, это, конечно,

чрезмерно, достаточно сослать в уезд под материнское крылышко, чтобы старая сводня устроила ее судьбу с уездным казначеем, аптекарем или мелкашом-борзятником. Но, боже мой, Петр Ильич никогда не допустит этого! И не только из благородства, готовности жертвовать собой для других, но и потому, что есть последнее письмо, где он ясно и недвусмысленно пишет о своем намерении любой ценой наладить жизнь с Антониной Ивановной. Почему я то и дело забываю об этом письме, почему делаю перед собой вид, будто его не было? Ведь в нем ключ ко всему происходящему. Да, если признать его соответствие сути вещей, а этого я как раз не могу и не хочу...

Надежда Филаретовна высоко ценила французских энциклопедистов. Ей нравилось, что, утверждая превосходство разума, они были людьми страстными, нежными, чувствительными. Да, они считали, что надо доверять разуму, что нет лучшего советчика во всех делах, чем могучий человеческий разум. Но они же умели беззаветно любить, умели быть нежными, преданными, даже надменный Гримм, не говоря уже о душевном Дидро. И Надежда Филаретовна решила проверить холодным разумом то, что принадлежало державе чувства. Тут не будет ничего унижающего ее отношения с Чайковским, если на сегодня она станет придирчивым следователем. Она просмотрит все письма того недоброй памяти дядя, когда он известил ее о своем женитовстве, и постарается понять ход его душевной жизни. Тем самым она уловит истинный смысл последнего письма и нынешнего молчания, узнает, остался ли при ней господин Чайковский или ей следует навсегда вычеркнуть из бюджета эту статью душевных, а равно и материальных расходов. И тут она сама испугалась своей сухой улыбки, больно напрягшей уголки губ. Доставая письма из шкатулки слоновой кости, стоявшей на столике возле окна, Надежда Филаретовна не столько увидела, сколько угадала провал двора за окном. И ее странно царапнула мысль о многочисленных обитателях дома, существующих за счет

семьи фон Мекк, связанных с ней маленькими надеждами и расчетами, страхом лишиться теплого места и при этом совершенно непричастных душевной сути своей хозяйки, равнодушных, не заинтересованных, ничего не ведающих и даже не стремящихся сделать хоть шаг в сторону от своего эгоизма. Снова и снова за последние дни гордая и нелюдимая фон Мекк подумала если не с болью, то с оттенком горечи о преградах, разделяющих людей. Упаси Боже, она вовсе не хочет, чтоб ей сочувствовал лакей Петрушка, или выжига управляющий, или кухарка Марфа, или красноносая гувернантка мадемуазель Бланш, или пахнущий крепким трубочным табаком мистер Джонс, губернёр мальчиков, или кучер Ерофей, или швейцар Никита Саввич, но есть что-то жутковатое в этой человеческой разобщенности, в одиночестве Несчастливого.

Откуда было знать Надежде Филаретовне, прожившей тепличную жизнь и едва ли не впервые соприкоснувшейся с настоящим страданием в собственной душе, как заняты люди делами друг друга, порой и вовсе бескорыстно. Как пристален мир к тем, от кого хоть что-то зависит! И как же заняты и озабочены обитатели дома фон Мекк всем происходящим с их властной хозяйкой!..

...Надежда Филаретовна запретила себя тревожить. Впервые запрет распространился даже на Юлию, к великому отчаянию той, даже на Милочку, которая быстро утешилась с няней, существом куда более интересным и приятным, чем мама.

И всех домашних, ожидавших, что по возвращении Банька с почты опять начнет музыка и тяжелые всплески низкого рыдающего голоса, тяжело поразила воцарившаяся тишина. Эта мертвая тишина была куда страшнее любой бури, и люди окончательно пали духом.

Надев заказанные в Амстердаме очки с мощными стеклами, Надежда Филаретовна — она даже близким не показывалась в этих очках — в который раз, но уже по-новому перечитывала письма Петра Ильича. Ей казалось, что

странички истончились, словно бы прикосновение пальцев неприметно снимало с бумаги слой за слоем. Это испугало ее, не хватало, чтобы письма перестали существовать.

Надежда Филаретовна с глубокой серьезностью предавалась непосильному занятию — прочитать письма будто со стороны, с полным беспристрастием, как архивный работник. Но каждая строка вызывала такое сердцебиение, что она вынуждена была то и дело прерывать чтение и даже принимать ландышевые капли. И все же постепенно ей удалось овладеть собой, волнение и слезы, набегавшие на глаза, уже не мешали вдумываться в смысл прочитанного. Надежде Филаретовне даже стало казаться, будто и впрямь возможен беспристрастный анализ, — чувства чувствами, а нож хирурга не дрогнет в руке. Конечно, нож дрожал, скользил, прыгал, кромсая где не надо, да иначе и быть не могло. Разве в силах была Надежда Филаретовна превратиться в другого человека, равнодушного к личности Чайковского!

Она как бы заново проходила путь Петра Ильича на Голгофу, но то была и ее Голгофа. Нет сомнения, он жестоко страдал, когда обнаружил, что Антонина Ивановна отнюдь не Татьяна Ларина и что «шей горшок», оплаченный такой ценой, не послужит насыщению. Прозрение пришло к нему не сразу, но письмо от 18 апреля как будто поставило все на свои места:

«...Как только церемония свершилась, как только я очутился наедине со своей женой, с сознанием, что теперь наша судьба — жить неразлучно друг с другом, я вдруг почувствовал, что не только она не внушает мне даже простого дружеского чувства, но что она мне ненавистна в полнейшем значении этого слова. Мне показалось, что я или, по крайней мере, лучшая, даже единственная, хорошая часть меня, то есть музыкальность, погибла безвозвратно...»

Ну что ж, милый друг, поняв главное, вы должны были тут же порвать с этой женщиной, хотя и считали ее «ни в

чем не виноватой». Но вы жалостливы и робки, вы подумали о самоубийстве, вспомнили о своих близких и укатили к сестре в Каменку. Наверное, ваша сестра необыкновенное существо, раз вы так любите ее, и муж у нее прекрасный человек, прелестные дети, очаровательны и ваши братья-близнецы, о которых вы пишете с такой трогательной нежностью, уважением и добротой, что душа во мне становится горячей и влажной. Среди этих людей, в милой вам природе, вы опять обратились к музыке и даже прислали весть о нашей симфонии, и мне показалось, что я вновь обретаю Чайковского — милого друга, пусть израненного, истерзанного, пусть даже что-то утратившего, мне еще трудно разобраться в этом, но моего Чайковского. Я вдруг уверилась, что бред вашей московской жизни остался навсегда позади, и, признаюсь, хотела помочь вам распутать мучительные узы. Но нет, судьба делает еще один невероятный зигзаг. Отдохнувшие нервы, заладившаяся работа вдруг настроили вас на лад примирения с женой, выходящей в Москве «гнездышко». Вы стали надеяться на обезболивающее воздействие привычки, даже вспомнили своего любимого Пушкина: «Привычка свыше нам дана, замена счастью она».

От вашего бессильного оптимизма мне стало невыразимо грустно. Я почувствовала, что мизантропия опять накрыла меня своей черной тенью, и сказала вам об этом. Вы отозвались странным, написанным в два приема письмом, которое, по собственному признанию, не хотели отсылать, а потом все же отослали с припиской куда пространнее самого письма, а главное — начисто зачеркивающей его смысл. Что произошло тогда с вами, Петр Ильич, откуда такой крутой поворот чувств? Но коль поворот состоялся, зачем надо было посылать письмо, оборванное на словах ненависти к вашей жене и завершенное словами полного примирения с ней? Вначале вы пишете, что понимаете и разделяете мою глубокую тоску, и считаете, что «смерть есть действительно величайшее из благ», и призываете ее

всеми силами души. Вы были искренни, когда писали это. Но минули два часа, и вы уже не думаете о смерти, с той же искренностью, которая так мила и притягательна в вас, вы говорите о готовности примириться с Антониной Ивановной, жить с ней в добром согласии.

Так что же все-таки произошло за эти два часа? Надежда Филаретовна сжала виски худыми длинными пальцами. Она стала перечитывать письмо, произнося слова вслух чуть ли не по складам, как бы стремясь нанести их резцом на запоминающую ткань мозга. Итак, он говорит, что не хотел посылать письма, но не может оставить меня без ответа. «Между тем писать вам неправду я тоже не могу». Неправду — запомним это слово. «Весьма вероятно, что очень скоро тяжелое состояние духа пройдет и успокоится. Нужно пройти через трудные минуты, — я это предвидел...» Когда и где, милый друг?.. «Сядь за это письмо, я хотел прийти на помощь Вашей тоске и недовольству жизнью. Мне очень бы хотелось Вас утешить, но я не могу Вам сказать ничего, кроме того, что глубоко сочувствую Вам, Надежда Филаретовна, ищите утешения и примирения с жизнью посредством созерцания природы». Ну, это уже чересчур, милый друг, вы же не мой домашний доктор, чтобы прописывать мне прогулки, воздух, купание и никаких волнений. Ваше сочувствие начинает звучать слишком уж холодно и отчужденно. А следующая фраза — просто дерзка. «Преимущество богатства в том и состоит, что оно дает возможность всегда убежать от людей и быть вдвоем с природой, которая в Италии лучше и роскошнее, чем где-либо». Нет, милый друг, преимущество богатства в том, что оно дает возможность помогать друзьям. И уж не вам поминать столь двусмысленно о моем богатстве!..

С каждым словом вы все сильнее отдаляетесь от меня, исполненный непривычной самоуверенности, особенно громко звучащей в конце приписки: «Я инструментовал первую часть симфонии». Почему же не «нашей» симфонии? Или она уже перестала быть нашей? «Теперь не-

сколько дней я буду привыкать к новой жизни и работать не стану». Странно, что вы подчеркнули слово «привыкать», а не слово «новой». Вы вернулись к своей жене, Петр Ильич, и хотя всей вашей совместной жизни без году неделя, однако жизнь эта уже не новая. Во всяком случае, никак не выглядит такой в первой половине письма. Напротив, создается полное впечатление, что вы вернулись к старому, опостылевшему, с самого начала невыносимому и ничуть не изменившемуся быту, если не считать чисто внешних аксессуаров. Вы не ощутили новой ни новую квартиру, ни новую обстановку, вы ощутили лишь прежнюю болезненную неприязнь к жене и ко всему, что ее окружает, и вы восхваляете смерть-освободительницу. И вдруг эта жизнь становится для вас новой и вы стремитесь к ней привыкнуть.

Вы пишете: «Когда же почувствую потребность в труде — первый признак нравственного выздоровления, — примусь или за инструментровку оперы, или за доканчивание симфонии, смотря по тому, что окажется нужнее». Простите, милый друг, но вы совсем заговорились. Неужели вы забыли, что симфония посвящена мне, а опера если не посвящена, то, во всяком случае, связана узами единовременности «Гатяниного письма» с Антониной Ивановной? И как понять выражение «окажется нужнее»? Я полагаю в своей дилетантской наивности, что понятие нужности, столь важное для любимого мною и ненавидимого вами Писарева, здесь совсем не к месту. Или, милый друг, вы чувствуете себя тем ласковым теленком, который двух маток сосет?.. Но ведь я шла на это! — прервала она себя с болью. — Не собиралась же я, в самом деле, посягать на место Антонины Ивановны? Конечно нет! Оставим кесарю кесарево, а Богу Богово. Антонине Ивановне — быть законной супругой Чайковского, а мне — человеком, которому посвящена Четвертая симфония. Да, все это так... Но я вправе была надеяться на большее, вся наша переписка убеждает меня в этом... На что надеяться, очнись, старуха! Что за девичьи грезы в твоём возрасте?..

Ей стало нестерпимо стыдно и странно от этих вдруг прорвавшихся из глубины ее существа чувств и мыслей. И страстное желание тотчас же избавиться от стыда подсказало ей выход. Моя щепетильность перед самой собой, в первую очередь перед самой собой, — сказала она себе, — чрезмерна, ведь я рассчитывала на владение лишь душой художника, и то отнюдь не феодальное. Я ни в малейшей мере не претендую на брэнную сущность Петра Ильича, в этом смысле нам нечего делить с профессоршей Чайковской. Какое вам дело до сердца, души и мозга вашего мужа? Вас касается лишь его кошелек и положение в обществе, о первом позабочусь я, о втором — он сам, вернувшись к работе.

Но зачем я вновь и вновь приплетаю сюда Антонину Ивановну? При чем тут это ничтожество? Она, поди, и о самом существовании моем не слышала, разве что в связи с покойным Карлом Федоровичем, золотым кумиром российских обывателей. Все дело в Чайковском. В резком, неправдоподобном изменении его тона и чувств на малом пространстве одного письма. Но и это можно понять. В артистической, музыкальной, сверхчуткой и податливо гибкой душе свершился новый поворот. Он успел возненавидеть Антонину Ивановну уже в купе поезда, увозившего их в свадебное путешествие, на кратком перегоне Москва — Тверь; он открыл в ней неведомые достоинства за два часа, разделяющие начало и конец письма. Боже мой, мужчине иной раз надо еще меньше времени, чтобы открыть для себя женщину. Достаточно мгновения, взгляда, поцелуя. Плененный, очарованный Петр Ильич вдруг узрел не фурию, а Психею, Пенелопу, Андромаху, Бавкиду в одном лице. Наконец-то я пришла к пониманию случившегося, к тому, что гнала от себя прочь, когда с любовью и нежностью всепрощающей дружбы отвечала на вздорное послание. Я не верила, не хотела верить в окончательность этого поворота, этого скверного чуда, приведшего Петра Ильича в объятия Антонины Ивановны. И, боясь нового разочаро-

вания, казавшегося мне неминуемым, посоветовала ему уехать в Италию, оглянуться издалека на уют милюковского гнездышка. И я верила, что меня ждет в Москве новое письмо, и оно будет совсем иным. «Если захотите утешить меня Вашим письмом, Петр Ильич, то пишите, пожалуйста, на Рождественский бульвар в собственный мой дом». Но эта смиренная просьба не возымела действия, Петр Ильич замолчал. Что ж, молчание тоже ответ, и едва ли не самый красноречивый...

Не будем предаваться излюбленной игре слабых душ в неизвестность: что-то случилось — болезнь, внезапный отъезд, трагическое столкновение, крушение поезда... Чепуха! Петр Ильич здоров, иначе так называемые друзья поспешили бы довести до моего сведения слухи о его смертельном недуге. Он не отправился ни на Кавказ, ни на Балканский театр военных действий, не погиб на дуэли. Петр Ильич никогда не вынет шпаги, поле его доблести не там, где льется кровь. И ни одного железнодорожного крушения не случилось за последние недели, что довольно большая редкость. Он и не уезжал никуда, привязанный к своему новому приглядному дому, да и нужны деньги для путешествий. Случилось куда худшее — Петр Ильич счастлив. Его молчание — эгоистическая немота счастливого, сытого и душой и плотью человека. А я не сытый человек, хоть и богачка, как справедливо напомнил мне Петр Ильич, могу иметь все, что покупается за деньги, но, увы, далеко не все можно за деньги купить. Впрочем, физический голод я вполне могу утолить, ведь у меня второй день росинки маковой во рту не было.

Надежда Филаретовна глянула на часы. Уже минуло время всех трапез. Ну что ж, она поужинает одна: чашка крепкого бульона вернет ей силы. Она позвонила горничной и велела подать одеваться. Она с отвращением отвергла свой обычный домашний туалет — все такое неприлично светлое, пестренькое, легкомысленное, словно она молодая вертихвостка, а не старуха, бабушка. Она выбрала пла-

тъе, которое носила по окончании официального траура по мужу. Строгий туалет скорби из темной тафты. К платью полагался белый батистовый чепчик и бархатные, в цвет платья, туфли. Ничего трагического не случилось, она не понесла никаких потерь, просто погас в душе какой-то тонкий лучик, вот по нему и надела она этот полутраур. А Петр Ильич напишет когда-нибудь, да, напишет, он же дружественно расположен к ней, посвятил симфонию, да и не хватит ему средств на жизнь, которая с появлением Антонины Ивановны едва ли стала дешевле. И их переписка возобновится, переписка невидимок, теперь уже навсегда невидимок. И Надежда Филаретовна, славившаяся своим умением держать себя в руках при любых обстоятельствах, заплакала так горестно, как не плакала по мужу, как плакала лишь однажды в жизни, когда крупозное воспаление легких едва не унесло трехлетнюю Милочку. Она быстро скрылась в ванной комнате, чтобы горничная не заметила ее слез.

Она вышла оттуда с белым, не тронутым румянами, мертвым лицом и сухими, горящими глазами. Юлия попросила позволения разделить с матерью поздний ужин, она тоже ничего не ела весь день — мигрень. Ее поразил вид матери и темное, почти монашеское платье. Юлия понимала, что в монастырь можно уйти и не переселяясь в келью, не принимая обета. Ее охватило отчаяние. Она уже убедилась, что бессильна помочь матери. Всю ночь напролет сочиняла она в уме письмо господину Чайковскому, но когда утром попыталась предать его бумаге, то запнулась на первых же словах. Она не знала, как обратиться к Чайковскому. «Милостивый государь!» — звучит до оскорбительности сухо. «Уважаемый Петр Ильич» — слишком развязно. «Г-н Чайковский» — фальшиво, канцелярски. Мать установила помимо ее воли некий призрачный контакт между нею и композитором. Они не были знакомы, никогда не виделись, но Юлия, как и Милочка, фигурировала в переписке матери и Чайковского. И это создавало допол-

нительные трудности. Можно было обойтись вообще без обращения, разве думают об этом, когда зовут на помощь, просто кричат: «Караул!» Но Юлия была так строго воспитана, что предпочла бы погибнуть, чем совершить бестактность, впрочем, ради матери она пошла бы и на любое нарушение приличий, если бы только знала, что написать Чайковскому и как написать. В душе у нее были сильные и горькие слова, но они странно обесценивались, соприкасаясь с бумагой.

...Надежда Филаретовна приняла очень сильную дозу снотворного, заснула мгновенно и проснулась, как ей показалось, в ту же минуту. Но за окнами был яркий свет зрелого утра, прошла целая ночь без сновидений, без тягостных ночных опоминаний, когда, возвращаясь в короткую полуявь, словно приподымаешь на миг крышку гроба, чтобы тут же опустить без сил. Ах, если бы можно было так же перемогать явь! Но этого не дано. Надо вставать, надо снова ждать и уговаривать себя на жизнь, лишенную света. Она увидела свое темное платье, небрежно брошенное на спинку кресла, — она отпустила горничную и разделась сама, — и вид этой мрачной брони доставил ей странное удовольствие. Платье было глухим футляром, хранящим и скрывающим ее хрупкую сущность.

Надежда Филаретовна посмотрела на свои маленькие ступни, и ей невыносимо жалко стало себя какой-то воющей, крестьянской, бабьей жалостью. Она упала лицом в подушку, раскинула руки крестом и всласть, в усталость выревелась. Потом долго отпаривала лицо с помощью горячих полотенец, выстуживала, протирала, пудрила, и движения ее были медлительны и неуверенны, — старуха!

Внизу тоже царило уныние. Иван Прокофьевич Жгутов уезжал. С утра был послан лакей за билетами на Рязанский вокзал для него и Ванькá, заказан извозчик. Заплаканная кухарка собирала сына, наготовив ему всякой снеди: сладких пирогов, жареных кур, крутых яиц, колбасок. Управляющий, непривычно мятый, красноглазый, с сочащим-

ся носом — он всегда простуживался после выпивки, то и дело забегал в людскую попить холодного огуречного рассола с медом, — не пытался удержать Жгутова. Он и сам потерял всякую надежду и справил крутые поминки по своим рухнувшим мечтам.

Жгутов ни в чем не упрекал его и даже намекнул на возможность других дел, когда Надежда Филаретовна вернется в разум. Но управляющий не верил в последнее и при всем своем разочаровании уже ни в чем не винил фон Мекк. Он понимал, что тут затронуты такие струны человеческой души, что бедная Надежда Филаретовна не подлежит суду.

Банек, одетый тепло, справно, по-дорожному — подпоясанный армячок из серого сукна и картуз на вате, выговорил себе разрешение в последний раз сбежать на почту. Он не рассчитывал на мзду, да и в балаган не успеть до отъезда, просто хотелось в последний раз пройтись знакомыми улицами, проститься с Москвой, кто знает, когда еще здесь побываешь.

Банек ушел и вернулся неожиданно быстро, в руках у него было письмо. Этот беленький клочок, собравший на себе все утреннее солнце, первым заметил Жгутов, взглянувший со скуки за ворота. У него мелькнула диковатая мысль, что Ванек в неизъяснимой глупости повторил вчерашний номер, обернувшийся для него крупным выигрышем. И купец первой гильдии даже вспотел от мысли, что везет с собой из Москвы круглого идиота. Но Ванек приближался на рысях, красный, задыхающийся, взволнованный, и Жгутов крикнул во двор управляющему, только что вышедшему из людской:

— Сергеич, слышь, парнишка-то с письмом!

Жгутов не мог взять в толк, каким образом управляющий в мгновение ока очутился возле него. Он потом точно измерил расстояние от людской до ворот, получилось без малого сорок шагов. Только с помощью катапульты можно было совершить этот чудовищный прыжок.

— Оно! — сказал управляющий, вырвав письмо из рук Ванькá и сразу узнав почерк, каким был написан адрес.

Перед ним всплыли черные, будто глядящие в самих себя, исстрадавшиеся глаза Надежды Филаретовны, он всхлипнул, сунул руку в карман, выхватил горсть монет и сунул Баньку. Тут уже Жгутлов поверил, что письмо настоящее, и хотел было от себя наградить вестника, но удержался, дабы не разбаловать отрока, и так облагодетельствованного сверх всякой меры.

— Пошли! — кивнул управляющий Жгутлову и, даже не проверив, последовал ли тот его повелительному призыву, ринулся в дом.

Жгутлов покачал головой и размашисто зашагал следом. Толстые, ворсистые ковры смягчали, почти вовсе поглощали шум шагов, но грубой кожи сапоги Жгутлова громко скрипели на переломленном подъеме и шумно выдыхали воздух из голенищ, и странен, тревожен был этот вульгарный шум, падавший в кладбищенскую тишину дома. Ковры, зеркала, мрамор, бронзовые статуи на лестничных площадках, все отроду не виданное великолепие ошеломило Жгутлова. Он, не придававший никакого значения виду и убранству жилья — было бы сухо и тепло, — вдруг ужаснулся уродству, нечистоте и смраду своего почти зверьевого логова. «Живут же люди!» — думал он, зыркая вокруг себя цепкими синими глазками. Видать, для каждого дела у них свое помещение: для жратвы, работы, спанья и приема гостей. И дети не путаются под ногами, а сидят в своих комнатах, их круглые мордочки мелькнули раз-другой в испуганно приоткрывшихся дверях. И возле них всякий раз появлялось ослепительное женское лицо, и Жгутлов думал: сама! Но управляющий даже не оборачивался, и Жгутлов прибавлял шагу, чтобы не отстать. Они миновали полутемный высокий зал с рядами кресел, по одной стене протянулись серебряные трубы, заключенные в дубовую раму. «Это чё?» — спросил он на ходу у Василия Сергеевича. «Орган», — бросил тот, но это не объяснило Жгутлову назначения серебряных труб.

— Жди меня здесь, — почему-то перейдя на «ты», сказал управляющий. — Дам знак — сразу заходи, а чего говорить, сам поймешь! — Он положил руку на медную, ослепительно надраенную ручку, толкнул высоченную дверь и, не дожидаясь разрешения, ринулся в комнату. Дверь он оставил неплотно притворенной, и Жгутов мог видеть все происходящее в комнате.

Надежда Филаретовна в темном монашеском одеянии стояла посреди кабинета, закаменев от гнева. Черные огромные глаза на алебастровом лице были страшны, словно не человечески глаза, а ведьмины очи. Она давно уже слышала омерзительный шум, наполнивший дом, и кипела от бешенства. Но разнузданная, преступно наглая выходка управляющего парализовала ее. Он ввалился в кабинет с той зловещей развязностью, с какой входят в царскую опочивальню царевубийцы, черпая решимость в собственной шумной наглости.

— Что это значит? — грозно, хотя и тихо, сказала она. — Вы пьяны? Ступайте вон!

— Не извольте гневаться, матушка барыня! — от радостного сознания своей неуязвимости и в предвкушении счастливого эффекта управляющий заговорил в какой-то ернической, псевдорусской манере. — Соблаговолите принять!.. — И театральным жестом протянул Надежде Филаретовне письмо.

Робко, словно не веря, она взяла письмо тонкими, вмиг задрожавшими пальцами — ее обхудавшее бледное лицо облилось алым, чудно помолодело, — разорвала конверт, поразилась, что письмо отправлено из Швейцарии, но после первых же слов не смогла читать, заплакала своими огромными глазами. И управляющий, плут и выжига, всхлипнул, забыв о лесе, о всех расчетах, только радуясь чужой радости, и обрел в этом бескорыстном чувстве миг высшей и лучшей жизни.

Строчки прыгали перед глазами фон Мекк, сильный лорнет туманился, и все, что ей удавалось прочесть, шло к ней из тумана неисповедимости.

«Надежда Филаретовна! Вы, вероятно, очень удивитесь, получив это письмо из Швейцарии... Я провел две недели в Москве с своей женой. Эти две недели были рядом самых невыносимых мук. Я сразу почувствовал, что любить жену не могу и что привычка, на силу которой надеялся, никогда не придет. Я искал смерти, мне казалось, что она — единственный исход. На меня начали находить минуты безумия, во время которых душа моя наполнялась такой лютой ненавистью к моей несчастной жене, что хотелось задушить ее...»

— Милый! — в упоении шептала Надежда Филаретовна. — Он несчастен! Он страдает! О радость!

«В это время я получил телеграмму от брата, что мне нужно быть в Петербурге... Не помня себя от счастья хоть на один день уйти из омута лжи, фальши, притворства, в который я попал, поехал я в Петербург. При встрече с братом все то, что я скрывал в глубине души в течение двух бесконечных недель, вышло наружу. Со мной сделалась что-то ужасное, чего я не помню. Когда я стал приходить в себя, то оказалось, что брат успел съездить в Москву, переговорить с женой и Рубинштейном и уладить...»

Свободен! Свободен! — пело в Надежде Филаретовне. Конечно, эта ехидна так просто не отпустит Петра Ильича, она потребует выкупа, и немалого. Но коль дело из тонкой сферы чувств перешло в область материальных расчетов. Надежда Филаретовна опять была в силе. Уверенная, что в письме изложены условия Антонины Ивановны, она пропустила страничку — все равно письмо это будет читаться и перечитываться десятки раз — и заглянула в конец. Она ошиблась. Петр Ильич просил о деньгах, но пока только для себя. *«Мне нужны опять деньги, и я опять не могу обратиться ни к кому, кроме Вас. Это ужасно, это тяжело до боли и до слез,*

но я должен решиться на это, должен опять прибегнуть к Вашей неисчерпаемой доброте...»

— Сергеич, — с увлажнившимися глазами сказала Надежда Филаретовна, — переведи три тысячи господину Чайковскому.

— В какую графу зачислить? — улыбнулся управляющий. — Помощь нуждающимся музыкантам?

«А ведь этот плут все знает!» — на удивление самой себе без всякого недовольства подумала фон Мекк.

— Нет, графу переименуем: милому другу... Нам понадобится много денег, Сергеич. Пусть лежат наготове десять тысяч, чтобы по первому требованию выслать по тому же адресу.

Еще в барышне Наденьке Фроловской знакомые отмечали редкое сочетание романтической мечтательности с трезвым мужским расчетом. Свои женственно-лирические свойства Надежда Филаретовна унаследовала от отца, а деловую сметку — от матери. Вот и сейчас, в минуту высшего упоения, цепкий бухгалтер, сидевший в госпоже фон Мекк, с безошибочной точностью назвал сумму, которую в самом ближайшем времени потребует Антонина Ивановна за освобождение Петра Ильича от семейных пут.

— Сделаем, сударыня-матушка, — чувствуя себя чем-то вроде Бирона или светлейшего князя Потемкина, заверил управляющий и, покосившись на дверь, выразительно подмигнул Жгутову.

Купец первой гильдии не заставил себя ждать. Он ворвался в кабинет и с размаху рухнул к ногам фон Мекк. Жгутов все видел, все слышал, оценил тончайшую — при внешней грубости — игру управляющего и выступил в той же роли смиренного подданного.

— Матушка, не погуби!.. Кормилица, яви милость!..

— Что хочет этот человек? — умягченная и расслабленная собственными переживаниями, заботливо спросила фон Мекк. — Отчего он так страдает?

— Лесу он хочет, — слезливым голосом ответил управляющий.

— Продай лесу! — сухо рыдал Жгутков. — Настоящую цену дам!

И вновь суровое материнское начало сработало в Надежде Филаретовне, открыв ей, что ее обманывают и что хорошая цена Жгуткова не настоящая цена, какую можно взять сейчас за лес. Но одновременно в душе зазвучали другие, отцовские струны. Лесом обманула Чайковского Милюкова, пусть он и спасен будет лесом, только принадлежащим другой.

— Хорошо, хорошо, — скрыв улыбку, сказала фон Мекк. — Продай ему лесу, Сергеич, пусть не мучается.

— Благодетельница, — холодно сказал Жгутков, подымаясь с колен.

Приход Юлии ускорил завершение переговоров. Жгутков, пятясь и раскланиваясь, выкатился из кабинета.

— Мама! — вскричала Юлия. — Какая вы красивая!.. Боже, какая вы красивая!..

Да, я должна быть сейчас красивой, — подумала Надежда Филаретовна. — Человек становится красивым в самые решающие мгновения своей жизни. Как красив за роялем тучный большеносый Николай Рубинштейн. Как красив был матадор Маноло, когда убивал своего последнего быка в корриде в Толедо. Как дивно красивы Христос на кресте и пронзенный стрелами Себастиан. Каким достоинством красоты покрывает каждое, даже ничтожное, лицо добрая сестра смерть, ибо смерть — это высший миг каждой жизни. Ничего прекраснее уже не будет в моей жизни, я узнала, что люблю Чайковского, люблю как женщина, ничего не утратившая в своем сердце, в своем теле, в своей способности любить. И я найду силы сказать ему об этом...

Но лишь через два года в письме, исполненном поразительной любви, искренности и силы, сказала она Чайковскому о своем чувстве и о том, чем явилась для нее его женитьба. «Я ненавидела эту женщину за то, что Вам было

с нею нехорошо, но я ненавидела бы ее еще в сто раз больше, если бы Вам с нею было хорошо...»

Покинув фон Мекк, Иван Прокофьевич Жгутов вместо ожидаемого облегчения ощутил какую-то странную опустошенность, за которой таилась не то злость, не то зависть, не то ревность, а может, то были все эти чувства, вместе взятые, да его терпкая обида на свою темную, неопрятную, лишенную всякой красоты жизнь.

«Нет, далеко еще нам до энтых фон Мекков, — думал Жгутов, топая сапогами по коврам, паркету и мрамору. — Зашибить деньгу умеем, а жить еще не можем. И что за радость, коли мощна тугая, а дома вонь, грязь, угар и мрак? Богатством пользоваться надо. А эта... Меккша — ничего себе, в пропорции, даром что на возрасте и ребят дюжину нарожала. — Он вспомнил свою Дарью Игнатьевну, квашню в засаленном салопе. — Эк же ее развалило, разнесло всего от трех ребят!» И ему стало еще горше на душе.

«Пора и купечеству себя показать. И у нас будут зеркала и лестницы, статуи и органы, цветы и рояли, и баб наших научим одеваться, а не научим — других возьмем, этого добра завались. А Чайковского мы у нее отберем, — подумал злорадно. — Пусть он там барин и генерал, на золото любая рыбка клюнет. Будет он нам сочинять и духовную, и для услаждения чувств распрекрасную музыку. Картишки-то бросить придется, такого баловства не потерпим. Стол, одежду, фатеру, жалованье, девиц — этого по первое число предоставим, но с картишками — все, и с грубиянством — все! Чтоб писать нам письма, как положено, полный чтобы, значит, отчет!.. А залягаешься, мы ведь не «фоны», мы купечество, отдерем как сидорову козу, р-раз и в квас...»

...Иван Прокофьевич заработал все деньги, какие можно. Он стал крупным железнодорожным подрядчиком, владел фабриками, заводами, давно перебрался в город, купив там прекрасный старинный дом-дворец, принялся было за ремонт, но за недосугом все не мог закончить. Тут его раз-

бил паралич, досуга появилось сколько хочешь, но пропало желание достраивать свои хоромы. Он недвижно лежал и думал о прожитой, вернее, промелькнувшей жизни и вдруг вспомнил о композиторе Чайковском, которому много лет назад прочил выдающееся положение при своей особе. Своим новым, непослушным, будто потолстевшим языком он потребовал, чтоб срочно вызвали Чайковского и взяли на службу. Домашние долго не могли понять, чего он хочет, выручил случившийся тут приказчик Иван, бывший Ванек.

— Да ведь Чайковский помер лет десять назад.

— По-мер?.. — повторил старик и заплакал — не над Чайковским, над собой, над своей тоже окончившейся жизнью, в которой он все откладывал что-то важное, быть может, более важное, чем все великие и ловкие дела...

КОГДА ПОГАС ФЕЙЕРВЕРК

— Что вы хотите, наконец? — негромко, но очень внятно — почти по слогам, оскорбительно внятно, будто обращалась к людям, плохо знающим русский язык и неспособным ни постигнуть, ни выразить простейшей мысли, произнесла Надежда Филаретовна фон Мекк. — Что вы хотите от меня?

И рухнула запруда. Этим, хорошо воспитанным, привыкшим уважать, чтить, даже побаиваться мать, крепко вышколенным, но озлобившимся людям нужен был какой-то толчок — упрек, знак презрения, снисходительная усмешка, чтобы излиться бурным потоком долго таимой ненависти, ревности, жгучей обиды. Они добросовестно пытались добиться своего в рамках приличия: полунамеками, приглушенными вздохами, замечаниями «в сторону», красноречивыми, порой увлажненными взглядами, многозначительным покашливанием, как только разговор касался интересующей всех темы и личности, словом, они вправе были считать, что за долгий и пустой дачный день достаточно ясно высказали свое отношение к «известному обстоятельству». К тому же тема эта уже поднималась осенью прошлого года, когда нависла угроза над акциями Рязанской железной дороги — основы материального благосостояния семьи фон Мекк. Но Надежда Филаретовна, как и всегда, пренебрегая недомолвками, оставила без внимания деликатные, хоть и настойчивые намеки, мелкие слезки, то и дело выбегавшие из выцветших глаз Лидии Карловны, по мужу Левис, хмурый бормоток Николая, ошалело-растерянные всхлотки Сашонка, путавшие в пору его малолетства приметой какого-то детского несчастья, нервные взрывы старшего Владимира, глубокомысленную

насуспенность Саши — графини Беннингсен, покрасневший носик Юлии и стыдливую суетливость младшего, Макса.

Перебивая друг друга, они не говорили — кричали, надсаживались, плевались возмущенными, злыми, оскорбительными недоговорами:

— Давно пора кончать!..

— Это позорит всю семью!..

— Помогать можно бедным!..

— В «Стрельце» кидает по двести за ужин!..

— Поймите же, мама, ему только деньги ваши нужны..

Это кто же нанес удар — неуклюже и больно? Ну, конечно, Лидия, только женщины умеют так подло бить.

— Он смеется над тобой!.. И вся его свора смеется!..

Молодцом, Володя, ты, верно, испугался, что сестра превзойдет тебя в низости.

— Он купил дом во Фроловском!..

— Спасибо, Сашонок, ты все-таки лучше других, — даже желая сказать дурное, ненароком доставил мне радость. Твоя мать — урожденная Фроловская. По милой игре случая, нет, высших таинственных сил жизнь привела Петра Ильича в деревню, носящую одно со мной имя. И, растроганный странным совпадением, он даже намеревается купить там дом.

— Позвольте, господа, надо различать материальную и моральную стороны!..

Ого, кажется, нашелся заступник. Ах, это ты, Николай? Что-то не верится мне, сынок, в твою искренность.

— Все взаимосвязано!.. — Вот он, прокурорский голос Володи — твердый и пустой.

— Маман вольна продолжать переписку с господином Чайковским или прекратить. Но при наших материальных затруднениях...

— Чепуха! Если не оборвать все разом, мы от него не отделаемся.

— Он опять начнет канючить...

Фу, Лида, откуда этот язык — от Левисов?

— Господин Чайковский неприличен!

— Я попросил бы!.. Он все-таки брат моей тещи.

— Молчи, Николай! Ты сам знаешь, что репутация его скандальна.

Остановись, Володя, ты бьешь не по Чайковскому, а по своей матери. Ах дети, дети! Какие вы были нежные, беспомощные, пугливые, доверчивые, радостные, смешные! Вы пахли мылом, травой, цветами, пахли детством, а сейчас, даже при открытых окнах, в комнате спертый дух от сигар, вонючих пахитосок, припахивающего коньяком, вином и нездоровой печенью дыхания, разгоряченного тела. Раньше вы спрашивали свою мать тонкими, потрясенными голосами: кто это? что это? — о самых простых жителях земли — жуках, бабочках, червяках, а сейчас бесстрашно окунаете руки в кровь матери, не тревожась никакими сомнениями, не задаваясь никакими вопросами.

Что с вами случилось? Почему сумрачны ваши судьбы? Ведь редко кто выходил в жизнь столь оснащенным, как вы, мои злые, глупые, несправедливые и все равно безмерно и слепо любимые дети! Нет, не слепо. Я вижу все ваши недостатки и слабости, но от этого еще больше жалею вас. Жалеть — любить, — говорят в народе. Ох, как я это понимаю! Наверно, потому и не могла я по-настоящему любить Карла Федоровича, что его не за что было жалеть. Я восхищалась, восторгалась им, удивлялась яркой игре его сильной и подвижной личности, порой испытывала почти благоговение перед его находчивостью, волей, сокрушительной энергией, верой в свою звезду, но он никогда не был мне жалок. Вот этого чувства, без которого нет русской бабе душевной полноты, он не мог вызвать даже усталый, больной, даже во власти мучительного сердечного недуга. Он всегда был на коне и умер о конь, так и не растопив мне сердца слезой. Иное дело Петр Ильич, вот кто умеет вызывать жалость! Невозможную, смертную жалость. А ведь он куда значительнее моего покойного мужа. Нет, неверно. Карл Федорович был тоже необыкновенно значитель-

ной личностью, но совсем в ином роде. Талантливейший практик. Богато одаренная натура, но не гениальная. А главное — не художественная. Петр Ильич до седых волос остался стеклянным мальчиком, как его окрестили в детстве. Он и сам знал свою исключительность, с самых ранних лет. Однажды его, шестилетнего, больно отдубасил сверстник. Маленький Петя распустил такие длинные нюни, что даже мать, чрезмерно опекавшая его, возмутилась: «Ну чего ты ревешь? Мальчик ты или нет? Дай ему сдачи». — «Но я не могу, мама, — сказал он серьезно и даже плакать перестал. — Ты же знаешь, что я не такой мальчик. Я совсем другой мальчик». И вот этого мальчика, теперь уже старого, пятидесятилетнего, у меня хотят отнять мои собственные — вовсе не стеклянные, но тоже жалкие дети. Почему ополчились они так дружно на Петра Ильича? Потому что все они в той или иной мере банкроты. И суровый прокурор Владимир с вконец расстроенной нервной системой от неудовлетворенного честолюбия и крушения надежд, что из него выйдет второй Карл фон Мекк. То, что отец создал, ты разрушил, Володя. Я всегда покрывала тебя, защищала с яростью тигрицы, но ведь глаз на глаз мы-то знаем, кто главный виновник наших потерь, из-за кого ушли к немцам акции Либаво-Роменской железной дороги, а нас ославили как плохих патриотов. Я ли не спасала тебя как могла, и министру писала, и частью своих средств пожертвовала, но тебя неудержимо тянуло на дно свинец деловой бездарности.

И Сашонок, у которого расстроены не только нервы, но и состояние, недалеко ушел от брата. Вольно же было воображать себя умелым коммерсантом — столь частое заблуждение мечтательных и неспособных к жизненному действию натур. Как умно и осведомленно рассуждал он о ценах на мировом рынке, о выгодности нынешнего курса рубля за экспортер «сырого продукта»! А где его деньги? Превратились в мясо, спущенное за бесценку в Лондоне. Стоило бросать правоведение, чтобы оказаться у разбитого

корыта. Ты думаешь, шесть тысяч Чайковского тебя выручат, сынок? Тебя, разбазарившего целый капитал? Да ведь на эти шесть тысяч есть и другие претенденты, хотя бы твоя сестра Левис, новоявленная незадачливая помещица и природная вымогательница.

А ты, моя гордая Беннингсен? Какую ты ищешь выгоду? Ты прекрасно сочетала капиталы фон Мекк с громким именем Беннингсенов, за которым гром побед двенадцатого года, сверкание касок, звон сабель, разрывы ядер, цоканье копыт и чуть менее героические звуки — звяканье шпор и торопливый топот ботфортов по коврам, чтобы скорее достигнуть спальни императора и затянуть офицерский шарф на тонком горле полубезумного российского самодержца. Тебя и твоих высоких родичей правда так срамят мои отношения с Чайковским? Или тебя поразил подсчет, произведенный моим братом Александром Филаретовичем: за тринадцать лет композитору выплачено семьдесят восемь тысяч. А такая сумма кое-что значит и для дома Беннингсенов, у которых много недвижимости, но мало зато наличных. Кстати, братец ошибся — семьдесят четыре тысячи. Уже предчувствуя ваш заговор, я выслала Петру Ильичу очередную бюджетную сумму вперед. Ваша мать еще не совсем потеряла деловой рассудок, бесценные мои!

Но приемником Петра Ильича не прочь стать и мой справедливый, мой волевой и властный Николай. Недаром же предложил он разделить материальную и моральную стороны вопроса. Он не видит ничего компрометирующего в моей переписке с дядей его жены, но возражает против «вспомоществования». Петр Ильич несколько не нуждается в унижающих его «подачках». Почему-то сам Петр Ильич ничем не обнаруживал этого унижения, просто и с достоинством принимая пенсию, естественную дань, какую испокон веку люди богатые, но бесталанные платили людям гениальным, но бедным, выгадывая тем у господ Бога. А в подачке, и весьма крупной, нуждаешься

ты, сынок, прикинувшийся помещиком с тем же основанием, с каким Сапонок вообразил себя коммерсантом, а Володя — железнодорожным магнатом. Сто пятьдесят тысяч отвалил ты за имение, которое начало разрушаться, едва заключили купчую. Теперь нужна не меньшая сумма, чтобы залатать бесчисленные дыры, а где взять? Дурную услугу оказал тебе тесть-советчик, премудрый хозяин Лев Васильевич Давыдов. Впрочем, это наивному и доверчивому Петру Ильичу муж возлюбленной сестры рисовался сельским гением, хотя у того недород сменялся потравой. Милый друг даже в управляющие его мне прочил. Но Петр Ильич — человек не от мира сего, но ты-то, выросший среди браиловских полей и так любивший вникать во все статьи хозяйства, что порой это оскорбляло меня видимостью контроля, ты, кичившийся своей пронизательностью, ясностью мышления, деловой сметкой, что же провалился так в первом же своем самостоятельном поступке? И ты тоже считаешь себя вправе судить меня, меня, спасшую вас от окончательного разорения?

Да, у нас сейчас снова затруднения, жестокие затруднения, но то не моя вина, а правительства, будто задавшегося целью разорить владельцев немногих хороших железных дорог России. Это не катастрофа, о нет, опыт подсказывает мне, что мы выпутаемся без больших потерь. И уж во всяком случае мы не потеряем того, что с такой легкостью, безмятежностью и самоуверенностью спустили вы, дети мои. Тут нет моей меньшей Милочки, княгини Ширинской-Шихматовой, но ее незримое присутствие несомненно — оно в печально-укоризненных глазах моей доброй Юлии, с чего-то взявшей на себя неблагодарную роль Милочкиной представительницы. Я отдала князю Шихматову по его настойчиво бесцеремонному требованию, так бестактно и жалко поддержанному Милочкой, попечительство над всем Милочкиным состоянием. Но укоризненно молящие Юлины взоры намекают, что князю мало и полу-миллиона рублей, полученных за Милочкой.

Но Милочку я не могу ни в чем обвинить. Я кругом виновата перед ней. Далекая от тайны этого ребенка, я позволяла бедному мотыльку крутиться вокруг моего огня. Не догадываясь о глубинном смысле наивных — упорных и жадных — ее расспросов, я словно глухому, которому все равно не расслышать, свободно говорила, что люблю Чайковского. Я думала, в Милочкиных ушах это звучит столь же невинно, как объяснение в любви к кукле или старой нянюшке. Но девочка укладывала в свой цепкий, не по годам острый умок совсем другое — истинную суть моих признаний. Я научила Милочку ревновать меня к Чайковскому, невидимому, но оттого еще более страшному, ревновать за себя самое и за покойного отца. Боже мой, души младенцев куда непроглядное взрослых душ. Оказывается, Милочка выкалывала глаза Петру Ильичу на всех фотографиях, которые я ей сдуру дарила. Я рано научила Милочку жить сердцем, жить страстью, я воспитала в ней, желая как раз обратного, ненависть к Чайковскому и жгучий интерес к существу мужчины. Я пробудила в ней раннюю чувственность. В шестнадцать лет, когда Юлия мучительно переосмысливала образ аиста на более реального дарителя жизни, Милочка созрела для немедленного действия любви. Этот плод могла сорвать самая немощная рука, и тут подвернулся смазливый хлюст, дерзкий, лощеный, с обманчивой видимостью богато одаренной натуры. Где уж было устоять моей бедняжке! А сейчас она уже мать, боящаяся за будущее своего гнезда. Прости меня, Милочка, твой крест — мой крест, но, право же, Петр Ильич не обездолил тебя и твоего князьку.

— Она не слушает нас!.

Вон как — «о н а» о матери! Спасибо, Володя! Помнишь, как ты хотел сесть на деревенскую лошадку и почему-то ужасно боялся ее косящего лилового глаза? И тогда я закрыла ладонью этот теплый беспокойный, щекотно моргающий глаз, и ты дал посадить себя на широкую, изъеденную слепнями спину. Я взяла тебя за голое, тоже теплое

колени и побежала рядом с лошадкой, а ты воображал себя рыцарем — Ланчелотом, Амадисом Галльским, Роландом, об этих смелых, верных, благородных паладинах ты узнал от меня, сыночек! Но где же твое рыцарство?

— Мы должны заставить выслушать себя!..

Каким образом, Коля, с применением физической силы или только нравственного давления? Когда у тебя был дифтерит, сынок, и ты задыхался, и врачи опустили руки, знаешь, кто сохранил тебе жизнь со всеми ее радостями, любовью, вином, цветами, деревьями, звездами, борзой охотой, дальними путешествиями? Я, твоя мать. Я отсосала дифтеритные пленки из твоего горлышка. У меня было девяносто девять шансов из ста заразиться дифтеритом, смертельно опасным для взрослого человека. Но я вынула счастливый номер.

— Мы давно выросли из детских штанишек!..

Ты так думаешь, Сашонок? Почему же при первом жизненном испытании ты растерял все свое мужество? А ведь в детские годы ты не боялся смелых и опасных поступков. Правда, при свете солнца. Ночью ты становился пуглив, слаб и жалок. Просыпаясь в темноте, ты горько плакал и звал маму. И никто не мог утешить тебя в ночном страхе — ни няньки, ни бонны, ни гувернер, только мама умела делать черный мир нестрашным. И мама приходила, измученная мигренью, бессонницей, а еще хуже — вырванная из благости наконец-то наставшего сна, и сидела с тобой, пока ты не засыпал. Ты и сейчас ищешь спасения у матери, но твой жалкий детский голос стал груб, требователен, и всю жестокость, какой тебе не хватало для борьбы, ты обращаешь на мать.

— Мы не дети!.. У нас самих дети, мы должны о них думать!..

Ты-то никогда не была ребенком, скучная моя Лидия. Ты была всегда госпожой Левис — сперва крошечной, потом весьма крупной. Ты от купели предназначила себя своему удручающе правильному Фредерику. За-

чем дали имя прекрасного и горестного Шопена этому среднеарифметическому? А думать о детях на твоём языке — значит тянуть с меня деньги под любым предлогом. Но и деньги не украшают вас, не делают вашу жизнь изящнее, веселее, разнообразнее. Фея, превращающая все, к чему ни прикоснется, в серую обыденность, вот кто ты, дочь моя. Сколько я измучилась с тобой, чтобы спасти твои зубы, рано испортившиеся зубы неумной сластены. И спасла, как спасла вас от всего — от болезней, переломов, вывихов, ушибов, страхов, детских пороков, юношеских заблуждений, дурного влияния, скверного чтения, плохой музыки и пошлого мышления. Только на Милочку не хватило мне зоркости.

Я пустила вас в жизнь с чистыми, здоровыми, сильными телами, крепкими нервами, хорошим, незамутненным мозгом. Вы умели хорошо улыбаться, смотреть прямо в глаза и крепко отвечать на рукопожатие. Вам было дано еще одно, быть может, величайшее благо в наш трудный и страшный век — независимость. Неопытная, несведущая в делах женщина, я сумела уберечь от расхищения и капитал, и все громадное дело покойного мужа, хотя множество жадных, корыстных, подлых рук тянулись к нашему состоянию. И если позже мы понесли значительные потери, то, видит Бог, не я тому виной. Но я взяла потери на себя, и доля каждого из вас ничуть не уменьшилась. Да, я спасла вас от всего, только не от душевной бедности..

Как рано иссякла сила рода! Ее не хватило даже на прямое потомство Карла Федоровича. Неужели он, собравший столько богатств, один растратил главное — родовую мощь духа? Банкроты! Нет другого слова для моих детей. Банкроты. И неприличная эта вакханалия — от несостоятельности. Потому и выглядит все происходящее так негордо, невысоко, неразборчиво в словах и жестах, будто разыгрывается не в нашем доме, а в лачуге какого-нибудь мастерового, обитателя дна.

— Молчите! — неожиданно для самой себя громко сказала фон Мекк и стукнула сложенным веером по ручке кресла.

Удивленный форум примолк.

— Как смеете вы бесчинствовать перед лицом искусства? Да если о нас всех и вспомнят люди, то лишь потому, что мы причастны к судьбе господина Чайковского!

Настала мертвая тишина. Надежда Филаретовна уже жалела о своей вспышке. Унизить их так легко, но унижение детей — ее унижение. Да, они не гении, даже не таланты, дюжинные, средние люди, из которых и состоит человечество. Они безвинны в своей посредственности, неяркости и даже жизненной неумелости. Их слишком берегли. Да, да, об этом ты не подумала: чрезмерная бережливость губительна для формирующегося характера. В конце концов Сашонок и Коля попытались разорвать путы предначертанной всем мужчинам дома фон Мекк юридической карьеры и найти свой путь. Сама попытка заслуживает уважения. Бог мой, зачем прикрашивать их бессильные потути, заранее обреченные на неудачу. А сами дерзатели не смогли даже стойко принять поражения. И все же не мне их унижать. Даже во имя Чайковского. Он избранник, они не замечены Богом. И не их провалы терзательны для меня, а их душевная малость и жестокость. Ну дайте дожить матери, как она хочет. Не вам следить за моей нравственностью. И какая хула, какие сплетни могут коснуться шестидесятилетней старухи, обрешей себя аскетической жизни еще в пору бабьего лета? Вам недостаточно, чтобы я просто прекратила выплату Петру Ильичу положенного пенсионера, вам нужен полный и окончательный разрыв. Даже Николай — при всех оговорках родственного достоинства ради — в глубине души хочет разрыва, пусть не мгновенного, подчеркнутого, но полного и безоговорочного. Вы боитесь, дети мои, что я распоряжусь принадлежащей мне частью капитала в пользу Чайковского? Надо оскорбить его, чтобы он не мог ничего принять от меня, даже в наследство. Так-то!..

Злые, горестные мысли Надежды Филаретовны были прерваны властным вторжением закатного солнца в сумеречную гостиную. То ли сплыли, то ли рассеялись облака, накрывавшие небо на западе, но солнце, казалось бы, давно закатившееся, вдруг жарко, медно ударило по саду, по окнам, полузабранным диким виноградом, и преобразило все вокруг. Исчезли бледные, покрытые испариной лица, сюртуки и пиджаки, платья и мантильки в перепутанице ярких, трепещущих пятен с провалами лиловой тьмы, словно в трубке калейдоскопа. Сиену жженую уделило солнце плоскостям лиц, киноварь — рукам, червцем облило русые головы; слепяще сверкали бронзовые крылатые и высокогрудые девы-львы ампирной мебели; на стеклах пламени бордовые мазки, цветастый персидский ковер будто испарялся в продымленный сигарами и папиросами сиреневый воздух, и казалось, все обставшее Надежду Филаретовну вспыхнет огнем, не испепеляющим, а возрождающим, как тот костер, что дает новую юность фениксу. И она стала счастлива, словно не было, да и быть не могло, всего этого страшного сборища, и вернулось Браилово, лучшие из браиловских дней.

Да, не было в жизни Надежды Филаретовны ничего чудеснее того далекого Браилова, давно уже проданного князю Горчакову. Такого не было даже в благословенной Флоренции, где они жили по соседству на тенистой, зеленой виале деи Колли, на правом берегу Арно. Ах, то были тоже прекрасные дни! Каждый божий день, когда солнце подымалось над порто Романо и во всю летнюю тосканскую мощь било сквозь листву аллеи прямо в окна Чайковского, проходила Надежда Филаретовна со всем двором мимо виллы Бончиа-ни, снятой ею для Петра Ильича. Рядом с ней шла Юлия, держа за руку вертлявую Милочку, чуть позади Сашонок и Коля под наблюдением строгого гувернера, затем малолетки: Макс и Миша с французенкой, замыкал шествие рослый лакей с фигурой Атланта, призванный оборонять путников от назойливых итальянских нищих.

Надежда Филаретовна в платье из палевого или светло-серого шелка, с шелковыми же рюшами и обтяжным лифом шла своей четкой, твердой, почти мужской походкой, очень прямо держа спину и высокую шею и тщательно следя за мускулами лица, на котором от крайней близорукости возникало порой растерянное, даже жалкое выражение, чего Надежда Филаретовна терпеть не могла.

В тот первый раз Надежда Филаретовна никак не думала, что Чайковский будет поджидать их, стоя в окне, и вдруг Юлия обмирающе прошептала: «Боже мой, Петр Ильич!» Непроизвольно Надежда Филаретовна вскинула свои огромные, бездонные, почти незрячие глаза и слепо-прямо воззрилась туда, где должен был находиться Чайковский. Она услышала сдавленный крик, уловила некий светлый промельк в темном проеме окна, и ставни захлопнулись. Она поймала рукой шнурок лорнета с сильными стеклами, заказанными в Амстердаме. Коричневые деревянные ставни стремительно приблизились, на стыке створок, посредине, было вырезано сердечко. Солнце било в прорезь, и сердечко казалось огненно-красным, будто налитым кровью.

— Как странно, — сказала Надежда Филаретовна небрежным тоном, стыдясь тривиальности символа и все же наслаждаясь им. — Я увидела сердце в окне Петра Ильича.

— Господь с вами, мама, — отозвалась Юлия, — тут во всех ставнях прорезано сердечко.

— Ты же знаешь, как я близорука, — недовольно проговорила Надежда Филаретовна, а про себя подумала, что предпочла бы остаться в неведении относительно этого флорентийского обычая.

В смуглых, как загорелое тело, ставнях наивно и доверчиво алело сердечко, и вдруг что-то там изменилось, алость осталась лишь по контуру, отверстие задернулось темным, и обвалом сердца Надежда Филаретовна угадала глаз Петра Ильича, и, хотя между ними существовал договор: не встречаться, не видеться, в последующие дни они продол-

жали ту же волнующую игру. Надежда Филаретовна обращала лорнет к смуглым ставням, к алому сердечку, и алость внезапно и неизменно заполнялась влагой робкого и любопытного взгляда. Если уж кто нарушал договор, так это Петр Ильич, он смотрел прямо на нее и видел, она же скорее догадывалась о его подглядывании.

— Какой я кажусь ему сверху? — спрашивала себя Надежда Филаретовна. — Он видит мой черный бархатный ток, выпуклость лба, мои широкие плечи под шелковой тканью, глухой корсаж, а когда я вскидываю лорнет, то опрокинутое лицо, мое печальное, сухое лицо с маленьким подбородком и бледными щеками, а лучшее, что в нем есть, темные большие глаза, пучатся в толстых амстердамских стеклах, как у рака или тех крабиков, которых Сашонок ловил на пляже в Ницце.

От этих мыслей можно было впасть в отчаяние, но спасало одно соображение, связанное с визитом Петра Ильича в ее дом на Рождественском бульваре. Надежда Филаретовна знала о том со слов своего дотошного камердинера Ивана Васильевича.

После тяжелого кризиса, пережитого Чайковским в связи с неудачной женитьбой, он места себе не находил в Москве. И Надежда Филаретовна, бывшая в ту пору за границей, предложила ему пожить в ее просторном и комфортабельном доме на Рождественском бульваре. Петр Ильич хотел было воспользоваться любезным щедрым приглашением, даже прибыл в назначенный день и час с саквояжем и нотами, был по-царски принят Иваном Васильевичем, но потом опрометью бежал, потрясенный внезапной встречей с ней...

А было так.

Чайковский помедлил выйти из наемной кареты, остановившейся против подъезда дома фон Мекк, глядевшего на горбатый чахлый бульвар. Суровая тяжесть каменных львов натурального цвета, охранявших вход, торжественные и печальные фонари по сторонам парадных две-

рей, с глухими толстыми стеклами придавали дому мрачную неприступность, и он вдруг усомнился, что действительно приглашен сюда. Ему почудилось, что львы потягиваются, готовясь встретить непрошеного пришельца. Глупость, расстроенные нервы... И все же двери, тяжкие двери с непроглядными стеклами, замкнутые на сто засовов, никогда не откроются перед ним, ибо ему не явлены слова, подобные: «Сезам, откройся!», а грозные стражи не откликнутся на жалкое бытовое обращение. И Надежда Филаретовна заблуждается, полагая, что из своего далека может распоряжаться этим бастионом. Задрожавшими пальцами он нащупал в кармане пальто скомканное письмо и, приблизив к окошку кареты, прочел то, что знал почти наизусть: «...до меня дошли слухи, что Вы не очень хорошо устроились в Москве. Милый, бесценный друг, почему Вы это скрыли от меня? Мы задерживаемся за границей до зимы, мой дом на Рождественке к Вашим услугам. Вас там ждут. Обещайте мне, милый друг, побывать во всех комнатах и сыграть на моем старом «Шредере» наши любимые вещи». Все ясно: он неправильно читал это письмо раньше. Речь идет лишь о том, чтобы побывать в доме и сыграть на рояле. Помузицировать в пустующих покоях в честь отсутствующей хозяйки. Это не милость, скорее просьба об одолжении. Что ж, он готов оказать любую услугу своему милому другу, если это не выходит за рамки их договора — не встречаться. А насчет того, что дом «к Вашим услугам», — пустая вежливость, улыбка доброй души. Итак, он должен пойти и сыграть на старом «Шредере». Только и всего. Вперед!

Оставалась надежда, что никто не отзовется на потерянный треньк дверного колокольчика. Но, будто по мановению волшебного жезла, внутренние двери слышимо отворились, на толстые стекла наружных дверей легла какая-то тень, и створки бесшумно, плавно распахнулись перед Чайковским.

— Милости просим, сударь!

Чайковский вошел в просторный, припахивающий воском свечей вестибюль. И уже чьи-то заботливые, ловкие руки помогли ему снять пальто, избавляли от папки с нотами, палки, шляпы. Этот служитель госпожи фон Мекк превосходил монументальностью даже внушительного Марселя, брайлового камердинера. В отсутствие госпожи фон Мекк Петр Ильич уже пользовался брайловским гостеприимством.

— Вы предупреждены о моем приходе? — робяя, спросил Чайковский. Ему казалось, что он обращается к конной статуе.

— Как же-с! — приятно улыбнулся камердинер и представился: — Иван Васильев сын. Имею собственное их превосходительства приказание, когда пожалуют господин Чайковский, принять, проводить по дому, показать покои, библиотеку, орган, картины, рояль и баню. Коли пожелают, — продолжал он с важным видом, гордясь тонкой сложностью поручения, — оставит одного насколько угодно будет. Ничем не беспокоить, исполнять малейшие пожелания. Обед и ужин подавать, когда скажут, прислуживать во время трапезы самолично, а равно убирать в комнатах и сопровождать в баню. Никого посторонних не пускать, кроме как с соизволения их милости. — Он закончил заученный на зубок перечень и улыбнулся простой, доброй улыбкой пожилого, притерпевшегося к жизни человека.

— Спасибо, Марсель Карлович.

— Иван Васильев, — осторожно поправил камердинер.

— Простите, Иван Васильевич, я вас с брайловским коллегой спутал.

Иван Васильевич зажег свечи в шандале и, держа подсвечник у левого плеча, двинулся вперед.

— Я люблю свечи, — сказал Чайковский, — с ними теплее и уютнее.

— Сейчас в хороших домах освещению Яблочкова начали предпочтение оказывать, — заметил Иван Васильевич, — как в Париже-с.

Он толкнул какую-то дверь и пропустил Чайковского в приготовленную для него спальню. Поставил шандал на мраморную крышку ночного столика и деликатно вышел.

Чайковский увидел кипу нотной бумаги, остро, как он любил, отточенные карандаши и пачку бостанжогловских папирос. Он взял папиросы и вдохнул крепкий и сладкий запах табака.

— Откуда она знает, что это мои любимые? — вслух подумал Чайковский и с испугом отложил папиросы.

Взволнованный, он вышел из спальни. Странное чувство владело им: он словно не был один в этих покоях. Казалось, чьи-то глаза неприметно наблюдают за ним, чья-то тень бесшумно скользит по пятам.

Каждый скрип половицы, каждый шорох заставлял его вздрагивать, испуганно озираться. Сотрясаемое его порывистыми движениями, колебалось пламя свечей в канделябрах, черные тени проносились по стенам и потолку, углубляя его смятение.

— Вы здесь? — прошептал он, останавливаясь посреди гостиной.

В ответ донесся тихий вздох, чуть шевельнулась портьера, и какое-то смещение бликов свершилось в темной глубине отпахнутой крышки рояля. Петр Ильич прижал руку к сердцу. Он знал: что-то должно случиться — и нельзя противиться неизбежному.

Он сел к роялю и попробовал играть из Четвертой симфонии. Кошунственно громкие в этой тишине звуки ударили его по нервам. Он убрал пальцы с клавишей. И снова слабый вздох шевельнул пламя свечей. Чувствуя слабость в ногах, Петр Ильич заставил себя встать с винтового табурета и двинуться дальше. Он оказался перед высокими дверями. И, уже готовый к тому, что должно произойти в следующее мгновение, обеими руками, жестом нетерпения и отчаяния распахнул створки двери. Готовность к грозному чуду не помогла, он страшно вскрикнул, и колени его подломились. Прямо на него, худая и огромноглазая, в бледном

парчовом платье шла Надежда Филаретовна. Минули секунды, прежде чем он понял, что перед ним большой, в рост, низко висящий портрет. Но открытие не придало ему бодрости, он не мог подняться с пола.

В таком виде и застал его величественный Иван Васильевич.

— Кушать подано, — произнес он спокойно-значительным голосом вышколенного слуги, привыкшего не удивляться барским причудам.

Петр Ильич попытался встать. Иван Васильевич подхватил его под локоть. Странен, диковат был облик Петра Ильича: галстук сбился набок, волосы растрепались, язык быстрым шарком облизывал пересохишие губы.

Повинуясь Ивану Васильевичу, Чайковский прошел в столовую, но даже не взглянул на изящно сервированный стол.

— Где тут выход?.. Домой хочу. Проводите.

— Неужто чем не угодил? — всполошился камердинер и даже слез на миг с коня, умалился до обычной человеческой стати. — Экая беда, прости господи!

— Да что вы. Марсель Карлович, виноват, Иван Васильевич, вы мне всем угодили. Я благодарен... чувствительно благодарен... Но я здесь не останусь, не могу... дела, дела... важные дела! — бормотал Петр Ильич.

— Могу ли доложить барыне, что выполнил все ее распоряжения?

— Да!.. Да!.. А что не остался, барыня поймет... Да... Портрет там... Какое сходство!.. Живая, живая, выйдет из рамы и пойдет. — Петр Ильич провел рукой по глазам, будто снял паутинку.

Иван Васильевич. подал ему пальто.

— Прикажете лошадей заложить?

— Нет, нет... Я доберусь. — И без оглядки Чайковский выбежал вон... .

Надежда Филаретовна не знала всех подробностей визита Чайковского, но она знала, что портрет ее потряс

Петра Ильича. Надежда Филаретовна запрещала себе думать об отношениях с Чайковским как бы со стороны. Ее охватывало нестерпимое раздражение, стоило представить, что придет время — и серьезные, ученые люди будут копаться в том милом и тайном, предназначенном лишь для них двоих, что составляло предмет их переписки, их сокровенных дум и дрожи чувств. Но ведь человек наедине с собой думает обо всем на свете, в том числе и о неполюженном. Нет ничего невероятного, что честный Брут, когда «иды марта уже наступили, но не прошли», подумал: а не изменить ли заговору против его благодетеля Цезаря? И что затуманилось на миг полудетское лицо Джульетты сожалением о тихой жизни, уничтоженной страстью Ромео. Возможно, и несчастная Франческа в вечном кружении прикинула: не переместиться ли из объятий меланхолического Пасло в крепкие руки другого кавалера, завихряющегося рядом, некоего дона Жуана Тенорио. И Надежда Филаретовна, брезгливо кривя сухие губы, думала не раз, что по милости Петра Ильича ее век не исчерпается физической жизнью — еще предстоит жить в истории, и там досужие умы будут создавать лживую легенду о людях, никогда не видевших друг друга. И непременно отнесут за счет Чайковского всю непреложность единственного в своем роде договора: дружить, не встречаясь. Да, таково было условие Петра Ильича, но оно соответствовало и ее намерениям. Чтобы стать партнером в этой странной, порой жестокой игре, надо нести в себе возможности невидимки. Много ли найдется людей ее круга, которые сумели бы обычаю и свету вопреки не быть на свадьбах собственных детей, лишь бы не обременять себя знакомством с новой родней? А именно так поступала Надежда Филаретовна, не допустившая в поле зрения ни родных своей дочери Иолшинных, ни Левисов, ни сиятельных Ширинских-Шихматовых, ни мадам Попову, тещу Владимира. Она была лишена бабьего любопытства и тяги к личному общению. Она могла стать достойной партнершей Чайковского в их словоре.

Но при всем том они виделись, и не раз. И почему-то бесило, что творцы легенды о невидимках обойдут молчанием их встречи, порой нос к носу, как было в Париже, в концертном зале Шатле, когда она впервые охватила взглядом всю статью Чайковского, или во флорентийском театре, когда она успела заметить печальную темь его глаз и скульптурность высокого открытого лба. И в Браилове они сталкивались ненароком, во время лесных прогулок. Все домашние тому свидетели. Но эти встречи мешают «чистоте» легенды, о них постараются забыть. Труднее будет лишить их встречи во Флоренции, на площади Микеланджело, откуда открывается вид на желтую мутную Арно и город с сухими красными крышами и каменной громадой купола Брунелески, город, кажущийся отсюда тусклым, жестким, неприветливым и вовсе лишенным очарования, этот едва ли не лучший город Италии. Впечатления не может скрасить даже хорошо просматриваемая башня Джотто из розового и серого мрамора — не человеческих рук дело, а Богово озарение. Но когда ты знаешь и любишь Флоренцию, доставляет удовольствие и этот скупой образ. Кажется, что город нарочно накинул на плечи плащ нищеты, чтобы не дарить своей красоты чужим и непосвященным. Так вот, на площади Микеланджело их экипажи съехались в густой и вязкой, как засахаренное мороженое, флорентийской толпе и никак не могли разъехаться. И многие флорентийцы, наслышанные о странной русской богачке и нелюдимом композиторе, живущих бок о бок и видящих друг друга лишь сквозь прорезь в ставнях, с веселым любопытством наблюдали молчаливое, но полное значительности и скрытого драматизма представление. Элегантный господин средних лет, мелово побледнев, приподнялся с сиденья и, сняв канотье, склонился в глубоком поклоне, и задрожал лорнет в руке пожилой, сухопарой дамы, ярко вспыхнули худые щеки и колыхнулись страусовые перья на шляпе. И что-то детски бестактное закричала семилетняя девочка в коляске русской дамы, то ли дочь,

то ли внучка, и еще ниже склонилась седеющая голова господина, и совсем поникли трепещущие страусовые перья на шляпе дамы, нежно-розовые и жемчужно-серые, как мрамор башни Джотто. И живой, отзывчивой, чувственной итальянской толпе передалось напряжение чужой жизни. Толпа разломила свою толщу и дала экипажам разъехаться.

В глубине души Надежда Филаретовна давно тяготилась столь опрометчиво заключенным договором. Ей хотелось, чтобы они с Чайковским прочно материализовались друг для друга. Нежданные и негаданные встречи, сколько бы их ни было, не утоляли, не давали выхода чувству, промелькивали по неподготовленной душе, оставляя едкую горечь сожаления. Быть может, лишь продолжительная встреча на площади Микеланджело обладала красками и горьким вкусом действительной жизни. Браиловские же неловкие встречи принадлежали чему-то смущавшему трезвый рассудок Надежды Филаретовны примесью сверхъестественного. Она знала распорядок дня Чайковского и заведомо рассчитывала каждое свое перемещение в браиловском пространстве, чтобы пути их не скрещивались, но какие-то странные, вовсе не свойственные ни ей самой, ни ее вышколенному штату оплошности: задержки, убыстрения, непонятные уклонения в сторону, а равно вдруг зашпешившие или отставшие часы — приводили к нелепым столкновениям.

Она расплачивалась за невесть кем подстроенный обман мгновенной утратой внимания, отчего ей доставался лишь зигзаг, описанный загорелой рукой Петра Ильича, снявшего шляпу, или смещение каких-то плоскостей в слепоте не успевших вооружиться глаз, в то время как пальцы лихорадочно нащупывали шнурок лорнета.

А может быть, все это происходило оттого, что устарела их игра? Искусственно и неумолимо навязывали они жизни жестокие ограничения, в которых давно уже отпала нужда. Особенно близки друг другу стали они в незаб-

венное лето 1879 года, когда Петр Ильич вторично гостил в браиловском имении. В их переписке появилась спокойная товарищеская доверительность, житейская интимность, неведомые их прежним отношениям. Они дошли до обсуждения достоинств и недостатков слуг, что у других представлялось Надежде Филаретовне верхом безвкусицы, а у них выглядело чарующе мило. Петр Ильич не доверял новому браиловскому управляющему Тарашкевичу и всерьез советовал воспользоваться услугами своего зятя Льва Васильевича Давыдова, несравненного сельского хозяина. Надо отдать должное Надежде Филаретовне — при всей очарованности заботой милого друга она ни на минуту не приняла всерьез его рекомендации, хотя и рассыпалась в благодарностях. Сохраняя их новый пленительный деловой тон, она осведомилась, где, мол. Лев Васильевич достает «минеральных туков для удобрения и почем пуд». Когда рука ее выводила эти житейские, низкие слова, волнующее чувство, что она вышла к Петру Ильичу в утреннем беспорядке, чуть заспанная, излучающая ночное тепло, туманило ей рассудок. И то же сладостно-стыдное чувство близости охватывало ее, когда Чайковский — по новой ее просьбе — разузнавал у зятя о травопольной системе. Петр Ильич с добросовестностью гения описывал, как чередуются на тучных — вечный недород! — полях зятя зерновые, свекла, кормовые травы и пар. Но поцелуем на рассвете было его подробное письмо о «расходе производства на один принятый в завод берковец» (о милый, бесценный), составляющий «1 р. 64 копейки, не считая цены свекловицы, и при цене дров в 20 р. за сажень».

Никогда еще в их письмах не было так густо представлено житейское, теплое, домашнее, малое. Душевная катастрофа, недавно пережитая Петром Ильичом, исчезла из их переписки, даже музыка потеснилась, чтобы дать место нежным, заревым признаниям доверчиво раскрывающихся душ. В их письмах были ландыши (любимые цветы Петра Ильича), грибы, тенистые аллеи, леса, поляны, прозрач-

ность речных вод и самоварные привалы на лоне природы; в них привольно обитали слепые певцы и мужики-раскольники в красных рубашках и ямщицких шапках, Марсель Карлович и слуга Лешка, кучер Ефим и верный Алексей, чьими учеными занятиями — ради получения льготы по воинскому призыву — не переставала интересоваться Надежда Филаретовна. Она возлагала большие надежды на этого просвещенного и крепкого православной верой юношу в отпоре католическому влиянию на браиловскую дворню. Конечно, юноша Алексей, занимавший непроизвольно много места в их переписке, был лишь знаком иных, таинственных, высших сил.

Радостное проникновение Петра Ильича в браиловскую жизнь, во все ее мелочи, обретавшие неожиданный смысл и значение только потому, что они попадали в его поле зрения, подвигло Надежду Филаретовну на смелое, даже дерзкое предложение. Собираясь сама в Браилово, она предложила Чайковскому поселиться поблизости от нее, в принадлежащем ей фольварке Сиамаки, или Симаки, как убедительно произносила дворня. Таким образом, предстоял флорентийский вариант на русский лад. Правда, тут не было территориальной близости, как на виале деи Колли, Сиамаки находились в нескольких верстах от Браилова, но раскованность сельского бытия обладала своими манящими преимуществами. Конечно, она не думала о том, чтобы нечаянно-нарочно столкнуться с милым другом в лесу или на реке, нет, но можно уловить привет в самоварном дымке, всплывшем над садом или потянувшем с опушки леса, в звуках рояля, пронизывающих вечернюю тишину, можно обмениваться скромными знаками внимания: кошелка собственноручно собранных грибов, букетик полевых или лесных цветов, корзиночка земляники.

Да, приглашая Чайковского, она и самой себе не признавалась, что под десятым дном того кощеева ларца, каким является каждая человеческая душа, таится надежда на встречу лицом к лицу, с открытым забралом. Надежда

Филаретовна едва начинала догадываться о том, что несколько позже, уже в пору пребывания Петра Ильича в Сиамаках, открылось ей со всей очевидностью: она устала от игры в прятки, шапка-невидимка давит ей голову, как пыточный обруч. Ее увядающее, но еще сильное и тревожное тело не хочет больше мириться с навязанной ей прозрачностью. Конечно, она давно уже знала, что любит Петра Ильича большой и тяжелой женской любовью, но знала также, как легко спугнуть трепещущий, робкий дух художника, эту безмерно оберегающую себя хрупкую суть. Потому и не допускала она до сознания конечной цели приглашения Петра Ильича в Сиамаки. Это обеспечивало искренность интонации, безупречность всего поведения.

Из дали лет Надежда Филаретовна могла признать, что приглашение Петра Ильича в фольварк Сиамаки было лишь частью той летней наступательной кампании, которую она полубессознательно развернула еще в дни одинокого пребывания Петра Ильича в браиловском доме. Попытка заполучить к себе на все лето детей Александры Ильиничны Давыдовой, матримониальные планы в отношении сына Коли, еще не достигшего совершеннолетия, и малолетней племянницы Чайковского Наташи-Таси — торжественному уму Надежды Филаретовны это рисовалось чем-то вроде тех ранних помолвок, что приняты в королевских домах Европы, когда монаршая расчетливая воля отдает в суженые младенцу-инфанту малютку-принцессу; повышенный интерес к хозяйственным мероприятиям Льва Васильевича с туманными проектами о его верховном наблюдении за браиловскими угодами — все это были звенья одной цепи.

Петр Ильич, очевидно, догадывался, что в Сиамаках его ждут испытания посерьезнее флорентийских, и мучительно колебался, принять ли любезное приглашение. Но уже само это колебание вместо мгновенного и резкого отказа обнадеживало. Зная великую осмотрительность милого друга во всем, что касалось его свободы, Надежда Филаретовна будто в яви видела метания растревоженного духа Чайков-

ского. Но медленно, томительно и неуклонно он шел к тому, чтобы согласиться. Так и произошло. Свое окончательное согласие он изъявил с непонятным, почти болезненным восторгом, словно ему предлагали не маленькую дачку в глубине старого сада, а сказочный дворец в райских куцах. Может быть, в глубине души он тоже истосковался по яви близкого человека, трудно питать дружбу одним лишь воображением. А уж он-то понимал, что идет на очень непростую жизнь, и если у него подогнулись ноги при виде портрета Надежды Филаретовны, то в Сиемаках его подстерегали куда более грозные видения.

Первый пробный камень Надежда Филаретовна бросила довольно скоро по вселении Петра Ильича в Сиемаки. Надоумила своего домашнего скрипача Пахульского повезти Милочку в гости к Петру Ильичу. Она все еще пребывала в заблуждении, что младшая дочка души не чает в милом друге. Это поставило Петра Ильича в на редкость трудное положение, и Надежду Филаретовну против воли и чувства восхитила решительность, проявленная «стеклянным мальчиком».

«Простите меня, милый друг, посмейтесь над моим маньячеством, — писал он, — но я Милочку к себе не приглашаю, и вот отчего. Мои отношения к вам таковы, как они теперь, составляют для меня величайшее счастье и необходимое условие для моего благополучия. Я бы не хотел, чтоб они хоть на одну йоту изменились. Между тем я привык относиться к Вам как к моему доброму невидимому гению. Вся неоценимая прелесть и поэзия моей дружбы к Вам в том и состоит, что мы с Вами незнакомы в обыденном смысле слова. И незнакомость эта должна распространяться на ближайших к Вам лиц. Я хочу любить Милочку так, как любил до сих пор. Если б она ко мне явилась, *le charme serait rompu*»¹.

¹ Очарование исчезло.

Пришлось Надежде Филаретовне все свалить на Пахульского. Это ему, наивному и горячему молодому человеку, пришла вздорная мысль познакомить Петра Ильича с Милочкой. Впрочем, и Пахульский не столь уж виноват — Милочка без устали приставала к нему, чтобы он взял ее с собой. Это было правдой — ненависть ничуть не менее любопытна, нежели любовь.

Недоразумение разъяснилось, но Надежда Филаретовна не думала сдаваться. Памятуя о сильном впечатлении, произведенном на Петра Ильича ее городским домом, она решила заташить его в Браилово, когда сама всем семейством уедет на долгую прогулку. Браиловское обиталище стало совсем иным, чем в пору недавнего гостевания Петра Ильича. Тогда оно выглядело безличным, как номер отеля, — образцовый порядок и холод, ибо к обстановке прикасались лишь расторопные и равнодушные руки слуг. И не было ни картин, ни ковров, ни цветов, ни тех безделушек, которые, даже не находясь в высоком чине искусства, интимно выражают внутренний мир хозяев, — разных там статуэток, вазочек, коробочек, вышивок. Когда там жил Петр Ильич, все своеобразие жилья сводилось к серому попугаю по кличке Чика, «самому умному животному после человека и слона», как уверял Брем. Чика то и дело орал душераздирающим голосом: «Матрена!» Откуда прицепилось к старому аристократу простое русское имя и почему так полюбилось ему, оставалось тайной. Марсель Карлович рассказывал хозяйке, что Петр Ильич пытался научить попугая имени Надежда. Он мог часами заниматься с Чикой, будто взявшись опровергнуть лестное утверждение Броема.

— Ну скажи Надежда, — упрасивал он.

— Матрена, — отзывался попугай.

— Надежда.

— Матрена.

— На-де-жда!

— Ма-тре-на! — и Чика зарывался толстым загнутым клювом под крыло.

— Ну и дурак!

— Сам дурак! — радостно вскидывался Чика и переступал на жердочке, словно готовясь к драке.

Но Петр Ильич со вздохом соглашался:

— Пожалуй, ты прав.

Так ничего у них и не вышло. Но однажды — Надежда Филаретовна пила чай в маленькой гостиной, где висела клетка с попугаем, — Чика саданул железным клювом по железным прутьям и негромко, проникновенно произнес:

— Надежда.

Надежда Филаретовна вздрогнула, угадав интонацию Петра Ильича. Когда-то Петр Ильич написал ей, что «научился слышать ее голос, угадывать музыкальный, мягкий тон его». Как удалось это милому другу, трудно было понять. Возможно, его сверхъестественная чувствительность помогла, но теперь и она знала голос Чайковского, пусть он прозвучал в горле попугая.

Но до того, как Петр Ильич дал согласие на посещение брайлового дома, случилась неловкость, и не совсем ясно, по чьей вине. Петр Ильич чуть поторопился с выездом на прогулку, а Надежда Филаретовна с детьми приметно запозднилась в лесу, и четверка Чайковского съехалась на широкой лесной просеке с двумя экипажами Мекков. В первом сидела сама Надежда Филаретовна с Милочкой и Юлией, во втором — мальчики и Пахульский. Вспыхнув до корней волос, Петр Ильич все же нашел в себе силы для любезного и не лишнего изящества поклона. Надежда Филаретовна, напуганная своим промахом, растерялась до чрезвычайности. Она даже не сумела ответить Петру Ильичу с должной учтивостью, как будто не сразу узнала его. Она стала зачем-то вертеть Милочку, дергать ее за руку, словно девочка в чем-то провинилась и не хотела признаться в своем проступке.

В холодноватом письме, посланном на следующее утро, Петр Ильич не преминул извиниться за, то, что поставил Надежду Филаретовну — пусть невольно — в неловкое

положение перед Милочкой, наверное, опять пришлось объяснять девочке, почему таинственный обитатель Сиамаков не бывает в доме, хотя пользуется браиловским гостеприимством.

Надежда Филаретовна сумела не только ответить достойно, но и обратить себе на пользу досадное недоразумение. Она могла бы лукаво принять извинения Чайковского, могла бы «великодушно» взять всю вину на себя; могла бы, наконец, сделать вид, что история эта выеденного яйца не стоит. Но Надежду Филаретовну постигло вдохновение, она нашла совершенно иной, неожиданный ход. Она решилась пройти по самому краю пропасти. Она не извинялась и не считала нужным извинять в чем-либо Чайковского, хотя отнюдь не относила случившееся к разряду пустых мелочей. Она была в восторге от нежданной встречи и не могла передать, до чего хорошо на сердце ей стало, когда она убедилась в «действительности присутствия» Чайковского возле нее. Да, все сбылось по высшей ее мечте, ей дано было почувствовать Чайковского не как миф, а как живого человека, которого она любит и чьим присутствием в мире непрерывно наслаждается.

На это письмо Чайковский не ответил, точнее, ответил лишь на последние, чисто деловые строки, касающиеся приезда из Москвы брата Пахульского — Генриха. О главном же он промолчал, и это было как бы немым признанием права Надежды Филаретовны на испытанную ею радость, уважением к чувству, которое он внушал другому человеку.

И Надежда Филаретовна еще смелее взялась за приручение Чайковского. Она настояла на его визите в пустой браиловский дом, где все было тщательно и тонко подготовлено, чтобы создавалось впечатление застигнутого врасплох. Петр Ильич никогда не видел знакомое жилище таким нарядным, милым, уютным и радостным, хотя на всем лежал отпечаток некоторой изящной небрежности: на террасе забыта книга с замшевой закладкой, на спинку кресла

брошена мантилька, на ковре — Милочкина кукла с закатившимися глазами, словно без сознания, на скатерть осыпались пунцовые лепестки георгинов. И чай, поданный на террасу, оказался особенно вкусен, видать, для хозяйки заваривали; и приглянулся ему вдруг ужасный вышитый бандит в его бывшей комнате и того же художественного достоинства малороссийская девушка в маленькой гостиной, где небывало чудесно звучал мастерски настроенный «Шредер», и почти до слез тронуло, когда в семейном альбоме он обнаружил две свои карточки. Ощущение теплого, скромного, несмотря на все богатство, милого и надежного человеческого гнезда так сильно сказалось в душе Петра Ильича, что он впервые приоткрыл вечно сомкнутые створки и завещал Надежде Филаретовне самое дорогое, лакея Алешку, преданного и вконец избалованного малого. В порыве доверия и новой близости к милому другу поручил он Надежде Филаретовне заботу об Алешке после его, Чайковского, смерти. Он не сомневался, что умрет раньше Надежды Филаретовны, поскольку не мыслил себе жизни без нее.

Вопреки этим мрачным мыслям, письмо заканчивалось возгласом непривычного оптимизма: «Давайте жить, милый, добрый, дорогой друг мой! Умереть всегда успеем...»

Надежда Филаретовна могла поздравить себя с крупным успехом. Теперь нужно было сделать следующий шаг к сближению. Предстояли большие торжества — празднование именин Сашонка с лодочным катанием, иллюминацией и фейерверком. Неужели милый друг не захочет взглянуть на этот праздник из какого-нибудь укромья? Он может прийти даже в парк, и она ручается, что его никто не потревожит. Пусть приходит в час вечернего чаепития, когда вся семья сидит за самоваром и в парке могут оказаться лишь окрестные жители, любующиеся фейерверком.

Конечно, в глубине души Надежда Филаретовна надеялась, что Петр Ильич не выдержит несколько смешной в данных обстоятельствах роли пряткуна, и произойдет же-

ланная встреча. При свете фейерверковых огней, под звуки музыки и взрывы ракет свершится явление Петра Ильича малому народу ее семьи. И когда она воображала, как Петр Ильич, бледный, взволнованный, с легкой испариной на высоком, просторном челе, с темными грустными и глубокими глазами, выходит из-за деревьев и медленно приближается к ней, слезы забивали ей горло.

То была бы достойная плата за всю ее бескорыстную службу. Пусть это произойдет так вот приподнято, театрально, почти на грани дурного вкуса, высокий балаган уместен в обиходе серьезных, патетических душ, а до чего ж редко большие жизненные события являются в красивой раме! Да возникнет Петр Ильич в блеске огней, в звуках музыки, да проникнутся все окружающие величием минуты, с которой начнется новое летосчисление.

Не только чувственная любовь способна рассчитывать, прикидывать, составлять диспозицию боя, но и такое полное чувство — и земное, и духовное, и материнское, и страстное, — как любовь Надежды Филаретовны к Чайковскому. И тут нет ничего странного, любовь — творчество, а следовательно, включает все возможности личности.

Недоверчивый, настороженный, предельно собранный, как и всегда во время опасности, Петр Ильич не дал затуманить себе голову успокоительными посулами. И все же ему хотелось увидеть этот праздник. Страшась небесного и земного огня — молний и пожаров, он по-детски обожал фейерверки, иллюминации. И не было сомнений, что у Надежды Филаретовны — огненная карусель будет заверчена на невиданный лад.

Весь дом фон Мекк включился в подготовку к празднику.

Исключение составлял лишь сам виновник торжества Сашонок, мечтательный и рассеянный, — кто мог подумать, что из него выйдет такой ловкий коммерсант! — он с утра до вечера увлеченно и фальшиво наигрывал на разбитом рояле сонаты Бетховена, пачкая ноты отпечатками грязноватых пальцев — юный мечтатель не отличался опрят-

ностью в отличие от своих братьев и сестер. На кухне стоял дым коромыслом — пекли, варили, жарили и парили. Призванные из деревни мужики конопатили и смолили рассохшиеся лодки, на которых праздничный кортеж поплывет мимо сиямаковских берегов, где в кустарнике или в стоге сена будет хорониться Чайковский. Марсель Карлович, тонкий знаток вин, делал ревизию погребу. Юлия вязала гирлянды из ярких августовских цветов, Соня, Макс и Миша клеили китайские фонарики, а Милочка мешала им. Пахульский репетировал с оркестром последние произведения Чайковского. Новый садовник составлял сказочные букеты для праздничного стола. Лакеи чистили столовое серебро и подсвечники. В доме шла генеральная уборка: неистовствовали полотеры с вошными оранжевыми пятками, визжало под сильными руками мойщиц стекло зеркал и окон, обшаривала потолочные углы и гипсовую лепнину пронырливая щетка на длиннющей ручке. В примыкающую к покоям Надежды Филаретовны комнату перенесли шредеровский рояль, бюро красного дерева, турецкий диван и чайный столик; на стены повесили прекрасную копию Мурильо, а также вышитого бандита и мало-российскую девушку. Надежда Филаретовна собственно-ручно принесла сюда изящные письменные принадлежности, остро отточенные карандаши, нотную бумагу и бостанжоговские папиросы. Домашние делали вид, будто не замечают этих таинственных приготовлений. Только Милочка все домогалась, зачем передвинули рояль в другую комнату. Пришлось на место «Шредера» перенести разбитый рояль сверху, на котором упражнялся Сашонок. Милочке перестановка эта ничего не объяснила. Тогда ей угрозили наказанием. Каким? — поинтересовалось дитя. Вопрос важный — среди различных воспитующих мер были и такие нестрашные, как лишение вечернего поцелуя, без чего Милочка отлично обходилась. «Выпорю!» — сухо сказала Надежда Филаретовна. Это уже было серьезно, и свет понимания мгновенно озарил Милочкин рассудок. «Ну

да, — сказала она, — к 'Шредеру' Сашонка не подпускают, а играть наверху ему скучно. Он же любит, чтобы у мамочки от его игры голова болела». Милочка давала взрослым людям урок добросовестности во лжи.

А затем Надежда Филаретовна убедилась, что у нее есть деятельный помощник. Она побежала на задний двор, где в лачужке, пахнувшей жженым порохом, обитал старый-престарый фейерверкер. Молодым человеком он помогал своему отцу, придворному пиротехнику, в устройстве фейерверковых потех в честь побед императора Александра над Наполеоном Бонапартом. Покойный Карл Федорович, любивший все, что связано с огнем, будь то деревенские костры в честь Иоанна Крестителя, называемого на Украине Иваном Купалой, или столичные иллюминации, небольшой сельский пожаришко или петергофские феерии, детские шутихи или огонь испепеляющий, нередко со вкусом расспрашивал старика о пиротехнических чудесах, которыми его отец поражал петербургский двор начала века. О затейливых огненных фигурах, что летали, вращались, плавали, ныряли и разрывались с оглушительным треском и россыпью блестящих искр; об огненном дожде — массе золотых капель, создаваемых мелкими ракетами, вылетающими из мощных фугасов; об огненных букетах и гирляндах, мельничных крыльях, бриллиантовых пирамидах и знаменитом «солнце», что не угасало часами.

При всей занятости Карл Федорович завел и собственный, весьма недурной пиротехнический арсенал, но после его смерти огненная потеха захирела в Браилове. Лишь время от времени старику заказывали немудреный детский фейерверк с шутихами, свечами и малыми петардами, вычерчивающими в небе зигзагообразный след. И замечательное искусство мастеров пропадало втуне. Но вот ему снова представилась возможность показать все, на что он способен. Бедный старик ужасно разволновался, сам съездил в Каменец-Подольский, закупил сухого пороха, новых фитилей для контурного изображения родового вензе-

ля фон Мекк и с первых петухов до поздней ночи мудровал над изготовлением разных невидалей.

Надежда Филаретовна, привыкшая вникать в каждое домашнее дело, решила проведать старика. В дверях халупки высилась рослая, плечистая фигура Николая. Хозяйственный Николай уже спускался в погреб к Марселю Карловичу, распушил садовника за грубый вкус, а кондитера за отсутствие воображения, а теперь вот и до фейерверкера добрался.

«Молодой хозяин», — с улыбкой прошептала Надежда Филаретовна, любуясь ладной статью сына.

— Смотри, старик, ты мне головой отвечаешь за вензель, — строго говорил Николай.

— Неужто, сударь, мы этого не понимаем? Александру Благословенному угоджали, Николаю Павловичу... Ваш батюшка Карл Оттонович и то доволен бывал. Неужто стану я срамиться на старости лет?

— Распустились тут!.. — ворчал Николай.

Надежда Филаретовна подумала, что сын метит в нее, но не рассердилась, скорее гордость почувствовала. Нравилась властность и твердость Николая. Его хозяйственность обещала ей освобождение от докучных и трудных забот землевладения. Хоть от чего-то освободит ее толковый сын, и, дай Бог, удачнее, нежели в свое время Володя. Ей нужна свобода для душевной жизни, она не намерена вечно тратить себя на дела, имение и семью.

— Состав для фитилей пробовал? — сведущим голосом спросил Николай. — Смотри, чтобы контур не оборвался.

«А ведь я не догадалась бы спросить об этом!» — восхитилась Надежда Филаретовна.

— По старинному рецепту стотвил, — чуть обиженно сказал старик. — Сроду у нас такого не бывало, чтобы контур не соблюсти. Это ж последнее дело, ежели контур...

— Ладно, ладно!.. Фонтаны чем подсветишь?

— На Аврору, сударь, рубин дадим, а на Нептуна — изумруд.

— Заряды покрепче ставь... Я тебя еще проверю, — пообещал Николай и, не заметив матери, пошел напрямик через низенький плетень, на птичник, где сейчас казнили кур и цесарок для предстоящего обеда.

— Это уж как угодно-с... — пробормотал вслед ему старик.

Откуда у Николая такая фанаберия? — вдруг удивилась Надежда Филаретовна. — Карл Федорович, которого этот старик почему-то величает на лифляндский манер «Оттоновичем», был сильным человеком, но с подчиненными, к тому же честными и добросовестными, обращался вежливо, будто с ровней. Я тоже не из воска слеплена, держу окружающих в узде, но добиваюсь этого не угрозами, а строгостью к самой себе. А что, если под наружной властностью Николая скрывается растерянная и слабая душа? Но ей не хотелось думать сейчас о дурном, тревожном. Подойдя к фейерверкеру, она ласково поздоровалась с ним и спросила о самочувствии.

— Какое там самочувствие, — равнодушно отозвался старик. — Давно в землю пора.

— Зачем же так, Федотыч? Ты нам еще нужен. Второго такого мастера поискать!

— Пустое! — отмахнулся старик. Ему было скучно с ней, еще скучнее, чем с Николаем, который, как все юнцы, тяготел к пороху и взрывам.

Но Надежде Филаретовне не хотелось так просто оставить старика, трудившегося во славу Чайковского.

— У нас нынче особый гость будет, Федотыч. Таких еще не бывало.

— Это кто же, государь император или ихняя супруга? — вяло полюбопытствовал старик. — А может, конечно, гофмейстер, — возразил он сам себе, извлекая смутное придворное звание из глубин дряхлой памяти.

— Выше забирай, Федотыч! — засмеялась Надежда Филаретовна, странно умиленная этим дурацким разговором.

— Выше идут только ангельские чины...

— Он великий музыкант, Федотыч!

— Капельмейстер, значит, — понял фейерверкер. — Я всегда полковую музыку чтил, особо самую наибольшую трубу.

— Будь здоров, Федотыч. — И легкой походкой Надежда Филаретовна удалилась.

— Как же, однако, энта труба называлась? — вспоминал Федотыч, начиная ракету порохом в количестве, достаточном, чтобы взорвать все Браилово. — Забыл, забыл, ну и Бог с ней совсем.

...День выдался роскошный, совсем не по лету, то хмуро и влажно ветреному, то сухо-пыльному, с долго заходящими и не раздражающимися грозами. А тут, вознаграждая браиловцев за все невзгоды, с утра горячо, но незнойно засверкало солнце. Омытая росой земля исходила свежестью и не августовским, чуть усталым ароматом, а налитой июльской сочностью. Над рекой висели синие стрекозы на сухо шелестящих слюдяных крылышках. Плескались и выпрыгивали из воды голавли и шелешперы, где-то била крупная рыба — сом или щука, порхали и судачили камышевки, взволнованные непривычным зрелищем кортежа.

Николай командовал, как заправский капитан; Сашенок, наклонившись к воде, пытался сорвать кувшинку на тугом резиновом стебле; Милочка приставала ко всем, проплывут ли мимо Сиамаков; Юлия, подтверждая тревожную догадку матери, глаз не сводила с оживленного, похорошевшего Пахульского. Челядинцы, как и положено, все делали вкривь и вкось. Потеряли весло, утопили уключину, на одной лодке оборвали рулевые тяги, а другую прочно посадили на мель, но вопреки обыкновению вся эта разладица бытовой жизни ничуть не раздражала Надежду Филаретовну, скорее даже веселила. Она свято верила, что сегодняшней день принесет ей счастье, но, будучи в глубине души немного язычницей, как и подавляющее большинство людей, радовалась мелким искупительным жертвам, отводящим зависть и гнев богов.

Ее даже не слишком огорчило, что милый друг соблюдал совершенную незримость. Главное, чтобы он видел их. Надежда Филаретовна знала, что и сама она в свободном бархатном пальто с пелериной из светлого газа, и безукоризненно элегантная Юлия, и иные англазированные джентльмены, Сашонок с Николаем, и меньшие дети, одетые как маленькие принцы и принцессы, выглядят нарядно, наивно-торжественно, странно и мило в несоответствии своих туалетов сельскому обставу: задумчивой реке, кувшинкам, лилиям и поросшим боярышником берегам. В этом было что-то от речных прогулок времен Елизаветы Петровны — европейский блеск, наложенный на древнюю Русь.

Проплыли по тихой и ясной воде, попили в лесу чаю с вареньем, медом и сладкими пирогами: севрский фарфор, будто растворивший в своем нежном теле солнце, мило дисгармонировал с лесной порослью и прелью, скромными цветами и травами.

А по возвращении был великолепный обед, и Надежда Филаретовна произнесла серьезный и трогательный тост за Сашонка, задевший отвлеченную душу юного мечтателя. И было долгое течение праздничного дня с поздравлениями именинника заездными соседями, с приходом браиловских мужиков-старообрядцев в красных рубашках и картузах и мужиков-католиков в пестрядинных рубахах, с почти неумолкавшей музыкой. Маленький домовый оркестр был спрятан в искусственном гроте, и казалось, сама земля источает музыку в чистый гулкий вечерний воздух. Не скрипки и виолончели, валторны и флейты играли музыку Чайковского, а изумрудный, с вороненым отблеском английский газон, стеклянные шары на клумбах ярких осенних цветов, дорожки в красноватом песке, акации, клены и буки, первые звезды, проклюнувшие небо, и молодой месяц, наливший бледным золотом прозоры между деревьями. В мире, погружающемся в ночь, все напрягалось ожиданием чуда, и вдруг душен показался Надежде Филаретовне свежий, прозрачный воздух.

Она сменила свое светлое дневное платье на темное вечернее. Почти невесомое, оно казалось тяжелым из-за лифа-кирасы и драпированной юбки с длинным треном. Большой, черной, прекрасной птицей металась Надежда Филаретовна по саду и парку, ее худые, приютившие тень щеки и грудь под газом пылали, лихорадочно сверкали глаза в пещерах глазниц. Она приводила в смятение всех, кто к ней приближался. От нее заряжался электричеством воздух, как в предгрозье. Чувствительную и тоже наэлектризованную Милочку пребольно ударило, когда мать протянула к ней руку, чтобы поправить бант.

И тут, давая не истинную, а обманчивую разрядку скопившемуся в Надежде Филаретовне и вокруг нее напряжению, над садом и домом, над парком и окрестностями, над всем миром вспыхнул багрянцем родовой вензель фон Мекк. Безукоризненный контур заставлял думать о неземной руке, начертавшей огненные письма на бархатистой глади неба. Все закричали, захлопали в ладоши, а Николай, ущипнув себя за припухший уголок рта, проворчал:

— Ведь может, каналья!..

Новые ослепительные вспышки заставили позабыть о чудо-вензеле. Старый фейерверкер, видимо, понимал, что другой такой возможности не представится, и дал волю своей истосковавшейся по большому огню душе.

Усадьба и все сущее на ней то распахивалась в алых, багровых, золотых сполохах, то накрывалась непроглядным мраком, лишь в зеркальных шарах дотлевали кровавые отблески. Порой казалось, будто красные табуны проносятся через сад, с грохотом и треском руша все на своем пути.

Но вот завертела крыльями ветряная мельница, ставшая на облаке, и по блистающей воде пруда поплыли гордые лебеди, быстрые утицы, запрыгали дельфины, и все младшее поколение с воплями кинулось к водоему, а Надежда Филаретовна, воспользовавшись тем, что о ней забыли, устремилась прочь, в безлюдье, где только и мог — для нее одной — обрисоваться во тьме Петр Ильич и, став

плотью, выйти из полубытия и навсегда остаться при ней теплой человеческой жизнью.

Далекие, не имеющие земного подобия огоньки манили ее. Но огонек погасал раньше, чем ей удавалось приблизиться. Старый фейерверкер расстреливал ночь во всех направлениях, один свет вливался в другой, разрывы слагались в единый бесконечный затянувшийся раскат.

Взблески света в себе самой вконец ослепили ее слабые глаза. Она потеряла ощущение, что близко, а что далеко, где что находится: дом, парк, ограда, где свое, родное, где опасность чужого предела. Иногда она слышала нежный зов: «Мама!» — то из встревоженной гортани Юлии, то из просторной груди Софьи, еще не оформившейся груди будущей певицы, но не отзывалась, утратив смысл отклика. Она и с к а л а, окрыленная, взвихренная, чуждая даже тени страха, что Чайковский может не прийти или прийти на свой лад — оставаясь невидимым.

Гордясь своим трезвым реализмом — верная последовательница Чернышевского, Надежда Филаретовна необычайно широко трактовала это философское понятие. Так, она верила в беспредельность возможностей человеческой личности и потому считала прозрения, передачу мыслей на расстояние, совпадение душевных озарений и прочий сверхчувственный — в глазах тупиц — обиход вполне приемлемым с точки зрения материализма, хотя наука еще не познала природу этих явлений. Она не допускала мысли, чтобы милого друга могли не достигнуть исходящие от нее веления, чтобы он не понял символического языка огней и не откликнулся им, он, творец Четвертой симфонии, умеющий заглядывать за зримый образ вещей. Подобная нищая трезвость нереальна, ибо унижает великую человеческую суть: и ее, подающей сигналы, и его, принимающего.

Низко, в рост человека, покатился по воздуху к парку огненный колобок. Надежда Филаретовна, немедленно откликнувшись сказке, устремилась за ним. Что-то упруго толкнулось ей в ногу, раз-другой, и она не сразу сообрази-

ла, что это дог Рекс. «Не мешай, Рекс, пошел прочь!» Обдав ее сильным запахом разгоряченной пасти, Рекс прынул во тьму, но, видимо, успел сбить с дорожки. Рослая трава запуталась в длинном трене, юбка нагроула влагой, мешая движениям. А колобок стремительно удалялся, и надо было во что бы то ни стало настичь его. Надежда Филаретовна подхватила юбку с двух сторон и, не разбирая пути, побежала за огненным кругляком, а он юркнул за деревья да и был таков. Он обманул ее, вокруг ничего не было, кроме темноты и сыроватой прохлады листьев, и впервые тревожное чувство шевельнулось в груди Надежды Филаретовны. И тут она заметила маленькую беседку, о существовании которой совсем забыла. Затянутая то ли диким виноградом, то ли плющом, она стояла под деревьями, открытая в сторону пруда. И с чего-то захотелось спрятаться, исчезнуть. Вход в беседку находился с другой стороны. Раздвинув влажные, туго растянутые по веревкам побеги, Надежда Филаретовна вошла в черную непроглядь. Вытянув вперед руки, пересекла малое пространство, коснулась листьев, сжала их в ладонях и вновь увидела буйство огня — пустое, обманное. И когда казалось, что сердце откажется от ненужной работы — гнать кровь в пустыню тела, она вдруг ощутила себя живой, напряженной, трепещущей. Этому не было ни внешней, ни внутренней причин, но что-то, наверное, было — радость обдавала ее волнами, сладостно сжималось сердце, нежно слабели колени.

Казалось, кто-то невидимый обволакивает ее своим дыханием, своей аурой, всем теплом своего существа. Ее бросало то в жар, то в холод, она дрожала. Надежда Филаретовна закрыла глаза, тревожимые вспышками фейерверка, чтобы ничто не отвлекало ее в эти лучшие мгновения жизни. Она почти верила, что Чайковский возле нее, что его руки окутывают ее сетью легчайших касаний, тепло его тела мешается с ее теплом. Лишь страх прогнать навяждение помешал ей раскрыть объятия. «Не оборачивайся!» — сказал ей голос, как некогда жене Лотта, и она

удержала уже родившееся в мышцах движение. Пусть все это обман, но волшебный обман! Она еще сильнее смежила веки, и в забытьи ворвался капризный и ненавистный сейчас голос Милочки:

— Нет, мама там!.. Я видела!..

— Не говори глупостей. — Голос Юлии звучал напряженно. — Перестань!

— Пойдем туда!

— Я что сказала?

Милочка пискливо заплакала, видно, Юлия насильно потащила ее прочь. Холодный мокрый лист прижался к горячей щеке Надежды Филаретовны. Наваждение кончилось. Она открыла глаза. Было темно, как в шахте. Затем она обнаружила в наружной тьме несколько красных точек, там, где догорали потешные огни, — у пруда, возле клумбы, да в вышине, на опорных шестах поискривал, умирая, вензель рода фон Мекк.

— Вот и погас фейерверк, — сказала Надежда Филаретовна и заплакала и медленно, волоча трен по траве, побрела к дому...

...Петр Ильич мог быть доволен. Он не обидел гостеприимную хозяйку отказом и ловко избежал капкана. Нечаянно-нарочно, как это бывает у людей, таящих заднюю мысль, он чуть запоздал с выходом из дома — тщательнее обычного занялся туалетом — и увидел лишь хвост лодочного кортежа. По тихой, зеленоватой от травянистых берегов воде в сторону заката удалялся диковинный бело-розовый цветок. Это было красиво и странно, и он даже подосадовал на свою чрезмерную осмотрительность. Ведь можно было и не выходить на берег, а запастись сильным биноклем и досконально рассмотреть туалеты дам. Петр Ильич был неравнодушен к одежде и, в отличие от большинства мужчин, вообще не замечающих, как одеты женщины, все видел и оценивал до тонкости. Он знал, что и Надежду Филаретовну, и Юлию, и даже Сонечку одевают лучшие парижские портнихи, и представлял, как

должны быть очаровательны их изысканные туалеты в раме сельской простоты. Но что ни делает Господь, все к лучшему. Так, легко отбыв первую половину дружеской повинности, он без тревоги ожидал вечернее продолжение, там на него будут работать ночь, деревья, прочная изгородь. Радость свободы наполняла его весь день, а вечером пришло необъяснимое смятение.

Испуг охватил его, когда, сам не зная с чего, он приказал Алешке подать фрак.

— Чего? — обалдев, переспросил Алешка.

— Фрак, дурень! — нетерпеливо сказал Петр Ильич, почти никогда не повышавший на Алешку голоса, тем более не прибегавший к ругательным барским окрикам.

— Неужто вы к ним пойдете? — не обидевшись вопреки обыкновению на бранное слово, спросил Алешка.

Лучше бы ему помолчать! Петр Ильич и так весь обмер, сказав о фраке. Но оставалась спасительная неопределенность: коли праздник, значит, фрак положен... Диковато, конечно, подглядывать во фраке с бугорка или, того лучше, из-за плетня за чужим весельем, но человек одевается прежде всего для себя самого — существует такая банальность. В конце концов, этим фраком он как бы приобщается к празднику милого друга, оставаясь по обыкновению невидимым. Своим проклятым любопытством Алешка пробудил мучительную тревогу — уж не собирался ли он впрямь с визитом к госпоже фон Мекк? Нет, о том, чтобы пожаловать в открытую, и речи быть не может. Он никогда не отважится на столь дерзкий и самоубийственный поступок. Но он может поставить себя в такое положение, что поступок станет неизбежен. Достаточно попасться на глаза Марселю Карловичу в этом дурацком фраке, и тот силком его затянет — попробуй кого-нибудь убедить, что целью парада был бугор, изгородь или угол сарая. Да и лакей Левашка может донести: мол, ушел во фраке. На что это похоже? — спросил он себя рассеянно и огорченно. На игру гоголевского Подколе-

сина? Раз на барине фрак, уж не хочет ли барин жениться... Да разве там о фраке речь шла? О чем-то другом. И все равно похоже. Но сходство неизмеримо возрастет, если меня туда заманят. Тогда я, как Подколесин, — в окошко — и вся недолга. Я выпрыгну, честное благородное слово, выпрыгну!..

Странно, но эти вздорные мысли успокоили Петра Ильича. Они подсказывали спасение — на самый крайний случай. Уйти всегда можно, не в дверь, так в окно, не в окно, так в замочную скважину.

— Подай фрак, — сказал он больным голосом. — И собирайся, мы завтра уезжаем.

— Это как же — ни с того ни с сего? — всполошился Алешка. — Нехорошо барыню обижать.

— Молчи, невежа!

Обвинение в невежестве было самым ненавистным для Алешки. В браиловской дворне он считался человеком высокообразованным — изучал русский, французский, арифметику и Закон Божий. К тому же обидное слово напомнило ему о запущенной подготовке к экзаменам на военную льготу, он скис, насутился и молча помог барину одеться.

Петру Ильичу необыкновенно шел фрак, и пластрон, и черный галстук. Его ладная, но чуть сыроватая фигура обретала стройность, даже некоторую жестковатость, тугой воротничок напрягал шею, и голова чуть откидывалась назад, придавая облику горделивость, движения становились сухими и четкими. При этом он не любил парадной одежды — качества, придаваемые ему фраком, не были свойственны его натуре, его внутреннему существу, и этот обман был ему неприятен.

Он приказал Алешке следовать за ним. На смирной четверке, с Ефимом на козлах, они быстро добрались до Браилова, как раз зажегшего первые огни. Почти разом вспыхнули китайские фонарики, а в вышине юркой мышью забегал красный огонек, прочертив в небе сложный вензель дома фон Мекк.

— Вот это да! — восхитился Алешка. — Люминация первый сорт!

— Иллюминация, дубина!

— Что это вы, сударь, нынче в ругательном расположении? Я ведь и обидеться могу, — предупредил Алешка.

— Прости, дружок, что-то с нервами у меня. Как бы ударик опять не хватил.

— Может, повернем? — обеспокоился Алешка.

— Нет, нет! Нельзя!.. Ефим, голубчик, подхлестни-ка своих носорогов.

Ефим с оттяжкой прошелся по лощенным крупам. Четверка хрястнула копытами по передку экипажа, будто собираясь пуститься в галоп, но даже не прибавила рыси.

— Давай вон туда. — Чайковский показал Ефиму на замшелую каменную ограду, уходившую в густые заросли.

— Да там не увидишь ничего, — заметил Алешка.

— А я перелезу.

— Ну-ка собаки!..

Чайковский как-то странно посмотрел на него.

— Здесь мне плохого не сделают. Подсоби!..

Они вышли из экипажа, Алешка присел, Чайковский схватился за каменный столб, оперся коленом о крестец парня, прочно стал ему на спину, примерился и, взмахнув хвостами фрака, таким чертом скакнул за ограду. Он слегка ударился коленом о какой-то пенек, и, хотя твердо верил, что в доме фон Мекк ему нечего бояться, сердце отчаянно заколотилось, когда из темноты прынул громадный пятнистый дог. Черное в его шерсти сливалось с тьмой, казалось, что у него полморды и дыры по всему телу.

Петр Ильич знал, что собака чувствует, когда ее боится, и пуце свирепеет, но ничего не мог поделать с собой. Он остановился, прижав локти к груди и кистями защищая горло. Сопя, отфыркивая и сбрасывая тягучую слюну с угла губ, пес обнюхал Петра Ильича, что-то соображая в своей усеченной голове. Может быть, он припо-

минал запах Сиамакон, гарантирующий надежность посетителя? Дог отпрыгнул и скачками понесся прочь...

Петр Ильич вытер лоб и двинулся дальше. Фейерверк разгорался все ослепительнее. Крупные фугасы распахидали небесный свод, обнажали его тревожный рельеф с громоздами облаков. Инстинкт самосохранения оставил Чайковского. Он не сознавал, что движется напролом, сквозь кусты и деревья, к самому средоточию праздника. Роса забрызгала ему брюки до колен, промокли ноги в лакированных сапогах, он чувствовал холод и влагу в плечах и лопатках. Когда он вышел к пруду, золотая свеча зажглась над самой его головой, ему почудилось, что он открыт взглядам всех обитателей дома, любующихся искусственными лебедями, утками, дельфинами. Он метнулся назад, но сразу сдержал шаг, поняв, что его не могли разглядеть на фоне темных деревьев. Зато он удивительно полно и отчетливо охватил все нарядное многолюдство. За какие-то мгновения он успел разглядеть и детей Надежды Филаретовны: стройных юношей Сашонка с Николаем, подростков Макса с Мишей, формирующуюся, неуклюже-прелестную Соню, строгую Юлию, крошечную Милочку, и немногочисленных гостей, и лакеев, разносящих прохладительное, и в глубине пейзажа старого фейерверкера в допотопном мундире, и его подручных, младших слуг, наряженных в красивые шелковые рубахи. Не было лишь одной Надежды Филаретовны. Он не мог пропустить ее, увидев так много. Главное действующее лицо отсутствовало.

Две грациозно-костлявые русские борзые с опасным щучьим оскалом подбежали к Чайковскому. Между лап у них крутился черный, коротко стриженный пуделек. Петр Ильич знал его по прежнему гостеванию в Браилове.

— Крокет, Крокет!..

Пуделек узнал его и завилял всем каракульчовым телом. Борзые поверили своему меньшому приятелю и, успокоенные, убежали прочь. Петр Ильич подумал, что со-

баки могут его выдать. Надо было избрать более надежное место для наблюдения. Неподалеку от пруда виднелась беседка, увитая плющом. В прозоры между листьями можно спокойно любоваться и прудом, и фейерверком, и всеми насельниками дома. Он вошел в беседку, и, прежде чем успел оглянуться, мимо него метнулась высокая женская фигура, задев его подолом платья. Ухватившись руками за веревки, по которым тянулись побеги плюща, женщина стала, тяжело дыша.

Он невольно попятился, хрустнула под ногой сухая ветка. Надежда Филаретовна чуть повернула голову на высокой стройной шее. На Чайковского пахнуло теплым ароматом духов. Ничего не обнаружив, Надежда Филаретовна отвернулась. В руке у нее был веер, она стала обмахивать лицо, грудь, и легкие волосы Чайковского взлетели под рожденным ею ветром.

Чайковский подался вперед и протянул руки, словно собираясь заключить ее в объятия. Он провёл ладонями от ее виска до плеч, затем до талии, точно следуя рисунку фигуры, оконтуренной огнем фейерверка. Странно, что она не слышала его громко стучащего сердца. Осмелев, он водил руками над ее прической, почти касался маленьких ушей и нежных волос на долгой шее. Тальма соскользнула, и ее сильные округлые плечи матово белели в темноте.

Внутренне лицо Петра Ильича плакало от странного, горестного счастья. Они были так близки сейчас и так безнадежно разъединены. И казалось, Надежда Филаретовна ощущает нечто удерживающее ее в беседке, но не позволяющее оглянуться. Она дышала прерывисто, раз даже тихонько застонала, и жалоба эта странно отозвалась в Чайковском. Некогда испытанное к Дезире Д'Арто вновь ожило в нем.

В полубреду услышал он какие-то голоса: капризный — детский и резкий, недовольный — взрослый. И тут Надежда Филаретовна прошептала: «Боже мой!», выбежала из беседки, и шаги ее зашуршали по песку...

Петр Ильич с трудом перелез через ограду и свалился прямо в руки Алешке.

— Господи, а я-то маюсь! Думал, несчастье какое.

— Ври больше, небось в три листика играл. — Петр Ильич шатнулся и жалобно попросил: — Дай руку, Алешенька...

Ночью, лежа без сна, Петр Ильич сочинял письмо Надежде Филаретовне, произнося слова шепотом вслух:

«...Прекрасная, дорогая и, да позволено мне будет сказать открыто, навсегда любимая Надежда Филаретовна. Когда Вы получите это письмо, меня уже не будет в Сиамаках, не будет больше в Вашей жизни. Мы доиграли до конца нашу высокую игру. Вы защитили меня от всего, но не от самой себя. Когда-то вы говорили: я должен любить музыку, а не женщину, но я нарушил закон своей жизни и потому бегу. Я больше, неизмеримо больше теряю в Вас, нежели Вы теряете во мне. Но что поделать? С Вами, под Вашим большим и теплым крылом моя душа утешится в нежности, надежности, блаженстве. Она уснет, и ее не разбудить никакой музыкой. Да и откуда возьмется музыка? Вы сами музыка. Вы больше, величайшее чудо света — Человек, Женщина, Жена, Мать. Я все еще верю, что моя музыка кому-то нужна. Могу ли я ради собственного счастья отказаться от того обязательства, которое дал неведомо когда, неведомо кому, неведомо где, но дал, это я твердо знаю. Я сам лишь инструмент, на котором играет неведомый дух. Иногда я плохой инструмент, расстроенный, дребезжащий, но я еще стану хорошим инструментом. Моя главная песня не спета, и я не знаю, когда я спою ее. Знаю лишь, что спою только на своем одиноком пути. Мне больно, мне страшно писать это...»

Он так и не предал бумаге это самое искреннее и ответственнее — без обиняков — правде переживания письмо свое к госпоже фон Мекк. Вместо него он послал обычный тщательный отчет о проведенном дне, но не о

том, чем был для него на самом деле этот прекрасный и страшный день. Он даже написал, что любовался праздником возле беседки, неподалеку от пруда. Он и сам не знал, зачем он это сделал. Конечно, он ни словом не обмолвился, что видел ее. И вскоре вслед за тем покинул Сиамаки. Его поспешный отъезд напоминал бегство...

...Возвращаясь в темноте из беседки, Надежда Филаретовна едва не наступила на ползущего по дорожке человека. Он обшаривал кусты боярышника, высаженные вдоль аллеи.

— Ты что тут делаешь? — строго прикрикнула чуждая страха Надежда Филаретовна.

— Да Марцеллу ищу, — отозвался человек слабым голосом старика фейерверкера. — Вроде бы здесь упала...

— Какую еще Марцеллу? — Надежда Филаретовна подумала, что у старика от трудов и усталости ум за разум зашел.

— Да главную мою ракету. Которая на звездопад заряженная. Красивше ее не было. А Николай Карлович не смогли запустить. Она вон ушла и не взорвалась.

— Успокойся, Федотыч! Все хорошо было, просто отлично. Завтра приходи за вознаграждением.

— Да на кой оно мне, матушка?.. А Марцелла не взошла. Экая беда!..

— Другой раз запустишь, — жалея старика, сказала Надежда Филаретовна.

— Когда он еще будет, другой-то раз? Мне и не дожить. — И старик пополз на четвереньках.

Как раз но устроен мир! — подумала Надежда Филаретовна. — Для меня праздник был в Петре Ильиче, для детей в самом празднике, а для старика в «главной ракете», чтоб она взошла и рассыпалась звездами. Ему и дела нет до моей печали, моей тайны. Что случилось в беседке? Почему мне было счастливо и ужасно, а, старик? Какая тебе забота, когда в траве сыреет прекрасная Марцелла. И это справедливо...

...Лорнет выпал из руки Надежды Филаретовны, едва она дошла до строк письма Петра Ильича: «Я находился все время близ беседки на пруду». Милый друг, вы не умеете лгать. Между беседкой и прудом не раз пробежали мальчишки, проходила Юлия с Милочкой, я слышала их разговор. Там негде укрыться. Даже я при всей близорукости увидела бы вас. Но ваше убежище и так было раскрыто, дорогой. Милочке непременно хотелось в беседку. Она-то знала, кто там находится. И Юлия догадалась об этом и не пустила ее туда. Одна я, слепая тетеря, ничего не видела, хотя и чувствовала, нестерпимо сильно чувствовала вас рядом. И только глупое суеверие, недостойное такой реалистки, как я, помешало мне протянуть к вам руки. А ваши руки были протянуты ко мне, теперь я это знаю. Вот откуда шло электричество, вот почему мне хотелось плакать от тоски и счастья. Милый друг, даже самая верная дружба не заряжает так другого человека, не опалает ему кожу. Хотите вы или не хотите, но вы любите меня, и дай-то вам Бог скорее понять это. Фейерверк не умер, самая сильная и прекрасная ракета лежит в траве, начиненная звездным дождем. Надо только суметь найти ее и зажечь.

И Надежда Филаретовна написала Чайковскому поразительное по откровенности и силе чувства письмо — страстное признание в любви. Чайковский отмолчался...

...Что же было потом? Милый друг научил ее терпению. Она все искала свою Марцеллу. Не смущаясь ни годами, ни наступающей старостью. Она верила, что над дивной ракетой не властно время, не властны ни дожди, ни снега, ни бури, что в свой час она вспыхнет и станет звездой.

Она поняла, что не будет звездного дождя, что фейерверк навсегда погас лишь сегодня, в этой летней гостиной, перед лицом ее детей — мучителей, как погасло закатное солнце, вернув комнате, вещам и людям их обыденный зловещий вид.

Неужели вспышка памяти была прощанием? Неужели я уже сделала выбор? Наверное, так, хоть и сама еще не верю этому. Конечно, я должна выбрать слабейшую сторону. Мой дорогой, седой, стеклянный мальчик, вы сильнее не только моих детей, но и самого Геракла. Хрупкий, непрочный, боящийся мышей и покойников — вы боялись даже своего любимого Рубинштейна и подходили к его гробу с закрытыми глазами, — вы не побойтесь взглянуть в лицо смерти и тем осилите ее, как осилили всех и вся: время непонимания, глухоту «знатоков», злобу недругов, узость друзей, холод вечного одиночества и мое притяжение. Но я уже не разделю с вами этого последнего торжества. Простите меня за отступничество. Вам будет очень не хватать вашего старого друга, куда больше, нежели вы можете представить. Ведь была же, была беседка, Петр Ильич, был фейерверк и не вовсе погас в наших увядших душах. Но сейчас конец. Не судите слишком строго ни меня, ни моих детей: в природе часто жизнь нового оплачивается смертью старого — детеныши поедают свою мать. Это естественно, и над ними нет суда.

Но они, ее дети, не поверили свободному великодушию матери, губящей себя ради них. И новый вульгарный всплеск сотряс гостиную:

— Мы так и не услышали ответа!..

— Поразительная глухота и слепота!..

— Когда сам государь!..

— Все общество!..

— Нам только скандала не хватает!..

— На незапятнанное имя отца!..

— Молчите! — вскричала Надежда Филаретовна и задохнулась.

— Довольно щадить!..

— Дядя, вы как старший!..

Александр Филаретович Фроловский — великий устроитель чужих дел и плохой собственных — поднялся во весь свой саженный рост. Это была его минута. Он вовсе не

думал о том, что причинит смертельную боль сестре, которую по-своему любил. Но человеку второсортному и зависимому так сладко ощутить в ладони тяжесть карающего меча.

— Молчите!.. Не хочу... — Надежда Филаретовна зажала уши. — Запрещаю!.. — Тонем ниже: — Считайте, что все уже сказано, самое мерзкое, самое страшное, на что способна злоба. Грехи Петра Ильича искуплены его музыкой, и ваши грехи тоже, и мои...

— Он что же — Иисус Христос? — насмешливо крикнул Владимир.

— Да. Наконец-то вы поняли. Вы хотели распять его, но он уже не в вашей власти. Вознесение опередило Голгофу. Так-то, дети мои... А мама опять с вами, — сказала она почти ласково, жалея их за презрение, какое испытывала к ним. — Со всеми денежками, заботой, тревогой, вся целиком. Я сообщу господину Чайковскому о прекращении выплаты бюджетных сумм. Всю остальную переписку, если таковая возникнет, примет на себя любезнейший господин Пахульский. Как видите, капитуляция полная.

И, предупреждая фальшь благодарного сочувствия, когда безжалостное дело уже свершилось, сказала спокойно и властно:

— Ступайте, пейте чай, играйте. Я хочу остаться одна.

Они повиновались, не заметив странной обмолвки «играйте» применительно к взрослым людям..

...Что же было дальше? Надежда Филаретовна вернее рассчитала судьбу Чайковского, нежели свою собственную судьбу. Ноша оказалась ей не по плечу. Приступы черной меланхолии, случавшиеся порой и прежде, стремительно перешли в неизлечимую душевную болезнь. Физически она пережила Чайковского, но то уже не было жизнью. Она окончила дни в сумасшедшем доме, не помня о том, кого так долго и трудно любила.

А Чайковский вроде бы справился с нанесенным ему неожиданным ударом. Речь идет, разумеется, не о денежной

потере. К этому времени он уже был человеком обеспеченным, правда, от безалаберной щедрости — особенно к близким — деньги утекали у него между пальцев. Но не это волновало его. Самозванные охранители посмертной чести Чайковского, стыдливо поджимающие губки и потупляющие глазки, когда дело касается материальной помощи композитору со стороны фон Мекк, почему-то не помнят горьких писем Чайковского братьям, написанных по свежей боли разрыва. Эти письма куда лучше говорят о подлинном бескорыстии Чайковского, чем паршивенькое умолчание. Если уж Надежде Филаретовне грозит разорение, писал Чайковский, то пусть она не откажется принять моей помощи. Он страстно мечтал стать для фон Мекк тем, чем многие годы была она для него.

Чайковский не стал богачом даже в самый славный период своей жизни. А фон Мекк, хотя и понесла чувствительные потери, отнюдь не разорилась, сохранила значительное состояние. Петр Ильич не понимал причины разрыва, тягостно страдал и продолжал стучаться в запертую дверь. Его письма Пахульскому, ставшему мужем Юлии фон Мекк, нельзя читать без острой жалости. Похоже, он только теперь начал понимать, что значила в его жизни Надежда Филаретовна.

Госпожа фон Мекк не ошиблась в главном. Петр Ильич достиг своей конечной цели: глянул в лицо смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. «Патетической» назвал он последнюю симфонию, вершину своего творчества. Он не оставил себе иллюзии, что за смертью что-то есть, кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чуда жизни. Сказав же громко «да!» жизни и смерти, он умер — сразу и так вовремя, что смерть его породила множество легенд. Нас эти легенды не интересуют, нас интересует другое. Умирая в петербургской квартире своего брата Модеста, умирая тяжело, мучительно и неопрятно, он заставил всех близких выйти из спальни, чтобы они не видели его физического унижения. Три человека, при-

павшие к двери, слышали измученный, томящийся, но отчетливый голос умирающего:

— Надежда!.. Надежда!.. — и вновь зовом, молитвой: — Надежда!.. — и со скрипом зубов, с невыносимой болью: — Проклятая!..

То было его последнее слово среди живых. А затем настало бессмертие. И они вошли туда рука об руку — Композитор и его Дама. В этом есть ирония, но есть и правда.

СИРЕНЬ

Странное то было лето, все в нем перепуталось. В исходе мая листва берез оставалась по-весеннему слабой и нежной, изжелта-зеленой, как цыплячий пух. Черемуха расцвела лишь в первых числах июня, а сирень еще позже. Такое не помнили ивановские старожилы. Впрочем, они и вообще ничего толком не помнили: когда ландышам цвести, а когда ночным фиалкам, когда пушиться одуванчикам и когда проклюнется первый гриб. Но может быть, странное лето внесло сумятицу в их старые головы, отбив память об известном порядке?

Сильные грозовые ливни, не положенные в начале июня — им время в августе, когда убраны хлеба и поля бронзовеют щетиной стерни, — усугубили сумятицу в мироздании. И сирень зацвела вся разом, в одну ночь вскипела и во дворе, и в аллеях, и в парке. А ведь положено так: сперва запенивается белая, голубая и розовая отечественная сирень, ее рослые кусты теснятся меж отдельным флигелем и конюшнями, образуют опушку Старого парка, через пять-шесть дней залиловеет низенькая персидская сирень с приторно-душистыми свешивающимися соцветиями, образующая живую изгородь меж двором и фруктовым садом; а через неделю забросит в окна господского дома отягощенные кистями ветви венгерская сирень с самыми красивыми блекло-фиолетовыми цветами. А тут сирени распустились разом, после сильной ночной грозы, переполошившей обитателей усадьбы прямыми, отвесными, опасными молниями. И даже куст никогда не цветшей махровой сирени возле павильона зажег маленький багряный факел одной-единственной кисти.

И когда Верочка Скалон выбежала утром в сад, обманув бдительный надзор гувернантки Миссочки, она ахнула

и прижала руки к корсажу, пораженная дивным величием сиреневого буйства.

В доме жили по часам, порядок был строгий. Вставали в восемь — все, кроме Александра Ильича Зилоти, и непонятно, чем была вызвана такая поблажка. И сами хозяева Сатины, и гостиющие у них родственники, и наезжавшие соседи беспрекословно подчинялись неизменному уставу. Пусть Зилоти замечательный пианист, профессор консерватории — Сатины не церемонились и с более именитыми гостями, — дарованная ему привилегия оставалась загадкой для Верочки, любящей в свои пятнадцать лет доискиваться до первопричины явлений. Но сегодня она решила, что эта вольность призвана служить маленьким вознаграждением Александру Ильичу за муки тюремного режима, навязанного ему любовью и ревностью жены Веры Павловны, урожденной Третьяковой. Вера Павловна ревновала своего двадцатисемилетнего мужа, не по годам обремененного большой семьей, заботами и славой, ревновала тяжелой купеческой ревностью, слепой, неодолимой, смехотворной и вовсе неуместной в дочери одухотворенного Павла Михайловича Третьякова, знаменитого собирателя русской живописи. Она ревновала мужа к «трем сестрам» Скалон и даже к тринадцатилетней Наташе Сатиной, не говоря уже о Миссочке, о красивой горничной Марине, волоокой псельнице, и ко всем крестьянским девушкам, приносившим в усадьбу дикорастущую землянику, сливки и сметану. И это мешало Верочке определить, в кого же на самом деле влюблен Александр Ильич. А разобраться в путаном клубке влюбленностей было для нее еще важнее, нежели в сумбуре взбунтовавшейся природы.

Выходить из дома раньше положенного времени считалось столь же крамольным, как и залеживаться в постели. Это было даже опаснее, потому что, залежавшись, можно сослаться на нездоровье, а тут чем оправдаешься? Верочка неслучайно вспомнила о Зилоти. Когда она сбежала с крыльца отдельного флигеля, где жила с матерью, сестра-

ми и Миссочкой, ей почудилось в окне второго этажа «господского» дома бледное лицо Веры Павловны. Она ночевала в детской — нездоровилось годовалому Ванечке, и чуткий слух ревнивицы уловил во сне тончайший скрип далекой двери. Хорошо, если Александр Ильич спокойно нежится в своей постели, а что, если ему тоже вздумалось прогуляться? Какие подозрения вспыхнут в необузданном воображении Веры Павловны и чем все это обернется? Она едва не вернулась домой, но пьянящий дух сирени был так влекущ и сладок, что Верочка решила: будь что будет, не даст она испортить себе радость! И она кинулась в сирень, как в реку, мгновенно вымокнув с головы до пят — тяжелые кисти и листья были пропитаны минувшим ливнем.

Грубый шорох в кустах заставил Верочку испуганно замереть. Господи Боже мой, неужели и впрямь она столкнется сейчас с Зилоти и тяжесть стыдной взрослой тайны ляжет на ее сердце? Нет, она вовсе не хочет знать, в кого влюблен Александр Ильич и насколько основательна ревность его несчастной жены.

Шум повторился — шорох и треск, кто-то шел напролом сквозь сирень, сотрясая ветви, давя мелкие сухие сушочки в изножии кустов. Легко возбудимое сердце Верочки мгновенно отзывалось на каждое волнение, испуг, вот и сейчас оно будто подскочило, забилося у самого горла, гулко, громко, с болезненной отдачей в голову. Прodelка, казавшаяся ей такой очаровательной еще несколько минут назад, когда она неслышно проскользнула мимо спален матери и Миссочки, обернулась чем-то дурным и страшным.

«Почему мне за все приходится платить так дорого? — спросила она себя с тоской. — Чего я, в конце концов, боюсь? Пусть я даже столкнусь с Зилоти, он благородный человек и защитит меня от незаслуженной обиды. Я виновата лишь в том, что насамовольничала. Ну, побранят, лишат прогулки, заставят написать лишний английский дик-

тант, разучить какой-нибудь этюд. Не убьют же меня в самом деле?» Уговоры подействовали, сердце опустилось в свое гнездо, отлила кровь с лица, и перестало стрелять в ушах.

Верочка осторожно раздвинула ветви и в шаге от себя увидела Сережу Рахманинова, племянника хозяев усадьбы. Он приподымал кисти сирени ладонями и погружал в них лицо. Когда же отымал голову, лоб, нос, щеки и подбородок были влажными, а к бровям и тонкой ниточке усов клеились лепестки и трубочки цветов. Но это и Верочка умела делать — купать лицо в росистой сирени, а вот другая придумка Сережи, Сергея Васильевича — так церемонно полагалось ей называть семнадцатилетнего кузена, была куда интереснее. Он выбирал некрупную кисть и осторожно брал в рот, будто собирался съесть, затем так же осторожно вытягивал ее изо рта и что-то проглатывал. Верочка последовала его примеру, и рот наполнился горьковатой холодной влагой. Она поморщилась, но все-таки повторила опыт. Отведала белой, потом голубой, потом лиловой сирени — у каждой был свой привкус. Белая — это словно лизнуть пробку от маминых французских духов, даже кончик языка сходно немеет; лиловая отдает чернилами; самая вкусная — голубая сирень, сладковатая, припахивающая лимонной корочкой.

Сиреневое вино понравилось Верочке, и она стала лучшего мнения о длинноволосом кузене. Впрочем, какой он кузен — так, седьмая вода на киселе, но взрослые почему-то цепляются за отдаленные родственные связи, причем в подобных туманных случаях старшие всегда оказываются дядюшками и тетюшками, а сверстники — кузенами и кузинами. Рахманинова сестрам Скалон представили совсем недавно в Москве, в доме Сатиных, где они останавливались на пути из Петербурга в Ивановку. Нельзя сказать, что их обрадовала перспектива провести лето в обществе новоявленного кузена. В этом долговязом юноше все было непомерно и нелепо: громадные, как лопаты, руки и под

стать им ступни, длинные русые поповские волосы, большой, тяжелый нос и огромный, хоть и красиво очерченный рот, мрачноватый, исподлобья, взгляд темных матовых глаз. Нелюбезный, настороженный, скованный, совсем неинтересный — таков был дружный приговор сестер. И робкая попытка кузины Наташи Сатиной уверить их, что Сережа стесняется и дичится, ничего не изменила.

Правда, в Ивановке образ сумрачного и нелюбезного кузена пришлось срочно пересмотреть. Он оказался весьма любезным, услужливым, общительным и необыкновенно смешливым. Достаточно было самой малости, чтобы заставить его смеяться до слез, до изнеможения. И надо сказать, Верочка пользовалась этой слабостью кузена и не раз ставила его в неловкое положение, но с обычным добродушием он нисколько не обижался. За него обижалась Наташа Сатина и даже позволила себе выговаривать Верочке, но та быстро поставила на место непрошеную заступницу. Наташа надула свои и без того пухлые губы и навсегда забыла встревать в дела старших...

Но кузен, пьющий горькую влагу с сиреневых кистей, стал Верочке по-новому интересен. Кстати, в кого он влюблен?.. Прежде Верочка не задавалась этим вопросом, хотя сердечные дела всех обитателей усадьбы, равно и друзей дома, редкий день не наезжавших в Ивановку, заботили ее чрезвычайно. Скорее всего он влюблен в старшую ее сестру, двадцатидвухлетнюю Татушу, властную и самоуверенную красавицу. Похоже, в нее все влюблены. А кто влюблен в Сережу — дозволено ей хотя бы про себя так его называть? Натуля Сатина?.. Верочка прыснула, по счастью, почти беззвучно: рот был набит сиренью. Но острый слух музыканта что-то уловил. Рахманинов замер с кистью в руке, как Вакх на известной картине академика Бруни. Его большие, темные, не отражающие свет глаза внимательно и быстро обшарили кусты. Верочка успела пригнуться, и взгляд его скользнул поверх ее головы.

Наташа Сатина была рослая, стройная, очень серьезная девочка, пытавшаяся держаться на равных со взрослыми. Ее губил рот — детски пухлый, неоформившийся и потому непослушный, расплывающийся, даже глупый какой-то, хотя она отнюдь не была душой. Этот рот поразительно не соответствовал остальной лепке четкого смуглого лица. Лоб, нос, глаза, легкая крутизна скул — все в ней было очаровательно и завершено, но пухлое губошлепие отбрасывало Наташу в детство. И комичными, пародийными казались ее серьезность, трудолюбие, рассудительность, даже какая-то важность. Живая, легкомысленная, порывистая Верочка, начисто лишенная Наташиной солидности, была все же «барышня», а Наташу хотелось отослать в детскую.

Эти размышления, навеянные новооткрытием длинно-волосого кузена, несколько отвлекли Верочку от сиреневого вина. В отличие от нее Сережа действовал с напористой быстротой и ловкостью, правда, при таких захватистых ручищах и громадной пасти это немудрено. У Верочки был маленький, деликатный рот, ей приходилось выбирать кисти поменьше. Но надо поторапливаться, чтобы успеть до колокола прошмыгнуть в свою спальню. Верочка пустила в ход обе руки. Ее всю забрызгало росой, горечь палила рот, лепестки обклеили подбородок и щеки.

— Психопатушка, и вам не стыдно? — послышался протяжный, укоризненный голос Рахманинова. — Поедать сирень — какое варварство!

У него была раздражающая привычка давать всем прозвища. Это он превратил Татушу в Тунечку, а потом в Ментора, англичанку — в Миссочку, балетоманку Лелю в Цуккину Дмитриевну, а Верочку, что совсем глупо, — в Психопатушку. Конечно, она бывает несдержанна, легко вспыскивает и легко переходит от смеха к слезам, но какая же она психопатка? Она давно хотела объясниться с Сергеем Васильевичем по поводу дурацкой клички, но теперь разговор придется отложить. Кто же она, как не Психопатушка, если с такой вот звериной алчностью пожирает сирень? Но хорош кузен!

Сам вызвал ее на эту глупость, а сейчас делает вид, будто ни при чем. Уж он-то, конечно, не обсасывал влажных кистей, а скромно и чинно вдыхал их аромат.

— Надеюсь... — произнесла она, задыхаясь, — что вы как честный человек... никому... никогда...

— Психопа-а-гушка!.. Генеральшенька! — нарочито гнусявая и растягивая слова, проговорил Рахманинов. — Да ведь сказать кому — не поверят!.. Вы бы посмотрели на себя!

Верочка провела ладонями по лицу, они сразу стали мокрыми, а на подушечках пальцев налипли голубые, лиловые лепестки, какой-то мусор, паутинки. Когда только противный кузен успел вытереться и принять обличье паймальчика? На его крупном, в первом розоватом загаре лице не было ни росинки, ни соринки...

У Верочки было короткое дыхание; при малейшем волнении ей не хватало воздуха.

— Прошу вас!.. Это глупое ребячество... Вы злой!.. Вам бы только выставять людей в смешном виде!..

— Господь с вами, Психопатушка! — сказал он мягко, участливо, почти нежно.

Верочка никак не ожидала подобной интонации у насмешливого кузена: даже свои любезности он облакал в ироническую форму.

— Зачем вы так?.. Конечно, я никому не скажу... раз вы не хотите. — Теперь в голосе его опять послышались привычные лукавые нотки, но добрые, необходимые. — И что тут такого? Бедная девочка проголодалась и решила немножко попасться. Ну-ну, не буду... Ого, Агафон заковылял к колоколу. Бегите, не то пропади.

— А вы?

— За мной не очень следят. Мне только нельзя появляться в женском монастыре, так я прозвал ваш флигель, и принимать у себя дам... Наташу, например. Тут сразу громы и молнии...

Он еще что-то говорил, но Верочка уже не слышала. Со всех ног, зажимая ладонью страшно бьющееся сердце, мча-

лась она к дому и успела вскочить на крыльцо, прежде чем Агафон ударил в колокол, и проскользнула в спальню до появления свежей и ясной, будто не со сна, Миссочки.

Рахманинов стоял, задумчиво перебирая кисти сирени. Он хотел понять, почему его так тронула и странно взволновала эта встреча.

Верочка Скалон была очень милοвидна, с прекрасными, густыми, длинными русыми, в золото, волосами, с тонкой, стремительно затекающей румянцем кожей, с пытливыми, горячими глазами и тесно сжатым ртом. Эта серьезная, даже скорбная складка рта не соответствовала мягкой лепке лица и подвергала сомнению однозначность образа доброй, недалекой девушки. Но что ему эта Верочка Скалон, Психопатушка, Генеральшенька, влюбленная по уши в друга детства Сережу Толбузина и чуть не каждый день избирающая нового фаворита, который зачастую об этом и не догадывается, поминутно вспыхивающая и немеющая от страха, что кто-то проникнет в ее великие секреты? Он, Рахманинов, — странствующий музыкант, его дело упражняться на рояле до одурения, который день корпеть над четырехручным переложением «Спящей красавицы» несравненного Петра Ильича и урывать часишко-другой для собственного сочинительства. Да, он обуян дерзостным намерением в недалеком будущем вынести на суд публики свой первый фортепианный концерт. Пора робких ноктюрнов и разных мелких пьесок миновала, он способен сказать свое слово в музыке. О прочем нечего и думать. Но как все-таки хорошо, что было это утро, тяжелые благоухающие кисти, холод капель за пазухой и девичье лицо, наивное и патетическое...

День, начавшийся для Верочки Скалон так тревожно и странно, катился дальше проторенной колеей без каких-либо неожиданностей. Никто не догадывался об утреннем приключении. А Вера Павловна при всей своей ревнивой наблюдательности умудрилась ее не заметить. Поведение кузена было безупречно, он не позволил себе и легчайшего

намека — взглядом, улыбкой — на их общую тайну, был образцово серьезен и почтителен. Он хотел успокоить Верочку, но немножко перебарщивал в своем джентльменстве. Такая сдержанность необходима при посторонних, но совершенно ни к чему, когда они оставались с глазу на глаз. Разве люди так уж часто сходятся в утреннем саду пить сиреневое вино? Ведь и в самом деле, сказать кому — не поверят. Но Верочка знала, что не скажет об этом даже верной и молчаливой, как могила, Наташе Сатиной, не говоря уже о сестрах: строгой моралистке Татуше — поистине «Ментор»! — и дразнилке Леле. И если они с Сережей будут так старательно притворяться друг перед другом, то получится, что ничего и не было, а это даже обидно..

Катился вслед за другими, навек канувшими, чудесный жаркий долгий июньский день с парным молоком и садовой земляникой прямо с грядок — еще одна неожиданность, ну где это видано, чтобы садовая земляника поспевала в пору цветения сирени? — с купанием и беготней по парку, с мучительным английским диктантом — Верочка насажала ошибок против обычного густо; с непременным испугом Александра Ильича Зилоти по поводу вскочившего на щеке прыщика — рак(!!!); с беспредметными и крайне забавными вспышками ревности у его жены, с оглушительными звуками роялей — это Сережа разучивал всем в зубах навязший этюд Шлецера, а Зилоти в который раз играл бетховенскую «Ярость из-за потерянного гроша», и все искренне восхищались, хотя с удовольствием послушали бы что-нибудь другое, пусть и не столь совершенное; с запаздывающим, как всегда, обедом («Лакеи засели в подкидного, — в комическом ужасе восклицал Александр Ильич. — Буфетчику Адриану идут одни козыри!»); с катанием на линейке, с вечерним чаем и «адской зубной болью» у Веры Павловны (самовар подала вместо запившего Адриана красивая Марина); с веселой болтовней в беседке и нарочито заунывными приставаниями Сережи к Татуше по поводу московского знакомого Шнеля — всех это весе-

лило, а Татушу раздражало, она не любила насмешек над теми, кому нравилась; с долгим, будто навек, прощанием перед сном и «лунной ванной» на балконе в компании Лели и Миссочки, к ночи грустневшей, с прохладой домотканых полотняных простынь.

Но прежде чем погрузиться в сон, Верочка вспомнила утреннее похождение и удивилась своему тогдашнему испугу. Сколько же в ней еще детского, если она теряет от каждого пустяка! И досадно, что она так уронила себя перед кузенком. А он все же милый, с ним можно дружить, если, конечно, держать в узде. В Москве они его просто не поняли. Зато в Ивановке Татуша сразу нашла, что в нем что-то есть. Впрочем, Татуша всюду подбирает кавалеров. Это все не важно. А важно то, что завтра приезжает из соседней Тимофеевки Митя Зилоти, брат Александра Ильича, и надо будет раз и навсегда выяснить, в кого он влюблен.

Вместо того чтобы развязать хоть какие-то узлы, Митин приезд окончательно все запутал. Едва Митя успел слезть с двуколки, как примчался потрясенный Сашок Сатин и сказал, что поспела малина. Конечно, ему никто не поверил, но лето уже приучило к неожиданностям, и обитатели усадьбы, поругивая юного вестника за распространение ложных слухов, гурьбой повалили в малинник. Привлеченный шумом, на крыльцо выскочил Александр Ильич Зилоти, несказанно обрадовался малине и, схватив Татушу за руку, кинулся в сад. Ему, правда, пришлось сразу вернуться, поскольку Веру Павловну постиг тепловой удар на террасе. Потрясая кулаками, Александр Ильич поплелся к жене, а остальная компания вломилась в малинник и увидела, что Сашок наврал совсем чуть-чуть. Малина еще не поспела, но твердые и невкусные ягоды действительно подрумянились, и одно это было чудом. Зато созрела черешня, но тетя Варвара не разрешила трогать ее до завтра.

А на обратном пути Татуша, словно догадавшись о тайных заботах сестры, пристала к Мите, в кого он влюблен.

Митя смущенно и самодовольно отмалчивался, краснея сквозь загорелую кожу, но от Татуши нелегко отделаться. Ее настырность вдруг стала неприятна Верочке: похоже, Татушей двигало не обычное любопытство, а какое-то личное чувство. Сестра была в расцвете красоты, и ей хотелось покорять всех — от Мити и Сережи до Александра Ильича и даже дядюшки Сатина. Хорошо бы Митя скорее ответил и прекратились Татушины домогательства, но тут вмешался Сережа и чуть не испортил.

— Митя напрасно думает, что Тунечке интересно, в кого он влюблен. Тунечке интересно, в кого влюблен блистательный Шнель. Но это и так все знают.

Татуше пришлось хорошенько отчитать Сережу, прежде чем она смогла вновь приняться за Митю. «Назовите только ее инициалы!» — требовала Татуша. Жарко пламенная вишневым румянцем, Митя шагнул к березе, отломил сучок и начертил на белой коре две буквы. Он сделал это так быстро, что никто толком не разобрал, а следов тупой конец сучка не оставил. Сережа, правда, уверял, что первой буквой была «Н» и Митина избранница — Наталия Скалон. «Бедный, бедный Шнель!» — сокрушался Сережа. Но Верочке, хоть и ревновавшей Митю к сестре, почудилась скорее буква «И». Более того, прозорливостью какого-то внутреннего видения она вдруг уверилась, что не Татуша избранница Мити, что бы ни написал он на коре. И когда через некоторое время в перешептывании Татуши и сконфуженного Мити прозвучало имя Нина, вмиг обмершим сердцем Верочка прозрела истину: Митя влюблен в родную сестру Сережи Толбузина.

Сережа был всего на год старше Верочки, и все мамушки и нянюшки называли их женихом и невестой, когда они еще играли в аллеях Летнего сада. Самое же любопытное, что не только глупые сплетницы из людской так считали, а весь круг Скалонов — Толбузиных. Дети были неразлучны. В отрочестве восторженно-рыцарственное служение Сережи Верочке не оставило сомнений в характере

его чувств. И Верочка не представляла себе будущего без Сережи Толбузина. Нельзя сказать, что Верочка так уж часто думала о своем будущем, ясном, надежном и начисто лишенном неожиданностей. Она видела себя в этом будущем счастливой женой, матерью красивых детей, хозяйкой открытого, гостеприимного дома. Но коли это будущее ей обеспечено со всем тем образцовым порядком, который гарантировала цельная и здоровая натура Сережи Толбузина, то чего же о нем беспокоиться? И сейчас, когда лето безобразничало напропалую и взбунтовались все растения, рухнул порядок, установленный от Бога, Верочка была не прочь стать на время частицей всеобщей сумятицы.

Но жизнь с ненужной заботливостью изъела ее из окружающей путаницы, оставила, как говорится, при своих. Мало того, что Митя, вопреки Верочкиным — весьма основательным — надеждам, любит другую, эта другая оказывается сестрой ее нареченного. Круг замкнулся. Тоска зеленая охватывает, когда подумаешь, что ждет их в будущем — нежная дружба двух любящих пар. Повеситься можно!..

Приезд Мити Зилоти всегда сгущал романтическую атмосферу усадьбы. Он был очень похож на старшего брата — такой же рослый, ясноглазый, с высоким лбом и чистой, загорелой кожей. Но Александр Ильич уже начал лысеть, он был маэстро, отец семейства, муж-подкаблучник, его упорные, но робкие попытки взбрыкнуть отдавали безнадежностью. Юный, свободный, независимый Митя при всей своей милой застенчивости прямо-таки звенел победительной силой. О любви и вообще-то не прочь были поговорить в здешней молодой компании, особенно вечером, перед сном, когда наконец смолкали неутомонные рояли, когда все, что можно съесть, было съедено, все, что можно выпить, выпито, все упражнения выполнены, нотации прочитаны, уплачена дань скромным летним развлечениям и корчившая строгость гувернантка Миссочка превращалась в простую славную девушку, наступал час тихой

свободы, интимности, проговаривания — порой полусознательного — тайных мыслей, глубоко запрятанных чувств.

Странно, но Сережа Рахманинов, погруженный с головой в свои музыкальные занятия, умудрялся каким-то образом ухватывать, чем живут окружающие. Возможно, острейший слух безотчетно улавливал обрывки разговоров, перешептываний, признаний, взрывы смеха, окрики — всю музыку летней жизни. Сегодня вечером, когда Татуша изнемогала в тщетных попытках выведать у Мити Зилоти, верит ли он в любовь вечную, — Митя краснел, пытел, хлопал длинными ресницами и мямлил что-то нечленораздельное, — Сережа своим специально противным голосом занудил о династических браках. Верочка, подавленная Митиной изменой, вначале пропускала мимо ушей деланные Сережины рассуждения, а потом вдруг обнаружила, что он бросает камни в ее огород. Прекрасно, гнусил Сережа, что в русских дворянских семьях возродилась славная традиция королевских домов Европы. Инфанта Психопатушка еще в пеленках была предназначена принцу Толбузину, ходившему пешком под стол, и этим навеки скреплен союз двух могущественных родов Чухландии.

— Перестаньте, Сергей Васильевич! Надоело! — тоном досады сказала Верочка, но настоящей досады она не чувствовала.

Сережины разглагольствования при всей своей дурашливости утверждали непреложную истину: Верочкину независимость от каверз судьбы. Пусть Митя хоть весь березняк исчертит инициалами Нины Толбузиной — после всех своих фальшивых авансов Верочке, — у нее есть преданный, до дна прозрачный, верный друг, на чью руку она всегда может опереться. И это делает ее неуязвимой. Но Рахманинов, оказывается, не исчерпал темы.

— Но чего стоят все высокие расчеты, если в непостоянном сердце инфанты вдруг вспыхнет страсть к заезжему чужеземцу, новоявленному Казанове?

Прозрачный намек на итальянское звучание фамилии Зилоти!

— Вы несносны, Сергей Васильевич!..

Верочка сказала это просто для порядка. Ее занимало поведение Мити — он как-то странно улыбался, ежился и время от времени бросал на нее столь пламенные взгляды, будто и не расписывался на коре березы в любви к другой. Свинцовая усталость навалилась на слабую душу Верочки, и впервые в ивановские дни она обрадовалась, когда «посиделки» кончились и Татуша, разыгрывая взрослую даму, изрекла менторским тоном: «Еще день прошел. Цените, цените золотые денечки, не так уж их много осталось».

За назидательно-никчемушной фразой угадывалась обида Татуши: ей идти на половину матери и сразу ложиться в постель, а Вера, Леля и Миссочка, жившие вдали от строгого ока, могли еще долго принимать лунные ванны на балконе. Оказывается, быть взрослой не всегда преимущество.

Когда они подошли к дому, то увидели в окне второго этажа Александра Ильича. Он курил, далеко высунувшись наружу в расстегнутом архалуке.

— Спускайся к нам! — крикнул Митя.

Будто лопнула басовая струна рояля. Александр Ильич мгновенно отшатнулся от окна, затем донесся его нервно-успокаивающий воркот и бульканье воды.

— Бедная Вера Павловна, — серьезно заметил Рахманинов, — опять солнечный удар!

— Бедный Саша!.. — вздохнул Митя, но так тихо, что никто, кроме Верочки, не расслышал.

Митя и Сережа дождались, когда девушки выйдут на балкон, отсалютовали им воображаемыми саблями и направились восвояси, оба высокие, худые, стройные, и длиннющие их тени простерлись через двор до сиреней на опушке Старого парка. Было светло и прозрачно от сильной полной луны, но сама она с балкона не проглядывалась, отсеченная крышей. Верочка подумала о том, что Нина Толбузина далеко, где-то в Новгородской губернии, и когда

еще Митя ее увидит. Надо хорошенько попросить доброго Бога, чтобы Митя перестал думать о Нине, которая все равно никогда не поймет его так, как некоторые другие. В каком таком особом понимании нуждался простоватый Митя, Верочка не уточняла для себя, но в этом роде думали о своих избранниках героини ее любимых романов. Верочка подняла лицо к набитому звездами, переливающимся, словно дышащему, небу и помолилась о вразумлении Мити.

Из Старого парка тепло, густо, сильно ударило сиренью. Аромат накатило стремительно, упругим, мощным валом накрыл, закружил, наполнил сладкой дурнотой, почти лишил сознания. В дурманной истоме Верочка едва добралась до кровати...

А уже на другой день она записывала в дневнике: «Сердце-вещун меня не обмануло: моя вчерашняя надежда превратилась в действительность! Татуша сегодня получила письмо от Ольги Лантинг, в котором сказано: «Передай Дмитрию Ильичу, что его отец мне сказал, в кого он влюблен; ему страшно нравится твоя сестра Вера». Боже, каких усилий мне стоило скрыть свою радость и казаться равнодушной при чтении этих слов! Рот мой невольно складывался в блаженную улыбку, и мне пришлось отвернуться. Татуша позвала Митю и тоже показала ему письмо; к сожалению, он стоял ко мне спиной, и я не могла видеть выражения его лица». «Почему папа может знать?» — только сказал он. «Вы, верно, ему писали, — ответила Татуша. — Позвольте вас поблагодарить за роль ширмочки, которую вы меня заставили играть»... Значит, она тоже думала, что он за ней ухаживает, и ей теперь досадно. «Бедная Тата!» — подумала я. Они ушли, а я осталась сидеть в столовой на кресле у окна и погрузилась в приятное раздумье, пока меня Миссочка не позвала делать английскую диктовку. Ну и наделала же я ошибок в этой диктовке! Миссочка не могла понять, отчего я такая рассеянная. Весь день я наблюдала за Митей, но мне не удалось остаться минутку с ним наедине»...

Радость переполняла Верочку. Она несла эту радость, как до краев налитую чашу, боясь оступить и расплескать. Она не пошла в парк, не участвовала в лодочной прогулке и в других затеях развеселой компании, все шумы и волнения окружающего мира вроде очередного обморока Веры Павловны или паники порезавшегося во время бритья Александра Ильича доносились до нее будто издали, не затрагивая ее сосредоточенной внутренней жизни. Она почти не заметила и отъезда Мити Зилоти, что, кажется, весьма удивило Татушу, но и это не коснулось ее томной самоуглубленности.

Вечер застал ее в задушевной беседе с Сережей Рахманиновым. Она и сама не знала толком, как это получилось. После ужина Сашок Сатин раздобыл где-то окарину и довольно бойко наигрывал «Акулину». Поначалу это казалось забавным, но потом всем осточертело, и Рахманинов попросил сыграть куплеты Трике. Куплеты у Саши не получились, и он вернулся к «Акулине». Почувствовав раздражение окружающих, Сашок напрягся до синих жил на лбу. Татуша смерила музыканта презрительным взглядом, откинула голову на высокую спинку скамейки и, смежив веки, ушла в себя; Наташа тихо шипела от злости; Леля, заливаясь смехом и тыкая в Сашку пальцем, приговаривала: «Дурачок!.. Дурачок!..» Сережа размахивал громадными ручищами и призывал на голову осквернителя музыки все громы небесные, а Верочка, храня свою новую, драгоценную суть, тихо поднялась и понесла прочь полную до краев чашу.

Она нашла замшелую скамейку под кустом белой сирени, опустилась на нее и вспомнила, как пила сиреневое вино, и ласково-грустно усмехнулась своему недавнему ребячеству. Трудно поверить, что это было позавчера. Как много изменилось с той поры! Она прожила целую жизнь, узнала, что любит и любима, стала взрослой, почти старой. Во всяком случае, старше Татушки, которой нужно всех очаровывать, превращать мужчин в рабов, а когда это не

удается, строгий Ментор не может скрыть досады и злости. Верочке вовсе чужды эти захватнические устремления. Ей достаточно быть любимой одним, избранным ею человеком, не считая, разумеется, Сережи Толбузина, но он не идет в счет.

— Психопатушка, можно к вам? — И, не дожидаясь ответа, Сережа плюхнулся на скамейку, чуть ее не развалив.

От надоедливой Сашки с его окариной разговор перешел на плохую музыку вообще, затем на музыку ненужную, и Верочка возмущалась тупостью взрослых людей, считающих, что барышень непременно надо учить на фортепьянах.

— Зачем это? Мы все, кроме Татуши, совершенно бездарны, но нас заставляют каждый день брэнчать на рояле, и это в доме, где играют Зилоти и вы, Сережа. Нельзя из-под палки заниматься искусством. Кончится тем, что мы возненавидим музыку, которую любим.

— Наташа вовсе не бездарна, — возразил Рахманинов. — У нее способности...

— Перестаньте, Сергей Васильич, вечно вы!.. Думаете, никто не слышит, как она пицтит, когда вы с ней занимаетесь?

— Я плохой педагог...

— Неправда! Просто она не может... Зачем только мучают ребенка?

— Ребенка?.. Ну, Психопатушка, вы бесподобны! Намного ли вы старше? Года на два?

— Это ничего не значит, — сердито сказала Верочка. — Я старше!

— А вы злая, — с удивлением сказал Рахманинов. — Вы не любите Наташу.

Верочка и сама не знала, почему она с такой яростью обрушилась на слабую, конечно, — да ей-то что за дело? — игру Наташи, а потом еще прошлась насчет возраста подруги. Это как-то сложно связывалось с происшедшей в

ней самой переменной. Ей хотелось во всем серьезности, прямоты, правды... Но, Господи, с чего было так набрасываться на милую, смуглую преданную Наташу с глазами боярыни Морозовой и пухлым ртом ребенка? Доброта важнее мелкой истины, но вот уж кто действительно недобр, так это Сережа, сказавший, что она не любит Наташу. Из самого сердца, слабого, бедного Верочкиного сердца, хлынули слезы.

Как смутился и огорчился Сережа Рахманинов! У него самого налило глаза. Он проклинал себя за грубость, сполз со скамейки на землю и коленопреклоненно просил прощения, целуя Верочкины руки. Такого с Верочкой еще не случалось. Она даже плакать перестала, а потом испугалась, что руки у нее по-летнему грязные, в траве и земле, отдернула их, еще больше испугалась невежливости жеста и, окончательно растерявшись, поцеловала Сережу в темя, стукнувшись зубами. После чего сердце в ней совсем остановилось, и несколько секунд она была мертвой.

Надо отдать должное Сереже: в эти критические мгновения он проявил огромный такт. Нелепого поцелуя будто вовсе не заметил и еще раз покаялся в происшедшем, но просил не судить его слишком строго. Он не умеет вести себя с девушками. У него есть сестры, но ему почти не пришлось жить вместе с ними. То его забирала к себе бабушка, а поступив в Московскую консерваторию, он стал пансионером Николая Сергеевича Зверева. Известный музыкальный педагог и чудак, Зверев брал воспитанников с тем условием, чтобы они не ездили домой на каникулы. Сережа рос и воспитывался в окружении одних только мальчиков, талантливых, славных мальчиков, но Верочка, конечно, понимает, что чисто мужская компания обделяет человека тонкостью.

Верочка понимала все. Ей вдруг вспомнились разговоры о трудной домашней жизни Сережи. Отец его оставил семью, предварительно промотав собственное состояние и приданое жены. Сережа рос на ветру, не ведая семейного

тепла. Но сам Сережа старательно обходил болезную тему. Получалось, что все в его жизни складывалось наилучшим образом, вот только облагораживающего женского влияния не доставало. Старый холостяк Зверев водил воспитанников в трактир, не отказывал им в рюмке водки, а браня за нерадивость, прибегал к весьма крепким выражениям. Тут Сережа спохватился и стал горячо расхваливать Зверем, его безмерную доброту к «зверяткам», как называли в Москве пансионеров, они должны были провожать его в постель и хором желать доброй ночи, иначе славному старику было не уснуть. Петербурженка Верочка, приученная к строгой и разумной дисциплине генеральского дома, не могла разделять Сережиного восхищения зверевским бытом с его самодурством и капризной живописностью, столь характерной для старой столицы.

— Если там было так чудесно, почему же вы ушли от Зверева? — спросила она.

— А вам известно, что я ушел? — смешался Рахманинов.

— Но вы же живете у Сатиных.

— Да... конечно... У меня ужасный, невыносимый характер...

— Не паясничайте, Сережа! — строго сказала Верочка.

Он принялся путано объяснять причину своего ухода, и за всеми околичностями, недомолвками, самобичеванием и умилением несравненными достоинствами Зверева проглянула простая и горькая истина: Сережа хотел сочинять музыку, а в большом доме Зверева для этого не оказалось места. Нравный педагог не только не хотел помочь Сереже, он вообще был против сочинительства. И Сережа ушел. В никуда. Его приютили Сатины. Остальная родня попросту отступилась от бунтаря.

Верочка с удивлением глядела на кузена. Она, конечно, знала, что есть люди, которым негде жить, но они находились в таком отдалении от ее привычья, что Верочка не могла реально представить ни их существования, ни их

мук. Они были ближе к литературным персонажам, нежели к живым людям. И вот рядом сидит человек, хорошо знакомый ей, даже находящийся в некотором родстве, который тоже бездомен. Он любит шутить над собой: странствующий музыкант, но в этой шутке большая доля правды. Верочка даже поехала, словно на нее пахнуло ветром бездомности. Бедный Сережа! Бедный, бедный Сережа! И какой благородный и добрый. Всячески выгораживает скверного старикашку Зверева, винит себя в неуживчивости, милый! А вся-то его вина, что он хотел писать музыку. Может быть, это и в самом деле ни к чему, пусть будет просто хорошим пианистом. Не таким, конечно, как Зилоти, это от Бога, а крепким, серьезным профессионалом. Но Зверев хорош: в угоду своему «ндраву» выгнал бездомного юношу!

Человек редко способен вышагнуть из собственных пределов. Верочка Скалон при всей душевной гибкости и самостоятельности была прежде всего дочерью своего отца. Генерал от кавалерии Скалон, военный историк, председатель русского военно-исторического общества, пользовался репутацией тонкого и строгого ценителя искусств, в первую очередь музыки. В его доме бывали известные петербургские композиторы и музыкальные критики. Своей репутацией генерал был прежде всего обязан тем, что ни в одном из здравствующих композиторов не признавал не только гения, но даже таланта. Надо было покинуть земную юдоль, чтобы генерал Скалон с тонкой и меланхолической улыбкой признал в покойном известные способности. Куда охотнее генерал хвалил исполнителей, хотя считал всех их людьми второго сорта в искусстве, чистыми виртуозами, а не творческими личностями. Конечно, Верочка, принадлежавшая к другому поколению, не разделяла крайностей отца, — она отваживалась восхищаться Чайковским и отдавать должное Римскому-Корсакову, но унаследовала отцовский скепсис в отношении консерваторских сочинителей музыки. Впрочем, в этом вечернем разговоре

самым неважным для нее было, какую музыку сочиняет Сережа Рахманинов.

Труден все же оказался для них этот неожиданно-негаданный прорыв в откровенность. Наступила та мучительная пауза, когда в неловкости, напряжении и неясности выводов не только утрачивается сближение, но люди отодвигаются друг от друга дальше, чем были. И они обрадовались, услышав громкий голос госпожи Скалон:

— Дети!.. По домам!..

И тут Сережа спас и вознес этот вечер.

— Психопатושка! — сказал он прежним легким голосом. — Мы так хорошо поговорили. Давайте выпьем нашего вина за дружбу.

— Давайте! — сразу все поняв, воскликнула Верочка.

Сирень теснилась у них за спиной.

— Вам какого? — спросил Рахманинов.

— Белого!

— Пожалуйста. — Он склонил к ней тяжелую влажную кисть. — А я предпочитаю красное. — Он шагнул к соседнему кусту. — Ваше здоровье, Вера Дмитриевна!..

— Ваше здоровье, Сергей Васильевич!..

«Как жаль, что в Сережу так трудно влюбиться», — думала Верочка, засыпая. Он некрасивый. Не урод, конечно, у него породистая худоба, добрые, глубокие глаза, великоватый, зато красиво очерченный рот. Но этот большой и бессмысленный нос на худеньком лице, эти непонятные патлы до плеч!.. И все же, пусть Сережа дурен собой, в нем что-то есть... значительное, самобытное. Это даже Татуша заметила. И можно представить себе девушку, которой Сережина некрасивость приглянется более фарфоровой пригожести Мити Зилоти. Наташа, например... Беда Сережи в другом: он слишком прост, добродушен, искренен. В нем нет романтичности, загадки. Он не умеет так многозначительно молчать и улыбаться, как Митя. Но странно, что до сегодняшнего дня я почти ничего не знала о нем при всей его разговор-

чивости. Поистине язык дан ему, чтобы скрывать свои мысли. Может быть, его болтовня — самозащита? Он не хочет, чтоб люди заглянули к нему внутрь, и отторгается частоколом слов. Интересно все-таки, что он сочиняет? «...Жаль, что он бедненький, — это слово по-особому звучало для Верочки. — Ужасно быть бедненьким...»

Выбрав удобный момент, когда Александр Ильич покуривал после обеда в сиреновой аллее, Верочка спросила его, хороший ли музыкант Сережа Рахманинов.

— Гениальный! — выкатив ярко-зеленые, с золотым отливом глаза, гаркнул Зилоти.

— Нет, правда?.. — Верочка решила, что он по обыкновению шутит.

— Такого пианиста еще не было на Руси! — с восторженной яростью прорычал Зилоти. — Разве что Антон Рубинштейн, — добавил из добросовестности.

— Так что же, он лучше вас? — наивно спросила Верочка.

— Будет, — как бы закончил ее фразу Зилоти. — И очень скоро. Вы посмотрите на его руки, когда он играет. Все пианисты бьют по клавишам, а он погружает в них пальцы, будто слоновая кость мягка и податлива. Он окунает руки в клавиатуру.

Но Верочка еще не была убеждена.

— Александр Ильич, миленький, только не обижайтесь, ну вот вы... как пианист, какой по счету?

— Второй, — не раздумывая, ответил Зилоти.

— А первый кто?

— Ну, первых много. Лист, братья Рубинштейны... Рахманинов будет первым.

— А какую музыку он сочиняет?

— Пока это секрет. Знаю только, что фортепианный концерт. Но могу вам сказать: что бы Сережа Рахманинов ни делал в музыке, это будет высший класс. Поверьте старому человеку. Он великий музыкант, а вы... вы самая распрелестная прелесть на свете!

Раздался громкий стон, из кустов сирени, ломая тонкие веточки высаженной вдоль дорожки жимолости, выпала Вера Павловна в глубоком обмороке. Она подслушивала в кустах, терпеливо перемогла музыкальную часть и дождалась-таки крамолы...

Сергей Васильевич невозможный человек — к этому грустному выводу пришла Верочка. Ну как с ним дружить? Он такой ветреный и непостоянный, что просто руки опускаются. Перед обедом надумали примерять шушпаны. Тамбовский шушпан не похож ни на мордовский балахон, ни на рязанское холщовое полукафтанье, это короткая суконная одежда вроде кофты, с перехватом и пестрой отделкой. У всех шушпаны были темно-синие, а у Татуши белый, отделанный разноцветными шерстинками и блестками, и самые громкие похвалы доставались, разумеется, ей. Правда, Вера Павловна довольно быстро положила конец восторгам мужа, у остальных хватило такта самим остановиться, один Сережа закусил удила. Он охал, ахал, просил Ментора подарить ему этот шушпан на память, когда кончится лето. «Ну зачем он вам, Сережа?» — ломалась Татуша. «Я буду носить его и думать о вас». Посмеяться бы над такой бессмыслицей, а Татуша томно: «Правда?..»

Упоенная успехом, Татуша решила показать, что она не только русская красавица, но и глубокая натура, писательница, и подсунула Сергею Васильевичу свой роман — много-много мелко исписанной бумаги. Так и надо Сергею Васильевичу — пока другие будут гулять, кататься на лодке и весело болтать, ему придется корпеть над Татушинными каракулями. Но он притворялся, что ничуть не удручен предстоящим испытанием, и знай себе щебетал скворцом: «Ах Ментор!.. Ах Тунечка!.. Почему я не Шнель?» — конечно, все это в шутку, но противно. Ведь он совсем не такой, зачем притворяться?..

Дальше — больше. Татуша взялась помогать Сергею Васильевичу в работе над «Спящей красавицей» — списывать текст и переносить знаки, и они уединились в биль-

ярдной. Верочка и сама могла бы ему помочь, но, будто назло, у нее был английский диктант. Александр Ильич однажды сказал: как иные цветы раскрываются лишь в лучах солнца, так и Татушина красота вспыхивает в лучах мужского восхищения. Когда Татуша вышла из бильярдной, у нее цвели глаза. Слава Богу, опять приехал Митя Зилоти.

С Митей все стало проще, безмятежнее, веселее. Катались на велосипедах, на лодке, по вечерам всей компанией сидели в Новом парке на душистом сене. Тетя Сатина придумала молодежи занятие: очистить яблоневый сад от сорняков. Всем выдали тяпки, а Верочке грабли, чтобы собирать срубленную траву. Сад полого спускался от усадьбы к пруду, под гору ноги сами несут, и оглянуться не успели, как сад был расчищен. Горели лица, обожженные солнцем, на прогулке ничем так не загореть, как во время работы.

Верочка повязалась от ветра красной косынкой, это вызвало неумеренный восторг Александра Ильича и очередной приступ зубной боли у его жены. К выходкам Веры Павловны все привыкли, без них было бы куда скучнее. В усадьбе царило то милое, непринужденное настроение, какое создается взаимной симпатией и отсутствием слишком больших требований друг к другу.

Порой Верочке казалось, что их отношениям с Митей чего-то не хватает. Ей вспоминался Летний сад, игры в песочек. Тогда это было чудесно... Она давала себе слово хорошенько пококетничать с Митей, растормошить этого байбака, но все откладывала свое намерение. Откуда-то стало известно, что у него есть поклонница по соседству, велико-возрастная девица Мария Владимировна Комсина. Конечно, все принялись дразнить Митю, тон задавала Татуша, великий мастер донимать ближних. Митя краснел, бледнел, пыхтел и бросал на Верочку умоляющие взгляды, прося о заступничестве. Но она с разочарованием поняла, что все это ничуть ее не волнует. Да и Митин отъезд оставил ее равнодушной. Он был мил, внес некоторое оживление в их

упоительно-однообразные дни, но вместе с тем будто отвлек от чего-то важного. Верочке было грустно. Сирень, еще недавно такая пышная, сочная, начала осыпаться, и лето разом постарело...

Ее томило странное предчувствие: что-то должно случиться, с ней ли одной или со всем домом, хорошее или дурное, радостное или печальное, она не знала, но что-то непременно произойдет. Нынешнее равновесие было непрочным, затишье чревато бурей. Но она никому не могла сказать о своей тревоге, ее бы просто не поняли...

Все началось, как нередко бывает, с пустяков: Верочку пересадили за столом на другое место, и она оказалась между Верой Павловной и Сережей Рахманиновым. Прежде ее соседом был Сашок, и мало того, что он балаболил без умолку — к концу обеда у Верочки немело левое ухо, — но и неизменно залезал к ней в тарелку. Это не было огорчительно, когда дело касалось бараньих котлет, вареников или пирожков с мясом, но вызывало решительный протест, когда на третье подавали чудесное домашнее мороженое, вишневый мусс или заварной шоколадный крем. Видимо, ее возмущенные вопли достигли тетиного слуха — жаловаться Верочка никогда бы не стала, и ее пересадили.

Обед шел привычным медлительным ладом, старые слуги не отличались расторопностью, но весело, без той утомительной чопорности, какой отличаются городские обеды, Сашок подшучивал над гостьей Сашенькой Елагиной, остриженной после болезни под гребенку, и вдруг тетя Сатина очень громко — невольно смолкли все другие разговоры — спросила Верочку через стол:

— Ну как, довольна ты своим новым соседом?

— Я очень рада, что сижу рядом с Верой Павловной, — пролепетала, смутившись, Верочка.

— Оглохла, душа моя? — прогремела тетя Сатина, и глаза обедающих дружно обратились к Верочке. — Я спрашиваю — соседом, а не соседкой. Не докучает он тебе, как мой сорванец сын?

Ну что бы взять да ответить: довольна, спасибо, тетушка, — и делу конец. Но Верочка точно онемела. Для чего завела тетя этот разговор, да еще так громко и подчеркнуто? Обиделась за своего сына?.. Или тут таится какой-то особый смысл? И почему все уставились на нее? Лицо горело, словно ей вlepили по горчицнику на каждую щеку. А голос вовсе отказал, она не могла слова вымолвить. И опять раздался неумолимый голос: «Вера, я тебя спрашиваю, довольна ты своим соседом?» Верочка схватила тяжелый кувшин с квасом, опрокинула его над стаканом, так что пенистый, приправленный хренком напиток выбежал на скатерть, и стала жадно пить, давясь, обливаясь, чувствуя, как холодные струйки бегут с подбородка на шею и дальше, в ложбинку груди, и думая об одном: дождаться конца обеда и сразу в комнату Миссочки, там в ночном столике — таблетки от бессонницы, шести хватит, чтобы навсегда избавиться от заячьей своей душонки, стыда, насмешек, от всего.

— Сашенька, обрежьте Серезины патлы и сделайте себе паричок, — послышался дурашливый голос Сашка, покрытый всеобщим смехом.

О Верочке забыли. Конечно, ненадолго. До конца обеда. А потом началось: «Что случилось с нашей бесстрашной малышкой? Откуда такая робость?» — играя вишневыми глазами, домогалась Татуша. «Как же ты срезалась! Я чуть не умерла, глядя на тебя», — приставала малолюбопытная обычно Леля. Даже Миссочка с ее выдержкой и тактом не устояла перед искушением: «What happened with you? Miss Tatusha pushed me under the table and said to me: 'Just look at Vera, what is the matter with her?'» «Да что вы привязались ко мне? — неожиданно храбро выпалила Верочка. — Я просто не поняла, чего тетя от меня хочет». Она знала, что это звучит неубедительно, но сейчас ей стал все равно. Она почувствовала в себе какие-то странные силы и напроць выбросила из головы мысли о Миссочкиных таблетках. Одна Наташа Сатина ни о чем не спрашивала. Неуже-

ли эта девочка с пухлым ртом и грустными глазами обо всем догадалась? Догадалась о том, что Верочка трепещущей рукой поверила на другое утро своему дневнику: «Конечно! Больше нет никаких сомнений, я влю-бле-на! Если меня спросят, когда и как это случилось, то я ничего не сумею ответить, я только знаю одно, что я люблю его. Во всяком случае, это случилось внезапно и против моей воли. Что будет дальше? Рада ли я этому? Всего этого я не знаю. Я только знаю, что сегодня всю ночь видела его во сне, и мне было так хорошо, так отрадно, что я совсем другая, гораздо лучше, чем прежде. Мне казалось, что я за одну ночь выросла, похорошела, поумнела, сделалась добрее, на душе было ясно, весело, спокойно! Я вся прониклась какой-то гордой уверенностью в самой себе...»

Правда, этой гордой уверенности хватило до первых насмешливых слов Татуши, ядовитого укора Лели: «Будешь другой раз над сестрами смеяться!» (а когда она смеялась-то?) и перешептываний гувернанток, сопровождаемых двусмысленными взглядами в ее сторону. Верочка то и дело бегала к умывальнику остужать пылающее лицо. Голос куда лучше повиновался ей, нежели кровеносные сосуды, залегающие слишком близко от поверхности кожи. Это было ее проклятьем: попробуй что-нибудь скрыть даже при великом самообладании, когда тебя то и дело заливают краской с головы до ног.

Лучше и проще всего Верочка чувствовала себя с невольным виновником ее позора. То ли он действительно ничего не понял во вчерашнем происшествии, то ли замечательно притворился. Но он был так естествен, так весело мил, что сверхчуткий барометр Верочкиного душевного состояния — ее кровеносная система — лишь с ним не показывал бурю. Сережа помог ей выпрямиться, вновь независимо и гордо оглянуться вокруг себя, стать той, какой она казалась себе, когда делала записи в дневнике. И окружающие вскоре почувствовали, что их любопытство, насмешки и подковырки перестали производить на Верочку

какое-либо впечатление. Верочка не хотела больше никого ни в чем разубеждать, напротив, была готова соответствовать сложившемуся у всех представлению, и это обезоруживало, закрывало рот распоясавшимся болтунам, от нее отступились...

Вечером накануне Ивана Купалы читали в саду при свете лампы-«молнии» страшный рассказ Гоголя. Сперва читал Сашок, но он слишком ломался, и книгу у него отобрали. Пробовала читать Леля, и все чуть не заснули. Наконец книгой завладела Татуша, и в ее глубоком, грудном голосе ожила и засверкала дивная сказка. Верочка слушала с удовольствием, но страха почему-то не испытывала. Над лампой роились мошки, иногда налетали крупные ночные бабочки-бражники. Наташа размахивала веточкой над лампой, бражников удавалось отогнать, но мелкие мотыльки так и сыпались в стеклянное жерло, вспыхивая искорками.

Едва Татуша кончила читать, как Сашок зевнул с собачьим подвизгом и отправился «в объятия Морфея». Сережа, давно уже барабанивший пальцами по груди, что обычно предшествовало каким-то музыкальным наитиям, тоже поднялся и, сказав, что хочет позаниматься перед сном, прынул во тьму. Так-то и лучше, приближался час гадания.

Когда они еще утром выбирали себе места в яблоневом саду, Верочка не сомневалась в своем праве гадать наравне со старшими сестрами и гувернантками. Но одна фраза, вскользь брошенная ей Татушей и оставленная тогда без внимания, сейчас тревожно всплыла в памяти: «Гадай не гадай, все равно впустую». Что она имела в виду? Вот Наташа отказалась гадать, потому что ей не о чем. «Я еще маленькая», — сказала она, надув губы. Но Верочке есть о чем гадать и есть на кого гадать. А вдруг ей никто не приснится? Не на это ли намекала Татуша! Какой ужас, значит, она еще ребенок и все чувства ее к Сергею Васильевичу просто выдуманы? Может, лучше не искушать судьбу, сослаться на головную боль и тихо уйти спать?

— Пора, — сказала Татуша и поднялась. — Не забудьте свои травы.

Миссочка погасила лампу. Стало непроглядно черно и внизу, и сверху. Затем небо отделилось от земли, на нем вырисовались верхушки деревьев, проглянули звезды в промоинах меж облаков, какой-то свет забрезжил в стороне дома, возникли человеческие силуэты и обозначилась дорожка. Девушки гуськом двинулись сперва парком, потом через двор.

В саду было еще темнее, но глаза уже привыкли, и девушки довольно уверенно пробирались среди яблонь с побеленными, словно светящимися, стволами, порой оступаясь на падалицах.

Верочка помнила, что ее место за старым аркадам, и, услышав его медвяный запах, покоривший все другие ароматы, обреченно свернула с чуть приметной тропки в жуть полного одиночества.

Всего несколько шагов в сторону, а будто попала в иные пределы. Здесь так легко не стать, раствориться во мгле, едва просквоженной призрачным, неведь откуда берущимся свечением. Верочка попробовала плести веночек, но пальцы плохо слушались. Господи, сколько мук приходится терпеть из-за человека, который даже не догадывается, что его любят! Треснула веточка, колыхнулась тень, снова треск, шорох, чьи-то крадущиеся шаги. Гулко ударили о землю сбитые с дерева яблоки. И, как яблоко, упало сердце: из-за дерева вышла Наташа, стряхивая с волос какой-то сор.

— Можно, я с тобой постою?

Наташа оперлась спиной о тяжелую ветвь и вздохнула так глубоко и протяжно, как умеют вздыхать лишь лошади по ночам. Бедная девочка!.. Кто это, кажется Гете, сказал, что вдвоем призрак не увидишь? Правда, сейчас и не должно быть никакого видения, но, может, Наташино присутствие убивает какие-то чары? И все же недостало духу прогнать ее. Верочка отвернулась и стала плести веночек, пытаясь забыть, что подруга рядом...

Она уже засыпала в своей постели, засыпала нетерпеливо и ожесточенно, взбив подушку, как мыльную пену в тазу, натянув на голову одеяло и проглотив горькую пилюльку, заблаговременно похищенную у Миссочки, когда в распахнутое окно пахло жасмином. Не сиренью, нет, а жасмином, его — напоминающим цедру — пряным запахом зрелого лета. Верочка охнула горестно и очутилась в Красной аллее Старого парка. Было утро, дымящиеся лучи наискось пересекали березняк и упирались в одичавший малинник вдоль дорожки, исторгая из него голубоватый кур. И что-то страшное таилось за зримым обликом этого солнечного, дымного и блистающего утра, и все в Верочке мучительно съезжилось, когда смутно чаемая угроза обернулась мужской фигурой, медленно идущей навстречу ей из глубины аллеи. Верочка могла бы убежать, спрятаться в малиннике, хотя бы просто остановиться, — нет, как обреченная, продолжала она идти навстречу опасности. Незнакомец странно рос по мере приближения, вытягиваясь в полроста деревьев, вровень с ними, забирая еще выше, в реющем тумане и клубящемся солнечном свете он был лишен четких контуров, громоздился, роился, тек, переливался в самом себе. Верочка покорно шла, вернее, скользила к нему, все умаляясь по мере того, как он вырастал. И вдруг громадная длань простерлась к ней, схватила, и с острой болью пришло счастье, потому что человек этот был Сережа Рахманинов...

Верочка проснулась вся в испарине, с красной намятой рукой. Видно, она как-то заспала руку, но ей чудился хват громадной длани. Свершилось! В вещую ночь Ивана Купалы загадала она на своего любимого, и он явился к ней во сне, как невестам — их женихи. Это было проверкой ее любви, ее души, ее взрослости. Но что-то знакомое засквозило в ночном переживании. Откуда взялся ее страх, разве может она бояться доброго и благородного Сережу Рахманинова? И тут она догадалась — сон Татьяны? Верочка больше всего любила в

«Евгений Онегине» это упоительное и до озноба, до дрожи страшное место. Сережа Рахманинов совсем не похож на рокового героя пушкинской поэмы, значит, грозно само чувство любви.

Когда после чая сестры набросились на нее с расспросами, кто ей приснился, Верочка ответила спокойно:

— Сергей Васильевич, кто же еще?

Леля торжествующе захлопала в ладони, будто поймала сестру с поличным, а Татуша прикусила губу и вроде бы притуманилась.

— Чем недовольна наша старшая сестра и повелительница? — спросила Верочка с мнимым самоуничижением.

— Мне опять приснилась лягушка. — Губы Татуши брезгливо покривились.

Когда-то один из ее бесчисленных поклонников подарил ей бронзовую лягушку, и с тех пор эта лягушка неизменно снится Татуше на Ивана Куполу. Верочка пожалала плечами с видом некоторого превосходства, что было замечено и записано ей в счет.

Тут подошли Сережа Рахманинов, Сашок и Митя Зилоти, что-то быстро вернувшийся из своей Тимофеевки. Верочка с удивлением подумала: а он-то здесь зачем? Поздоровались бегом, будто и не расставались.

— Спросите, кто приснился Вере! — крикнула Леля.

— Сережа, — сказала Верочка и, лукаво глянув на сестер, добавила: — Толбузин.

«Нет, каково! — восхитилась Татуша. — И откуда столько апломба и находчивости у этой пигалицы? Давно ли краснела как рак от самого невинного замечания, и вот, пожалуйста!.. Ей-богу, она дает урок всем нам».

— Бедный, бедный Митя! — с комическим сожалением вскричал Сережа и, выхватив у Лели зонтик, ловко начертал на песке вензель С. Т.

А Митя хлопал длиннющими ресницами и улыбался, но, похоже, не поверил Верочке.

— А что приснилось нашему Ментору?

— Лягушка, — сказала Татуша. — Бурая, лесная, холодная, пучеглазая лягушка.

— Несчастный Ментор! Но почему же лягушка?

— Значит, я не заслуживаю лучшего. — И вопреки смиренным словам сочные глаза Татуши победно сверкнули.

Вечером, как и обычно, катались на дрожках. Верочка сидела сзади, рядом с Сережей Рахманиновым, и все время чувствовала его колючее плечо и теплый бок. Это волновало, но, к сожалению, Сережа все свое внимание отдавал примостившейся с другой стороны Татуше. Верочка впервые задумалась над тем, что мало любить самой, надо, чтоб и тебя любили. Когда она открыла в себе чувство к Сереже, то была так счастлива, что вовсе не думала о взаимности. Довольно и того, что она может любить Сережу, дышать с ним одним воздухом, разговаривать, смеяться, кататься на лодке и дрожках, гулять в парке, сидеть под душистым стогом, молчать и знать — вот мой любимый, его глаза, губы, руки, милая худоба, мальчишеский смех, его радость, задумчивость, его тайна. Не надо ничего ждать и требовать взамен. Да и что может он дать, кроме самого своего существования под одним с ней небом? Но теперь Верочке хотелось, чтобы он откликнулся ее любви. Зачем? Она не умела сказать, но знала одно — любовь не радость, не счастье, если любишь только ты...

Пока они тряслись разбитым большаком, объезжая по пыльным, замученным травам сроду не просыхающие колдобины, Сергей Васильевич без умолку болтал с Татушей. Верочка не слышала слов, но, наверное, разговор был занятен, Татуша то и дело смеялась, закидывая назад голову и напрягая высокую округлую шею. Это был смех петербургской гостиной, где он вполне уместен. Верочка тоже пыталась научиться так красиво смеяться. Но то, что хорошо в Петербурге, едва ли уместно среди полей, оврагов, косогоров, поросших геранью, дикими гвоздиками да богородской травкой. Проще, естественно же надо вести себя, а не разыгрывать светскую...

львицу. Но похоже, что Татушина ненатуральность Сережу ничуть не смущала.

Окончательному объединению увлеченной пары мешала костлявая голова иноходца Мальчика, все время надвигавшаяся на Татушу. На иноходце скакала Наташа, но эта юная амазонка плохо справлялась с норовистым двухлетком, и он упрямо напирал сзади на дрожки, почти утыкаясь оскаленной и слюнявой мордой в прическу Татуши. Старшая сестра побаивалась лошадей, к тому же Мальчик нарушал их укромье с Сережей. Татуша сердито-испуганно замахивалась на иноходца, тот косо задирает голову, выкатывая недобрый, с кровавым натеком глаз, ронял тягучую слюну и снова тыкался головой в Татушу.

— Можешь ты укротить своего Буцефала? — крикнула Татуша незадачливой всаднице. — Он плюется, как верблюд!

Наташа с несчастным и надутым лицом попыталась свернуть иноходца к обочине — он злобно мотнул головой и вновь пристроился за дрожками. Неловко откинувшись в дамском седле, Наташа что было сил натянула повод. Она сделала больно коню, он заклацал челюстью, пытаясь поймать удила зубами, и немного отстал от дрожек. Татуша успокоилась и вновь залилась зазывным русалочьим смехом. Верочка нащупала под кошмой клочок сена и за спиной сестры незаметно поманила Мальчика. И этот привыкший к тучному овсу баловень сатинских конюшен жадно потянулся за неприхотливым лакомством. Не Наташиным слабым рукам справиться с ним. Мальчик достал солому и захрумкал над Татушиным ухом.

Вскоре решили поворачивать назад. Вконец рассвирепевшая Татуша потребовала, чтобы Наташа уступила коня Леле. Наташа прыгнула на землю, Леля уверенно взяла поводья, Сергей Васильевич подставил ей сложенные стременим ладони и ловко вскинул в седло. Но не успела Леля перехватить поводья, как Мальчик резко попятился и вдруг взвился на дыбы.

— Il la tuera, c'est sûr!¹ — Даже страх за дочь не умерил светскости госпожи Скалон, французская фраза прозвучала безупречно.

Посреди всеобщей растерянности Сережа схватил Мальчика под уздцы и весом своего тела заставил опуститься, помог Леле спрыгнуть, сам вскочил в седло и погнал Мальчика в поле. Крики ужаса сменились шумным восторгом, все захлопали в ладоши. Одна лишь Верочка не хлопала, пораженная внезапно открывшейся ей красотой Сережи. Его длинные волосы, орлиный нос, худоба и загар воплотились в прекрасный образ Оцеолы, вождя семинолов. В дамском неудобном седле он держался с непринужденностью сына прерий, а ведь никто не подозревал, что Сережа умеет ездить верхом.

Он промял коня, утомил и, взмокшего, укрощенного, подвел к дрожкам.

— Вы герой, Сережа! — с глубокой интонацией сказала Татуша и, отколов от груди розу, протянула Рахманинову.

Он засмеялся, поцеловал розу и воткнул в петлицу полотняной куртки. Верочка почувствовала, что ему польстил жест Татуши. «Вы краснокожий вождь!.. Гайавата!.. Оцеола!..» — но все эти красивые слова не были произнесены вслух, и Сережа остался с Татушиным восхищением, с Татушиной розой...

Верочка никогда бы не поверила прежде, что старшая сестра может быть такой безвкусной кокеткой. Теперь она каждый день надевала новые модные юбки, нашитые в надежде на летние балы у окрестных помещиков. Эти шелковые, разноцветные, шумящие юбки вызывали восторг у Сергея Васильевича, падкого на все яркое, как сорока на блеск. Татуша завела обычай кататься на лодке днем, когда Верочке из-за солнца это было строжайше запрещено. Остальных тоже не соблазняли прогулки в самый зной,

¹ Он бесспорно убьет ее! (фр.)

и Татуша отправлялась на пруд в сопровождении своих кавалеров — Сережи и Мити. Отвергнутый Верочкой, Митя записался в Татушины оруженосцы. Впрочем, она была уже не Татуша, а Тунечка, не Ментор, а Ундина. Она всякий раз сплетала себе венок из белых лилий и заслужила прозвище таинственной девы вод. Лилии, правда, быстро высыхали и начинали дурно пахнуть, Татуша с отвращением отшвыривала венок. Это служило некоторым утешением Верочке, потому что белые цветы на редкость шли к темным блестящим Татушиным волосам. Она могла бы плести венки из ромашек, которые дольше сохраняются, но ей нравилось быть Ундиной, русалкой-соблазнительницей, привлекающей влюбленных юношей в подводное царство. Не поскупился Сережа на прозвища для Татуши, это не то, что Психопатушка! У Татуши цвели глаза, цвел рот, она удивительно похорошела, и Верочка была даже рада, что Сережа уехал на несколько дней в гости к Мите. Оттуда Татуше пришло письмо, которое весьма неловко попытались скрыть от Верочки. И показали лишь по настоянию Миссочки. «Дорогая Ундина Дмитриевна!» — начиналось послание, а дальше шло объяснение в любви якобы от лица Мити, но подписанное «по безграмотности двоюродного братца» Рахманиновым. За этой подозрительной шуточкой таилось, видимо, нечто серьезное, иначе зачем было скрывать от нее письмо? Сестры щадили ее, вот до чего дошло! Она записала в дневнике: «Я готова плакать от горя и досады. Конечно, где мне сравниться с взрослой барышней! Ах, как грустно, грустно теперь. Я больше не хочу его видеть, боюсь его возвращения».

Но он вернулся довольно скоро в сопровождении неизбежного Мити, которому, по чести говоря, досталась весьма жалкая роль в этом спектакле.

— Здравствуйте, Психопатушка, Сашок, Цуккина Дмитриевна! — прозвучал на террасе его свежий, отдохнувший голос. — Гуд морнинг, Миссочка! А где Ундина Дмитриевна?

— Вот она я! — театрально отозвалась Татуша, появляясь из гостиной.

На ней была штофная юбка жемчужного цвета и черная, отделанная кружевами кофточка. «Значит, она знала о Сережином приезде! — осенило Верочку. — Недаром же она истекает самодовольством!»

Татуша и в самом деле была довольна собой. Затевая свою игру, в которой таилась крупница серьезности, она не ждала, что успех окажется столь быстрым и полным. Ей представлялось, что Сережа не остался равнодушен к Верочкиной влюбленности. Но стоило лишь пальцем поманить... Сама того не желая, Татуша сделала, как говорят охотники, дуплет, вернее же, одним выстрелом двух зайцев убила. Заряд предназначался Сереже, а сражен был заодно и Митя Зилоти. К этой победе, видит Бог, она не стремилась, Митя ей перестал нравиться, когда им пренебрегла Верочка. Он ласковый, но безвольный, нерешительный, сам не знает, чего хочет. Он и к ней потянулся лишь потому, что заметил влечение Сережи. Этот не чета Мите, но и с ним не было особых хлопот. Татуша сознавала, что операция проведена с грубоватой тонкостью. Немного самоуничижения для начала: «Ах, как вы играете, я боюсь вас!», «Вы так умны, я боюсь вас!»; несколько несложных ухищрений в туалетах и манере поведения, направленных на то, чтобы подчеркнуть возраст, ведь она единственная во всей своей молодой компании достигла совершеннолетия, а мальчишкам льстит внимание взрослой женщины. Сейчас смирение уступило место властному нажиму, строгим выговорам, юношу надо держать на короткой, жесткой сворке... А Верочка, похоже, всерьез переживает. И поделом ей, нечего было задирать нос!

...Как-то вечером затеяли кататься вокруг гумна. Заложили в кабриолет смирную кобылу Грачиху, и Сергей Васильевич, признанный после истории с Мальчиком лучшим лошадником усадьбы, взял вожжи. Катались в порядке старшинства, и Верочка едва дождалась своей очереди.

Копыта Грачихи жестко отбарабанили по деревянному мостку на выезде из усадьбы и мягко пошли по толстой пыли большака. За кабриолетом вытянулся серый хвост. Затем свернули в стерню и шагом объехали гумно, едва различимое в туче реющей половы и хоботьев.

Мощно грохотала английская паровая молотилка. Грачиха испуганно косилась на шумное заграничное диво. Порой в сорной туче проступали темные лица работающих крестьян. Мужчины были в защитных очках, у женщин головы обмотаны платками и лишь против глаз оставлена узкая щель. На этом и закончилась поездка, затеянная во славу хозяйственного гения дяди Сатина, первым на Тамбовщине применившего паровую молотилку. Больше смотреть было нечего, и Сергей Васильевич повернул Грачиху к дому.

— Вот и все... — сказала Верочка так грустно, что, уловив собственную интонацию, чуть не расплакалась.

Рахманинов обернулся, поглядел на бледное лицо Верочки и поразился происшедшей в ней за недолгий срок перемене. Это была взрослая девушка, знакомая с печалью и болью. И наконец-то он понял.

— С какой бы радостью я увез мою Психопатушку на край света..

— Увезите, — сказала Верочка, сжав руки. — Увезите меня, Сережа.

...Поздно вечером, собираясь ко сну, Наташа Сатина услышала царапающий звук. Это был их с Верочкой тайный сигнал. Прибегать к нему разрешалось лишь в случае крайней нужды, поскольку рядом находилась спальня строгой матери Наташи. В длинной белой ночной рубашке, делающей ее похожей на привидение, Наташа подбежала к окну и отдернула занавеску. Верочка стояла внизу, подняв освещенное месяцем лицо, ее русые волосы казались зелеными, а светлые глаза грозно чернели. Она была странно, невиданно и пугающе хороша. И отчаянно заколотившимся сердцем Наташа угадала, зачем она пришла.

— Он любит меня, — шептала Верочка. — Понимаешь, любит... Мы объяснились... У нашей сирени...

— Какая ты счастливая!.. Боже, какая ты счастливая!.. — лепетала Наташа.

— Спасибо, Наташа!.. Ты хорошая, добрая. Я так тебя люблю. Ты самая, самая лучшая моя подруга... — Верочка пригоршнями бросала нежности, черпая из бездонной корзинки...

...Рахманинов пробирался сквозь кусты сирени. От бывшего великолепия остались редкие ржавинки, издававшие спертый запах. Он сорвал влажный лист и разжевал. Невыносимая горечь наполнила рот, это было хуже хинина. Рахманинов засмеялся. Хорошо обжечь рот, хорошо бы еще получить крепкого тумака, чтобы окончательно спуститься на землю. Он ударил себя увесистым кулаком по затылку, что-то хрястнуло, и он опять засмеялся. Ну вот, теперь все в порядке. То, что было, не приснилось, не пригрезилось, не померещилось в дурманной усталости, которая все чаще охватывала его в последние дни от мучительной незададившейся работы. Не шел его фортепианный концерт. А теперь пойдет. Он узнал, что такое музыка. Он искал ее во вне, а она должна звучать внутри него, быть частью его самого. Сейчас он ощущал в себе емкость органа, что-то нагнеталось, вызревало, взгуживало в громадных полостях. Будет музыка...

...Медленно, цепляясь за ветви сирени, проплыла паутинка. Татуша проводила ее задумчивым взглядом. Паутина — предвестница осени. Долго и трудно вызревало это лето, чтобы потом взорваться буйным цветением, рано и быстро оно угасает. Ну и Бог с ним!..

Татуша сидела на террасе, подставив загорелое, орехового цвета лицо тяжелому, жаркому, но уже усталому августовскому солнцу. Крепко печет это обманное солнце, но не прибавляет загару. Татуша лениво щурила глаза, обмахивалась маленьким веером из слоновой кости и не без

удовольствия думала, что лето на исходе и скоро будет Петербург с театрами, балами, интересными людьми, а здесь в полудетском окружении она и сама оребятилась.

— Сережа!.. — услышала она звонкий, с трещинкой хрипотцы голос младшей сестры Веры.

Дети, даже такие большие дети, как ее сестра, не умеют говорить тихо, они орут, срывают голосовые связки и сипнут.

Смолк рояль в бильярдной, и оттуда, нахлобучивая полотняную фуражку, огромными скачками, словно ирландский сеттер дяди Сатина, выскочил долговязый Рахманинов. Мама категорически запретила Верочке обращаться к кузену так фамильярно, но, видимо, дело далеко зашло — Татуша разлепила в усмешке полные губы, — и Верочка просто не может называть Рахманинова по имени-отчеству. «Молодец девчонка! — снисходительно одобрила Татуша. — Вот как обротала этого мустанга! Куда девалась хваленая дисциплина, доходившая до фанатизма, лучшего ученика Зилоти? Учитель много усидчивей, правда, ему помогает жена, не отпускающая его ни на шаг. А Рахманинов, которого прежде и клещами не вытащить было из-за рояля, мчитя слomia голову по первому сиплому зову».

Обычно юноши влюбляются в девушек своих лет или старше себя, а то и в зрелых женщин. Собственно говоря, их всегда тянет к старшим, но боязнь поражения заставляет одних таиться, а других отступаться. Чего греха таить, от скуки и пустоты здешней жизни, отсутствия достойных партнеров Татуше захотелось попробовать свои чары на двух юнцах: Мите Зилоти и Сереже Рахманинове, очень разных, но по-своему привлекательных. И с какой легкостью Верочка, эта козявка, обставила свою взрослую сестру! Сперва походя отбила Митю, чтобы сразу бросить и заняться Сережей. Митя покорно вернулся к вялому поклонению Татуше, но уже стал ей не нужен. Возникла другая цель, та же, что и у сестры, — Рахманинов. Татуша знала про себя, хоть и не любила в этом признаваться, что с

Рахманиновым у нее было далеко не так просто. Чем же взяла Верочка? Конечно, она красива светлой, голубой, славянской красотой, но какой-то слишком уж классической, будто с иллюстрации к этнографической книге — тип русской красавицы. Ее, Татушина, красота современнее, острее, ярче. Ну а если говорить о духовном развитии, то можно ли сравнивать девчонку, томящуюся над диктантами, с автором рукописного романа, вызвавшего восхищение многих просвещенных умов? Все было в искренности, захватывающей, побеждающей, опрокидывающей любые преграды Верочкиной искренности. Этим она берет. Рядом с ней все хоть немного фальшивят. А у нее каждое движение, каждый жест, каждое слово неподдельны, каждая нота звучит чисто, и этому откликнулась музыкальная натура Рахманинова.

«Дай Бог ей счастья!» — вздохнула Татуша. Она любила сестру, жалела ее больное сердце, но все-таки была рада, что лето кончается. Лето ее поражения, чего она больше никогда, никогда, никогда не допустит...

...Что же было дальше? А то, что всегда бывает: лето сменилось осенью, и опустела сатинская усадьба. Сестры Скалон вернулись в Петербург, Рахманинов и Сатины — в Москву. Но то, что зажглось в Ивановке, не погасло, хотя редки были встречи, а много ли скажешь в письмах? Верочка все болела, и ее каждое лето возили на модные заграничные курорты. Сережа Рахманинов иступленно работал, скитался, бедствовал. Сестрам Скалон пришлось даже купить ему пальто в складчину. Верочка разбила для этого свою фарфоровую копилку, которую ей подарили в раннем детстве. Сестры сами ощущали трогательность своего поступка, но все испортила Татуша. «Это очень мило, и мы такие добренькие, но кузен жалок, словно кухаркин сын». А потом их опять свело лето в той же Ивановке, где они с ликующей легкостью связали настоящее с прошлым, и еще через два года — в нижегородском имении Скалонов Ивановке, но «три сестры» уже стали дамами, они с утра

затягивались в корсеты, носили в солнцепек модные платья, огромные шляпы, похожие на цветочные клумбы, а отощавший, страдающий невралгическими болями Сережа Рахманинов казался мальчиком рядом с ними. К этому времени Вера Дмитриевна открыто считалась невестой Сергея Толбузина. Да, Рахманинов блестяще кончил консерваторию по двум классам: фортепиано и свободной композиции, — его экзаменационная работа, опера «Алеко», была поставлена на сцене Большого театра, многие произведения вошли в репертуар знаменитых исполнителей, он и сам с успехом концертировал, но что все это значило для тех мерил, какими в семье Скалонов определяли ценность человека, его положение и будущее? Покорная дурной силе рода, Верочка даже не пробовала сопротивляться тому, что «в высшем суждено совете».

Она была честным человеком и в канун свадьбы сожгла все письма Рахманинова — более ста — и как бы очистилась огнем. Но она сожгла что-то куда более важное, чем листы почтовой бумаги с нежными и шутивными, серьезными и печальными, радостными и горькими, доверительными словами. Она сожгла собственную душу, все лучшее, взволнованное, трепетное и возвышенное в ней. Но догадалась она об этом далеко не сразу. Вначале, упоенная взрослостью, красивым домом, успехами в свете, материнством, она не сомневалась, что живет хотя и обыденной, но полной и счастливой жизнью женщины своего круга. Она как-то упустила, что этим благополучным женщинам не выпадало в юности любви Рахманинова.

О нем трудно было забыть, хотя бы просто потому, что всюду звучала его музыка, в том числе посвященная Верочке. И пусть генерал Скалон иронически щурил глаза, музыка эта была прекрасна и так много говорила ей. Верочке стало печально и пусто в ее богатом доме, и все сильнее болело сердце, которому не помогали модные итальянские и швейцарские курорты.

Судьба Рахманинова тоже складывалась непросто. Он узнал и громкий, ранний успех, и жестокое поражение, когда, бессознательно угодая петербургской неприязни к «школе Чайковского», тучный, флегматичный Глазунов, выступая в качестве дирижера, рассеянно провалил его Первую симфонию. Тяжелейший нервный и творческий кризис постиг Рахманинова, ему казалось, что он навсегда утратил способность сочинять музыку. Из этой прострации он выбирался долго и трудно. Его жизнь была неустроенна, он ютился в меблирашках, терял время на частные уроки, метался, порой причаливал к таким пристаням, где ему вовсе нечего было делать.

Но в самую трудную для него пору из глубокой тени выступила женская фигура, столь знакомая своими очертаниями и вместе будто не виданная никогда, и Рахманинов понял, что спасен. Наташа Сатина, девочка с пухлыми губами, Верочкина наперсница, ставшая красивой, стройной женщиной, с волевым и терпеливым ртом, сильная плотью и духом и более всего беззаветной преданностью тому, кого выбрала еще детским сердцем, перетерпев всех и вся, выстрадав свое счастье, навсегда заняла пост любви возле Рахманинова. Она была с ним и тем черным февральским днем 1943 года, когда, отыграв последний концерт, сбор от которого, как и сбор от остальных концертов, передавался в фонд Красной Армии, защитникам Сталинграда, Рахманинов с разъеденным метастазами позвоночником не смог сам уйти со сцены и его унесли на носилках, предварительно опустив занавес. И седая, но по-прежнему стройная и сильная Наталья Александровна услышала, как прошептал Рахманинов, чуть приподняв свои прекрасные громадные руки: «Милые мои руки, бедные мои руки, простайте!..»

Но это — уже по прожитии большой, долгой жизни. Верочке такого не было дано. Она думала, что сможет жить, как живут другие: давать счастье мужу, воспитывать детей, встречаться с интересными людьми, уделять внимание му-

зыке, литературе, достойно и благообразно стареть. Ничего этого не могла и не умела Верочка. Она умела лишь одно — любить Рахманинова. И когда это оказалось невозможно, ей не для чего стало жить. При таком больном сердце уйти легко. Она словно разжала руки, только и всего. Ей было тридцать четыре года...

...В память Ивановки и того странного лета, когда запоздало и мощно забродило сиреневое вино, Рахманинов написал свой самый нежный и взволнованный романс «Сирень». Там есть удивительная, щемящая, как взрыл, нота. То промельк Верочкиной души, откупленный любовью у вечности.

ГДЕ СТОЛ БЫЛ ЯСТВ...

Почему его с утра преследует запах стоялой воды? Тухлой воды, покачивающей на ленивых, вялых волнах овощную ботву и очистки, кожуру апельсинов и лимонов, какие-то банки, коробки, окурки, раскисшую бумагу и тушки дохлых крыс. К миазмам воды примешивается плесневелый запах мокрого камня и гниющего дерева. Так пахнет только в Венеции, но ему не хочется ни венецейских воспоминаний, ни венецейских ассоциаций, ничего венецианского. Пусть ему пахнет свежим московским апрелем: набухающими почками, потоками талых вод, последним плавящимся в темных двориках снегом, землей в трещинах тротуарных плит, горечью липовых стволов. Господи, и в Венеции далеко не всегда так дурно пахнет. Лишь в полное безветрие, в жаркие застойные полдни, когда теплый недвижный воздух становится словно вата, каналы дружно смердят помойкой. Но стоит повеять ветерку с моря, и... вонь взмывает, разносится по всему городу, заползает в каждое окошко, дверь, щель, а затем развеивается, уносится, исчезает без следа до следующего затишья. А тогда был ветер... Когда это «тогда»?.. Входя в тратторию возле Кампо дела Карита, Верди придерживал рукой берет, чтобы не сдуло. Откуда Руперту известны такие подробности? Он что, находился в этой траттории, пропахшей оливковым маслом и острым сыром, когда туда вошел Верди? Да нет же, это все лжеподробности, изобретенные на ходу живым умом завязтого краснобая. Рахманинов слышал, что в кругу Чайковского, охочего до кличек, Руперта называли «Баран в облаках». Этим прозвищем он был обязан своей подвигой, в серебряных кудряшках головой и способностью мгновенно заноситься в горние выси собственного вымысла и

парить там с обескураживающим изяществом. Еще он обладал отнюдь не бараньими, а голубыми прозрачными ангельскими глазами, испуганно стекленеющими при малейшем знаке недоверия. И поскольку его любили за многие превосходные качества: музыкальность, тонкий вкус, незлобивость и совершенное бескорыстие завиральных выдумок, то старались не докучать ему сомнениями и расспросами. А не мешало бы иной раз спустить Барана на землю!..

Вообще-то нельзя сказать, чтобы Руперт был заведомым лжецом. Просто он знал много такого, что могло к нему прийти лишь из вторых-третьих рук, но обилием тонких подробностей, лукавым прищуром и доверительным апломбом он создавал у слушателей впечатление, будто являлся очевидцем. Почему ни один из итальянских знакомых Рахманинова ни словом не обмолвился об этой истории, которую знать должен каждый от Венеции до Палермо? Возможно, за давностью лет — все-таки четверть века минуло — огонь потух и не к чему ворошить остывшие угли...

А почему вдруг заговорил Руперт?.. Ах да, речь зашла о народах, умеющих и не умеющих ценить своих гениев. Танееву в какой-то связи вспомнилась реплика Александра из «Живого трупа»: «Люди не умеют ценить своих гениев», тема оказалась животрепещущей, заварился разговор, и Руперт вспомнил, что при входе Верди в тратторию, кофейню, ресторан или винный погребок все мужчины без различия возраста, социальной принадлежности и рода занятий молча вставали и не садились, пока маэстро не занимал своего места. Ведь это входила сама Королева Мелодия, а перед ее светлым, чистым и высоким ликом никто не смеет заноситься. Верди давал высшую радость певучей итальянской душе, и люди были признательны ему за свое наслаждение, восторг, умиление, слезы. Верди принимал как должное оказываемый ему почет: не корчил смущения — итальянцы при всех своих недостатках, истинных и мнимых, завидно естественны, — не опускал сми-

ренно темных, влажных, ласковых и до самой смерти блестящих глаз, не кланялся и не рассыла л улыбок, только чуть приметно потупля л великолепную седеющую голову и спокойно усаживался за столик.

Он был праздничен и эффектен, как его музыка, не прилагая к тому никаких усилий. Густая борода его была подзапущена, одежда — в легком беспорядке, казалось, он не замечал, что носит, только берет цвета раздавленной вишни, натянутый с молодой лихостью, выдавал человека, небезразличного к своей наружности. Кстати, Вагнер тоже носил смело замятый черный берет, не шедший коренас-тому и низкорослому певцу Нибелунгов.

— Вы слышали?.. — Тут только до Рахманинова дошло, что уже несколько секунд он безотчетно совершает обряд уличной встречи: топчется перед встречным со шляпой в руке, кланяется, улыбается напряженной улыбкой застигнутого врасплох человека.

Худой, долгий, будто сквозь салфеточное кольцо пропущенный, музыкальный рецензент Шелухин загородил ему дорогу специально ради того, чтобы сказать эту фразу тем деланно-встревоженным тоном, каким люди говорят о несчастьях, их ничуть не затрагивающих.

— Вы о чем?.. — немного в нос осведомился Рахманинов, хотя сразу понял, что имел в виду Шелухин.

Ему не хотелось говорить об этом с рецензентом, к тому же он злился на себя. Вопрос Шелухина вывел его из состояния, близкого трансу. Рахманинов не заметил, как рецензент приблизился, заступил ему дорогу, раскланялся, не расслышал его первых слов, и, хотя натренированное вежливостью тело совершало положенные ответные движения, дух его витал очень далеко, и понадобилось ошутимое время, пока он очнулся, опамятовался и вновь ступил в явь. Рахманинов не прощал себе рассеянности, отключения от действительности, даже слишком причудливых снов, не говоря уже о подобных провалах. Самообладание, постоянный внутренний контроль, сосредоточенность личнос-

ти на пребывании в ясном, целостном, не разорванном бытии — такова была суть Рахманинова. Потому и отворачивался он от Скрябина, что тот при всех озарениях, наитиях, гениальных прорывах был слишком экзальтирован, порывист и оторван от земли.

Сейчас Шелухин поймал его в прострации, но внешне его поведение могло произвести впечатление высокомерной невежливости, а это отвратительно... И будь слова Шелухина о другом, Рахманинов сумел бы искупить свое поведение повышенной любезностью, но вмиг вскипевшее раздражение помешало благому намерению. И когда удивленный Шелухин пробормотал, смешавшись: «О Скрябине, о ком же еще?» — Рахманинов воскликнул брюзгливо:

— Ах, оставьте!! Ну срезал прыщик во время бритья, с кем не бывало?

— У него заражение... Разве вы не знаете?

— Как не знать, если только об этом и болтают... Никто еще от пореза не умирал.

— Если занесена инфекция... — важно начал Шелухин, гордясь словом «инфекция» и произнося его через «э», но Рахманинов не дал ему кончить.

— Никто от этого не умирал! — повторил он громко и грубо, чувствуя, что окончательно теряет власть над собой. — И довольно каркать!

Это было так не похоже на Рахманинова, сдержанного, замкнутого, даже сурового, но неизменно любезного, что Шелухин, пробормотав: «Дай Бог!.. Дай Бог!..», вмиг сгинул, как не бывал.

«Ноль за поведение!» — мрачно изрек про себя Рахманинов. Человек не властен над своими душевными бурями, но вполне в его силах, чтобы эти бури не выходили наружу...

...Верди уже закончил свой простой, чисто итальянский обед: суп-павезе, розовый, густой, заправленный чудесным тянущимся сыром, спагетти с томатным соусом, салат и

фрукты, когда рассыльный вручил ему письмо в большом красивом конверте. Верди сунул рассыльному какую-то мелочь, фруктовым ножиком вскрыл конверт, пробежал письмо и сильно побледнел. Одним глотком он опорожнил чашку кофе, попросил еще и, пока выполняли заказ, снова и снова пробежал письмо, будто не мог постигнуть ускользающего смысла. А смысл был проще простого: во исполнение давней договоренности Рихард Вагнер имел честь просить синьора Джузеппе Верди пожаловать к нему, в его резиденцию.

Верди, обжигаясь, осушил вторую чашку, снова, шевеля губами, перечел послание. Надежнее прямых, жестких строчек и резкой подписи подлинность письма утверждал тон ледяной вежливости. Долго же пришлось ему дожидаться этого приглашения! Он и в Венецию приехал лишь ради встречи с Вагнером, о чем сразу же поставил того в известность. Но бежали дни и недели, а Вагнер не отзывался. Говорили, что он недужит, живет затворником и сам нигде не выходит. Но Верди доподлинно знал, что многие люди бывают у Вагнера и плохое самочувствие не мешает тому проводить вечера в кругу знакомых, почитателей и даже изредка музицировать. Но он верил слову Вагнера и терпеливо ждал. Пожалуй, лишь сейчас открылось ему, на какой трудный подвиг вызвал он Вагнера. Уже дважды, спрятав самолюбие в карман, Верди обращался к байрейтскому колдуну с предложением встретиться, пожать друг другу руки и покончить с яростной враждой, раздиравшей музыкальный мир. Сам он не испытывал неприязни к композитору, чья музыка была ему чужда, тяжела и непонятна при всей ее несомненной значительности. Соперничество, перешедшее во вражду, им навязали окружающие: публика, истерические поклонницы, докучные «знатоки», критики, журналисты, дельцы от музыки и всевозможные прилипалы. А чего им соперничать, коли они служат разным богам? Верди — Мелодии, Вагнер — Дrame. Им вовсе не тесно было в просторном мире музыки, и Верди долго не

постигал, чем он так мешает Вагнеру. Тот первый открыл боевые действия и вел ожесточенный огонь, не смущаясь и не смиряясь молчанием «противника». Мелос Верди не мог привлечь ни одного вагнерианца, для тех, кто радел на байрейтских не музыкальных, скорее религиозных торжествах, музыка «Аиды» и «Трубадура» была нема. Ну и Бог с ними! Байрейт еще не весь мир, и Верди вполне хватало того, что оставалось на его долю. С присущим ему насмешливым добродушием он объяснял шумные злобствования Вагнера обычной завистью карликов к рослым людям. Но дело было, конечно, не в этом. Истинный германец, Вагнер не мог примириться с тем, что за пределами его мрачной, овечьей дыханием древних богов и героев, полночной державы раскинулась светлая и радостная обитель Верди. Нужно было подчинить своему мечу чужой лен, а ленника изгнать или, того лучше, уничтожить. Упорная ненависть Вагнера вначале лишь задевала, огорчала Верди, а с течением времени, все усиливаясь, стала причинять страдание, боль его легкой и доброй душе, неспособной к ожесточению. Господи, ну что им делить? Они были не просто различны, а диаметрально противоположны друг другу во всем: в творчестве, восприятии мира и музыки, в самом направлении своих воль, в характерах, темпераментах, взглядах, внешности, наконец, и в отношении к женщине. При желании, именно в силу противоположности сути одного сути другого, им ничего не стоило сойтись. По-настоящему нас раздражают люди, в которых мы узнаем собственные черты. Они же не мешали друг другу, как солнце и луна.

Но Вагнеру не хотелось делиться славой. Зачем довольствоваться половиной, если можно взять все! Он был воинствен и агрессивен, этот германец, как и породившая его земля, и так же стремился к расширению своих владений. Он не понимал, что ему не властвовать в державе Верди, даже если бы тот капитулировал. Что делать луне в дневном небе, для ее победного сияния нужна ночь, днем таинственная и могущественная Селена превращается в комок белой шерсти. Ваг-

нер не мог заместить Верди в тех душах, что любят солнечный свет, ибо ему нечего было дать им, его золото для них черепки. Так же бессилён и Верди в вагнеровской ночи. Люди разные, и нужна им разная музыка.

Но Вагнер не уставал хулить соперника, и Верди при всей широте и незлобивости был слишком итальянцем, чтобы не вспыхивать в ответ язвительным гневом. В искрометном его остроумии тяжеловесные эскапады Вагнера звучали грубой трактирной бранью. Опытный музыкальный писатель проигрывал все заочные словесные поединки и лишь пуце бесился. Конечно, он был искренен в своем неприятии музыки Верди, казавшейся ему слезливой, сентиментальной, банальной и пустой. Но, положа руку на сердце, разве нет композиторов, и весьма известных, чья музыка на вагнеровский вкус еще сентиментальней, слащавее и банальней, но Вагнер вовсе не распинается в отращении к ним? Предположим, он просто не замечает их и позволяет себе тратить порох лишь на главу направления, на того, в ком с наибольшей полнотой и силой воплотился ненавистный ему тип музыканта. Что ж, и это своего рода признание. Так уважай того, кто способен вместить всю твою великую ненависть. И зачем переносить на человека отношение к его музыке? Вот это уж совсем непонятно. Верди засыпал сном младенца на «Нибелунгах», но нисколько не раздражался на их создателя. Пусть сочиняет так, коли ему хочется. Разве это преступление или порок — выражать свою личность в звуках, красках или слове единственно возможным для тебя образом? И зачем недостойной бранью оскорблять те миллионы людей, которым нужна именно эта, а не другая музыка?

А Верди кое-что искренне нравилось у Вагнера, ну хотя бы «Рассказ Лоэнгрина» или «Прощание с лебедем» из той же оперы. Даже в мучительно скучных ему «Нибелунгах» он узнавал акт могучей творческой воли.

Вагнер алчен к громкому успеху, и вовсе не из тщеславия — он видит в каждом аплодирующем сообщника, со-

ратника, ему важно, что их несметь, и потому он ни во что не ставит камерный успех. Уже по одному этому он должен был бы считаться с Верди, тоже сотрясавшим небеса. Но ведь так легко схитрить и обесценить чужую славу: усталое человечество падко на бездумное, легкое, не утруждающее мозг и душу. Нет, не сентиментальные грезы, а бунтарский, патриотический пыл пробуждала в итальянцах «Битва при Леньяни».

Вражда была мучительна для Верди. Сознание, что он возбуждает в ком-то такую стойкую ненависть, мешало ему жить, отравляло его хлеб и вино. Возможно, германскому духу Вагнера каждодневная порция ярости была что вязанка сухих дров костру, Верди же тяготился навязанной ему ролью врага. И хотя у него было неизмеримо больше поводов негодовать на Вагнера, он первый протянул руку. «Пусть ссорятся и бранятся наши поклонники, если это им для чего-то нужно, зачем нам потворствовать дурным страстям? Давайте встретимся; мы наверняка покажемся друг другу вовсе не такими уж плохими людьми». Он долго дожидался ответа. Не мог вышагнуть из заколдованного круга ненависти карлик-великан. Наконец Вагнер все же прислал короткое, сухое, уклончивое, вежливое письмо. Конечно, незачем тешить толпу зрелищем своей распри, но пусть господин Верди простит ему утрюмый, трудный, замкнутый характер, не позволяющий сразу откликнуться добром на добро. Отчуждение было таким долгим и стойким, что ему надо какое-то время, дабы приучить себя к той высокой и справедливой мысли, с которой успел свыкнуться господин Верди. Когда это произойдет, он даст знать и они встретятся.

Верди принялся ждать терпеливо и доверчиво. Он понимал, что Вагнер захочет иметь преимущество и первый визит придется сделать ему, но не придавал значения подобной самолюбивой чепухе. Он готов был отправиться по первому зову куда угодно. Но Вагнер не спешил. Злые, насмешливые, даже просто недоброжелательные отзывы его

о музыке Верди прекратились, и если порой все же доходили дурные слухи, то в них без труда угадывался запоздалый отзвук былых раскатов. Это обнадеживало, но тем непонятнее становилось молчание Вагнера, и Верди снова написал ему. На этот раз ответ пришел незамедлительно: уговор остается в силе, они непременно свидятся и навсегда покончат со всеми счетами. Теперь уже недолго ждать — от последних слов неожиданно пахло мягкой доверительностью. В расчете на трещинку доброты в железном голосе Вагнера Верди и прибыл в Венецию. Боясь недоразумений, тех роковых случайностей, что губят порой великие начинания, он, помимо собственного адреса, сообщил Вагнеру, где его можно застать в утренние, дневные и вечерние часы. Таким образом, рассыльный смог найти его в маленькой трактирии возле Кампо дела Карита...

В плавное течение мыслей Рахманинова ворвались ярко-красные спицы извозчицкой пролетки. Они замелькали в углу его левого глаза, ближнего к мостовой, — Рахманинов шел по краю тротуара, по-над быстрым журчащим ручьем. Промельки кричаще красного назойливо вторглись в прочный золотистый отсверк воды, зажегшей в хрусталике глаза ослепительный кружок. Красные спицы будто смахивали кружок с глаза, это раздражало, и Рахманинов резко вскинул голову.

Прежде всего он обнаружил, что то вовсе не извозчицья пролетка, а собственный выезд, и довольно шикарный, если б не слишком явные следы подновления на всем составе: экипаже, сбруе, кучере, даже серой в яблоках лошади. Все накрашено, надраено, налакировано. Кучер в жесткой шляпе с поддельными страусовыми перьями над воловьим выкатом глаз казался ряженым. Но маскарадность выезда стала до конца очевидной, когда Рахманинов увидел седока.

То был известный московский журналист, знаток театра и рецензент, антрепренер и темный делец Плюев. Рахманинов не был уверен, что знаком с ним, но Плюев не

сомневался, что знаком с Рахманиновым. Он жестаами приглашал его в экипаж, отпахнул кожаную полость и улыбался свежим, плотоядным ртом.

Не оставалось ничего другого, как подойти. За два шага, отделявших его от пролетки, Рахманинов вспомнил, что Плюев происходит из старого дворянского рода Неплюевых, но за какую-то провинность государь отнял у его предков частицу «не». Ловкий человек доказал, что можно отлично обходиться остатком фамилии, он царил в московском театральном мире, делал большие дела с всеильным Распутиным, а сейчас снюхался со знаменитым Митькой Рубинштейном. Это не мешало ему быть всюду вхожим и принимать у себя цвет литературно-театральной Москвы во главе с Шаляпиным и Амфитеатовым. Рахманинов подивился странному свойству своего воспринимающего устройства, его острый и тонкий слух улавливал множество ненужных шумов мира: сплетни, сказанные на ушко, перешептывания в концертном зале, когда пианист усаживается за рояль, откидывая фракные хвосты, вскользь брошенные замечания, иронические возгласы или реплики в сторону, а память заботливо складывает полученные таким образом сведения в свои тайники, как жадная и бережливая старуха — в сундук всевозможную дребедень: свечные огарки, пуговицы, конфетные обертки, бутылочки из-под лекарств, ленточки, иголки без ушка. И весь этот громадный запас ему так же без пользы, как несчастным старухам их жалкие сокровища.

Он поблагодарил Плюева, предложившего подвезти, сказав, что это его обязательная прогулка.

— Вы к Гутхейлю? — почему-то догадался Плюев. — Мне бы тоже не мешало заскочить туда. Хочу окрутить Федора с Массне.

— Нет-нет, спасибо!.. Мне надо находить свои два часа. К тому же я автомобилист и больше не признаю лошадей.

— Что ж, гуляйте, батенька, дай Бог вам здоровья!.. Как бы оно пригодилось сейчас бедному Скрябину!

— Все так усиленно хоронят Александра Николаевича, — с чуть принужденным смехом сказал Рахманинов, — что будет просто чудом, если он оправится от своего пореза.

— У него карбункул, — угрюмо сказал Плюев. — Но дело не в этом. Москва сгорела от копеечной свечки.

Это было сказано серьезно, без ложной значительности и желания поразить собеседника, сказано в себя, от собственной тревоги, и впервые с той минуты, что он услышал о болезни Скрябина, Рахманинова кольнул испуг. Конечно, он и мысли не допускал, что жизнь Скрябина под угрозой. Обычное преувеличение. Даже война со всеми ужасами, кровью, потерями, поражениями не вытравивала в людях стремления драматизировать действительность. Как будто и так мало боли, мало истинных, а не придуманных страданий! Откуда это берется? Верно, недостает человеческой душе очистительно трагического. На фронте, надо полагать, этим не занимаются, в деревнях и на фабриках тоже не испытывают судьбу. А вот обеспеченные, избавленные от войны и от забот о хлебе насущном люди очень падки на трагическое. Скрябин, без сомнения, выкарабкается, не может человек такого масштаба стать жертвой пустого случая. Но сейчас ему плохо, и семья в тревоге, и сам он, мнительный, непривычный к боли, смертельно напуган, и, наверное, следовало бы проведать его, сказать несколько трезвых, ободряющих слов. В конце концов, они друзья детства...

Рахманинов рассеянно протиснулся с Плюевым, укатившим на своем роскошном выезде, причем торжественный путь его отмечался ровными кучками навоза, которые серый в яблоках выкладывал как по ниточке. В голубоватой дымке над кучами захопотали воробьи, отчетливей обозначив символические следы удачливого предпринимателя. Но Рахманинову не было смешно.

Да, надо бы навестить Скрябина. Но не будет ли это ложно понято? Ведь они почти никогда не ходили друг к

другу. Они познакомились мальчишками у известного музыкального педагога Зверева. Рахманинов жил у Зверева в качестве пансионера, а москвич Скрябин был приходящим учеником. На редкость несхожие музыкантики поначалу потянулись друг к другу, угадав, что поклоняются одному божеству. Рахманинова удивляло сейчас, как быстро выделил его среди «зверят» худенький белобрысый ученик, чья очаровательная капризность отдавала немалым самомнением. Саша Скрябин резко отличался от живущих на зверевских хлебах, в той или иной степени бездомных мальчиков, за ним ощущалась семья, налаженный быт, привязанность к месту. И как же быстро эта житейская прочность обернулась незаземленностью, душевной неприкаянностью, неумещаемостью в земных координатах! Они сблизилась в тумане детства, угадав в другом свою радость и беду — творческую волю, но резко разлетелись в стороны, как столкнувшиеся бильярдные шары, едва проглянули, кто есть кто.

Окрепнув и накопив мускулы, эти мальчики против своей воли раскололи русский музыкальный мир на два враждебных лагеря. В творчестве их путь был восхождением вверх, каждый штурмовал и брал свои высоты, одерживал свои победы, знал и свои поражения — Рахманинов более жестокие. В житейском плане дело обстояло иначе. Редкая непрактичность Александра Николаевича сказалась еще в консерватории, где он успел насмерть рассориться с колким, но добродушным Аренским и в результате не кончить курса по композиции. Рахманинов был выпущен и по классу композиции, и по классу фортепиано и вслед за Танеевым и Корещенкой удостоился Большой золотой медали. Скрябин получил лишь диплом пианиста.

Конечно, пианистом он был выдающимся, но только как исполнитель собственных вещей, чужую музыку он исполнял лишь в годы ученичества, а позже не брался за нее да и не желал этого. Рахманинов обладал великолепными природными данными: физической силой, мощной,

огромной кистью, способной охватить полторы октавы, феноменальной музыкальной памятью и способностью к адаптации при ярко выраженной индивидуальности. Ничего этого, кроме индивидуальности — гипертрофированной, не было у Скрябина, с его крошечными, слабыми руками, порхающими по клавишам и неспособными наполнить большой зал сильным и сочным звуком, у Скрябина, погруженного в свой собственный мир, недоступный звукам чужих песен. И неудивительно, что Рахманинов шел от нищеты и бездомности к достатку, прочному семейному гнезду, Скрябин же терял то, чем обладал сызмала: гнездо, обеспеченность, спокойствие за завтрашний день.

Его концерты имели ошеломляющий успех и в России, особенно в Петербурге — провинция знала его куда меньше, и за границей, но он хотел создавать музыку, а не растрачивать себя на концертную деятельность. К тому же его пианистический диапазон был узок — замыкался на самом себе, — этого мало для прочного успеха у широкой публики. От сочинительства же, известно, не наживешь палат каменных. А Рахманинов привык «жечь свою свечу с трех концов». Как пианиста его ставили в ряд с Листом и Антоном Рубинштейном, как дирижер он оспаривал лавры у кумира Европы Никиша.

Но композитор Скрябин считался новатором, а композитора Рахманинова обвиняли в традиционализме — не поспевают за обновлением музыкального языка, и в эклектизме — этим убийственным словом равно клеймили и жалких эпигонов Чайковского, и Римского-Корсакова, и тех, кто продолжал ведущую линию русского искусства: его человечность, лиризм, духовную ясность и, сквозь всю скорбь и печаль, веру в будущее. Передовое студенчество ценило Рахманинова, оно слышало в его «Весенних водах» не только шум молодой воды, а во втором концерте не только сердечную грусть. Да разве студенты распоряжаются музыкальными репутациями? Их создают кружки, салоны и в первую голову влиятельные критики. В Петербурге авто-

ритетный Каратыгин, а в Москве не менее громкий Сабанеев яростно разрушали музыкальное здание Рахманинова. А замороженные романтическим подъемом молодого Скрябина души ныне самозабвенно упивались его «звукочветом».

В памяти занозой осталось одно столкновение со Скрябиным. Да нет, столкновения не получилось, Александр Николаевич ушел от спора, хоть и слегка надувшись, но почти высокомерно, настолько не интересовало его мнение Рахманинова вместе со всей музыкой друга детства. Рахманинов в присутствии Скрябина и нескольких музыкантов читал с листа партитуру «Прометея». Первый аккорд потряс его своей красотой, но дальше... «Какого цвета тут музыка?» — иронически спросил он по поводу *tastiera per l'ace*¹. «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя. Атмосфера фиолетовая», — с обидной снисходительностью, словно недоумку, пояснил Скрябин и захлопнул партитуру.

В отличие от своих фанатичных приверженцев, Скрябин не отказывал Рахманинову в значительном композиторском даровании, просто такая музыка была ему не нужна, казалось тусклой, мертвой. Это он принес людям огонь, озаривший дорогу в будущее, подобно тому как Прометеев огонь пронизал тьму юного человечества. Но знаменитый «Прометей» почти не трогал Рахманинова, пожалуй, лишь два-три такта... Все дело в том, что Рахманинов находил эти два-три такта, а порой и куда больше, во всех, казалось бы, столь далеких от него сочинениях Скрябина. Видимо, тут сказывалась его духовная гибкость, многогранность и навык пианиста-профессионала, умеющего возгораться от чужого огня. В этом было его преимущество, и в этом была его мука. Ибо Скрябин не находил да и не

¹ Цветная клавиатура — придуманное А. Скрябиным цветное сопровождение музыки.

пытался найти у него даже двух-трех тактов. Ну пусть новоявленный Прометей не принимает его направления, всю его музыку в целом, но два жалких такта мог бы ему подарить! А то становится страшно. Столь полная глухота сильной творческой личности к твоим созданиям обескураживает, хуже — лишает уверенности в себе, еще хуже — убивает.

Видимо, то же чувство заставило славного Верди искать встречи с Вагнером, а вовсе не забота о спокойствии музыкального мира, утомлении страстей и разных там этических тонкостях. Ему тоже хотелось получить свои два-три такта. Мог же великий Лист, чей музыкальный авторитет неоспорим, вдохновиться квартетом из «Риголетто», самой заигранной, запетой, засаленной оперы Верди. Так почему бы и Вагнеру?..

...Когда Верди покидал тратторию с письмом Вагнера в кармане, пролился короткий изобильный дождь, будто опорожнилась над городом небесная бочка. Сплошной поток на миг скрыл здания, каналы и сразу иссяк, вернув пространство. Опять сияло солнце, вода в каналах вспухла, покрылась лопающимися пузырьками, а на узкой, выложенной плитняком полосе меж тротуаром и стоянкой гондол растеклась плоская голубая лужа. Верди выступил из-под серого полотняного навеса, и все мужчины, не сговариваясь, скинули плащи и накрыли лужу, чтобы Верди не замочил ног. Так поступали русские гусары ради прекрасных женщин, так поступили молодые, пожилые и старые мужчины ради другого старого мужчины, научившего их несколькими песенкам.

Верди поблагодарил с обычной сдержанностью и сел в гондолу. Он назвал адрес, гондольер оттолкнулся от замшевой лестницы и налег на весло. Делая вид, будто не узнал Верди, он увел взгляд в какую-то далекую пустоту и замурлыкал песенку Герцога. Верди улыбнулся, тронутый этой наивной данью признания. Он был взволнован. Впервые

ошутил он с такой остротой, как нужно ему предстоящее свидание. А ведь случалось, обманывая самого себя, он делал вид, будто хочет помочь Вагнеру очиститься от ненужной злобы, расценивал свой визит к нему чуть ли не как жест милосердия...

...Вот почему не надо идти к Скрябину. Зачем?.. Вымалывать свои два-три такта?.. Скрябин вовсе не так плох, чтобы спешить с этим. А приход его может произвести на больного тяжелое впечатление. Скрябин, поди, решит, будто и впрямь умирает, если человек, давно уж не близкий, является безо всяких церемоний. Поверить же, что малое его недомогание так разволновало Рахманинова, он едва ли сможет. При всей своей отвлеченности Скрябин отнюдь не был бесхитростен и наивен. Скорей он заподозрит некий тайный расчет, желание что-то выгадать у ослабленного болезнью человека. Он подарит ему два-три такта, только нужен ли этот снисходительный дар?.. Нет, он не пойдет к Скрябину ни сейчас, ни когда тот встанет с постели. Он окажет больше гордости, чем Верди. Да и не в гордости тут дело. Надо оставаться самим собой и не искать ни помощи, ни одобрения, ни понимания, сколь бы желанным оно ни было.

Искать же мира со Скрябиным ему незачем. В отличие от великих теней, так неотвязно преследующих его весь день, они никогда не враждовали, не знали размолвок или ссор. Они тихо приятельствовали, не обременяя собой друг друга. Рахманинову даже выпало разделить со Скрябиным один из его триумфов, когда в Большом зале Благородного собрания Александр Николаевич исполнял свой фортепианный концерт с оркестром под его управлением.

Все это так. Но никуда не денешься и от того, что ими порождена непримиримая контроверза в музыкальной жизни России...

У дверей издательства Гутхейля стояла пара вороных, запяженная в легкий, изящный и поместительный эки-

паж — не чета расписной колымаге Плюева. На высоких козлах застыл сухой, поджарый, чисто выбритый кучер, в кожаном колете и бархатных штанах, запроваленных в короткие сапоги. Два великолепных орловца слепяще отливали гляncем расчищенной шерсти. Коренной дремал, прикрыв выпуклые глаза подрагивающими веками, тугие, просвечивающие розовым уши изредка дергались, отзываясь шумам бодрствующей жизни, а пристяжной, красиво выгибая забинтованную от путового сустава до пясти ногу, осторожно царапал копытом булыжник, будто струну трогал. Конечно, это был выезд Кусевицкого, недавно присоединившего фирму Гутхейля к Российскому музыкальному издательству.

Кусевицкий пожаловал в свой филиал в сопровождении жены, дочери миллионера Ушкова. Женитьба на «Каменной бабе», как называли Наталию Константиновну недоброжелатели, а к ним принадлежали, похоже, все знакомые Кусевицкого, дебели, с неподвижным, холодным лицом, словно замершим на пороге красоты, сделала виртуоза-контрабасиста самым богатым музыкантом не только в России, но и в целом мире. Кусевицкий умело распорядился баснословным приданым, создав крупнейшее музыкальное издательство и потратив немалые деньги на собственное усовершенствование. Он прошел в Германии под руководством знаменитого Артура Никиша курс дирижерского искусства и в короткое время стал дирижером мирового класса. Кусевицкий напоминал Некрасова редким сочетанием выдающегося таланта с железным практицизмом. «Каменная баба», непроницаемая и холодная, помогала всем его начинаниям, внося в них деловую сметку, расчетливый размах и вульгарноватую жесткость, кажется послужившую причиной разрыва со Скрябиным. Рахманинова она никогда не задевала, видимо считая полезным и для деятельности Российского музыкального издательства, и для симфонических концертов мужа. Между собой супруги отлично ладили. В целом мире, который Наталия Констан-

тиновна самым появлением обращала в холодный камень, лишь одно человеческое существо противостояло злым чарам, оставаясь живым и горячим, — ее муж. Она любила его всем своим тяжелым сердцем, и, самое странное, талантливый, многогранный, блестящий Кусевицкий тоже преданно любил этого истукана.

Рахманинов едва успел поздороваться со служащими издательства, как из задней комнаты выскочил красный, задыхающийся Кусевицкий и с порога закричал, доставая Рахманинова жарким чистым дыханием:

— Что же это творится, Сергей Васильевич? Да есть ли Бог на небе?.. Великий... да, да, великий музыкант умирает от ничтожной болячки, и все врачи бессильны что-либо сделать. Они не знают, не понимают, не могут!.. Так пусть вмешается небо! — И он потряс над головой сильными смуглыми руками. Движение призыва и угрозы, предназначенное небесам, невольно обернулось чисто дирижерской экспрессией.

На его крик из сумрака конторы выплыла Наталия Константиновна и замерла в дверном проеме, заполнив его весь. Рахманинов успел подумать, что чета Кусевицких впервые обнаружила бессилие миллионов, вслед за тем в тело ему вошла противная слабость. Он прислонился к стене.

— Да как же так... как же... — Челюсти не разжимались.

— Я был у него утром. Он без сознания. Я послал своего врача, велел созвать консилиум. Недавно был телефон с профессором Саранцевым. Они привели Скрябина в чувство, но надежда плоха. Похоже на общее заражение... Что же это такое, я вас спрашиваю? — снова завопил Кусевицкий, и мелкие слезы брызнули с уголков глаз.

— Поедем домой, — каменным голосом произнесла Наталия Константиновна, — ты сделал все, что мог.

— Да что я могу?.. — беспомощно сказал Кусевицкий. — Что мы все можем?.. — И, сторбившись, обмякнув, побрел к выходу.

Служащие взволнованно зашептались, обсуждая сообщение Кусевидского. Рахманинов и не силился, и не мог понять, о чем они говорят. Голову ломило в висках и затылке, тончайший, чрезмерный слух его отказал. Вдруг он очнулся, не попрощавшись, выбежал из конторы, схватил извозчика и помчался к Скрябину...

...Дворец, который снимал Вагнер, находился неподалеку от моста Риальто, и Верди, неплохо знавшего Венецию, удивило, что он раньше не обнаружил это красивое, хотя и порядком обветшавшее здание в духе Ломбардо. Он расплатился с гондольером, отстранил его помощь, легко выскочил из гондолы и стал подниматься по крутой, позеленевшей от времени мраморной лестнице. Обшарпанные ступени были скользкими после недавнего дождя. Он удобно, ладно чувствовал свое дородное, но послушное, мускулистое тело, знал, что движения его упруги и ловки, и если Вагнеру взбрело на ум тайком наблюдать своего гостя, то, к огорчению своему, он не обнаружит в нем примет старческой немощи.

Одна из створок высоких резных дверей была приоткрыта, Верди шагнул к ней, и тут же двери широко распахнулись.

Беличественный слуга в белом напудренном парике, пятясь и низко кланяясь, отступил в сумрак просторной прихожей. Верди вошел, и тут же к нему бесшумно скользнули двое младших слуг и приняли его плащ и берет. Театральность встречи развеселила Верди и помогла успокоиться.

— Добро пожаловать, синьор Верди! — произнес тихий, приятный голос, и молодой человек в черном, узколицый и очень бледный, склонился перед Верди в балетном поклоне.

На миг Верди почудилось, что его разыгрывают, и он обрадовался такому проявлению жизни в сумрачном хозяине дворца, но вслед за тем он понял, что церемония встречи

осуществляется всерьез. Зачем это нужно Вагнеру? Не лучше ли просто выйти навстречу гостю и пожать ему руку? Конечно, не чванство, не ломание и не желание поразить двигало Вагнером. Котурны неотделимы от его сущности и к тому же весьма уместны при маленьком росте. Бог ему судья!.. Важно, что сейчас они встретятся, и уж Верди сумеет растопить лед неуживчивого упрямяца. И потом, их встреча принадлежит истории, а история любит рядиться в пышные одежды. И пусть ему вся эта помпа чужда и немножко смешна, Вагнер прав перед будущим. Разве интересно грядущим поколениям, если они встретятся, как два булочника на покое?

Верди поднялся по лестнице, устланной толстым бордовым ковром, и снова впереди распахнулись двери, указывая, куда ему идти. Он попал в полутемный зал, украшенный гобеленами. Вагнера и здесь не было. Верди немного подождал, любуясь превосходным французским гобеленом с изображением псовой охоты. Никто не появлялся, и он пошел дальше. Он оказался в трапезной, судя по длинным дубовым столам, уставленным старинной серебряной посудой. По стенам висело оружие, луки, колчаны со стрелами, охотничьи рога. Пол здесь был сложен каменными плитами, и шаги его гулко и печально раздавались в оцепенелой тишине покоев. Вновь распахнулись двери, и он вошел в затянутую кроваво-алым штофом комнату с напольными часами по углам. Все они остановились на без пяти двенадцать.

Верди уже не досадовал на странный прием. Отзывчивый, как и все итальянцы, он поддался величавой тишине обветшалого дворца. Душа его сосредоточилась, настроилась на торжественный лад, ему предлагали высокую игру, и он эту игру принимал.

Выпрямился, раздвинул плечи, убрал улыбку с губ и вошел в следующий зал, посреди которого высился обтянутый черным крепом помост. На помосте стоял простой деревянный гроб, в гробу лежал Вагнер, алебастрово беле-

до его большое, навек успокоившееся лицо. Он сдержал слово, данное Верди, и до конца дней заставил его гадать над страшным символом этого свидания...

...А Рахманинов всем существом поверил, что Скрябин выкарабкается. Жизнь не занимается плагиатом, не крадет у самой себя. Она честнее искусства и обладает лучшим вкусом, не допуская грубых совпадений и дешевых эффектов. Успокоившись, Рахманинов едва не завернул извозчика и не сделал этого лишь в силу отвращения к непоследовательным, чудаковатым поступкам.

Едва переступив порог скрябинской квартиры, он погрузился в атмосферу несчастья. Оно лезло нехорошей давящей тишиной, в которой каждый звук казался вызывающе громким: шарканье ног, скрип двери и половиц, собственное осторожное, в кулак, откашливание, чей-то вздох; несчастье закладывало нос спертым духом закупоренного жилья с едкой примесью лекарств; несчастье било по глазам беспорядком, захватившим и прихожую, промельками каких-то лиц в дверях, внезапной толчеей в коридоре, — то не были домашние, многолюдство возникло из сочувственной бесцеремонности. Он еще топтался в прихожей, когда в задушенной сумятице взбаламученной квартиры выделились, высветились и закрыли собой все два лица — женское и детское. Рахманинов поклонился жене Скрябина Татьяне Федоровне и не сразу узнал его десятилетнюю дочь Ариадну.

— Я зашел проведать Александра Николаевича, — обратился он к Скрябиной. — Это можно?..

— Александра Николаевича нет.

— Простите, — смешался Рахманинов. — Мне сказали, что он болен, лежит...

— Александр Николаевич скончался... Пройдите. — Она сделала шаг в сторону, пропуская Рахманинова в столовую.

Здесь стоял раздвинутый во всю длину стол-сороконожка, а на нем, плоский и маленький, — не в гробу, а прямо на

столешнице, застланной белой простыней, — лежал Скрябин в темном пиджачном костюме, крахмальной сорочке и галстукке. Вышитая думка чуть приподымала его круглую голову, причесанную волосок к волоску, совсем как в детстве, когда он впервые вошел в класс Зверем и тонким самоуверенным детским голосом назвал себя: Скрябин. И совсем чужими детскому облику казались закрученные сверху усы и острая бородка.

До чего же он мал и хрупок, этот бедный музыкальный Прометей, и какая гордая, уверенная в себе сила скрывалась в тщедушном теле!.. Следовало подойти и поцеловать покойника в тесно сомкнутые уста или хотя бы в чистый, высокий лоб, но Рахманинов чувствовал, что ему этого не сделать, даже собрав всю свою волю. Дурнота подступала к горлу при одной мысли о простом, не раз исполнявшемся ритуале. И вовсе не из отвращения, Боже упаси! Смерть еще не успела завладеть Скрябиным, он совсем не изменился, и не было в нем ничего отталкивающего, но виделась в обрядовом жесте какая-то оскорбительная для покойного неправда. Возможно, Верди и поцеловал скрещенные на груди руки Вагнера, большие, натруженные руки музыканта, но он все же был позван. Скрябин же не звал Рахманинова и едва ли вспомнил о его существовании в часы последнего борения. Поцеловать Скрябина значило бы признать его окончательно мертвым, безнадежно мертвым, таким мертвым, что с ним нечего считаться. А Скрябин вовсе не был и никогда не будет мертвым и немым, и не позволит себе Рахманинов кощунственного лобызания. Но вдова и дочь чего-то ждали, а он стоял холодным извоянием. Он не мог вынести неподвижного, в упор, взгляда больших, странно сухих глаз девочки. Она словно требовала от него чего-то... Он глядел на Скрябина, а краем глаза безотчетно ухватывал бедную обстановку, красноречивей всяких слов говорившую о подвижнической жизни человека, так странно и бессмысленно уложенного на обеденный стол.

Спазм сдавил горло. Рахманинов впился пальцами в кадык и слепо рванулся в прихожую, а оттуда на улицу. Но своим безыскусственным поступком он выиграл прощение у скрябинских женщин, большой и маленькой.

А дома он попросил жену дать ему том брокгаузовской энциклопедии на букву В. Соперники разместились там в многозначительной близости. Сейчас он убедится, что Вагнер умер в Байрейте, или в Мюнхене, или в Веймаре, или в другом немецком городе, и кончится наваждение. Палец заскользил по строчкам. Рихард Вагнер последние годы жизни провел в Байрейте, а умер в Венеции 18 февраля 1883 года... Выходит, «Баран в облаках» ничего не придумал, а жизнь показала себя весьма грубым драмоделом...

...Рахманинов решил дать концерт из произведений Скрябина в пользу его семьи.

— Ты понимаешь, на что идешь? — спросила жена Наталья Александровна.

— Увы, да, — ответил он просто.

Он предусмотрел все варианты злоязычия. Едва оправившиеся от потрясения скрябинисты объявили его намерение жестом — широким, красивым, нарочитым, ненужным, высокомерным, дешевым, унижающим память Скрябина, недостойным, заслуживающим осуждения. Он это предвидел, и все же людская злоба и слепота причинили ему боль. Ведь ни для кого не секрет, в каком тяжелом материальном положении оставил Скрябин семью. Легко было догадаться, что играть он должен Скрябина, иначе вдова не примет денег. Но, похоже, эта сторона дела вообще никого не интересовала. Что за низкая материя — деньги, когда речь идет о святом искусстве! Если самозваные душеприказчики покойного композитора не понимали, почему он должен играть Скрябина, то где им было понять, что ему хочется играть Скрябина.

Фортепианная музыка Скрябина жила лишь в его собственном исполнении. Он играл «неподражаемо», «боже-

ственно», «бесподобно» — любимые и вполне справедливые выражения апологетов Скрябина. «Его руки порхали над клавишами, будто не касаясь их... рождали хрупкие, трепетные, прозрачные, из эфирных струй сотканые звуки». Да, все это так. Но Скрябина нет, а музыка его должна быть. И он покажет, что Скрябин — это не кантовская вещь в себе, что он доступен другим исполнителям, несхожей с ним индивидуальности. Не надо возводить в фетиш исключительность Скрябина, этим наносится ущерб прежде всего ему самому. Но обожателям предпочтительнее, чтобы рояль их кумира навеки онемел, чем ожил и зазвучал под чужими руками, особенно под сильными руками Рахманинова. Душное и жестокое сектантство, способное вторично убить Скрябина.

Рахманинов сделал большую и сложную программу, куда вошли лучшие фортепианные произведения Скрябина. Он обыграл программу в провинции, затем вынес на суд московской публики. Концерт состоялся в Большом зале Политехнического музея. Во время исполнения Сонаты-фантазии он довольно громко запел. Это случилось с ним нередко, но лишь когда он и музыка становились одним целым и душа его возносилась. Кончив играть, он сказал себе: «Я буду играть Скрябина».

Аплодисменты по ходу концерта были странные — они не охватывали всего зала, вспыхивали очагами. Слышались и шики, когда аплодисменты затягивались. В паузах не было тишины, не было ее и во время исполнения. Никогда еще Рахманинову не доводилось играть в таком простуженном зале. Всевозможные горловые и носовые звуки, сочетаясь с поскрипыванием кресел и шарком подошв о пол, создавали стойкий шумовой фон. Концерт балансировал на краю скандала. Когда же по окончании он пробирался в артистическую, до слуха долетало:

- Это не Скрябин!..
- Издевательство над беззащитным!..
- Жаль, что нет общества по охране музыки!..

Это москвичи — рубят сплеча. А вот, будто снежным холодком опахнуло, — группа чопорных петербуржцев. Цедят тихие ядовитые слова:

— Где одухотворенность?..

— ...пламенность?..

— ...эфирность?..

Почему доброжелатели, если они есть, так молчаливы, застенчивы и неприметны?

В артистическую набились друзья, их двусмысленные, значительные лица и ускользающие глаза вызвали брезгливое чувство.

— Исчез налет импровизации, столь характерный для Скрябина. С небес мы спустились на землю...

— Зыбкие формы окутались стальным ритмом. Поступь командора, а не парение эльфа!..

Я все это знал заранее. Еще до того, как прозвучал первый аккорд, вы уже составили себе мнение. Послушали бы лучше музыку, чем внутренний голос — голос сплетника, твердящий вам, что Рахманинову никогда не проникнуть в мир Скрябина. А вдруг наши миры вовсе не так уж изолированы один от другого?.. Допустите эту возможность и начните думать. Но зачем делать над собой такое трудное усилие, в косном, устоявшемся куда проще жить...

Удивительно, что рослому, солидному и небыстрому в движениях человеку удалось неприметно ускользнуть. Никто не заметил его ухода. Все так возвысились своим неприятием Рахманинова, так жаждали высказаться и быть услышанными, что упустили «виновника торжества».

В несколько громадных шагов он достиг служебного выхода, и тут от стены отделилась женская фигура в трауре. Гордость или скромность помешали Татьяне Федоровне зайти в артистическую? Она ждала у дверей, словно робкая почитательница прославленного маэстро.

— Спасибо вам, — сказала Скрябина. — Я не сомневалась в вашем великодушии, но вы сделали куда больше.

Татьяна Федоровна была прямым, открытым, хотя и не шумным противником его музыки. Рахманинов давно это знал и не ждал от нее многого.

Она почувствовала угаданную им холодность ее слов.

— Простите... Мне так трудно сейчас связно говорить... Я не знала такой музыки Скрябина... Господи, сколько же в ней скрытой воли! Спасибо вам.

Удивленный и растроганный, он пробормотал:

— Нет-нет!.. Вам спасибо!.. Дай Бог вам счастья!.. — Он вспомнил большие сухие требовательные глаза. — Вам и вашей прекрасной дочери!.. — И в низком поклоне скрыл от нее свое задрожавшее лицо.

У каждого свой век, своя удача. И Татьяна Федоровна Скрябина уже исчерпала отпущенное ей коротенькое счастье. Ее молодость опалилась кометным огнем, ее исходу достались грустные сумерки. Верная дорогой тени, она тихо угасала, ненамного пережив мужа. А вот Ариадне Александровне выпало грозное счастье явить оккупированной Франции мужество русской женщины. Бесстрашный боец Сопротивления, она пала под пулями гитлеровской засады.

Они жили между нами, эти высокие, чистые люди. И минули. Но как хорошо, что они были. И кого за это благодарить?..

БАЕСТЯЩАЯ И ГОРЕСТНАЯ ЖИЗНЬ ИМРЕ КАЛЬМАНА

Часть 1

ИСТОЧНИКИ

В исходе восьмидесятых годов прошлого века знаменитый венгерский курорт Шиофок, что стоит на озере Балатон в конце короткой железнодорожной линии, ведущей в столицу, — местные патриоты утверждали, что известен случай, когда из Будапешта пришел поезд, — был никому не ведомым маленьким селением.

Мартовской ночью мокрые рельсы слабо и холодно поблескивали в свете задернутого наволочью месяца. Из окна детской в доме, принадлежавшем зерноторговцу Кальману, можно было увидеть водокачку, семафор, два-три забытых на путях вагона, низенькое скучное здание вокзала под рослыми голыми платанами. За деревьями скорее угадывалась, нежели просматривалась тускло отсвечивающая ледяная поверхность озера, обдугая ветрами от снега.

Но сейчас некому было смотреть в окно, обитатели детской, братья Имре и Бела, как и все в доме, сладко спали. Старший, Бела, уже не умещался в детской кровати, его ноги торчали сквозь металлические прутья спинки; зато младшему, крошечному и круглому, как колобок, места было более чем достаточно.

Малышу приснилось что-то страшное: он забормотал, жалобно вскрикнул, заметался и вдруг сел на кровати. Про-

тер слипающиеся глаза и прислушался к тишине спящего дома. На его пухлом, с запасливыми, как у бурундука, щечками сонном лице возникло сложное выражение удивления, надежды, радости и страха.

Он слез с кровати; путаясь в длинной, до полу, белой рубашке, просеменил к окну и смял кончик носа о холодное стекло. В ночи изнемогал знакомый до последней черточки, скучный пейзаж.

Мальчик слушал тишину, создаваемую скрипом половиц под невесомой стопой домашних духов, мышьим шорохом, звоном ушных перепонок, но вскоре его чуткий слух угадал некую звучность, рождавшуюся в просторе за окнами. Он вслушивался изо всех сил, собирая в складки тугую кожу гладкого лба, всматривался, округляя глаза, в законный мир, но не находил подтверждения своей догадке, которая тем не менее все крепла в нем.

Он придвинул к окну стул, взобрался на сиденье и распахнул форточку. Лицо ему опахнуло влажным ветром. Струя холодного воздуха достигла его спящего брата. Тот чертыхнулся и вскочил.

— С ума сошел? — закричал он, дрожа от холода. — Хочешь по уху?.. Немедленно закрой форточку!..

— Лед треснул, — сказал Имре — Слышишь, как ревет Балатон?..

Бела прислушался. Вскрытие ледяного панциря Балатона было важнейшим событием жизни приозерных мальчишек. Он не обладал соловьиным слухом младшего брата и ничего не услышал.

— Хватит фантазировать! — прикрикнул сердито. — Немедленно в постель!

— Но, Бела!.. — жалобно сказал малыш. — Неужели ты не слышишь?

— Вот надеру тебе уши, будешь знать!.. — И Бела сделал вид, будто хочет осуществить свою угрозу.

Имре со вздохом закрыл форточку, и умолкла звучащая лишь ему музыка...

А наутро маленький Имре побежал на Балатон. Лед трещал, ухал, вода раздирала ледяной панцирь, врывалась в трещины, льдины громоздились одна на другую, все нарастал освобождающий грохот...

...Зеленели, цвели поля и рощи вокруг Балатона, ставшего в этот погожий солнечный день с белыми кучевыми облаками в густой синеве как бы вторым небом; шестилетний увалень Имре радостно братался с расцветающей природой. Он бежал по траве, сквозь цветы к одинокой фигуре цыгана, игравшего на скрипке.

Цыган стоял на бугре совсем один, не видно было поблизости ни повозки с задранными оглоблями, ни пасущейся худороброй гривастой лошаденки, ни черноголовых цыганят, ни жены в цветастой шали и яркой юбке, с бречащими монистами. Он был совсем один посреди поля, посреди мироздания, он и его скрипка, изливающая в простор «рыдающие звуки», вечные, как сама печаль.

Мальчику казалось, что цыган недалеко, за тем вон ивняком, за теми зарослями таволги, за тем неглубоким овражком. Но, пронизав в беге ивняк и таволгу, одолев овражек, мальчик не стал ближе к цыгану, чем в то мгновение, когда услышал его скрипку и увидел стройную, сухощавую фигуру и смоляные кудри вечного странника в пестрой рубахе, синей жилетке и плисовых штанах, заправленных в лакированные сапоги.

Мальчик набежал дальше, он уже различал серебряную серьгу в ухе цыгана и при этом не приблизился к нему ни на шаг.

Скрипка неудержимо влекла мальчика, хотя он уже не верил в реальность, как сказал бы взрослый человек, живописной одинокой фигуры. Да и не похож был этот цыган ни на вечных бродяг, исколесивших вдоль и поперек венгерскую землю, ни на разряженных игрушечных цыган, что тешили богатых граждан Шиофока в запретном для мальчика заведении мадам Жужи, куда любил заглядывать его папа для «деловых разговоров». Наверное, то был дух

некоего вселенского цыгана, явившийся в цветущий мир, чтобы мальчик, еще не ведающий своего предназначения, навек очаровался его музыкой.

Возможно, потом, спрятав инструмент, он станет обычным бродягой, найдет в соседнем логе свою повозку, лошадь, жену-галку и черноголовых цыганят и пустится в путь, не имеющий конца ни в пространстве, ни во времени, но сейчас он Чудо-цыган, Мечта, а не персть земная...

..Летом взрослые поехали на деревенский праздник и захватили с собой Имре. Мальчика очаровал чардаш, огневой народный танец. Его танцевали парами нарядно одетые крестьянки и юные сельские щеголи; каждая пара вносила что-то свое, особенное, и мальчик мгновенно это почувствовал. Взрослые злились, что он поминутно отстаёт, раздраженно его окликали, но их докучливые голоса не достигали слуха, околдованного чардашем. Имре подпевал музыке и, толстенький, неуклюжий, пытался приплясывать; на свое счастье, он не сознавал, насколько нелепо выглядит, и не замечал насмешек деревенских сорванцов.

Родная природа, весенний Балатон, цыганская скрипка, огневой чардаш — вот животворные источники, которые питали музыку того замечательного композитора, что до поры скрывался в мальчишке с запасливыми щечками.

ВЕЛИЧИЕ И ПАДЕНИЕ ЗЕРНОТОРГОВЦА КАЛЬМАНА

Самые толстые бумажники Шиофока собрались в доме Кальманов, чтобы решить судьбу озерного поселка.

— Наш Шиофок станет знаменитым курортом, одним из первых в Европе! — вещал папа Кальман. — Он оставит позади курорты Швейцарии, Италии, Лазурный берег, Спа и Дубровник...

— Увидеть Дубровник и умереть! — вспомнил кто-то из присутствующих.

— Будут говорить: увидеть Шиофок и умереть! — подхватил Кальман.

— От скуки, — добавил сухощавый делец с язвительным взглядом.

— Даже в сегодняшнем Шиофоке еще никто не умер от скуки, — отпарировал папа Кальман.

— А есть тут ночная жизнь? — с приметным акцентом спросил иностранный негодник, привлеченный к созданию великого будущего Шиофока.

— Есть. Но у нее зубы болят, — серьезно ответил Кальман.

— Это Манечка, — пояснил другой член рождающегося акционерного общества — краснощекий жизнелюб. — Она помогает тетушке Жуже. У бедняжки вдруг прорезался зуб мудрости.

— Вот уж не к месту! — проворчал заезжий негодник.

— Господа, господа! — захолопал в пухлые ладошки Кальман. — С Манечкой мы разберемся потом. Речь идет о будущем Шиофока. Наше великое преимущество — железная дорога. Кроме того, поселок лежит на берегу красивейшего озера Европы, а может, всей планеты, воды которого ласковы, как объятия...

— Манечки — подсказал ехидный делец, — когда у нее не режутся зубы мудрости.

— Как объятия Вирсавии, царицы Савской, Клеопатры, — игнорируя пошляка, продолжал Кальман. — Здесь ранняя весна, долгое сухое лето, золотая осень. Сезон может длиться с мая по октябрь.

— В октябре холодно купаться!..

— Но не холодно прогуляться под золотыми платанами до казино и оставить на зеленом сукне несколько монет. Не холодно посидеть в ресторане за стаканом токайского и съесть добрую уху из местной рыбы. Здесь все сорта речной рыбы, все виды дичи, прекрасные прогулки, чуд-

ный климат. Будапешт в двух шагах, а кажется, что ты порвал с цивилизацией...

— Вот уж верно! — подхватил ехидный делец. — Прохожие мочатся у заборов.

— Мы начнем со строительства туалетов, — веско сказал Кальман. — Вокруг них возникнет прекрасный современный город с казино, бассейнами, ресторанами, кафе, концертным залом, летним театром, ипподромом, с пристанью, где будут пестреть паруса прогулочных и спортивных яхт, дымить трубы катеров. Но едва ли не самое привлекательное будущего курорта — естественные пляжи без конца и без края. Тысячи очаровательных женщин усеют берег, подставив солнцу жаждущие загара тела...

— Побойтесь Бога, Кальман! — не выдержал румяный жизнелюб.

— Я еще ничего не сказал о маленьких гостеприимных домиках, где неумолчно поет цыганская скрипка, а посетители не зависят от состояния челюсти какой-то замарашки.

— Послушайте, мы же все женатые люди! Кроме Золтана, да и тот овдовел недавно.

— Никто вас не неволит. Сидите дома и вяжите чулок. Я все сказал, господа. Вот предварительные сметы. Их составляли люди, заслуживающие полного доверия. Банк отпускает необходимые кредиты. Я без страха и сомнений даю гарантийное письмо на весь свой счет, на все движимое и недвижимое имущество. Вот оно. — И Кальман протянул сидящему рядом с ним господину денежный документ.

Тот внимательно изучил документ и передал рядом сидящему. Бумага пошла по рукам, производя на всех сильное впечатление. Торговец зерном Кальман считался не только хорошим дельцом, но и весьма прижимистым, осмотрительным человеком, сумевшим сколотить одно из самых хороших состояний в Шиофоке. Взгляды, которыми обменивались присутствующие, свидетельст-

вовали о том, что «прожекторство» Кальмана открылось в ином свете.

Кальман в самом деле был хорошим коммерсантом с раскидистым умом и тонким нюхом. Но было у него одно ненужное деловому человеку достоинство: на дне души, за роем цифр, расчетов и подсчетов, таился поэт. Он все правильно высчитал про Шиофок, вскоре ставший модным курортом, прелестным озерным городком с парком и множеством увеселений, но ошибся в отношении себя самого: в то время как все окружающие обогатились на расцвете Шиофока, Кальман разорился и, почти буквально, пошел по миру. Его погубило тайное поэтическое безумие, порожденное безоглядной влюбленностью в Шиофок. Перед этим пали все расчеты и даже врожденная прижимистость. Но кто знает: не будь этого тайного «порока» у отца, глядишь, не прозвучала бы музыка сына, который по внешности, манерам, всем замашкам был куда большим дельцом, нежели отец; из безумств разорившегося коммерсанта возникли «Княгиня чардаша»¹, «Марица» и бессмертное танго «Наездника-дьявола» .

И вот лед тронулся, хотя и с меньшим шумом, чем на Балатоне: один за другим шиофокские коммерсанты писали на бумажках какие-то цифры и передавали Кальману, чье округлое, добродушное лицо расцветало от удовольствия. Наконец, стукнув кулаком по столу, он воскликнул:

— С такими деньгами мы превратим Шиофок в новую Ниццу!

— Да, Кальман — это голова из чистого золота! — подхватил дородный усач.

— Высшей пробы! — поддержал заезжий негодичант.

То был звездный час папы Кальмана.

— Надо отметить начало новой эры Шиофока! — прозвучало предложение.

¹ У нас — «Сильва».

И было принято с энтузиазмом.

Компания отправилась по тихим, пустынным улицам в единственное ночное заведение — бедный мужской рай, чей слабый свет не потухал рачительностью тетюшки Жужи.

Хотя час был неподный, в заведении находились всего два посетителя: дантист, возможно призванный в помощь «ночной жизни», и железнодорожный служащий, отупевший от гудящей тишины рельсов. Появление «большого света» оживило мертвое царство и дремлющую за стойкой бара увядшую рыжеватую блондинку, мадам Жужу. Зажглись огни, захлопали пробки шипучих вин, поспешно взбодрила перед зеркалом останки бывлой красоты хозяйка и кинулась занимать знатных гостей; и вот уже появились нераспечатанные колоды карт, освобождались столы для жарких баталий, извлекались из тайников: задних карманов брюк, из широких поясов, из набрюшников, даже из сапог — заначенные от жен плоские пачки денег. Запенилось вино в бокалах, зазвучали тосты за процветание жемчужины Европы — Шиофока, за здоровье Кальмана, и вот как из-под земли возник горбоносый, лезвиеликий цыган с неизменной скрипачкой, и звуки чардаша подняли патристическое чувство до степени экстаза. Лишь иноземец, верный своей малой заботе, настаивал на появлении «ночной жизни».

— Объясните ему, — попросила мадам Жужа, — что у нее лезет зуб. И чего он беспокоится? Коль на то пошло, у меня давно прорезались зубки.

Но настырный иностранец, оглядев мадам Жужу, с полного лица которой пудра осыпалась, как штукатурка со стен старой сельской церкви, потребовал, чтобы ему показали больную.

В конце концов из двери, ведущей в кухню, выглянула одутловатая физиономия с подвязанной шерстяной тряпичей щекой. «Ночная жизнь» Шиофока выглядела крайне непрезентабельно, но опытный глаз приезжего проглянул скрытую прелесть Манечки.

— Тут есть дантист, — вспомнил он. — Ну-ка, любезнейший, покажите свое искусство.

Манечка замотала головой:

— Не дам рвать зуб мудрости. Я хочу умной стать.

— Марица! — строго сказала хозяйка. — Самое умное, что ты можешь сделать, это хорошо развлечь нашего гостя. А для этого зуб мудрости не обязателен.

Дантист раскрыл свой чемоданчик со страшными инструментами, и рыдающую Манечку увели на кухню для операции.

А цыганская скрипка, чуждая житейской пошлости, томилась о небе...

...Рано утром зерноторговец и зиждитель славы Шиофока нетвердой походкой возвращался домой. Его встретили звуки скрипки — играл постоялец, профессор Лидль, — и багровое от гнева лицо жены.

— Доброе утро, женушка! — воскликнул глава семьи. — Похоже, я сделал лучшее дело своей жизни.

— Сомневаюсь, — сказала жена, глядя на его опухшее лицо.

— Поверь мне, душа моя. Мы заложили фундамент нового Шиофока.

— Если это фундамент, — покачала головой мадам Кальман, — то хороша же будет вся постройка.

Ее муж сделал вид, будто не понял намека.

— А где Вениамин нашей семьи, радость моих слабеющих очей, мой Имрушка? — переведя этим патетическим восклицанием разговор на другую тему, спросил он со слезой умиления.

— Заперт в чулане, — спокойно отозвалась мадам Кальман, в числе многих добродетелей которой не последнее место занимала отходчивость.

— Что он опять натворил? — грозно спросил строгий родитель.

— Профессор Лидль пожаловался на него. Он хулиганит под окнами, когда тот занимается.

— Н-нет, — чуть подумав, сказал Кальман. — Тут что-то не то.

Преступника извлекли из чулана, где он, по некоторым признакам, утешался вишневым вареньем, и за руку отвели пред грозные очи профессора Лидля.

— Извините, глубокоуважаемый профессор, — сказал папа Кальман, — чем проигрался наш парнишка?

— Он мне мешает работать! — гневно раздувая усы, ответил Лидль. — Только я начинаю играть, он тут как тут. Заглядывает в окна, корчит рожи. Скверный мальчишка!.. Я откажусь от комнаты, если это повторится.

— Это не повторится, господин профессор, — заверил папа Кальман, который после всех жертв во имя Шюфока не хотел лишиться выгодного жильца. — Но он не хулиган. Когда его сестра училась музыке, он часами просиживал под роялем. Он буквально помешан на музыке.

— Помешан на музыке?.. — фыркнул профессор. — А ну, что я играл?

— Вторую рапсодию Листа, — сразу ответил мальчик. — Переложение для скрипки.

— Гм!.. Угадал... А ты можешь ее напеть?

И полный, несколько флегматичный мальчик без всякого смущения с абсолютной точностью стал напевать труднейшее произведение Ференца Листа.

— Вы издеваетесь надо мной! — вдруг вскричал Лидль. — Этот маленький мошенник получил музыкальное образование!

— Да, — Имре лукаво глянул на профессора, — под роялем.

— Невероятно! — почему-то сразу поверил Лидль. — Мальчика необходимо учить музыке. У него абсолютный слух и превосходная музыкальная память. Он будет вторым Эрккелем — добавил, усмехнувшись, Лидль.

— Господь с вами! — испугался папа Кальман. — У нас совсем другие планы. Кем ты хочешь стать, Имрушка?

— Государственным прокурором! — выпятив грудь и надув губы, бойко ответил мальчик, едва ли понимавший, что это значит.

— Вон что-о! — разочарованно протянул Лидль и снова рассвирепел: — Тогда — пошел вон!.. Прокуроры меня не интересуют!..

Семья Кальманов ретировалась из комнаты жильца.

— Ты с честью вышел из положения, — похвалил сына Кальман и вытащил из кармана горсть мелочи.

Сын с жадным интересом следил за рукой отца. Но тот успел подавить порыв неразумной расточительности. — монеты посыпались назад в карман, остался один грошик.

— Держи! — важно сказал папа Кальман. — Не транжирь, лучше брось в копилку. К совершеннолетию у тебя скопится...

— Два гроша, — договорил сын...

...Минуло время, и все, о чем мечтал папа Кальман, обрело весомость яви: дома и виллы, отели и рестораны, летний театр и концертный зал, барочные здания бассейнов, великолепный парк, где гарцевали всадники и всадницы. Шиофок стал модным курортом. Его бескрайние пляжи были усеяны полосатыми телами — будто зебры пришли на водопой, но то вовсе не зебры, а дамы в наимоднейших поперечнополосатых купальных костюмах. Закрывая максимальную площадь тела, костюмы начинались штанишками чуть выше колен и почти достигали горла. Тем не менее этот туалет казался на редкость соблазнительным представителям сильного пола, окружавшим зебровидных дам. Купальщики нежились под солнцем, плескались в воде, ныряли, плавали; по голубой глади скользили яхты под разноцветными парусами, дымили катера...

А основоположник этого процветания — папа Кальман тщетно пытался спасти остатки своего состояния. Последняя надежда была на директора банка, старого знакомого, постоянного партнера по бриджу и компаньона в

нескольких смелых финансовых спекуляциях. Но когда Кальман вошел в просторный кабинет директора, тот даже не предложил ему стула. Он стоял перед гигантским столом в поношенном, некогда элегантном черном костюме и пожелтевшем пластроне и чувствовал себя ничтожным попрошайкой.

— Так вы не дадите мне отсрочки? — с трудом проговорил он и услышал, как жалко звучит его голос.

— Нет, дорогой. И вы это отлично знаете. Ведь когда-то сами были коммерсантом.

— Похоже, меня окончательно списали?

— Это вы себя списали, дорогой. Слишком азартны, размахнулись не по чину.

— Кому обязан Шиофок своим процветанием? — горько сказал Кальман. — Эти парки, отели, рестораны, толпы туристов, ваш банк, даже стол, за которым вы сидите, — все это поначалу было лишь в моей голове. Что — не так?

— Так, — равнодушно согласился директор.

— Значит, я провидел будущее?

— Конечно, провидели, дорогой Кальман, никто не собирается уменьшать ваших заслуг. Но вы — нищий.

— А кто меня разорил? Вы. Хотя всем обязаны мне.

— Никто никому ничем не обязан, — медленно и внушительно, как символ веры, произнес директор. — Люди вкладывают деньги и получают прибыль... Люди берут деньги в кредит и возвращают с процентами. Если же они только берут и не могут рассчитаться, их выбрасывают за борт деловой жизни. Ей-богу, совестно говорить вам об азах коммерческой деятельности. С такими людьми можно выпить рюмку ликера, сыграть партию в кегли, обменяться анекдотами — и все! Практически этих людей уже нет, они бесплотные духи. Вы призрак, Кальман, и вам пора исчезнуть, уже пропел петух. Я устал от вас.

Кальман обвел глазами солидную обстановку кабинета: мебель «чиппендейл», английские напольные часы, портреты каких-то чванных людей в багетных рамах, в том

числе и сидящего перед ним, которого он некогда за шиворот втянул в нынешнее богатство.

— Какая же вы бездушная скотина, — сказал он тихо.

— А вы поэт, это хуже. — И директор обрезал кончик дорогой сигары.

Кальман повернулся и вышел. Тяжелая дверь в последний раз захлопнулась за ним.

Оказавшись на улице, он выпрямился, приосанился. Пусть он проиграл, пусть он банкрот, но нынешний Шиофок был придуман им, он все-таки золотая голова, пусть не для себя и своей несчастной семьи, но для любимого города, оказавшегося таким неблагодарным. Но все равно он любит Шиофок и будет любить до последнего дня.

Он двинулся по улице, изредка раскланиваясь с прохожими и людьми в экипажах, но ни один не остановился, чтобы перекинуться с ним словом.

Лишь сильно постаревшая, но куда более дерзко рыжая, чем в прежние времена, мадам Жужа, пившая какую-то смесь со льдом в летнем кафе при своем новом и весьма презентабельном заведении, дружески приветствовала Кальмана:

— Добрый день, господин коммерсант! Почему вы к нам больше не заходите?

— Разве вы не слышали о моих обстоятельствах, дорогая Жужа? — вздохнул Кальман.

— Вы столько сделали для города, и никто не поддержал вас в трудную минуту. — Искреннее сочувствие было в ее голосе.

— Такова жизнь! — философски заметил Кальман.

— Хотите рюмочку чего-нибудь?

— Спасибо, сердце пошаливает...

— Жаль, девочки еще спят... Хотя... Марица!..

Из двери высунулась Манечка с перевязанной щекой. Кальман вздрогнул, испытывав жутковатое чувство повтора уже раз пережитого.

— Это что еще такое? — грозно спросила хозяйка.

— Жубы, — с трудом проговорила Манечка, вид у нее был довольно затрапезный. — Опять режутся, теперь сверху.

— Тьфу на тебя! Ступай на кухню. Не отпугивай посетителей.

Кальман приподнял котелок и побрел дальше, забыв о выправке.

— Такова жизнь, — пробормотала ему вслед мадам Жужа...

Дома Кальмана ожидал очередной сюрприз. У дверей стояли подводы, дюжие молодцы выносили из квартиры рояль. На одну из подвод уже были погружены кровати, диваны, комод и огромный платяной шкаф с зеркалом. За грузчиками, выносившими рояль, с плачем тащилась старая служанка Ева и, потрясая кулаками, вопила:

— Осторожней, ироды! Рояль дорогая, на ней барин молодой играет. Испортите вещь, что мы барину скажем?

— Успокойтесь, Ева, — сказал Кальман. — Эти вещи уже не вернутся.

— Как не вернутся? — опешила Ева.

— Их описали.

— Это писатели, что ли, утрешние? — сообразила старуха. — Всю квартиру облазили и все пишут, пишут, пишут, как ненормальные.

— Они не писатели, — улыбнулся Кальман. — Куда хуже — финансовые инспектора.

— Ну, мне такого без стакана палинки не выговорить, — проворчала Ева. — Что же, мы в пустом доме останемся?

— Нет, не останемся. Дом тоже описан.

И мимо онемевшей Евы вошел в парадное.

Жена, старший сын Бела и четыре дочери ждали его в пустой комнате, служившей некогда столовой. Мимо них из других комнат то и дело проносили всевозможные вещи. «Писатели», устроившиеся в коридоре за столом-маркетри, помечали изъятые вещи в длинном списке.

— Отказали? — спросила жена; она выплакала все слезы и сейчас производила впечатление относительного спокойствия.

— Разумеется... Сегодня же отправимся в Пешт.

— Отец, я не поеду, — сказал Бела.

— Что это значит? — нахмурился Кальман.

— Я пойду служить в банк. Кто-то должен работать. Мы не можем всей семьей сесть на шею родственникам.

— Ты пойдешь работать в банк, который нас разорил?

— Да. Я уже был там. Я сказал: вы отняли у нас все. Так дайте мне возможность помогать семье.

— И они взяли тебя?

— Без звука!.. Впрочем, сперва устроили небольшой экзамен. Но ведь я хорошо подготовлен. Тут нет никакого благородства с их стороны, отец. Работы будет много, а жалованье маленькое.

— Тут есть великое благородство, сын мой! — патетически воскликнул господин Кальман, который, не читав Диккенса, порой в точности повторял интонации и жесты бессмертного мистера Майкобера. — Твое благородство. Разреши обнять тебя от всего сердца. Жена, дочери, перед вами редкий пример самопожертвования, запомните этот миг. — Он смахнул слезу. — Но что делать с нашим меньшим, нашим Вениамином, что в детском неведении резвится в поместье своего родовитого школьного друга? — Впав в деланный тон, папа Кальман не мог от него избавиться.

— Надо написать ему, чтобы он сидел там как можно дольше, — предложила мадам Кальман. — Куда нам его девать?

— Но разве добрая будапештская тетка не приютит бедного сиротку? — витийствовал господин Кальман.

— Побойся Бога, дорогой, какой же Имре сиротка? Мы, слава Богу, живы и не собираемся умирать. Ну потеряли деньги, было бы здоровье и мужество.

— Здоровье и мужество — ты это хорошо сказала. Молодец, женушка! Правда, я предпочел бы деньги. Ладно, напи-

ши ему, чтобы сидел на месте. Экий счастливчик! Мы будем ютиться невесть где, а он — наслаждается жизнью и лучшим поместьем нашего округа! Итак, будем собираться.

— Собирать нам нечего. Все при нас.

— Тем лучше, — беспечно сказал господин Кальман. — Не придется тратиться на перевозку.

— И на носильщика, — добавила жена.

— И на оплату багажа, — заметил Бела.

— И на носильщика в Пеште, — сказала Розика.

— И на подводку, — добавила Вильма.

— Колоссальная экономия! — обрадовался господин Кальман. — Ну, дети, присядем на дорогу... А, черт, ни одного стула. Плевать, мы люди не суеверные... Вперед, к новой жизни!.. Хей-я!..

ИЗГНАННИК

Не ведая о несчастье, постигшем семью, юный Имре безмятежно резвился в садах первых шиофокских богачей — родителей его школьного приятеля Золтана.

Тот роковой день начался, как обычно, с шоколада и лимонного торта на открытой террасе, овеваемой ароматом роз. Два упитанных мальчика быстро разделались с угощением и вытерли салфетками коричневые сладкие усы. На них умильно поглядывала чинная и томная мама Золтана, одетая так, словно вокруг не сельская пустыньность, а будапештская эспланада: огромная, словно цветочная клумба, шляпа, отделанное кружевами платье и митенки.

— Кем ты хочешь стать, Имре, когда вырастешь? — спросила дама, не потому, что это ее сильно интересовало, а потому что этикет требует занимать гостя.

— Министром юстиции, — не задумываясь, ответил Имре.

Аппетит его повысился за минувшие годы.

— Какой умница! — умилилась дама. — Ты наверняка будешь министром при связях твоего дорогого отца

и влияния, каким он пользуется в Шиофоке. Ну а ты, мой мальчик?

Завистливо поглядев на Имре: ишь, в министры шагнул — и шумно втянув воздух полуоткрытым ртом — адептоиды, Золтан выпалил:

— Императором!

Дама испуганно замахала руками.

— Глупыш! — произнесла она с интонацией, подразумевавшей более крепкое слово. — Для этого надо быть Габсбургом, а не Габором.

— А я поменяю фамилию, — находчиво отозвался сын.

Матери очень хотелось дать ему подзатыльник, но неудобно было в присутствии постороннего; она тщетно придумывала подобающую случаю сентенцию.

— Почтаьон!.. Почтаьон!.. — закричал Золтан и кинулся с террасы навстречу человеку в форме и с большой кожаной сумкой через плечо.

Он вернулся с ворохом конвертов, газет, рекламных проспектов.

— Тебе, Кальман, письмо. А это все тебе, мама.

Имре схватил письмо и, узнав каллиграфический почерк старшего брата, отбежал к кустам жимолости, чтобы без помех прочесть дорогие строки.

«Братишка, — писал Бела, — отец разорился, и нас выгнали из родного дома. Где мы будем жить, неизвестно. Постарайся пробыть у своих друзей как можно дольше, а потом поезжай к нашей доброй тетке в Будапешт. Так решил семейный совет. Не вешай носа, малыш. Твой любящий брат Бела».

Имре заревел сразу, без разгона.

Дама, в отличие от сына, у которого был неважный ушной аппарат, услышала этот плач и как-то нехорошо усмехнулась. С плотоядным видом она перечитала только что полученное ею письмо и удовлетворенно покачала головой:

— Сколько веревочке ни виться, все кончику быть!

— Что? — гнусаво спросил сын.

— То!.. Приезжает младший Вереци, а ты мне ничего не сказал.

— Его мать сама тебе писала. И когда еще он придет!..

— Когда, когда!.. А если завтра, что тогда?

Сын оторопело посмотрел на мать.

— Позови мне Яноша.

— Какого Яноша?.. Тут каждый второй Янош.

— Кучера, кого же еще... Живо!..

Сын нехотя потащился выполнять поручение, а к даме робко приблизился зареванный Имре. Она сделала вид, будто не замечает его мокрых глаз и дорожек слез на щеках.

— Куда ты девался? — Голос был совсем не похож на прежний, в нем звучал холодный металл. — Тебе пора собираться. К Золтану приезжает старый друг, надо подготовить спальню.

— А мне нельзя еще побыть у вас? — застенчиво сказал Имре. — Мама просит...

— Ты же слышал: приезжает новый гость.

— У вас такой большой дом, — прошептал Имре. — Я мог бы спать в чулане.

— Что ты бурчишь?.. В каком чулане?.. Это неприлично. Янош отвезет тебя на станцию, как раз успеешь к поезду. Ты ведь едешь в Будапешт? — произнесла она с нажимом.

И мальчик понял, что мать его друга, совсем недавно столь ласковая и приветливая, все знает, но вместо сострадания испытывает лишь одно чувство: скорее избавиться от сына банкрота. Он понял, что такое бедность, и испугался этого на всю жизнь.

Дама повернула все так ловко, что Имре едва успел попрощаться с Золтаном, и вот он уже трясется в разбитых дрожках, а Янош нахлестывает залысы крупы старых пони. Выезд непарадный...

...Он с трудом добрался со своим баульчиком от вокзала до теткиного дома в одной из длинных и глубоких, как ущелье, улиц Пешта. Час был поздний, но в редких окнах

еще горел свет. Трусил ли он, совсем один, посреди чужого огромного города, медленно погружающегося в ночь? Он мог заблудиться, его могли ограбить, избить... Во всю последующую жизнь он так и не вспомнил, что чувствовал тогда. Он был оглушен, как под роялем сестры Вильмы, когда она играла позднего Бетховена. Но аккорд, оглушивший его ныне, был еще мощнее. При этом он все делал правильно: спрашивал редких прохожих о нужной ему улице, переходил на другую сторону, сворачивал за угол, перебежал перекресток, пропустив мчавшийся экипаж или конку.

Он добрался до небольшого двухэтажного дома, поднялся по каменной лестнице и постучал в дверь. Никто не отозвался. Он постучал чуть сильнее — тот же результат. Тогда он дернул хвостик колокольчика и вздрогнул испуганно, услышав жестяной треньк в квартире. Но тетка либо не слышала, либо спала, либо ушла в гости. В последнее не верилось, редко выходила старая домоседка.

Он снова постучал и снова дернул хвостик колокольчика. Тишина. Имре повернулся спиной к двери и хотел ударить задником ботинка, но в последнее мгновение не решился. Прежний Имре, сын преуспевающего коммерсанта, одного из отцов Шиофока, будущий министр юстиции, баловень взрослых и заводила среди сверстников, уже не существовал. Был оробевший маленький человек. Столкновение с жестокостью жизни и человеческой подлостью было слишком внезапным и потому сокрушительным, от этого удара он так никогда и не оправится. Молчаливость, отдающая утрюмостью, недоверие к окружающим, переходящее в подозрительность, бережливость, оборачивающаяся скупостью, порой смехотворной, — все это завязалось в описываемый летний день. У мальчика, так и не достучавшегося к тетке и прикорнувшего на лестнице, стала другая душа.

Он не заметил, как уснул.

А потом родился знакомый грохот вскрывающегося Балатона, огромные трещины раскалывали тело льда, в них вспучивалась черная вода и растекалась с шипением, по-

жирая снеговую налипь. И как всегда, настигнутый этим сном, предвещавшим перемену, он плакал и вскрикивал. А потом кто-то с силой тряс его за плечо.

— Проснись же, соня!.. Да проснись ты, горе мое!..

Он открыл глаза и уткнулся взглядом в некрасивое доброе, исполненное бесконечного участия лицо тетки.

— Здравствуйте, тетя, — сказал Имре.

— Здравствуй, Имрушка, ты когда приехал?

— Вчера. Я не достучался.

— Ты плохо стучал. Я же глухая тетеря... Ладно, идем домой.

«Домой!» — это слово, прозвучавшее на чужой холодной лестнице, отозвалось слезой в углу карего полного глаза. Имре не заметил, как очутился в маленькой уютной квартире, как в руку ему ткнулся кусок белого хлеба, густо намазанный маслом и медом, а в другую — стакан с молоком. Он жевал, давился, исходя влагой из глаз и носа. Тетка была не только добрым, но и умным душой человеком.

— Слушай, мальчик, тебе сейчас паршиво, да?

Имре не ответил, только хлопнул носом.

— Вот слушай. Я скажу тебе самое важное для жизни. Тебе еще не раз будет плохо, но будет и хорошо. Когда хорошо, радуйся и ни о чем не думай. Когда плохо, тоже радуйся, пой, пляши, дурачься, и все пройдет. Давай споем из «Свадьбы Фигаро».

Тетка надела немислимую шляпу с облезлыми страусовыми перьями, другую, похожую на воронье гнездо, нахлобучила на голову Имре, схватила его за руку и понеслась вокруг стола, распевая:

Мальчик резвый, кудрявый, влюбленный,
Адонис, женской лаской прельщенный.

Невольно рассмеявшись, Имре подхватил:

Не пора ли нам бросить резвиться,
Не пора ли мужчиною стать?..

— Фу! — устало выдохнула тетушка. — Когда на душе мрак, Моцарт — лучшее лекарство. Штраус-младший — тоже неплохо, — рассуждала она с видом врача, прописывающего микстуру. — Некоторые предпочитают Оффенбаха, другие — Зуппе. Но и от самой простой веселой песенки — хвост морковкой!.. — И она засмеялась, показав желтые лошадиные зубы, которые не могли испортить лица, вылепленного добротой.

Имре на всю жизнь запомнил этот совет...

МУЗЫКА ЗЕМЛИ

Пропустим школьные годы Имре Кальмана. В конце концов, все мальчишки похожи друг на друга: дерутся, играют, ссорятся, поверяют друг другу «страшные» тайны и тут же их выдают, соперничают в играх, запойно читают плохую литературу, заглядываются на девчонок, влюбляются, терпят поражение, пишут скверные стихи — впрочем, это уже в преддверии юности. И школьная жизнь Кальмана мало чем отличалась от жизни всех других мальчиков. Разве лишь тем, что он рано начал зарабатывать деньги и помогать отцу.

Но в рядовом детстве было одно обстоятельство, мимо которого нельзя пройти, ибо оно сделало мальчика непохожим на всех других мальчиков: он вновь и навсегда пленился музыкой.

Возвращаясь из школы, шли два мальчика: небольшой, кругленький Имре и долговязый, с романтической шевелюрой Антал.

— Ты только мечтаешь, Имре, а я создаю музыку, — витийствовал Антал. — Музыка звучит во мне даже на уроках, даже когда я зубрю теорему или жую слоеный пирожок.

— Какой ты счастливый, Антал! — восторженно сказал Кальман. — Дал же тебе Господь такой выдающийся талант!

— Дело не только в таланте, — назидательно проговорил Антал.

— Конечно! Все знают о твоём трудолюбии. Ты изнуряешь себя, Антал!

Мальчики пересекли улицу и теперь двинулись по аллее запущенного парка.

— Для композитора мало таланта, мало трудолюбия, — поучал Антал, — надо уметь слышать музыку всюду. Вот ты, скажем, слышишь мелодию земли?

Антал распластался на газоне и припал ухом к земле, Кальман доверчиво последовал его примеру.

— Слышишь? — восторженно закричал Антал. — Слышишь эту божественную песнь?

— Я ничего не слышу, — потерянно признался Имре.

— Значит, ты бездарен, — с не ведающей жалости прямою заявил юный гений, поднялся и отряхнул брюки.

Имре с убитым видом последовал его примеру.

— Сейчас я слышу, как воркуют голуби, а вот и мотив насекомых... О, скрипка кузнечика... флейта шмеля... арфа, арфа стрекозы!..

— Я слышу: заржала лошадь!

— Она еще и пукнула, — презрительно сказал Антал — Не знаю, как у тебя с ушным аппаратом, но внутреннего слуха ты лишен начисто. Не слышать скрипки кузнечика!.. Как же ты собираешься писать симфонии?

— А я разве собираюсь?

— Надеюсь, ты думаешь о серьезной музыке, а не о дешевых песенках: ля, ля, тру, ля, ля?.. Я лично работаю над большой симфонической поэмой.

— Я напишу симфонию, — покорно сказал Имре.

— А ты слушал когда-нибудь настоящую симфонию в филармоническом концерте?

— Н-нет... А как я мог ее слышать? Отец дает мне на неделю два гроша и просит ни в чем себе не отказывать.

— Беда мне с тобой! — вздохнул Антал и дал волю природному великодушию. — Концертмейстер оркестра —

мой учитель по классу скрипки. Он достанет нам контрамарки.

— Когда?

— Сегодня. Дают симфонию Берлиоза «Гарольд в Италии». Вещь гениальная, но сложная. Впрочем, надо сразу воспарять к вершинам... Это говорил еще Гендель. Сегодня без четверти семь — у артистического входа. А сейчас оставь меня, дружок. Я слышу пение аонид, ты мне мешаешь...

Вечером Имре долго томился возле артистического входа. Мимо него торопливо проходили оркестранты со скрипками, виолончелями, флейтами, трубами. А затем поток иссяк, и в одиночестве прошествовал в святая святых сам Маэстро — дирижер сегодняшнего концерта.

Когда Имре совсем отчаялся, подбежал его талантливый друг Антал.

— Где ты пропадал? — накинулся на него Имре.

— Т-с!.. Стой тут и жди. Я помню о тебе. Сегодня ужасный наплыв. Даже мои связи бессильны. Но я представляю тебя профессору Грюнфельду. Другого выхода нет, Я скажу, что ты молодой композитор. Симфонист. Это звучит!

Он скрылся в артистической. Затем туда прошмыгнули какие-то молодые люди, видимо, ученики музыкальной академии.

Назад они выходили, весело помахивая контрамарками. Наконец появился Антал.

— Уф, даже потом прошибло! — сказал он, обмахиваясь носовым платком. — Ужасный день. С невероятным трудом достал одну контрамарку.

— Ты настоящий друг, — растроганно сказал Имре. — Пожертвовать таким концертом!..

— Ты в своем уме? Я не собираюсь ничем жертвовать. Пойдешь в другой раз.

— Но как же так?.. Ты же хотел представить меня профессору Грюнфельду.

— Ничего не вышло. Я убеждал его, что ты будущий гений, надежда нации. Старик прослезился, но контрамарку не дал. Ладно, у тебя вся жизнь впереди. Я побежал. Концерт уже начинается.

И он исчез.

С мокрыми глазами Имре пробрался к дверям концертного зала и припал ухом к замочной скважине. И услышал музыку...

Так и простоял он весь концерт, но и сквозь закрытые двери проникали к нему мощь и красота большого оркестра...

В тот вечер Имре Кальман понял, для чего стоит жить. Но музыки земли так и не услышал, сколько ни прикинул к ней ухом. Впрочем, разве земля не участвовала в создании его музыки?..

· ЮНОСТЬ НЕМЯТЕЖНАЯ

Когда Кальман вспоминал свою раннюю юность, она рисовалась ему одним долгим, хмурым, затянувшимся днем. Этот день начинался еще в сумерках, когда голова болела не от грешной рюмки палинки или пары пива, как у многих его школьных соучеников, а с недосыпу: до поздней ночи он занимался перепиской разных бумаг ради грошового заработка: то он каллиграфически выводил рекламные объявления разных фирм, рождественские поздравления богатым, почтенным клиентам и — не столь изысканным почерком — напоминания о долгах клиентам малоимущим и малопочтенным; корпел над «деловой» перепиской отца, перебеляя его небрежную мазню, и сам разносил эти письма, чтобы не тратиться на марку, то был сизифов труд — никто не нуждался в услугах разорившегося коммерсанта; просматривал тетради своих частных учеников, здоровенных тупых оболтусов, которым был по плечо (с тринадцати лет он стал репетитором по всем предметам, поскольку обладал хорошей головой, равно приемчивой к

гуманитарным и точным наукам). День продолжался гимназией, включал скудный завтрак, заменяющий нередко и обед: чашечка жидкого кофе с черствой булочкой, частные уроки, разбросанные по всему городу (из экономии он всюду поспевал пешком), долбежку домашних заданий и уже упоминавшиеся дела: просмотр тетрадей, переписка бумаг, отцовских писем, порой выполнение поручений папы Кальмана, в котором суетливое беспокойство заменило былую деловитость. Развлечением служили воскресные домашние трапезы (когда семья вновь соединилась в Пеште, за исключением старшего брата Белы, до ранней своей смерти проработавшего в Шиофокском банке, пустившем их семью по миру). Скудные, унылые трапезы не слишком оживлялись красноречивыми вздохами матери — беспросветная жизнь лишила ее природной отходчивости и выдержки — и преувеличенными, назидательными восторгами отца перед жертвенностью «бедного Белы». Кусок не шел в горло, Имре с горечью ощущал, что к светлой братской любви и благодарности шиофокскому мученику начинают примешиваться менее прозрачные чувства. Как ни выкладывался Имре, он не мог сравниться в родительских глазах с просиживающим штаны за банковской конторкой Белой.

Но Имре был любящим сыном и братом, к тому же некоторая флегма остужала тревоги и беды внешней жизни. Он был терпелив, прилежен, не жалел себя, умел принимать мир таким, каков он есть.

Пухлые щеки уже познакомились с бритвой, но ни разу девичьи руки не сомкнулись на его шее, ни разу мягкие губы не искали его губ, ни разу не закружилась юная голова ни от страсти, ни от горячительных напитков, ни от безумной жажды подвига или хотя бы подлежащих легкому взысканию дерзких поступков. Он, правда, позволил завлечь себя несколько раз на скачки, но быстро спохватился и удвоенным прилежанием искупил тяжкую вину. Другой бы на его месте совсем отупел и сохся душой от столь

праведной жизни, но его спасало умение мечтать. В те несколько минут, когда сон еще не склеивал усталые веки, он успевал представить себя высоким и красивым, загадочным и томным. Вот он небрежно опирается холеным ногтем изящного мизинца о мраморную балюстраду, лорнируя порхающих вокруг красавиц, которые все бы отдали, лишь бы задержать на себе рассеянный взгляд светского льва. Кто знает, не из этих ли мечтаний несытого, замороженного юноши возникла черная маска таинственного мистера Икс, пряное очарование индийского принца Раджамы, бесшабашная удаля Наездника-дьявола? Иначе чем объяснить, что безнадежно будничным, рано отяжелевшим Кальман, скряга, чревоугодник и мизантроп, умел придумывать таких романтических, блистательных героев и, главное, наделять их горячей жизнью, что крайне редко случается в условном искусстве оперетты. У Кальмана почти нет безликих, статичных, скроенных по готовым рецептам героев. Им присуща та окрашенность, которую сообщает творению лишь пристрастие творца. Да, он сам был красавцем Раджами, жертвующим тронем ради любви, загадочным смельчаком мистером Икс, затравленным и гордым в своем падении графом Тассило, бесстрашным удалцем Наездником-дьяволом. Но все это много позже, сейчас навещавшие его в полусне образы не имели четких очертаний, судеб, они являли разные ипостаси того образа, который ему хотелось бы увидеть в зеркале, и чтоб душа была под стать зеркальному отражению. Он засыпал счастливый, а вскакивал обадельный, непрославшийся, по хриплому звону старого будильника, зная, что вынесет на своих вроде бы некрепких плечах уготованный ему груз дня.

На шестнадцатом году он обрел душевное подспорье в музыке, стал брать уроки фортепианной игры, а для этого пришлось еще утяжелить ношу, ведь плату за учение вносил он сам. Да, был характер у нерослого, коренастого паренька...

И все-таки ему однажды посветило счастье в хмурые дни первой юности. Отец взял его с собой в поездку по

делам фирмы, в которую с трудом устроился на небольшую должность.

Они остановились в хорошем отеле, и отец сказал:

— Я вернусь завтра утром. Дела, брат... А ты сиди в номере. Надо им хорошенько попользоваться. Оплачивает фирма.

И ушел.

Юный Имре впервые был в отеле. Ему интересно было все: обстановка, картины на стенах, барометр, градусник, Библия на тумбочке возле кровати, интересно было раздергивать и задергивать шторы, просто смотреть в окно, хотя оно упиралось в брандмауэр и не давало пищи для наблюдений. Но вскоре все это ему надоело, и тут он обнаружил возле двери три фарфоровые кнопки. Он долго рассматривал их с глубокомысленным видом, потом нажал верхнюю. И мгновенно, как лист перед травой, перед ним стал пожилой человек в черных брюках и белом кителе, с салфеткой на локтевом сгибе.

— Что угодно молодому барину? — спросил он перепуганного Имре.

— А правда, что мне угодно? — запинаясь, промолвил Имре.

— Наверное, молодой граф проголодался? Не подать ли хороший ужин?

— А почему бы и правда не поужинать? — уже смелее сказал Имре.

Со сказочной быстротой появился столик на колесиках, а на нем прибор, крахмальная салфетка, бутылка белого вина, устрицы, дольки лимона, зернистая икра, пышный хлеб, масло со слезой.

Все это исчезло со столь же сказочной быстротой вкупе с жареным цыпленком, ветчиной, салатом, сыром, мельбой и чашкой душистого мокко.

Радостно ухмыляясь, Имре нажал вторую кнопку. Немедленно возник человек в фартуке с белой бляхой отеля и сказал:

— Что угодно молодому господину?

— А правда, что мне угодно? — пошел по проторенному пути Имре.

— Не угодно ли господину барону, чтобы я почистил ему костюм и ботинки, а господин барон облачился в свой атласный халат и парчовые туфли?

— Угодно! — радостно согласился Имре и мигом разделся.

Коридорный унес его вещи, а Имре облачился не в атласный, а в байковый, порядком заношенный отцовский халат и в его шлепанцы. После чего нажал третью кнопку.

В комнату впорхнула юная фея в белой короне. Так почудилось в первое мгновение, потом фея обернулась румяной горничной в белой крахмальной наколке.

— Что угодно молодому господину? — спросила девушка.

— А правда, что мне угодно? — слегка оробел Имре.

— Наверное, чтобы я приготовила ему постельку для сна?

— Наверное, так! — обрадовался Имре.

Горничная быстро, умело взбила подушки, приготовила постель.

— Может быть, юному принцу угодно, чтобы я навеяла ему голубые сны?

Если б в желудке юного принца не плескалось три четверти литра эгерского вина, предложение горничной повергло бы его в немалое смущение, переходящее в панику, но сейчас ему море было по колено.

— Именно этого я и хочу, — значительно произнес он.

И горничная погасила свет... Когда утром вернулся отец, первый вопрос был:

— Где твои часы?

— Их взяла на память молодая дама, — ответил сын с обескураживающей прямоотой.

— Какая молодая дама?

— Которую вызывают по третьей кнопке, — пояснил сын. — Она навеивает голубые сны.

— Что-о? — вскричал отец.

— Вытри помаду, папа, — спокойно сказал сын. — Нет, на манишке.

Раздался стук в дверь, и вошли официант со счетом и коридорный с вещами Имре.

— Будьте любезны, уважаемый магнат!

Папа Кальман вырвал счет из рук официанта и, побелев, опустился в кресло.

— Ужин Ротшильда, — проговорил он большим голосом и слабой рукой подписал счет. — А это вам, любезнейший, — и опустил несколько монет в ладонь чистильщика.

Когда же оба с поклоном удалились, он сказал:

— Фирме придется все оплатить. Меня, конечно, уволят. Ну и черт с ними! Надрывать за такие гроши... Но тебе-то хоть хорошо было?

— Как в раю, — признался сын.

— Что тебе больше всего понравилось?

— Ветчина с горчицей, — искренне ответил юноша...

ГЕРОИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Он и сам не помнил впоследствии, где произошел этот «исторический» разговор. Кажется, в кафе «Эдиссон», расположенном напротив газеты «Пешти напло»: одно время он работал там музыкальным критиком под руководством «самого» Ференца Мольнара. Блестящий журналист, остроумный, порой едкий собеседник, одаренный ироничный романист и новеллист, Мольнар еще не нашел в ту пору главной точки приложения своей недюжинной силы — театральной драматургии, принесшей ему позже мировую славу. А покамест он был признанным главой молодого литературно-театрально-музыкального Будапешта. И в тот раз, как положено, застолье возглавлял Мольнар, с редким изяществом управляя разговором. А кто еще был там? Старые товарищи по консерватории: Виктор Якоби, уже сделавший себе имя опереттой «Высокомерная дочь короля»,

дававшей полные сборы в Народном доме, Альберт Сирмаи, не уступавший ему в одаренности, поэт и автор песенных текстов Ене Хелтаи — он, по обыкновению, помалкивал, набрасывая какие-то строчки в растрепанном блокноте, подсаживался к столику всесильный директор Королевского театра Ласло Беоти, перед которым трепетали все, кроме Мольнара, прищвартовывались и отчаливали еще какие-то люди: либреттисты, газетчики, начинающие литераторы — завсегдатаи журналистско-музыкального рая.

О спутниках своей молодости Кальман оставил теплые, даже нежные (у этого молчуна и угрюмца была чувствительная душа, на редкость склонная к дружбе) и превосходно написанные воспоминания. Незаурядный литературный дар сочетался в них с умным и памятливым сердцем. Как жаль, что друзья не ответили ему тем же и не сохранили для потомства черт молодого, слегка робящего перед авторитетами Кальмана. Это было бы важнее для истории, нежели их собственные портреты, набросанные его рукой.

Но это — так, к слову. Что же касается молодых людей, собравшихся в «Эдиссоне», то, не ведая судьбы и будущего, грядущих успехов и разочарований, взлетов и падений, преисполненные честолюбивых надежд и веры в свою счастливую звезду, они сидели над остывающим мокко и клешнями вытягивали из Кальмана рассказ о его недавней поездке в Берлин, куда он отправился с учебными целями на завоеванную им академическую премию Роберта Фолькмана. Соль этой истории, известной Сирмаи и Якоби, состояла в том, что Кальман, охваченный внезапной губительной страстью, за неделю истратил всю премию-стипендию на впервые увиденные такси. Вначале неуверенно, но постепенно разогреваясь от непривычного внимания слушателей, он поведал, как, робя, опустился на пружинящее сиденье, оперся о тугую спинку, и тут улица со всеми домами, витринами, полосатыми тентами кафе, фонарями, киосками, деревьями в железных клетках, пешеходами,

извозчиками и отмечающими каждый перекресток жрицами любви стремительно понеслась назад, спазмом восторга перехватило дух, и он понял, что ничего лучшего не будет в его жизни. Он провел несколько дней в сладком бреду, не увидев при этом города, ибо все мелькало за окошками такси слишком быстро, не позволяя взглянуться и в себя самого, а когда очнулся, то едва наскреб на обратный путь.

— Мотовство тебя погубит, — сказал Мольнар под дружный смех компании, хорошо знавшей прижимистость Кальмана. — Но рассказывать ты умеешь, не ожидал от тебя такой прыти.

Смутившийся было Кальман расцвел — подобная похвала была крайней редкостью в устах Мольнара, который, как и все краснобаи, мог долго слушать лишь самого себя.

Крестным отцом Кальмана в этой компании был добрый Виктор Якоби. Ему хотелось, чтобы его протеже развил свой успех.

— Послушай, Имре, ты ведь ничего не рассказывал нам о поездке к Никишу.

— К Никишу? — потрясенно повторил Мольнар.

Встретиться с величайшим дирижером мира и не развонить об этом на весь свет — было выше его понимания. Стоит повнимательней приглядеться к этому флегматичному парню.

— Да это уже давно было, — скромно заметил Кальман.

— Исторические события только выигрывают в отдалении. — Мольнар взял себя в руки и вновь обрел привычный насмешливый тон.

— Ну будь по-вашему. Я приехал к Никишу после того, как тщетно пытался опубликовать свои лучшие сочинения: фортепианные пьесы, скерцо для струнного оркестра и «Сатурналии». Я просил совсем немного, но издатель заявил, что нотная бумага обойдется ему дороже. И тогда я помчался в Мюнхен к Никишу.

— Ты хотел поручить ему издание своих произведений? — невинно спросил Сирмаи.

— Не совсем так, — хладнокровно отпарировал Кальман. — Я просто думал, что он истосковался по хорошей музыке.

— Великолепно! — вскричал Мольнар.

Подошел официант и хотел забрать чашку Кальмана, но тот быстрым движением защитил черную гушу.

— Ваш кофе остыл, господин Кальман. Я принес горячего.

— Вы что, забыли? Я люблю остывший кофе.

— Дайте господину кофе и впишите в мой счет, — распорядился Мольнар.

Кальман быстро опрокинул в рот гушу и взял новую чашку.

— Я люблю холодный кофе, но еще больше — горячий, — сказал он официанту, — особенно когда за него платит господин Мольнар.

— Услышим мы про Никиша или нет? — не выдержал Якоби.

— Какой ты нетерпеливый, Виктор! — Кальман с наслаждением отхлебнул горячего ароматного кофе и стал обрезать кончик сигары. — Никиш жил в отеле «Четыре времени года». О, это человек! Я принес ему «Сатурналии». Великий дирижер и безвестный композитор сидели рядом, он читал партитуру, что-то бормотал, порой напевал, размахивал руками, а я не смел дышать. «Хорошая работа, мальш! — сказал он от души. — Нужно и впредь быть таким же прилежным. Как тебя зовут, сын мой, я что-то запамятовал». Он спрашивал меня об этом уже в третий или в четвертый раз, и я гаркнул изо всех сил: «Эммерих Кальман». — «Хорошо звучит, мой мальчик, но я не страдаю глухотой, как Бетховен. Так вот, запомни — оркестр — это альфа и омега музыки. Ты и должен его знать от альфы до омеги. С завтрашнего дня я начинаю дирижировать «Мейстерзингерами», приходи, я посажу тебя в оркестр —

к скрипкам. Следующий раз — к ударным, потом — к духовым». Он выполнил свое обещание. Смотреть, как он дирижирует, — райское наслаждение.

— Я думаю! — пылко воскликнул Якоби. — Он несомненно полюбил тебя.

— Да. Я глубоко запал ему в душу. Когда мы расставались, он спросил, как меня зовут. Я тихо ответил: Виктор Якоби.

— Вот нахал! — вскричал Якоби.

— Никиш поглядел на меня пристально и сказал: зачем же вы подсунули мне сочинения какого-то Кальмана?.. Расстались мы душевно, но помочь мне в издательских делах он наотрез отказался: «Это безнадежно. Кому нужна сейчас серьезная музыка?» Но после его похвал я вновь обрел уверенность и принялся обходить мюнхенских издателей. Эти негодяи даже не стали со мной разговаривать.

— Неслыханно! — произнес Ференц Мольнар — не понять, всерьез или в шутку. — Не стали разговаривать с автором «Сатурналий», с самим Эммерихом Кальманом!

— Пусть они не слышали моего имени, музыка говорит сама за себя. Неужели «Сатурналии» и «Принц Эндре» так и будут валяться в моем письменном столе?

— Невероятно! — откликнулся хор.

— Если дальше так пойдет, я сделаю что-то ужасное, — злоеще произнес Кальман и отхлебнул кофе.

— Кого-нибудь убьешь?.. Наложить на себя руки? — поинтересовался Мольнар.

— Хуже... — И Кальман сказал загробным голосом: — Я напишу оперетту.

Собеседники Кальмана отозвались стоном на эту чудовищную угрозу. Взгляды посетителей дружно обратились в их сторону. Ференц Мольнар сделал вид, что лишился чувств... Поначалу ничто не предвещало того, что Кальман всерьез намерен осуществить свою ужасную угрозу. Напротив, словно испугавшись кощунственных речей, он налег на серьезную музыку: создал несколько «возвышенных» номеров для

патриотической комедии «Наследство Переслени», посвященной народному герою Венгрии Ференцу Ракоци и его сподвижникам-куруцам, симфоническую мелодраму, которой сам дирижировал, и тут поступило неожиданное предложение от довольно известного издателя сочинить песенку для нового кабаре. И хотя автором текста был его приятель, талантливый Хелтаи, Кальман почувствовал себя оскорбленным. Ему, автору «Сатурналий», «Эндре и Иоганны», предлагают унизиться до шлягера, к тому же в тайном соперничестве с другими композиторами, видать, издатель не слишком-то доверял его способностям. От закрытого конкурса с премией в сорок крон Кальман с негодованием отказался, но песенку на слова Хелтаи написал... через час после разговора с издателем.

Он и сам не мог взять в толк, как это произошло. В голову назойливо лезли задорные куплеты со смешным припевом: «Я комнатная киска Шари Фёдак». Красивая, осанистая и при этом живая, как ртуть, Шарп была звездой будапештской оперетты и варьете. Музыка возникла будто сама собой, без того высокого, но тягостного напряжения, которое требовалось для симфонических поэм, скерцо и сонат. Те дети рождались в мучительных потугах, этот младенец сам выскочил на свет Божий. «Тут нет творчества, — решил Кальман, — просто игра», но песенку все же отнес в издательство. Случайно там находился Хелтаи. Издатель и поэт пришли в неопишуемый восторг. Кабаре «Бон-боньерка» вскоре открылось, и гвоздем программы стала песенка «про комнатную киску Шари Фёдак». Ее запел весь город, и Кальман испытал сложное чувство удивления, легкого стыда и сожаления, что скрыл свое авторство под псевдонимом. Все-таки нелегко после песен о бесстрашных куруцах воспевать кошечку опереточной дивы. Но сожаление усилилось, когда блистательная Шари услышала эту песенку и забрала себе. В первом же ревю Королевского театра Фёдак — в забавной маске, с таксой Буберль, в роли кошечки, на руках — с оглушительным успехом ис-

полнила эту пародийную песенку. Безымянный автор шлягера стал самым популярным композитором в столице Венгрии. Свою следующую песенку, написанную также в содружестве с Хелтаи, Кальман, отбросив ненужную щепетильность, выпустил под собственной фамилией и не прогадал — новый шлягер затмил первый...

Сочинять такие веселые, искристые мелодии — одно удовольствие, но точила мысль, что это измена своему предназначению, святой муке творчества. Ведь творчество — это тяжелый труд, бессонные ночи, черный пот неудач, изнурительных преодолений. А тут без всяких усилий с твоей стороны начинал бить музыкальный фонтанчик, успевай лишь подставлять ладони под сверкающую струю.

Оказывается, вселенная напоена дивными мелодиями, надо только уметь расслышать их в какофонии безалаберного бытового шума суетливой жизни. Ни к чему «придумывать» созвучия, искусственно возбуждая в себе творческий стимул воспоминанием древних напевов, находок великих предшественников, уроков сурового профессора Кесслера, неистового почитателя немецких романтиков; откройся потоку ликующих звуков, даруя им всеобщую жизнь в целостной, совершенной форме.

Когда Кальман принялся за первую свою оперетту «Осенние маневры» (в начальной редакции — «Татарское нашествие»), охмеленный все той же победной легкостью, его вдруг осенило: а что, если и великие: Бетховен, Шуман, Лист, Чайковский — именно так создавали свои бессмертные творения — не вымучивая величественный громозд из дремлющей души, а выражая себя напрямик с естественностью дыхания. Это откровение подарило ему крылья, и захотелось навсегда сохранить окрыленность. С симфоническими сонатными упражнениями было покончено.

Ах, какое облегчение он испытал, соединившись с собой настоящим в том светлом мире, где горе и напасти преходящи, где страдания отступают перед напором побеждающей радости, где любую беду, любую печаль ниче-

го не стоит переплавить в солнечное золото. Следует сказать, что внутренняя перемена почти никак не отразилась на его внешнем поведении. Взгляд его оставался печальным, он по-прежнему не ждал милостей от судьбы.

Встреча с театром отнюдь не способствовала пробуждению оптимизма. Прекрасное кончилось, когда он поставил точку в партитуре. Правда, потом оказалось, что это весьма условная точка. А дальше... Прежде всего — оперетту негде поставить. Старый друг, директор Ласло Беоти, отказал в дебюте молодому безвестному сочинителю музыки, в которого мгновенно превратился «самородок» Кальман, как только осмелился предложить свою «скороспелку» Королевскому (!) театру. Конечно, Беоти облек свой отказ в любезнейшую форму, он даже не отказал, а дружески предупредил Кальмана, что репертуар забит, а на очереди — несравненная «Греза вальса», вот если потом... Но как ни зелен был Кальман, он хорошо знал, что значит директорское «потом». «Старую лису не поймаетшь в самодельный капкан», — посмеивались в кофейнях, узнав о ловком отказе Беоти. «Старик пошел в церковь возблагодарить святого Антония, что тот помог отделаться от ребяческих упражнений Кальмана», — остряли в канун премьеры. «Беоти небось рвет на себе остатки волос», — зубоскалили те же остряки во время премьеры, состоявшейся в Театре комедии. Да, первая оперетта Кальмана «Татарское нашествие» была поставлена на сцене драматического театра.

Но, до того как она состоялась, Кальман прошел через все круги ада, кошмары, напоминающие больные видения Иеронима Босха. Актеры издевались над ним как хотели. Последний удар нанесла примадонна Корнаи, исчезнувшая перед самой премьерой. До этого она заявила, что ее выходная песенка никуда не годится, разрыдалась, надавала пощечин директору, была уволена и скрылась невесть где. Трясаясь в наемном фиакре от одного предполагаемого убежища дивы к другому, Кальман научился записывать ноты

на манжетах. Он сочинял новую выходную арию. С примадонной дело было наконец улажено, а Кальман утратил остатки доверия к жизни.

И все же наступило то неправдоподобное утро, когда позади осталась премьера с бесконечными вызовами, цветами, овациями, затянувшийся на всю ночь банкет — праздник победы — с речами, слезами и поцелуями, с сенсационным сообщением Мольнара, что Беоти нашли повесившимся на театральной люстре, и одуревший не от вина (он почти не пил), от усталости и успеха, оглушенный восторженными речами, помятый дружескими объятиями, зацелованный сладкими губами актрис, источавшими прежде лишь змеиный яд, Кальман обнаружил, что в полном одиночестве бредет по улице в сторону своего дома.

Утро только занялось, а трудолюбивые дворники широкими полукружьями уже гоняли метлы по будапештским тротуарам. Внезапно Кальман замер. Пожилой дворник с солдатской выправкой и седыми усами, чуть приплясывая и делая скребком ружейные приемы, напевал лучший номер оперетты: «А это друг мой Лёбль». Делал он это на редкость ловко и ритмично и, не зная, что за ним наблюдают, от души упивался театром для себя.

Кальман ушам своим не верил: трудно предположить, что дворник был на премьере или на генеральной репетиции, откуда же знает он и слова, и мелодию? И тут двигавшийся по другой стороне улицы молодой дворник отозвался своему старшему коллеге мелодичным свистом, воспроизводя ту же мелодию.

— Откуда вы знаете эту песенку? — спросил Кальман усатого дворника.

Тот глянул на кутилу во фраке и небрежно бросил:

— Кто же ее не знает?.. Весь Будапешт поет.

— А кто автор?

— Какой еще «автор»?

— Ну, кто эту песню сочинил?

— Да кто его знает!.. А вы, молодой человек, ступайте-ка домой да проспите хорошоенько.

Дворник двинулся дальше, напевая: «А это друг мой Лёбль», а Кальман пошел своей дорогой и вскоре услышал, как его песенку распевает служанка, моющая окно.

А потом он услышал, как проборматывает куплеты о друге Лёбле толстая торговка овощами и фруктами, опрыскивая водой свой аппетитный товар. Кальман остановился, ему вспомнилось.

...Начало его будапештской жизни. Благовоспитанный мальчик из хорошей, хотя и разорившейся семьи замер перед горкой спелых, налитых соком персиков, и слюна наполнила рот, — он так давно не пробовал этих прекрасных плодов. Искушение было слишком велико, и, когда торговка отвернулась, он схватил персик. Ушлая баба видела спиной, она молниеносно рванулась к нему, выхватила персик и, заметив, что тот помят пальцем, расплющила переспелый плод о лицо похитителя. Сладкая жижа наполнила глазницу, потекла по щеке, да в рот не попала. Слепленный, он кинулся бежать, наталкиваясь на прохожих, а вслед ему неслось: «Воришка проклятый! Ты кончишь на виселице!..»

Он подошел к лотку, быстрым движением схватил персик и сунул в карман. И, как прежде, торговка мгновенно обернулась, но, увидев respectableного господина, лстиво засмеялась. Кальман кинул мелочь в корзину для денег.

— Видите, я все еще не кончил жизнь на виселице, — сказал он.

— Занятный господин! — усмехнулась продавщица. — Виселица не для таких красавчиков.

— А вы мне это когда-то предсказали. Я украл у вас персик. Неужели не помните?

— Да разве всех воришек запомнишь?.. — Она вновь занялась своим делом, напевая про Лёбля.

— Вы поете мою песенку, — сказал Кальман.

— Почему вашу? Она всеяная.

Кальман как-то странно посмотрел на продавщицу: на миг ему почудилось, будто он и впрямь самозванец, похитивший общее достояние.

И еще несколько раз, пока он добирался до дома, «друг Лёбль» настигал его слух. В этот день и во многие последующие Будапешт был озабочен лишь одним: посердечнее представить своего друга Лёбля, а затем эта «зараза» перекочевала в Вену, Берлин, Стокгольм, пришла в Россию, только оперетта обрела иное название — «Осенние маневры». Об руку с другом Лёблем начал Имре Кальман свое триумфальное шествие по планете...

МАРШРУТ «БУДАПЕШТ—БЕССМЕРТИЕ»

Это было похоже на семейный совет, хотя все знали, что решение уже принято. Не скажешь даже, как это случилось, наверное, оно было заложено в самом предложении Лео Фалля, автора знаменитой «Принцессы долларов», и директора театра «Ан дер Вин» Вильгельма Карчага (дяди Вильмоша): в Вену дважды не приглашают, тем более с гарантией (пусть словесной) незамедлительно выпустить твою оперетту — в новой редакции — на сцену.

Но мама Кальман проплакала весь долгий воскресный обед, а сестры хлопали носами. Но о сестрах Имре не очень беспокоился: прослезят носовые платочки и вернуться к своим делам, а вот мама...

— Не плачь, мамочка, — в который раз просил Имре. — Я же скоро вернусь. Вена — не Аляска, всего несколько часов на поезде.

— Ты никогда не вернешься, сыночек. Не обманывай себя.

— Тогда я вовсе не поеду, — с тяжелым вздохом сказал Имре.

— погоди, Имре, ты слишком горяч, — вмешался отец, хотя к сыну такое определение подходило как к холоду

из судака. — Тебя пригласили директор театра «Ан дер Вин» и сам Лео Фалль, разве таким людям отказывают? Это твой величайший шанс.

— Но раз мама не хочет...

— Мама — слабая женщина, но от тебя я ожидал большего мужества и... благоразумия. Все-таки ты сын крупного коммерсанта... Пробовал ты подсчитать, сколько может дать твоя оперетта, исходя из численности населения Будапешта и даже всей Венгрии?

— Пробовал, — скромно сказал сын и вынул из жилетного кармана какой-то листок. — Тут несколько вариантов. Первый — если каждый житель ходит на спектакль один раз, второй — если он ходит дважды, третий — если трижды.

— Оказывается, ты вовсе не такой безумец! — с легким удивлением и законной отцовской гордостью проговорил старый Кальман. — Вот что значит хорошая наследственность. Итак — общий вывод?

— Будапешт не самый большой город в мире...

— Это не главное...

— Я не договорил. Никто из наших не вырвался на мировую сцену. Якоби мечтает о Франции, Сирмаи — об Америке...

— Есть еще Ференц Легар.

— Он стал Легаром, когда уехал в Вену. Здесь провинция, отец.

— К сожалению, ты прав. У нас великолепные композиторы, отличные театры, талантливейшие актеры, но мы — задворки Австро-Венгерской монархии. Изменить это не в силах ни я, ни ты, даже великий Кошут потерпел поражение. Значит, надо принять приглашение. Пора более энергично помогать семье. В тебя был вложен капитал, хотелось бы увидеть проценты.

— Какой капитал? — больным голосом спросила мама Кальман. — Что ты несешь?.. Мальчик работал с десятилетнего возраста.

— Пройдем в кабинет, Имре, — чуть нервно сказал папа Кальман. — Мне надо дать тебе несколько деловых советов.

— Только не слушай их, сынок, не то останешься банкротом. — И, пустив эту отравленную стрелу, мама Кальман залилась тихими слезами.

Отец с сыном вошли в кабинет.

— Имре, тебя, конечно, удивит, что твой старый отец собирается наставлять тебя в музыке. Но тот, кто разбирается в зерноторговле, разбирается во всем. Мама считает меня негодным коммерсантом, потому что я разорился. Но ведь моя цель в ту пору была — Шиофок, а не личное обогащение. И разве я не достиг чего хотел?.. Шиофок — жемчужина Венгрии. Ты едешь в Вену — это правильное решение, единственно правильное, здесь каши не сварить. Будапешт — место для непризнанных гениев, талантливых неудачников или всего добившихся старцев, как Ференц Лист. Прежде чем перейти к главному, скажи: после возвышенных «Сатурналий» тебе противно писать о своем друге Лёбле?

— Ничуть! — искренне ответил Имре. — У меня — как гора с плеч. Я тянулся за Бартоком и Кодаем, но это все не мое. А теперь я нашел себя. Только поди объясни это критикам.

— А зачем? Ну их к бесу, этих злобных неудачников. Ты создан для успеха, для настоящего, большого успеха. Но венцы не лыком шиты. Не пытайся победить наследников Штрауса их же оружием. Это удалось Легару, но он оплатил успех потерей своей венгерской сути. Он растворился в стихии венского вальса. Сладкий, плавный, нежный вальс! Тут тебе не переплюнуть Легара. Твой слух воспитан чардашем. Держись за него, и он вынесет тебя на гребень волны. Сохрани лицо — это главное. И у тебя есть юмор, плутишка! Используй его. Ты победишь. Поверь человеку, знающему толк в делах. Ничто так не близко друг другу, как оперетта и ком-

мерция. Кстати, одолжи мне двести шиллингов, чтобы стало ровно шестьсот сорок. За мной не пропадет... Не будем устраивать пышных проводов и волновать мамочку. Завтра я сам отвезу тебя на вокзал.

Так и сделали. Папа Кальман говорил без умолку и этим не то чтобы скрасил, а смазал тягостные и патетические минуты расставания. Имре опомниться не успел, как они оказались на перроне Восточного вокзала. Поезда давно подали, на вагонах висели дощечки «Будапешт — Вена». Предъявив билет кондуктору, отец с сыном прошли в купе, пристроили в сетке тощий чемоданчик путешественника, и почти сразу ударил вокзальный колокол.

Потом Кальман часто вспоминал, как отец, все убыстряя шаг, но неуклонно отставая, бежал за поездом — одна рука на сердце, другая размахивает шляпой — и кричал:

— Полный вперед, мой мальчик! Маршрут: «Будапешт—Бессмертие!»

ПАУЛА

В тот вечер Кальман, как всегда, отправился в кафе неподалеку от театра «Ан дер Вин», где собиралась венская театральная, музыкальная и литературно-журнальная братия. Лавируя между столиками, он слышал злобные пересуды завсегдатаев:

— ...новый венгерский сувенир. Пришел, увидел, победил!..

— Это все Лео Фалль. Приволок его сюда после триумфального шествия по будапештским борделям.

— Если хотите начистоту: музыка «Осенних маневров» вовсе не опереточная. Она слишком перегружена...

— Вы с ума сошли! Этот мужлан не знает азов...

— Простите, он все-таки ученик Кесслера!

— Он недостойн своего учителя. Старик переворачивается в гробу.

— Кесслер живехонек.

— Не думаю. Его убили на «Осенних маневрах»...

Кальман невозмутимо продолжал свой путь. Он привык к змеиному шипению «знатоков» оперетты, к свирепым — порой до неприличия — разносам критиков (они будут преследовать его и за гробом), к завистливым сарказмам менее преуспевших коллег — триумф «Осенних маневров» в Вене был оглушителен, и этого не могли простить «ревнители классических традиций» и злые карлики, крутящиеся возле искусства. Такие овации выпадали лишь на долю Йоганна Штрауса, изредка Миллекера, Целлера, но то были коренные венцы, позднее фурор произвела «Веселая вдова» Ференца Легара, но за привычными венскому уху созвучиями знатоки не уловили новаторства венгерского маэстро. А с Кальманом получилось черт знает что — пряное, переперченное блюдо дерет и обжигает глотку, а тянешься почему-то за новым куском. Необычно, неслыханно, неприемлемо по ритму и всему музыкальному языку. Легар искупал грех своего происхождения изумительным мелодическим даром и приверженностью к вальсу, а этот будапештский мужлан бьет по ушам цыгано-венгерским чардашем. Но театр содрогается от восторгов, померкли недавние кумиры, и рутине, косности, глухоте к новому остается последнее прибежище — злоязычие.

Конечно, приятно, когда тебя напропалую хвалят, когда тобой все восхищаются, но Кальман, понимая, что находится на вражеской территории, довольствовался признанием нескольких друзей и успехом у рядовой публики, подтверждавшей свою любовь самым прямым и надежным способом: сплошными аншлагами.

И он, не убыстряя шага, спокойно шел сквозь строй карателей, не отзываясь ни вздрогом плоти, ни вздрогом души на удары словесных шпицрутенов.

Он пробрался в дальний угол кафе, где сидела компания его венских знакомых, заказал кружку пива и уселся чуть в сторонке, слившись с тенью своим костюмом, тем-

ным галстуком и загорелой лысоватой головой. Ухоженные корректные усы дарили завершающий штрих внешности преуспевающего делового человека.

К столику подошли еще трое: двое элегантных мужчин и высокая стройная дама с плавной, чуть лунатической повадкой. Дама, видимо, хорошо тут всех знала и не испытывала к присутствующим повышенного интереса. Привлек ее тихий человек, сидящий чуть на отшибе. Возможно, его изолированность задела отзывчивое сердце.

— Здравствуйте, — сказала она, улыбнувшись какой-то далекой улыбкой. — Наконец-то новое лицо. Будем знакомы — Паула.

— Кальман, — приподнявшись, назвал себя композитор.

— Эммерих? — сказала дама и рассмеялась.

Он не понял причины ее внезапной веселости.

— Эммерих... К вашим услугам. Дома я — Имре.

Женщина снова засмеялась. Возможно, перед приходом сюда она выпила бокал-другой, чем и объяснялась эта беспричинная смешливость. Ее бледное, с ореховыми глазами и тенями под ними, с мягкими чертами лицо не говорило о природной веселости, скорее — о глубоко запрятанной печали.

— Приятно быть тезкой и однофамильцем знаменитости?

— Не знаю, — серьезно ответил Кальман. — Мне не доводилось.

— Но вы же Имре Кальман? Или я совсем оглохла?

— Имре Кальман.

— Автор «Осенних маневров», что свели с ума старушку Вену? — Она опять засмеялась.

Недоумение Кальмана росло. Женщина ему нравилась, но сейчас в нем стало закипать раздражение.

— Да, да, да!.. «Осенних маневров» или «Татарского нашествия» — как вам будет угодно.

— Кальман — высокий блондин с волосами до плеч. У него романтическая внешность, и все женщины от него без ума.

— Точный портрет!.. Спросите этих господ...

— Они вечно всех разыгрывают. Надоело. Вы трепач, но симпатичный. Я люблю таких людей, хотя всю жизнь имела дело с горлопанами и устала от них. Только зачем вы врете? — И очень музыкально, поставленным голосом она запела: — «Дас ист майн фройнд дер Лёбль».

В углу стояло миниатюрное французское пианино. Кальман подсел к нему и заиграл импровизированный вариант шлягера, переведя мелодию в вальс из своей оперетты. Он проделал это с редкой виртуозностью, украсив финал головоломными пассажами.

— Паула, — сказала женщина, протянув ему тонкую породистую руку; она не забыла, что уже называла себя, просто зачеркивала первое, несерьезное знакомство.

— Имре Кальман, — поклонился тот.

— Теперь я и сама знаю. Я влюблена в вашу музыку. Ни у кого нет такой свежести. Венцы надоели, они все повторяют друг друга.

— Тем горше разочарование... — сказал Кальман и покраснел.

— Разочарование — в чем?

— Исчез высокий романтический герой, любимец женщин.

— Ну и черт с ним! — прервала Паула — Это такая скука — я знала бы наперед каждое его слово. Все высокие блондины одинаковы, как венские вальсы.

— Боже мой, вы дарите мне надежду... — Кальман опять смутился и замолчал.

Паула смотрела на него дружески, даже нежно.

— Какой вы милый! Вы еще не разучились смущаться. Договаривайте!

Раз в жизни надо уметь решиться, и Кальман со смертью в душе произнес:

— Уйдем отсюда.

Паула даже не оглянулась на своих спутников...

...Они шли по ночной Вене, выбирая тихие улицы со спящими деревьями.

— Мне нравится слушать, а не говорить, — убеждала Кальмана Паула — А вы, наверное, чересчур намолчались в нашей Вене. Я же знаю всех этих людей: они начисто лишены способности слушать. Все сплошь остроумцы, блестящие рассказчики, спорщики, трепачи.

— Я не большой говорун, — признался Кальман. — Куда охотнее слушаю других.

— Тогда мы оба будем молчать.

— Это не так плохо.

— Но не с вами. Мне многое интересно. Вы блестящий пианист, но в легенде о Кальмане об этом не упоминается.

— Вы затронули мое больное место. Я мечтал стать виртуозом. А потом со мной случилось то же самое, что с моим кумиром Робертом Шуманом — отказал сустав мизинца. Один сустав, но все было кончено. Правда, в случае с Шуманом мир потерял неизмеримо больше, но для меня лично это оказалось тяжким ударом.

— А кто ваш главный кумир?

— Ну как у всех венгров — Ференц Лист. Но, если по секрету, — Чайковский.

— Скажите, Имре, как случилось, что вы выскочили, точно чертик из банки? Где вы были раньше?

— Писал серьезную музыку. Кроме того, дебютировал в качестве адвоката и позорно провалился. Потом плаюнул на все и занялся своим настоящим делом.

— Вы совсем не похожи на автора легкой музыки.

— Вы хотите сказать, что я скучный человек?

— Нет. Серьезный. Это совсем другое.

— Легкая музыка — дело серьезное. И разве вы не замечали, что комики, юмористы, клоуны, паяцы, все профессиональные весельчаки — грустные люди... Скажите честно, я вам уже надоел?

— Нет.

\ — Вас ждет друг?

— У меня нет друга... Только прошу вас, не предлагайте мне дружбы.

— Почему? — огорчился Кальман.

— Потому что она уже принята.

— Вы пойдете ко мне? — сказал Кальман и умер.

— Конечно, — услышал он и воскрес.

— Вы будете первой... первой... — Дыхание его пресеклось.

— Не станете же вы утверждать, что я буду первой женщиной в вашей жизни? — отчужденно сказала Паула.

— Нет, конечно. Но первой порядочной женщиной...

«ЦЫГАН-ПРЕМЬЕР»

Завоевать успех оказалось куда проще, чем его сохранить, а тем более развить. Кальман слишком заторопил путь к славе. Не дав публике оправиться от потрясения «Осенними маневрами», он наскоро сработал «Отпускника» и поставил в Будапеште. Нельзя сказать, что это был полный провал, но новых лавров молодой композитор явно не стяжал. Венский вариант — «Добрый товарищ», несмотря на серьезные исправления в либретто и перемену названия, постигла та же судьба. Поезд в Бессмертие оказался вовсе не курьерским, а пассажирским — со всеми остановками.

Склонному к панике Кальману уже мерещился материальный и моральный крах, бесславное возвращение по шпалам домой во тьму забвения. Но рядом была умная, преданная и мужественная Паула Дворжак, она не дала ему пасть духом, опустить руки. Кальман всегда придавал большое значение быту, Паула устроила его жизнь так, что и в минуты крайнего упадка сил Кальман не шел на дно. Они занимали скромное, но отмеченное артистическим вкусом Паулы жилье, на улице,

носившей символическое, как считал Кальман, название Паулянергассе. Тут не было ничего, что связывалось у сына шиофокского зерноторговца с представлениями о богатстве: ни ампирной мебели, ни антиквариата, никаких хрупко-шатких безделушек, но красивый букет на столе, два-три офорта на стенах, яркая ткань, небрежно кинутая на диван, веселые занавески придавали неброскому обиталищу уют и даже изящество. И был вкусный, обильный стол — любимую ветчину он покупал собственноручно, остальное будто падало с неба, — крайне осмотрительный в денежных тратах Кальман не расщедрился на хозяйство. Но они жили, держали бестолковую, зато дешевую служанку-кухарку, не жалели крепкого кофе для либреттистов, изредка принимали друзей.

Паула заботилась не только о требовательной плоти Кальмана, она внушала ему: не стремись быть таким, как другие, ищи свое.

Старый будапештский цыган-скрипач Радич, сам того не ведая, помог Кальману вернуться к себе настоящему. Радич был типичным ресторанным цыганом: он ходил от столика к столику со своей скрипочкой, в потертых бархатных штанах и жилетке, что отвечало традиционному образу «сына шатров», не брезгуя подачками, охотно принимая кружку пива или стакан вина; Кальман поднял его на высоту артиста, вложил ему в руку скрипку Страдивария и дал грозного соперника в любви и музыке — родного сына Лачи, виртуоза новой формации. Либреттисты Вильгельм и Грюнбаум — под ревнивым присмотром самого маэстро — силились как можно эффектной развенчать уходящую романтику в образе Радича — Пала Рача и привести к заслуженной победе его сына, человека сегодняшнего дня с консерваторским образованием и светским лоском. Поскольку Кальман в глубине души был на стороне развенчанного кумира с его необузданным нравом и стихийным даром, всю музыкальную силу он отдавал старому цыгану-примасу.

Кальман не принадлежал к тем композиторам, что сочиняют музыку про себя, хотя, случалось, набрасывал целые номера прямо на крахмале манжет, ему необходимо было, чтобы звуки немедленно обретали жизнь в пространстве. И он обычно импровизировал за роялем, ища нужные созвучия.

Он любил работать в ранние утренние часы, когда Паула бесшумно прибирала в комнатах, — они не мешали друг другу. Но в тот раз рояль вдруг зазвучал как-то необычно, словно решив открыть свою тайную душу, и Паула замерла, совсем забыв об уборке. В том, что играл Кальман, звучала пронзительно-печальная скрипка одинокого цыгана его детских грез. Кальман кончил играть. Паула подошла к нему, обняла.

— Как хорошо, Имре!.. Но я не пойму, это твое или народное?

— А я и сам не пойму, — простодушно отозвался Кальман. — Года два назад я встречался с Дебюсси в Будапеште. Он тогда открыл для себя венгерскую народную музыку и влюбился в нее. И заклинал нас шире пользоваться народным мелосом. Не копировать, конечно, а пытаться передать его свободу, скорбь, ритм и дар заклинания. Недавно я вспомнил, что мой отец говорил то же самое, что и великий Дебюсси: держись за свою землю. А я польстился на австрийские штучки. Короче говоря, «Цыган-премьер»...

— Писатели пришли! — объявила, заглянув в комнату, краснорожая от жара плиты кухарка.

— Меня нет! — тонким голосом вскричал Кальман и кинулся в спальню.

Паула вышла в коридор и почти сразу вернулась.

— Имре, выйди, что с тобой?

Кальман осторожно глянул, на лице его истаивал след пережитого испуга.

— Это твои либреттисты. Ты же сам им назначил.

— Чертова баба! — рассвирепел Кальман. — Зачем она заорала «писатели»?

— Ты хочешь, чтобы кухарка так тонко разбиралась в литературе?

— У нас в семье «писателями» называли судебных инспекторов, которые описывали имущество после банкротства отца. У меня навсегда остался страх перед этим словом. Вообще все дурное во мне с той поры. Это был слом жизни, потрясение, от которого я так и не оправился. Я был веселым, приветливым, доверчивым мальчиком, но после мне уже никогда не было хорошо. Когда кухарка крикнула: «Писатели!» — я сразу решил: ты наделала долгов, и нас пришли описывать.

— Может, хватит?.. Давай лучше поговорим об оперетте. Как все-таки вы ее называли?

— Мне хотелось «Одинокий цыган» или «Старый цыган», но либреттисты настояли на «Цыгане-премьере». Австрийская традиция: если девка, то непременно «королева», «принцесса», на худой конец, «графиня», если цыганский скрипач, то «премьер». «Одинокий», «Старый» — грустно, а оперетта не терпит грусти. Хотя у меня речь пойдет как раз о неудачнике. Но пока публика разберется, дело будет сделано. Надо было отстоять свое название, но я боюсь провала. Особенно после неудачи «Отставника». Я всего боюсь: новых знакомств, директоров, критиков, людей в форме. Я смертельно боюсь провала и больше всего, с детства, боюсь нищеты. Я не завистливый человек, но завидую Шуберту. Он был кругом неудачлив, а пел: «Как на душе мне легко и спокойно». Вот счастливый характер!

Паула пристально смотрела на него.

— Удивительная исповедь!.. До чего странно слышать такое от создателя легкой музыки.

— Я, наверное, извращенец. Чем мне грустнее, тем больше хочется писать веселую музыку.

— Чудесно! Ты опереточный композитор милостью Божьей. Это твой разговор с людьми, Богом и собственной душой.

— Когда я выбрал оперетту, то вовсе не думал об этом, — признался Кальман.

— Естественно! Потому что не ты выбрал оперетту, а оперетта выбрала тебя.

Кальман посмотрел на Паулу с тихим изумлением.

— Ты все оборачиваешь в мою пользу.

— Я говорю чистую правду. И если хочешь знать, насколько я серьезна, то выслушай не совсем приятное. Твоя способность создавать легкую музыку из тягот жизни когда-нибудь очень тебе пригодится. У твоего отца диабет, у меня пошаливают легкие, а наша старая такса совсем ослепла.

— Не надо! Не хочу! — замахал короткими руками Кальман.

— Надо, милый... Дай миру вальс из сахарной болезни, чахоточный канкан и матчиш слепоты.

— Ты страшновато шутишь, Паула.

— Самое страшное, что я вовсе не шучу.

— Писатели пришли! — объявила краснолицая кухарка.

Кальман побледнел. Паула бросила на него укоризненный взгляд.

— Милый, возьми себя в руки. Поработай хорошенько с Грюнбаумом и Вильгельмом и не давай им спуска. Трагедия оперетты — идиотское либретто.

— Уж я-то знаю! Хорошо было Оффенбаху, он пользовался пьесами Галеви и Мельяка.

— Выжми сок из этих завсегдатаев кофеен. Опрокинь на них, как помойное ведро, весь свой дурной характер.

— Постараюсь, — заверил Кальман.

— И мне будет немного легче, — пробормотала Паула про себя, отправляясь за либреттистами...

...Чем ближе подступал день премьеры, тем сумрачнее становился Кальман. И было с чего...

Он всегда приходил в театр до начала репетиции. Незаметно садился где-нибудь в сторонке и грустно размышлял

о том, какие новые огорчения и каверзы готовит ему грядущий день.

В этот раз он едва успел занять место в полутемном зале, как к нему подседа субретка.

— Доброе утро, маэстро... До чего же точно вы назвали вашу оперетту «Цыган-премьер». Тут действительно один премьер — Жирарди, Александр Великий, как зовут его прихлебатели, остальные все — статисты.

— Вы недовольны своей партией?

— Ее просто нет! — И субретка вскочила с подавленным рыданием.

Кальман был достаточно опытным композитором и знал, что за этим обычно следует: хорошо, если просто истерика, куда хуже — отказ от роли.

Он задержал актрису за руку.

— Сговоримся на дополнительном дуэте во втором действии?

— Мало, — жестко ответила крошка. — Мне нужна выходная песенка.

— Идет! Но вы будете хорошей девочкой и — никаких интриг против Жирарди.

— А песенку правда напишете?

— Слово!

— Где вы их берете?

— Я набит ими по горло. — Он отпустил руку субретки, и та упорхнула.

Кальман вынул крошечный позолоченный карандашик и, поскольку под рукой не было ни клочка бумаги, стал записывать ноты прямо на манжете.

На стул рядом с ним тяжело опустился первый комик.

— Эта интриганка что-то выпросила у вас, — сказал он мрачно. — Я все видел. У меня нет ни одного танцевального ухода. Вы же знаете, что мое обаяние в ногах.

— Да уж, не выше, — пробормотал Кальман.

— Что?.. Не поняли?.. Или вы дадите мне уход...

— Да! Уже дал. Но перестаньте сплетничать.

— Маэстро, как можно?.. — И довольный комик покинул Кальмана тем самым «уходом», который составлял его обаяние.

Пришлось пустить в дело вторую манжету. За скоропалительным творчеством Кальман проглядел начало репетиции. Очнулся он, когда Жирарди проходил свою коронную сцену.

Жирарди старался превзойти самого себя. Но Кальман, застенчивый, молчаливый, к тому же омраченный театральными склоками, равно как и боязнию провала, ничем не выражал своего восторга. Не выдержав, Жирарди оборвал арию и, наклонившись со сцены к сидящему в первом ряду автору, крикнул:

— Может, я вам не нравлюсь, приятель? Скажите прямо. Это лучше, чем сидеть с таким насупленным видом.

Все замерли. У режиссера округлились глаза от ужаса. Кальман, выведенный из своей прострации, не знал, что ответить. Разгневанный любимец публики сверлил его своим огненным взглядом. Премьера повисла на волоске.

— Я молчу, господин Жирарди, лишь потому, что слишком потрясен, — наконец проговорил Кальман. — У меня просто нет слов.

— Хорошо сказано, сын мой! — вскричал растроганный актер. — Дай я прижму тебя к своей мужественной груди. Не стесняйся, обними меня. Только не слишком крепко, мне надо сохранить ребра для премьеры.

Кальман встал, и они крепко обнялись, к великому облегчению присутствующих...

Вечером Кальман жаловался Пауле:

— Они вертят мною как хотят. Разве мне жалко лишней арии, дуэта или шуточных куплетов? Но ведь существует целое, не терпящее лишнего. Даже великая ария, если она не нужна, портит спектакль. Как можно быть настолько эгоистичными?

— Неужели ты до сих пор не понял актеров? — удивилась Паула. — Я ведь сама играла на сцене. Актеры — это

дети, злые, легкомысленные, жадные и себялюбивые дети. Им наплевать на спектакль, лишь бы несколько лишних минут прокрутиться на сцене. Их извиняет только детскость, они не ведают, что творят. Но ты должен стать императором.

— Что-о?..

— Им-пе-ра-то-ром! Чтобы они ползали перед тобой на коленях!

— Этого никогда не будет, — со вздохом сказал Кальман.

— Будет. Ты сам себя не знаешь. Еще один такой успех, как у «Осенних маневров», и в Вене станет два императора: престарелый Франц-Иосиф и молодой, полный сил Имре Первый.

Кальман не поддержал ее шутовского тона.

— Несуеверно грезить о величии накануне премьеры. Все шансы, что я окажусь не на троне, а в помойной яме.

— Перестань, Имре! Это становится невыносимым. Все страхи уже позади. Жирарди, сам говоришь, бесподобен, актеры обожрались своими ролями, оркестр сыгран, постановка — по первому классу. Любопытство публики раскалено..

— Тем хуже, тем хуже! — перебил Кальман. — Не всем по вкусу венгерская кухня.

— Что ты имеешь в виду?

— Это самая венгерская из моих оперетт. Я сделал ее на радость отцу. И еще у меня была мысль. Я даже тебе боялся признаться. Как бы ни сыграли «Цыгана» в Австрии, в Будапеште должны сыграть лучше. Я думал выгнать наш театр в Вену. Будапештская оперетта не высовывала носа из своего закутка. С этим нельзя мириться. И я дал увлечь себя беспочвенному патриотизму.

— Но это же прекрасно, Имре! — вскричала Паула. — Ты благородный человек!

— Самонадеянный дурак!. Какой успех, какие гастроли?.. Кого интересуется старый цыган-неудачник?.. Им подавай принцесс и баронов.

— Музыка превосходна, и сюжет трогателен...

— Этого мало для успеха. Ах, Паула, ты же работала в театре и сама все знаешь. Жирарди выпил холодного пива на ветру и охрип, в примадонну стрелял любовник, дирижер подавился куриной костью, в середине действия погас свет на сцене, субретка забыла роль, умер двоюродный брат эрцгерцога, и объявлен малый траур, Турция напала на Бразилию, и Австрия не может остаться в стороне, в Кувейте поднялись цены на нефть. Герой-любовник шагнул с пистолетом к рампе, и рамолизированный сановник громко икнул со страха. Я уж не говорю о том, что сгорели декорации и умерла любимая кошечка директора. Все погибло, Паула, бедное дитя мое, зачем ты связала жизнь с таким несчастным человеком?!

— Успокойся, Имре. Жирарди бережет свое здоровье, как восьмидесятилетняя старуха миллионерша, у примадонны нет любовника, она любит женщин, сановник-рамоли умеет себя держать и ни при каких обстоятельствах не издаст лишних звуков, театр не сгорел. Все будет прекрасно, и твои родители будут гордиться великим сыном.

— Родители?.. Ты вызвала родителей? Этого еще не хватало. Бедный папа, он и так ослаблен диабетом, ему не выдержать провала.

На глаза Кальмана навернулись слезы.

— Горе ты мое!.. Твой отец веселый и мужественный человек. В кого ты такой нудный?

— В мамочку, — ответил сквозь слезы Кальман.

— Твоя мать спокойная, выдержанная женщина.

— Была когда-то. А сейчас все ее спокойствие на слезе.

— А ты чего так развалился?

— Брата вспомнил... Бедный Бела!.. Такой преданный и самоотверженный... отец постоянно ставит его мне в пример. Совсем больной, а работает не покладая рук... р-ради семьи...

— Он, видать, прекрасный парень. А не такой слюняй, как ты.

Рыдания душили Кальмана.

— Успокойся, милый, хватит!.. По-моему, ты расслезился на какой-нибудь хорошенький шлягер или бравурный марш. Скорей за инструмент, не теряй даром времени.

— Вечно ты смеешься надо мной, — укорил Паулу Кальман, — а мне так тяжело здесь, — указал он на кармашек куртки, подразумевая сердце, и, шаркая ногами, пошел к инструменту.

Паула налила в блюдце молока и отнесла слепой таксе. Когда она вернулась, ее встретила бравурная мелодия, которой еще мгновения назад не существовало. Через годы и годы мелодия всплывет в сознании Кальмана и станет всемирно знаменитым дуэтом «Поедем в Вараздин!..».

...Паула и Кальман спали на широкой двуспальной, настоящей бюргерской кровати, способной вместить человек шесть. Тонкая рука Паулы невесомо покоилась на груди Кальмана, словно защищала его сердце.

Кальман спал тихо и печально, как и бодрствовал. Но вот дрогнули намеком на улыбку уголки губ: ему снился одинокий цыган, милый призрак детских лет, предвестник удачи. Цыган играл, забирая все выше и выше, вознося душу к бездонному небу, и вдруг с отвратительным звуком лопнула струна.

Кальман закричал, проснулся и сел на кровати.

— Что с тобой, милый?

— Это ужасно — лопнула струна!

— Какая струна?

— Я говорил тебе о своем детском видении... Одинокий цыган... Я увидел его, и мне стало хорошо. И вдруг у него лопнула струна. Это страшное предзнаменование — провал премьеры.

— Но ведь и у Жирарди должна лопнуть струна в конце: ты что — забыл?.. Вот если она не лопнет, будет фиаско. А так это примета успеха...

И — лопнула струна у Жирарди в финале оперетты, старый цыган признал, что его время прошло, и уступил

сыну-победителю и юную прелестную Юлиану, и своего бесценного Страдивария, а зрители плакали, бешено аплодировали и вопили от восторга.

Забившийся в артистическую уборную Имре Кальман слышал приглушенный, но грозный рев. Он устало закрыл глаза и всей душой впитывал божественный грохот освобождающегося от льда Балатона. Свершилось!.. Свершилось!.. Он медленно разомкнул веки, промокнул лицо носовым платком, привычно засучил рукав и принялся писать на манжете, только не нотные знаки, а колонки цифр.

За этим занятием его застал ворвавшийся в артистическую папа Кальман.

— Ты с ума сошел?.. Почему не выходишь?.. Зрители разнесут театр... — И тут он заметил письма на манжете сына, когда тот опускал рукав. — Ты подсчитывал выручку, солнышко?.. Дай я тебя поцелую. Вот настоящий финал «Цыгана-примаса»...

Старики Кальманы засиделись допоздна.

— Стоит ли вам идти в отель? — уговаривала их Паула. — Наша спальня к вашим услугам.

— Что ты, девочка, мы уже давно не спим вместе, — со скорбным видом отозвался папа Кальман. — Моя жена ко мне охладела.

— Охладешь, когда ты раз двадцать за ночь бегаешь в туалет, — не очень-то любезно отозвалась его супруга.

— Зачем такие подробности?.. Из-за диабета я много пью...

— Пива... — подсказала жена.

— Даже сумасшедший успех сына тебя не смягчил...

— Я не могу равнодушно смотреть, как ты себя губишь...

— Но согласишься, что это чрезвычайно затяжной способ самоубийства. Я тебе крепко надоем, прежде чем отправлюсь на тот свет. Пойдем, Имре, в кабинет, здесь нам все равно не удастся поговорить.

Мужчины перешли в кабинет.

— Если б несчастный Бела видел твой сегодняшний триумф! — надрывно сказал старик Кальман. — Бедный мальчик, он даже на день не сумел вырваться.

— Теперь я могу увеличить вам содержание, — поспешно сказал Имре.

— Ты тоже неплохой сын, — сухо зато одобрил отец.

— У меня неважно шли дела... Но сейчас...

— Покажи-ка манжету. Ты подсчитал только венские доходы. Но «Цыган» уже ставится в Будапеште.

— Да, я очень рассчитываю на эту постановку. Моя мечта — привезти нашу оперетту в Вену.

— Вот за это хвалю. Родину нельзя забывать. И родных... Полагаю, что спектакль пойдет и в Германии, и в России, и в Париже...

— Не будем так далеко заглядывать...

— Надо смотреть вперед. Не забывай, как дорого стоит мое лечение.

— Вот на этом нельзя экономить. Я хочу показать тебя лучшим профессорам.

— Ты и без того заморочен, Имрушка. Дай мне деньги, я схожу сам.

— Твое здоровье для меня важнее всех дел, — твердо сказал сын.

— У тебя есть характер! — восхитился старый Кальман. — На сцене ты был похож на пингвина.

— А я думал, на императора!

Старик Кальман не понял.

— Оценил ты отцовские советы?... Держись за чардаш, как утопающий за соломинку. Я не специалист, Имрушка, но это прекрасная работа. Она пахнет нашей землей. Я проплакал весь спектакль и осушил слезы, лишь увидев, как ты подсчитываешь выручку на манжетах. В ожидании будущих благ ссуди мне тысячу двести монет, чтобы долг мой округлился до...

— Трех тысяч ста семидесяти восьми шиллингов, — быстро сказал Имре.

— Какая голова! Если б ты не был композитором, то стал бы министром финансов. Впрочем, тебе и без того недурно, плутишка! Кто мог подумать, когда ты прыгал под окном у Лидля, что ты так далеко пойдешь! Теперь он должен прыгать под твоим окном, чтобы научиться делать деньги. Кстати, нигде так не воруют, как в музыке, разве что в благотворительных комитетах. Лучше сочинять с помощью немой клавиатуры... Мы все-таки пойдём, мой мальчик. Только не надо нас провожать. Мы пойдём не спеша и нежно, как ходили молодоженами. Мать на людях ворчит, но любит меня, как в первый день. Ее понять можно. Дай я тебя поцелую. Если б не надорванное здоровье нашего дорогого Белы, я был бы вполне счастлив...

...И вот они опять встретились в Будапеште. В том же кафе, что и много лет назад, когда Кальман принял свое героическое решение, и даже за тем же столиком. Чуть запоздавший Кальман поспешил сделать заказ.

— Порцию сосисок с томатным соусом. Чашечку кофе.

— Что я слышал — ты уже покидаешь нас? — как всегда громко, чтобы всем было слышно, накинулся на него Мольнар. Он по-прежнему царил в артистическом кружке.

— Увы, да. И очень скоро. — Кальман глянул на часы. — Обниму друзей — и на вокзал. Саквояж со мной.

— Нехорошо, Имре. Ты помнишь, что случилось с Антеем?

— Разумеется. Его задушили в воздухе.

— Потому что он дал оторвать себя от матери-земли. Нельзя отрываться от родины.

Официант принес сосиски, кофе и поставил перед Кальманом.

— А я и не отрываюсь, — сказал Кальман, принимаясь за сосиски. — Кроме того, у меня толстая шея, меня мудро задушить.

— Да, после «Цыгана» — это впрямь нелегкая задача, — усмехнулся Мольнар, — хотя и соблазнительная.

— Что вам сделал мой бедный «Цыган»? Вы все на него кидаетесь!

— Я — нет. Я кинулся тебе на грудь после премьеры. Но, знаешь, тут все бедные, а от «Цыгана» несет деньгами.

— Боже мой, как все любят считать в чужом кармане! — вздохнул Кальман. — Денег у меня никогда не будет...

— Ты слишком расточителен... Эй, приятель, что вы делаете? — закричал Мольнар на официанта, хотевшего унести тарелку Кальмана. — Господин едет в Вену. Слейте соус в стеклянную банку и вручите ему.

— Слушаюсь, — бесстрастно сказал официант.

— Ты недобро шутишь, Ференц. — Кальман дрожащими пальцами достал сигарету и чиркнул спичкой.

— Безумец! — закричал Мольнар. — Мог бы прикурить от моей сигары.

Странно, но после второй выходки Мольнара Кальман не дрогнул.

— Мне понравилось твое сравнение с Антеем, — сказал он благодушно. — Но ведь родина — не только земля или трава. Для меня наш старый Королевский театр тоже родина. И эта родина явится ко мне в Вену. Не Магомет к горе, а гора к Магомету.

— Что это значит, Магомет?

— А то, любезный Мольнар, что я добился приглашения нашей труппы в Вену с «Цыганом-премьером».

— Ну, знаешь!.. — И впервые острый, находчивый Мольнар растерялся: приглашение в Вену было заветной и, как все считали, несбыточной мечтой будапештской оперетты.

— Вот ваш соус, — сказал официант.

— Благодарю вас. — Кальман хладнокровно опустил банку в карман плаща. — До встречи на новой премьере, друзья мои!..

И когда он отошел от столика, Мольнар сказал грустно:

— Похоже, этот парень становится мне не по зубам...

И все же Кальман еще не был императором. Не так-то легко вытравить из человека страх перед жизнью. Понадо-

бится немало лет, взлетов и падений, горестей, тревог, труда и упорства, чтобы сбылось предсказание Паулы.

Но зато вся Вена повторяла шутку Легара, что после «Цыгана-примаса» старый «Иоганн Штраус-театр» надо переименовать в «Имре Кальман-театр». Прозвище держалось недолго — до оглушительного провала «Маленького короля» в исходе того же года...

БУНТ ПАУЛЫ

Даже самый умный и осмотнительный человек не застрахован от повторения своих ошибок. Легче извлекать уроки из чужих промахов и заблуждений, нежели из собственных. Известно, что наши недостатки — оборотная сторона наших достоинств, и расщепить это единство невероятно трудно. Во всяком случае, Кальман — в точности — лишь с большей поспешностью повторил промах своего театрального начала: еще не истек год великого триумфа «Цыгана-премьера», как на сцене театра «Ан дер Вин» появился скороспелый «Маленький король» и бесславно пал. По обыкновению тяжело пережив неудачу, Кальман засел за «Барышню Суси» и, хотя порой испытывал ту подъемную, крылатую легкость, которую называют «вдохновением», сам чувствовал, что, подобно поезду, сошедшему с рельсов, валится под откос. Тема оставляла его равнодушным, и он скинул все заботы о либретто на ненадежные плечи Ференца Мартоша, так плохо распорядившегося сюжетом «Маленького короля», и помогавшему ему Броди.

Меж тем наступило лето 1914 года, воздух был наэлектризован предвестьем грядущих потрясений, и мрачному, раздраженному Кальману казалось, что земля уходит из-под ног.

Все началось с того, что, уже одетый на выход, но в пижамных штанах, Кальман нетерпеливо и настырно рылся в платяном шкафу.

— Милый, что ты ищешь? — послышался голос Паулы из ванной комнаты. — Я тебе подам.

— Я ишу свои старые брюки-дипломат.

— Зачем они тебе понадобились? Что, у тебя мало новых брюк?

— Новых? — с великим сарказмом повторил Кальман. — Весь мир — пороховая бочка. Вот-вот вспыхнет война, самое время занаскивать новые штаны!

— Прости, но какая связь между надвигающейся войной и твоими брюками? — Паула вошла в комнату в капоте, расчесывая черепаховым гребнем густые каштановые волосы.

— Прямая связь. Во время войны обесцениваются деньги. Банки прекращают платежи. Мои ничтожные накопления будут заморожены. Я ничего не зарабатываю. Что остается?..

— Жить на продажу штанов.

— Не пытайся острить!

— Хорошо, я буду серьезной. Как с процентными отчислениями?

— «Цыган-премьер» выдыхается. Паршивый «Маленький король» не дал ни гроша. На «Барышню Суси», чуёт сердце, не прокормишь и собачьих блох. Почему мне так не везет, Паула?

— «Маленький король» был просто халтурой, ты писал его между делом. В «Барышне Суси» есть хорошие музыкальные куски, их надо будет когда-нибудь использовать, но либретто ниже всякой критики. Сколько раз я тебе говорила: нельзя либреттистов оставлять одних. У них на уме только кофе, карты и девочки... — Паула вдруг заметила, как побледнел Кальман. — Что с тобой?

Он держал в руках искомые брюки-дипломат.

— Чернильное пятно. На самой ширинке.

— Подумаешь! Отдам в чистку...

— Что-о?.. — Впервые голос Кальмана зазвенел яростью. — Мы не Ротшильды, чтобы отдавать вещи в чистку.

Неужели ты сама настолько разленилась, что не можешь свести пятно?

— Я только этим и занимаюсь: ты неопратно ешь. Но я не умею сводить чернила. Сколько шума из-за каких-то грошей!

— Грошей?.. Хорошо тебе говорить. Болезнь отца съедает весь мой доход. На этом нельзя экономить. Но транжирить деньги на чистку, сахарные кости для собаки...

— Остановись, Имре, — тихо, но впечатляюще сказала Паула. — Иначе — крепко пожалеешь. Я покупаю сахарные косточки Джильде на свои собственные деньги. И продукты для твоих любимых блюд — тоже. Живя с тобой, я превратилась в прислугу за все: стираю, глажу, штопаю, чищу обувь, свожу пятна, готовлю твой любимый гуляш, уху и ветчину с горошком, кухарка умеет только варить яйца, кое-как мыть посуду и открывать дверь. У меня было маленькое состояние — где оно?

— Я... я не знал...

— Так знай!.. Я не сшила себе ни одного нового платья, только переделывала старые. Ты большой гурман, а денег, которые ты даешь мне на хозяйство, хватило бы, дай Бог, на луковую похлебку. Ты, такой практичный и так быстро считающий, задумался хоть бы раз, на что мы живем?

— Нет, Паула, — растерянно проговорил Кальман. — Трудно поверить, но я и правда никогда об этом не думал. Я считал, что моих денег вполне хватает. Ты всегда такая элегантная, стол обильный и вкусный... и я думал, то есть никогда не думал, не давал себе труда думать, как ты справишься... Тяжелое детство...

— Замолчи, Имре! Я больше слышать не могу о тяжелом детстве.

— Но, Паула, милая, ведь человек формируется в детские годы...

— А потом жизнь обрабатывает его на свой лад. Я распустила тебя. Так всегда бывает при неравенстве отношений. Кто я тебе? Прислуга, которую барин навещает ночью.

— Это неправда! Я всегда считал тебя своей женой. И все окружающие считали. Давай оформим наши отношения.

— Вот истинная речь влюбленного! Я не хочу ничего «оформлять», и ты знаешь почему. Я не могу дать тебе детей, а без этого брак — бессмыслица. Ты должен оставаться свободным. Но пока мы вместе, надо жить общей жизнью. Нельзя натягивать на себя все одеяло.

— Я согласен с тобой, Паула. Ты говоришь редко, но до конца. Я, конечно, скуповат, таким меня воспитали. Отец давал мне два гроша... молчу, молчу, я уже сто раз рассказывал об этом... Вечный страх перед... это уже было... Понимаешь, я растерян. После «Цыгана» сплошные неудачи... Но об этом тоже говорено-переговорено...

— Барина спрашивают! — сообщила кухарка.

— Судебные исполнители! — охнул Кальман.

Паула посмотрела на него с материнской жалостью и вышла из комнаты. И почти сразу раздался ее голос:

— Имре, тебе принесли деньги! Надо расписаться!

Кальман боязливо выскользнул в переднюю, а Паула прошла в спальню, чтобы закончить свой туалет. В гостиной они сошлись одновременно, Кальман похрустывал пачкой новеньких бумажек. Видно, что ему доставляло удовольствие само прикосновение к деньгам.

— Бедный цыган еще подкармливает нищего композитора! — воскликнул он. — Паула, мы начинаем новую жизнь. Теперь ты будешь покупать Джильде сахарную косточку из хозяйских денег... Паула, ты сошьешь себе новое платье, в котором элегантность будет органично сочетаться со скромностью. Отныне домашний бюджет — твоя забота. Я оставляю за собой лишь покупку ветчины.

— Ты великолепен, Имре, — улыбнулась Паула. — Но смотри, чтобы щедрость не перешла в мотовство.

Он не заметил иронии.

— Какая ты красивая, Паула! — продолжал прозревать Кальман. — А я порядочная свинья. Но повинную голову

меч не сечет. Давай в знак того, что ты меня прощаешь, выпьем вина. Пошли Анхен в лавку.

— Представляю, какое вино купит Анхен! Которым подкрепляется ее кузен из пожарной части. Я лучше сама схожу. «Либфраумильх» годится?

— Отличное вино! — в упоении вскричал Кальман. — Кутить так кутить! Но знай, девочка моя, недорогие вина куда забористее!..

Супруги дружно отобедали и осушили бутылочку забористого вина. Джильда догладывала сахарную косточку, а Кальман, вновь охваченный беспокойством, жаловался Пауле:

— Иенбах и Лео Штейн навязывают мне либретто. Но само название отпугивает: «Да здравствует любовь». Ты веришь, что оперетта с таким названием выдержит хотя бы десять представлений?

— Ты зря беспокоишься. Все равно она будет называться «Королева или Принцесса Любви, Долларов, Вальса»...

— Едва ли, ведь действие происходит в кабаре.

— А кто героиня?

— Простая венгерская девушка, ставшая звездой варьете.

— Венгерская?.. Значит, она танцует чардаш?

— Это ее коронный номер.

— Все ясно. Ваша оперетта будет называться «Княгиня чардаша».

— Изумительно! — Кальман был потрясен.

— А главное — оригинально, — рассмеялась Паула. — Но шутки в сторону. Ты созрел для чего-то большего. В бедняжке «Суси» есть дивные куски, в последнее время ты играл много красивой и веселой музыки. Ты должен создать свою лучшую вещь. Но не спускай глаз с халтурщиков-либреттистов. Они могут все изгадить.

— Я вцеплюсь в них, как бульдог, — заверил Кальман. — На этот раз содержание особенно важно. Я хочу, чтобы там был дух Венгрии — в героине, девушке из народа, и сладко-гнилостный дух разлагающейся монархии. Я выведу целую галерею титулованных уродцев...

— Имре, ты революционер! — рассмеялась Паула.

— Ничуть! — Он тоже засмеялся. — Просто я разночинец, презирающий знать.

— Но если твоя оперетта станет откровенной сатирой, ты прогоришь. Успех создает не галерка, а высший свет.

— Не бойся. Они не посмеют узнать себя. Будут считать, что высмеяны нувориши, а не урожденные Гогенлоу, Лобковицы, Эстергази.

— Чего ты так расхрабрился?

— Я и сам не знаю, — развел руками Кальман. — Я очень люблю мою героиню Сильвию Вареску, а ее там все обижают...

— Сильвия... — повторила Паула, словно пробуя имя на вкус.

— Как странно!.. Вот прозвучало имя, а что будет с ним дальше? Умрет ли, едва родившись, или разнесется, как эхо в горах?.. До чего же все непредсказуемо в искусстве, если только оперетту можно считать искусством.

— Жалко, что не осталось вина. Мы бы выпили за успех.

— Упаси Боже! — в неподдельном испуге вскричал Кальман. — Нельзя пить за дело! — И он постучал по деревянной столешнице./ — Я же говорил тебе, что успех зависит от бесчисленных случайностей. И никогда не знаешь, где подставят ножку. После пятисотого спектакля я осмелюсь сказать: видимо, моя оперетта увидит свет.

— И все-таки успех зависит от другого, — не приняла шутки Паула. — Дать тебе добрый совет?

— Ты сегодня на редкость щедр. Сперва бунт, суровая отповедь, куча наставлений, теперь добрый совет.

— Ты забыл, а название оперетты?..

— Действительно! Название — половина дела. Так что же ты мне посоветуешь?

— Не тебе, а в а м: господам Иенбаху, Штейну и Кальману. Я знаю, что такое работать в Вене. Вы накачиваетесь крепчайшим кофе, от возбуждения ругаетесь, как извозчи-

ки, нещадно дымите и временно примиряетесь на свежих неприличных анекдотах.

— Утешительная картина вдохновенного творчества!

— Во всяком случае, правдивая. Я пропустила сплетни. По этой части венские либреттисты могут дать сто очков вперед любой демимонденке.

— Хватит унижать моих сотрудников. Давай по существу.

— Выбирайте какое-нибудь тихое место...

— Святая наивность! Иенбах и Лео Штейн дня не проживут без свежих газет, без черного...

— Дай договорить, Имре! — стукнула кулачком Паула. — Я вовсе не надеюсь загнать этих бульвардье в медвежий угол. Но найдите более спокойное место для работы, чем Вена. Твоим приятелям надо немного остыть и сосредоточиться. Нельзя кропать либретто между двумя партиями в покер. И ты будь неотлучно при них. Как гувернантка, как педель... Пойми, Имре, твой час пришел, сегодня или никогда.

— Ей-богу, даже страшно! И куда ты нас отсылаешь?

— Хотя бы в Мариенбад...

— Франценсбад тише.

— Там слишком много гинекологических дам. Мариенбад тоже не заброшенная в горах деревушка, но после взбодраженной столицы курортный шорох покажется вечным покоем. И ты выиграешь свою большую ставку.

— Да, Мариенбад — то, что нужно для Иенбаха и Штейна. Тихий рай сердечников, почечников и толстяков с нарушенным пищеварением. — Кальман улыбнулся. — Решено, Паула, маршрут в Бессмертие ведет через Мариенбад...

«КНЯГИНЯ ЧАРДАША»

Все говорили о неминуемой войне, и никто в нее не верил. И людный в разгаре сезона Мариенбад жил обыч-

ной суматошной и пустой курортной жизнью. Встречи у источника, где с раннего утра играл духовой оркестр, торжественные хождения, словно к Лурдской Божьей Матери, на ванны и прочие процедуры, нудный крокет, карты по маленькой (ночью рулетка по-крупному), долгое высиживание в плетеных креслах открытых кафе под огромными зонтиками и обсуждение текущих мимо пестрой лентой гуляющих, вечер танцев с премиями, лотереи и гастролы неведомых европейских звезд в местном избыточно фундаментальном театре. И все же здесь было куда спокойнее, чем в Вене.

Правда, лишняя нервозность шла от Лео Штейна — выдающегося военного стратега; он носил задранные вверх усы а-ля Вильгельм II, и это обязывало к «вмешательству» во все европейские дела; он мог без устали распространяться о Балканах — очаге войны — и сравнительных достоинствах британского и немецкого флотов. Не выдержав, Кальман объявил приказ: за милитаристские разговоры — штраф. десять шиллингов, безжалостно этот штраф взимал. Лео Штейн приметно умерил свой боевой пыл. Его напарник Бела Иенбах тяготел к пикантным разговорам, но был куда менее запальчив и велеречив, Кальман счел возможным не облагать его денежной пеней за два-три соленых анекдота в день. За большее следовало наказание.

Оба либреттиста с удивлением и легкой тревогой отметили перемену в человеке хотя и склонном иной раз к упрямству, но отнюдь не казавшемся сильным и настойчивым. Между собой они шутили, что Кальман и сам находится во власти какой-то таинственной высшей силы. Да так оно и было на самом деле. Целыми днями он донимал их, что у Эдвина, героя оперетты, нет характера.

— Но он бесхарактерен по самой своей сути, — защищались либреттисты. — Даже совершив благородный поступок, с легкостью от него отказывается.

— За что же любит его такая женщина, как Сильвия? — допытывался Кальман.

— Разве любят за что-нибудь? — возразил Иенбах, большой дока во всем, что касалось взаимоотношения полов. — Еще великий Гете сказал, что легко любить просто так и невозможно — за что-нибудь... Кстати. — Его очки весело взблеснули. — Один господин застал свою жену с любовником...

— Помолчи! — сердито оборвал Кальман. — Мелодии текут из меня, как вода из отвернутого крана, но я не могу дать Эдвину арию. Он все время на подхвате у Сильвии. А где его тема?..

Воцарилось молчание, прерванное чуть натужно оживленным голосом Иенбаха:

— Представляете, муж входит, а жена и любовник...

— Заткнись! — прикрикнул Штейн. — А если дать Эдвину сольный номер после того, как Сильвия рвет брачный контракт?

Кальман задумался, подошел кельнер, насвистывая в угоду композитору «А это друг мой Лёбль», поставил на столик горячий кофе и забрал грудку грязных чашек.

— Друзья мои, только вообразите картину, — хлебнув свежего кофейку, възгнал Иенбах. — Муж как ни в чем не бывало входит в спальню...

— Покушение в Сараево! — раздался пронзительный голос мальчишки-газетчика. — Убийство кронпринца Фердинанда!..

— Это война! — потерянно прошептал Иенбах.

— А я что говорил! — с непонятым торжеством воскликнул Штейн. — Австрия предъявит Белграду такой ультиматум, что не будет выхода! — Он выхватил газету из рук мальчишки.

— Сараево принадлежит Австрии, — возразил Иенбах. — Почему Белград должен отвечать за убийство австрийского наследника на австрийской территории австрийским подданным?

— Ты сущее дитя! Это же предлог, чтобы прибрать к рукам Сербию. Габсбургам — нож острый ее самосто-

тельность. Не исключено, что убийство спровоцировано. Тем более что покойного Фердинанда не выносили даже при дворе.

— Платите штраф: по пять шиллингов с каждого, — раздался спокойный и по-новому властный голос Кальмана.

Штейн вздрогнул и безропотно положил на стол купюру.

— Что делать?.. Что делать?.. — лепетал Иенбах, шаря по карманам.

Очки сползли на нос, его голые, не защищенные стеклами голубые глаза круглились детской беспомощностью.

— Что делать? — повторил Кальман. — Финал третьего акта. У Эдвина не будет собственной арии. В наказание за вину перед Сильвией. Нарушение традиций?.. Да. Но в этом и будет его музыкальная характеристика.

Либреттисты потрясенно смотрели на своего «командора», не узнавая его. Ледяное спокойствие, за которым не равнодушие даже, а полная презрения к судьбам Австрийской монархии, твердая убежденность Мастера в необходимости своего дела, верность поставленной цели вопреки всему — откуда такая сила? О том знал лишь сам Кальман, и он знал к тому же, что это еще не его собственная сила...

...Он вернулся домой в таком приподнятом настроении, в каком Паула никогда его не видела. Вечные сомнения — не в музыке, он с равной легкостью выпускал и сталь, и шлак, — в успехе, терзавшие его плоть до последнего падения занавеса, омрачали семейную жизнь. Не успевали отгнать заключительные аккорды, как он уже подсчитывал доходы — ошеломляюще быстро — порой с весьма кислым видом («Маленький король»), порой с холодноватым прищуром делового удовлетворения («Цыган-премьер»). Но удача не дарила ему радости, упоения: так сухарь финансист подводит удачный баланс, так циничный адвокат прячет в карман гонорар за выигранный или проигранный процесс, так разглаживая мятые бумажки, подсчитывает

дневную выручку дантист или гинеколог. Паула до сих пор не могла понять, как, где и когда зарождаются у Кальмана его великолепные мелодии. Спал он долго и крепко, за редкими исключениями, много времени тратил на либреттистов, репетиции, внимательнейшее изучение курса акций, на прокуренные кафе — по старой будапештской привычке. И вдруг невесть откуда возникла дивная мелодия: огневой чардаш, чарующий вальс, головокружительный галоп. И столько обнаруживалось в этом флегматичном, сумрачном, тяжелом человеке нежности, романтики, веселья, восторга перед жизнью — откуда только бралось? В отличие от многих, Паула знала, что у Кальмана есть сердце, есть страх за близких, старомодно-сентиментальные чувства к матери, брату, сестрам, безоглядная щедрость — к отцу. Но на окружающих Кальман производил впечатление музыкальной машины, чуждой всем земным волнениям, кроме взлета и падения биржевых акций.

И вот Кальман ликует, и будто легкое свечение осеняет его засмугленный мариенбадским солнцем лоб, и Паула чувствует, что не в силах сказать того, чего не сказать нельзя, а пальцы произвольно комкают траурную телеграмму.

— Как ты была права! — благодарно твердил Кальман. — Впрочем, ты всегда и во всем права. Даже война нам не помешала. Правда, приходилось одергивать штрафами генералиссимуса Штейна, чтобы держал на привязи свой стратегический гений, но бедный Иенбах совсем присмирел и утратил интерес к прекрасному полу. В общем, мы отлично поработали, я привез готовое либретто и всю музыку или на бумаге, или тут. — Он хлопнул себя по лбу.

Нет, она ничего ему не скажет. Мы вообще так редко бываем счастливы, а люди, подобные Кальману, вовсе никогда. Конечно, потом, когда все откроется, он не поймет ее молчания, не простит кощунственной утайки, ну и пусть, она не станет оправдываться, не станет убеждать, что берегла его радость, а к несправедливости ей не привыкать.

— С оркестровкой дело неожиданно пошло хуже. — Кальману не терпелось все рассказать. — Я начал спотыкаться там, где отроду скользил, как по льду. В чем, в чем, а в незнании оркестра меня не упрекнешь. Но ничего, авось справлюсь. Хуже: я никак не слажу с одной мелодией, которая дает ключ не только к первому акту, но и ко всей оперетте. Вернее, к ее второй линии, почти столь же важной, как и первая. Вот послушай. — Он подошел к роялю, откинул крышку и заиграл что-то меланхолическое, со странно бравурными вспышками.

— Весьма элегично... — начала Паула, но он не дал ей договорить.

— То-то и оно, черт побери! В самый раз для Эдвина, если бы тот на старости лет вспоминал об утраченной Сильвии. Но ничего подобного у нас нет. Эта песенка шалопая Бонни, бабника и добряка. И главное, он выходит с кордебалетом, танцует и поет, и потом все подхватывают припев. На сцене должен вскипать вихрь, а у меня похороны.

Паула вздрогнула, ее обожгло нежданное слово, сорвавшееся с губ Кальмана. Она не может молчать. Каждый человек имеет право на счастье, но и страдания — право каждого. Даже любящие не уполномочены распоряжаться душой близкого человека. Если ты не можешь взять на себя его боль, то вся твоя бережь гроша ломаного не стоит.

— Имре!.. — сказала она и осеклась, губы ее задрожали.

Впоследствии она всегда поражалась чуткости, с какой он, довольный, веселый, ничего не подозревающий, погруженный в музыку, мгновенно уловил ее интонацию. Наверное, это свойство истинно художественной натуры.

— Отец? — произнес он, и крупное лицо, и вся плотная фигура стали будто распадаться на ее глазах.

И тут она с постыдной радостью поняла, что совершенно произвольно облегчила себе задачу, ослабила силу удара, ибо сейчас избавит его от самого страшного.

— Твой отец жив и здоров и ждет не дождется премьеры. Мать заказала новый туалет... Но бедный Бела...

— Что с ним?

— Его уже нет. — Паула протянула ему стиснутую в шарик телеграмму.

Кальман не стал ее разворачивать. Он сразу тихо засочился из глаз, как скала, скрывающая в своей толще ключ. Это детское вернулось к нему с треском рвущегося Балатона, с милым веснушчатым лицом, расплывающимся в карзубенькой улыбке, с необидными колотушками, без которых не воспитывают младшего брата, не учат уму-разуму, с застенчивой серьезностью спокойного живого паренька, приговорившего себя ради семьи к тусклой участи клерка. Бела был в сто, в тысячу раз лучше него, добрее, чище, благороднее.

Паула поняла, что лучше оставить его одного. Она ушла в спальню и, не раздеваясь, прилегла на кровать. И странно: в таком перевозбуждении, тревоге, страхе за Имре она мгновенно заснула, будто провалилась в черную бездонную яму. Очнувшись она от мощных звуков, сотрясавших дом. Ничего не понимая, она поднялась и приоткрыла дверь. С мокрым лицом Кальман изливала свою скорбь в звуках ни с чем не сравнимой бодрости. Она сразу уловила ту мелодию, которую он ей наигрывал, жалуясь, что не может найти верного тона. Теперь тон был найден, его подсказала смерть Белы. Это было кощунственно, страшно, это было величественно. Насколько же человек находился во власти своего гения! Сейчас он спасал собственное сердце изысканно-бравурной мелодией с едва приметным оттенком грусти, и этим будут спасены сердца многих и многих людей.

«Красотки, красотки, красотки кабаре» — траурный марш по брату Беле...

...Когда ехали в театр, Кальман подавлял всех своей мрачностью. Накануне он от души радовался приезду родителей, бодрому и оживленному виду отца. Паула заказала старикам номер в одном из лучших венских отелей, и папа Кальман ликовал. Он любил гостиничную жизнь с ее вол-

нующей суетой, будившей память о тех далеких днях, когда он, преуспевающий коммерсант, ездил из Шиофока в Будапешт заключать сделки и сбрасывать домашнее напряжение.

Имре всегда трусил перед премьерой, но такой свинцовой скорби еще не бывало. «Похоже, ты едешь не в театр, а на собственные похороны», — заметил папа Кальман. «Так оно, возможно, и есть», — пробурчал сын. «Значит, обычная суеверная боязнь премьеры, — с облегчением подумала Паула, — а не рецидив былой скарденности». Ради торжественного дня она заказала роскошный выезд: ландо на дутых шинах, с фонарями у козел, и опасалась, что Кальман разозлится на ее расточительность.

Толстые шины упруго и мягко катились по запруженным улицам. Что ни говори, а в старомодном экипаже, запряженном статными, лоснящимися рысаками, списанными по возрасту с бегов, больше шика, чем в смердящих бензином и гарью автомобилях, чей быстрый ход лишен всякой торжественности. Бездушные металлические символы утратившего неторопливое достоинство времени.

Впереди открылись здание театра и осаждавшая его толпа, в которую со всех сторон, как ручьи в озеро, вливались потоки машин, карет, извозчичьих пролеток, пешеходов.

— Весь город спешит на премьеру нашего Имре, — горделиво произнес старый Кальман.

— Уж если не весь, то добрая часть, — уточнила не склонная к преувеличениям мама Кальман.

— Успокоился наконец? — спросила Паула.

Кальман отозвался вялым пожатием плеч.

— Ну и характер у тебя!..

— Вспомни о покойном брате Беле, — посоветовал старый Кальман, — вот кто никогда не вешал носа.

— Ты и так не даешь мне забыть о нем, — огрызнулся сын.

Странно, что толпа у входа в театр — здесь присутствовал весь свет: дамы в роскошных туалетах и рассыпающих

искры бриллиантах, зафранные кавалеры, военные вшитых золотом мундирах — как-то странно колыхалась, переминалась, но не стремилась внутрь.

— Что случилось? — спросил папа Кальман какого-то потертого человека, с виду театрального барышника.

— Что, что! — раздраженно отозвался тот. — Комик охрип, спектакль отменяется.

— Я так и знал! — сказал Имре и выпрыгнул из коляски.

Он не ведал, зачем это сделал. Просто нужно было какое-то резкое движение, имитирующее поступок, чтобы «жила не лопнула», как говаривала их старая шиофокская служанка Ева. Но через мгновение его безотчетный порыв обрел смысл. На него напало горящее лихорадочным (даже про себя он не осмеливался произносить «чахоточным») румянцем лицо Паулы, ее тонкие пальцы с длинными, острыми ногтями впились ему в плечо. Обдавая его сухим, горячим дыханием, она не говорила, а вбивала в мозг слова, как гвозди:

— Иди к директору!.. Возьми его за горло!.. Комик — тушь. Он просто струсил. Скажи ему, что забереешь оперетту. Он знает — это золотое дно. Будь хоть раз мужчиной, иначе... ты потеряешь не только оперетту, но и меня. Клянись честью!..

Наверное, все остальное было лишь следствием того, что он боялся Паулу больше, чем директора. Последний так и не мог постигнуть, что случилось с тихим, сдержанным, покладистым человеком, как, впрочем, не понимал прежде, почему композитор, «делающий кассу», скромн и робок, как девушка.

Кальман не вошел, а ворвался в кабинет, он не поздоровался, не протянул руки.

— Охрипший комик — пустая выдумка! — загремел он с порога. — Вы просто струсили!

Директор был так ошеломлен, что не стал выкручиваться.

— Поневоле струсишь, — понуро согласился он. — Аристократы запаслись тухлыми яйцами.

— Плевать! — гневно и презрительно бросил новый, непонятный Кальман. — Простая публика за нас.

— Успех создает партер, а не галерка.

Кальман и сам так считал, но сейчас им двигала сила, чуждая здравому смыслу, расчетам, логике и тем несокрушимая.

— Тогда я забираю «Княгиню чардаша». Найдется кому ее поставить.

«А вдруг он согласится?» — пискнуло мышью внутри.

— Вы хотите меня разорить? — Из директора будто разом выпустили весь воздух — о мудрая, пронизательная Паула! — Ладно. Пусть немного спустят пары. На следующей неделе дадим премьеру. Но если провал... — Директор открыл ящик письменного стола и вынул свернутую в кольцо веревку, присовокупив выразительный жест.

— Я составляю вам компанию, — усмехнулся Кальман...

...Непонятные вещи творились вечером и ночью после отложенной премьеры вокруг «Иоганн Штраус-театра». Светская толпа, не привыкшая оставаться с носом, яростно разнудалась. Аристократы, блестящие военные, богачи сломая голову кинулись в ближайшие рестораны и бары и забушевали там в гомерическом кутеже. Ничего подобного не видели в чопорных окрестностях старого венского театра. Светские львицы перепились и вели себя, как уличные девки; принц Лобковиц открыл бутылку шампанского прямо в лицо своему другу, получил пощечину и вызвал его на дуэль; кто-то из младших Габсбургов пытался оголиться, его кузина успешно осуществила это намерение. Было во всем что-то надрывное, истерическое — от предчувствия надвигающегося краха.

Под конец, чтоб не пропадали товары, устроили перестрелку тухлыми яйцами. Одному рослому капитану с глупо-вздорным лицом дяди Эдвина угодили прямо в глазницу с моноклем...

...Наконец премьеры состоялась. Уже выходная ария Сильвы произвела фурор. Театр раскалывался от аплодис-

ментов. Приблизив губы к уху сына, старый Кальман прокричал, обливаясь слезами счастья: «Какой триумф! Если бы покойный Бела видел!» — «Сколько?» — спросил сын, потянувшись за бумажником. Папа сделал жест: мол, еще поговорим, и, вытянув манжету, стал делать какие-то подсчеты угольным карандашом...

Папа Кальман не успел закончить подсчет доходов от «Сильвы», когда аристократы решили дать бой. Едва граф Бони, офицер, несущий исправно службу лишь в уборных артисток варьете, вывел кордебалет с залихватской песенкой «Красотки, красотки, красотки кабаре!», как поднялся тот самый рослый надутый капитан с моноклем и зычно, словно на поле боя, крикнул:

— Позор!..

И другие зрители-аристократы подхватили его крик. Дирижер невольно приглушил оркестр. Бонн оборвал песенку, испуганно замерли красотки кабаре.

— Австрийские офицеры не юбочники! — витийствовал капитан. — Они проливают кровь...

— В партере! — послышался голос с галерки, покрытый смехом простых зрителей.

— Оскорбление армии!..

— Поругание чести!..

— Долой!..

Папа Кальман глянул на поникшего сына, вздохнул и носовым платком смахнул цифры предполагаемых доходов.

И тут в королевской ложе выросла фигура кронпринца Карла, мгновенно узнанного всеми.

— Молчать! — грозно прикрикнул он на капитана. — Молчать! — приказал всему партеру.

Шум смолк, офицер вытянулся с глупым и удивленным лицом.

— Продолжайте! — кивнул кронпринц дирижеру и опустил в кресло.

Дирижер взмахнул палочкой. Зазвучала музыка.

Папа Кальман вытянул манжетку и вновь выстроил колонку цифр.

Капитан не успел сесть на место, как пушенное с галерки тухлое яйцо по-давешнему залепило ему глазницу с моноклем...

...Шла чудовищная война. Но даже колючая проволока, перепоясавшая тело Европы, разделившая ее на два непримиримых лагеря, не могла помешать победному шествию «Княгини чардаша». В Россию оперетту завезли австрийские военнопленные, ставившие ее в своих лагерях. Трудно сказать, как попала она к французам и их союзникам. На фронте происходили такие сцены: проволочные заграждения, ходы сообщений, окопы, пулеметные гнезда, закамуфлированные орудия... Громко распевая «Частица черта в нас», немецкие солдаты дают залп по французским позициям. Удар попадает в цель. С фонтаном земли взлетают бревна, какие-то железяки, красные штаны пуалю.

«Любовь такая — глупость большая!» — поют французские артиллеристы и шарахают из гаубиц по немецким окопам. Меткий удар: вскипает земля, взлетают на воздух разные материалы и глубокие каски, начиненные тем, что они призваны оберегать...

И несмотря на такой успех, а вернее, в силу его, «Княгиню чардаша» сняли из репертуара «Иоганн Штраус-театра». Этому предшествовал визит к Кальману видного журналиста из влиятельнейшей правительственной газеты. Журналист был похож на борзую: сух, востролиц, породист.

— Господин Кальман, — сказал он строгим голосом, — вас не смущает, что музыка «Княгини чардаша» служит и нашим и вашим? Ее поют и по эту, и по другую линию фронта и даже на передовой — солдаты противостоящих армий.

— Новое обвинение! — насмешливо бросил Кальман. — Не дает кому-то покоя моя скромная оперетта!

— Но согласитесь, что...

— Я не милитарист, — перебил Кальман, — и не вижу в этом ничего плохого. Если люди со смертоносным оружием в руках поют о любви и женщинах, это поможет им сохранить душу. Что и требуется. Ведь все войны когда-нибудь кончаются. — И, глядя на быстро бегающее вечное перо, добавил: — Прошу передать мою мысль без искажений.

— Уж вам ли жаловаться на прессу, господин Кальман? — с двусмысленной интонацией отозвался журналист.

— Ну, знаете! — вскипел Кальман. — Трюк, который сыграли со мной газетчики, мог бы зародиться разве что в голове Макиавелли. Я сам был журналистом и знаю эту кухню изнутри, но здесь писаками управляла чья-то могучая рука.

— Что вы имеете в виду?

— Вся пресса, за редким исключением, обвиняет меня в низкопоклонстве перед высшим светом. Я, видите ли, подкуплен знатью. И почему-то этим особенно возмущены монархические газеты, ваша в первую очередь.

— В нашей стране каждый имеет право на собственное мнение, — сентенциозно заметил журналист.

— Вот именно: на собственное! А это мнение навязано. Что писали после премьеры «Княгини чардаша»? — Он вытянул наугад какую-то газету из кучи, наваленной на журнальном столике. — «Кальман должен был представить на сцене офицеров императорской армии и благородных господ, но публику вынудили терпеть», «Публичное осмеяние представителей высшего общества нашей монархии» и дальше: «Пусть жандармерия примет надлежащие меры, чтобы в дальнейшем предотвратить подобные оскорбления лиц высшего круга и не делать их предметом осмеяния со стороны подлого народа». Великолепно: жандармерия против оперетты! — Он взял другую газету. — «Недопустимая бестактность по отношению к высшему

кругу». И как, скажите на милость, произошел головокружительный прыжок от этих обвинений к прямо противоположным: я, видите ли, певец титулованных особ?

Журналист потупился. Теперь он был похож на борзую, нагадившую в комнатах и ожидающую порки.

— Не знаете? — усмехнулся Кальман. — Да знаете отлично! Надо вбить клин между мной и демократически настроенной публикой. А теперь еще хотят добавить обвинение в антипатриотизме. Для этого прислали вас.

Журналист быстро поднялся.

— Не смею злоупотреблять вашим терпением.

— Попутный ветер!..

И журналист поспешно ретировался.

Из кухни вышла Паула в белом фартучке.

— Зачем ты тратишь силы на эту гнусь? Что они могут тебе сделать? Для всей Вены ты теперь «дер Кальман»¹.

Но они знали, что делали. В один из ближайших дней, проходя мимо «Иоганн Штраус-театра», «дер Кальман» увидел поперек афиши «Княгини чардаша» жирную надпись «Отменяется». Не раздумывая и не колеблясь, он кинулся к директору.

На этот раз нашла коса на камень. Театр уже вернул деньги, затраченные на постановку, да и заработал порядочный куш. Конечно, можно было заработать и в десять, и в двадцать раз больше, но директор, опытный и осторожный человек, решил не искушать судьбу. Существует множество «безошибочных» способов стать миллионером, но наживают миллионы лишь очень немногие. Он и так рискнул, поставил под удар свое доброе имя, репутацию театра — слава тебе, Господи, сошло с рук, да еще и немало золотых кружочков прилипло к ладоням. Но нельзя и дальше играть с огнем. Время сейчас военное, и власти шутить не любят. «Княгиня чардаша» — гениальная опе-

¹ В немецком языке артикль к имени не прилагается. Это делают лишь в знак особого признания и почтения.

ретта, ничего подобного не было со времен «Летучей мыши» Штрауса, и, когда замолкнут пушки, можно будет ее возобновить. За Кальмана тоже не стоит беспокоиться, его оперетте уготован мировой успех. Надо проявить лишь немного терпения.

И на гневные тирады бомбой ворвавшегося в кабинет композитора директор ответил с насмешливым благодушием:

— Не надо пресмыкаться перед знатью.

— Но вы же прекрасно знаете, что дело в прямо противоположном!..

— Конечно. Вот в чем был смысл заступничества кронпринца. Ловкий ход!

— Он знал, с кем имеет дело. Я имею в виду «Иоганн Штраус-театр». Меня с Веной не поссоришь. Дураки в ложках, а не на галерках. Простых людей не так-то просто облапошить, я и сам из них.

— А куда вам торопиться, дорогой? Военные в силе, пока война, а знать?.. Сохранится ли она в Австрии? Вы свое возьмете. Да и мы — тоже. А пока дайте нам что-нибудь новенькое и не столь колючее.

— Если вы не возобновите «Княгиню», ничего новенького вам не будет.

— А что намечается? — жадно спросил директор.

— «Фея карнавала».

— Черт возьми, звучит заманчиво! — Корысть боролась в душе директора с осторожностью.

— Ладно, прощайте! — Кальман небрежно махнул рукой и шагнул к двери.

— Стойте! — закричал директор. — Так дела не делаются. Вы подписываете с нами договор на «Фею карнавала» и на следующую оперетту...

— А вы немедленно возобновляете «Княгиню чардаша»! Директор тяжело вздохнул:

— Вы взяли меня за горло. Будь по-вашему... Паула права: он теперь «дер Кальман» даже для этого трусливо-само-

властного человека, перед которым прежде трепетал. И он одолел его не заимствованной, а собственной силой. И все-таки он еще не император...

БРЕМЯ СЛАВЫ

Утром на прогоне все начиналось хорошо. Когда вышел стройный полубог Тройман в костюме Раджами, Кальман закрыл глаза и, по обыкновению, вообразил себя на месте премьера. Его лысоватую голову обвивала серебристая чалма с бриллиантом в тысячу карат, плечи и солидный животик стиснул узкий парчовый кафтан, блистательную картину завершали узорчатые галифе и золотые, похожие на мотоциклетные, краги. «И почему художник с благословения режиссера так причудливо обрядил индийского принца? — мелькнула мысль. — А что он знает об Индии, что знаем мы все об этой далекой, загадочной стране, которой, похоже, всерьез надоело английское владычество?» С недавнего времени общество охватила повышенный интерес к азиатским делам. Похоже, древняя земля начинает пробуждаться от многовековой спячки.

Старый журналист, Кальман, в отличие от своих коллег, читал газеты. Конечно, и те, забежав утром или вечером в кафе, накидывались на припахивающие типографской краской, свежие листы, но пробегали лишь музыкальную колонку, отчеты о премьерах, светские новости, уголовную хронику и некрологи. А Кальман читал газету от первой до последней строчки, особенно внимательно биржевые и политические новости, тем более что одно с другим тесно связано. Он сразу уловил, что материалы его любимых отделов недвусмысленно указывают, где сейчас горячо в мире: от Дели до Сайгона закипало национальное движение. Это было чревато немалыми последствиями. Волновались политики, волновалась биржа, недаром и в дамских модах, а это чуткий барометр, появился привкус Востока. Потому и ухватился он за совершенно чуждую ему ориентальную тему. Рассеянный

взгляд публики сфокусировался на Индии, чем объяснялся ошеломляющий успех таинственного и глуповатого боевика «Индийская гробница» с большеглазым Конрадом Вейдтом в главной роли.

Понимая, что ни либреттистам Браммеру и Грюнвальду, ни ему самому не воссоздать подлинного Востока, он перенес действие в Париж, куда направил набираться ума-разума наследного принца Раджами. Но принц набирался опыта не в Сорбонне, а возле несравненной Одетты Даримонд — баядеры¹.

Это пряное слово означает в Индии танцовщицу, певицу, но, конечно, не «красотку кабаре», а храмовую служительницу, славящую своим искусством Бога. Впрочем, последнее было столь же безразлично Кальману, как и полное незнакомство с индийской музыкой. Из сугубо европейских представлений о восточном мелодизме он создал роскошное блюдо, где условный ориентализм перемежался с песенными ритмами парижских бульваров, синкопами вошедших в моду фокстротов, тустепов и шимми. Романтико-иронический тон оперетты подчеркнут резким противопоставлением бескорыстия влюбленного индийского принца, жертвующего престолом ради любви, зловещим козням английского полковника Паркера² и шутовству двух комических персонажей: шоколадного фабриканта и светского шалопа; тут Кальман вволю поиздевался над измещавившейся после войны верхушкой светского общества, дав первому имя короля-буржуа Лун-Филиппа, а второму императора-авантюриста Наполеона (разумеется, не гениального корсиканца, а его жалкой пародии — Наполеона III).

Кальман быстро, с аппетитом сочинил эту оперетту, пьянящую, игристую и пенящуюся, как «Вдова Клика». Но

¹ По-русски правильной «баядерка».

² Из-за чего в Англии оперетта оставалась долго под строгим запретом.

сейчас в зале, закрыв глаза, насмешник и неисправимый романтик слился с Раджами; это его сладкозвучный голос, а не душки Троймана наполнял зал, это на нем переливались золото и серебро. Совсем разнежившись, он разомкнул веки и увидел на сцене смешного коротышку в серебристой чалме, парчовом кафтане, не сходящемся на животе, узорчатых бриджах и мотоциклетных крагах, с черными усами под большим унылым носом. «А ведь это я», — удивленно сказалось внутри, и он едва сдержал крик: «Занавес!» Галлюцинация длилась какое-то мгновение, он вновь видел красавца Троймана, на котором невысказанный костюм Раджами казался образцом изящества и вкуса. Наградил же Господь круглого дурака ростом, статью, гордым профилем, смугло окрашенным голосом и беззаветной любовью красивейшей из опереточных примадонн! И что с того, что тебя вся Вена в знак особой почтительности величает «дер Кальман», — все равно ты низкоросл, тучен, плешив, а дома у тебя больная жена, которой все труднее скрывать подтачивающее последние силы недомогание.

Померкла короткая радость, владевшая им в начале прогона. Ну еще один успех, еще раз вспыхнут овации, и он грузно поднимется на сцену, чтобы кланяться, улыбаться, пожимать руки актерам, целовать — актрисам, а потом устало и равнодушно торчать допоздна на банкете, выслушивать льстивые тосты, отвечать на них и тайком со скуки подсчитывать выручку от новой оперетты на крахмальных манжетах. И не станет он от мишуры успеха ни юным, ни стройным, ни изящным, ни златокудрым, и не вернутся к Пауле молодость и красота, здоровье и безмятежный смех, и никогда уже не испытает он того, о чем поет его музыка. В дурном настроении, скрыв его за деланными комплиментами исполнителям и режиссеру, покинул Кальман театр.

А очутившись на улице, он с обморочной силой пережил ощущение уже раз бывшего. Едва ли найдется человек, хоть когда-нибудь не испытывавший подобного: было, было, уже было вот это самое в моей жизни!.. Не столь

редкому наваждению находится много объяснений: действительно случилось нечто подобное, могло быть, но не было, а заложилось в ячейку памяти как свершившееся; не было, но должно было рано или поздно случиться, когда же наконец сбылось, то кажется повторением старого: намечтанное или томившее страхом облекается в плоть истинно бывшего, а реальность воспринимается как полувоображаемое повторение. С Кальманом все обстояло куда проще: Вена распевала арию Раджами, как некогда Будапешт — шлягер из «Татарского нашествия». Дворники, выписывающие полукружья метлами на тротуарах, торговцы фруктами и овощами, служанки со свежими икрами, моющие окна с внешней стороны и ничуть не страшась разверстой под ногами бездны, маляры в люльке с истекающими яркой краской кистями. Было и новое: шофер такси проиграл на клаксоне «Ты любовь и мечта»; протопал отряд полицейских в начищенных касках, а когда остановился по команде тучного «шупо», то из-под каблуков отчетливо выбились два заключительных такта арии. Разница лишь в том, что «Друг мой Лёбль» разнесся по городу после генеральной репетиции, а признание Раджами сняли с уст исполнителя, когда тот еще осваивал партию. До чего предусмотрителен был Верди, вручив «Песенку герцога» артисту и дирижеру перед началом премьеры «Риголетто».

Но вообще-то Кальману наплевать было на преждевременное «рассекречивание» коронного номера. Успех «Друга Лёбля» волновал и радовал молодое тщеславное сердце. «О баядера» раздражало напоминанием: ты старый... ты коротышка... у тебя плешь... тебе не полюбить юной богини и уж подавно не дожидаться ответного чувства... Окружающие ловко украли его безнадежное, тоскующее и в последнем тайнике на что-то надеющееся признание. Он разбудил чувственность венцев, дал толчок их жажде любви и наслаждения, а сам шел сквозь многоголосый любовный хор, как безмолвный и жалкий нищий.

— О баядера!.. — надрывался трубочист на крыше.

— Ты любовь и мечта!.. — заливался почтальон, крутя педали велосипеда.

— О баядера!.. — брусил, опуская полосатый тент над летним кафе, старик с военной выправкой, в синем комбинезоне.

«Маленький... толстый... старый...» — билось в ушные перепонки.

Кальман пытался выключить слух, ускорял шаги, все было тшкетно. «Баядера» настигала его на каждом шагу, за каждым поворотом, еще одно испытание ждало его в подъезде дома: старуха привратница, вязавшая бесконечную паголинку — на какую ногу рассчитана такая кишка? — бросила рассеянный взгляд на жильца и пробормотала себе под нос:

— С тобой не надо дня!..

Паула мгновенно увидела, что Кальман взбешен, и кинулась на защиту его души.

— Я здорово надоел самому себе. Вся Вена поет, мурлычет, насвистывает, гугнит, сипит арию Раджами.

— Только и всего? Пора бы привыкнуть. Сказал же Легар, что теперь в католических храмах вместо «Аве, Мария» поют «О баядера»...

— Вот не думал, что популярность может так осточерть!

— Успокойся... Смотри, какой чудесный день! — Паула шире распахнула окна, глядевшие в сад. — Как заливаются птицы. Вот скворушка прилетел, мой любимый скромный певун.

На ветке, совсем близко от окна уселся крупный, отливающий медью в лучах солнца скворец. Он глянул темным, в охряном обводе, зрачком и засвистал.

Кальман в ужасе отпрянул от окна.

Скворец насвистывал арию Раджами.

— Боже мой, я, кажется, схожу с ума!..

— Не волнуйся, милый, — улыбнулась Паула. — Скворец — известный подражатель. К нему прицепился мотив, который напевает весь город...

«МАРИЦА»

Ни к одной оперетте Кальман не подбирался так долго, как к «Графине Марице», почти затмившей славу «Княгини чардаша». Еще в дни войны молодые способные драматурги Юлиус Браммер и Альфред Грюнвальд принесли ему наброски либретто и целиком разработанный первый акт будущей оперетты. Кальман ухватился за предложение: венгерский сюжет, хорошо знакомая среда, желанный мир чардаша. Он с аппетитом принялся сочинять музыку, но вдруг прервал работу и со своими старыми сотрудниками Иенбахом и Штейном уселся за «нейтральную» «Голландочку». Непритязательная оперетта имела успех, принесла хорошие деньги и композитору, и драматургам, после чего господ Иенбах и Штейн предались упоительному ничегонеделанию, а трудолюбивый Кальман вернулся к «Марице».

И тут обнаружилось, что у него множество претензий к либреттистам, неожиданных не только для них, но, похоже, для него самого. Все сделанное решительно перестало нравиться. Нет, побоку «Марицу», надо браться за что-то другое. Браммер и Грюнвальд, отнюдь не новички в своем деле, спрятали в карман уязвленное самолюбие и послушно уселись за либретто «Баядеры». Умные и честолюбивые, они во что бы то ни стало хотели приручить Кальмана. Ничто так не сближает, как общий успех, к «Марице» все трое вернулись с железной решимостью довести дело до конца.

В связи с «Марицей» современники обвиняли Кальмана в «провалобоязни», но ведь не побоялся же он выпустить «Фею карнавала», «Голландочку» и «Баядеру» на материале неизмеримо более чуждом ему, чем история разорившегося венгерского графа Тассило, который поступил в управляющие имением к соблазнительной, капризной и вздорной графине Марице; бывший баловень света на собственной шкуре узнал «черное хамство» помещиков.

Паула считала, что причина совсем в другом: «Марица» была слишком важна для Кальмана, он снова, после продолжительного перерыва, брался за самое дорогое для себя и близкое; искушенный мастер, он хотел действовать наверняка. Одно дело оплошать с «Маленьким королем», другое — потерпеть поражение на «своей территории». Пока длилась война, принося все большие бедствия, распадалась изгнившая вконец австро-венгерская монархия, столько времени задававшая тон в европейской политике, публике не желательны были даже условные страсти, ей подавай что-то легкое, бездумное, грезовое, чисто развлекательное, лишь бы забыться от кошмара действительности. И Кальман откликнулся всеобщему настроению «Феей карнавала» и «Голландочкой». Потом, когда война отошла в прошлое, он чутко угадал перемену в общественном настроении, связанную с выходом на авансцену истории народов, казавшихся навечно уснувшими, — просыпался, «алел» Восток. Он откликнулся на эти веяния вовсе неожиданной «Баядерой» и попал в точку.

Но к середине двадцатых годов люди оказались в состоянии оглянуться на свое недавнее прошлое, одни с грустью, другие с насмешкой и презрением, кто — с мучительным сожалением, кто — с холодноватым прищуром: а какими мы были прежде и почему сломался, рухнул казавшийся незыблемым уклад? Время для «Марицы» настало. Паулу поражала художественная отвага Кальмана: показать притирающемуся к новым условиям «свету» его отталкивающее лицо. В оперетте не было ни одного положительного героя, если не считать третьестепенных персонажей. Промотавшийся граф Тассило, пошедший в услужение под чужим именем, но не оставивший надежд на выгодную женитьбу, его сестра Лиза, глупенькая и пустая, мечтавшая выскочить замуж все равно за кого, лишь бы деньги водились, взбалмошная Марица, бывший полковник князь Популеску — неотесанный солдафон, чаровница

давних лет, старая развратница Лотти¹ — такова портретная галерея героев оперетты. Тассило выглядел привлекательней других, и то лишь в силу своего зависимого положения — баловень гостиных, ставший парием. Но традиционно счастливая развязка, соединившая униженных в стан угнетателей, в круг титулованных хамов. А музыка?.. Интонационно она большей частью контрастировала происходящему на сцене, и это придавало оперетте загадочное очарование.

Сидящие в зале скотопромышленники, старые распутницы, разорившиеся и припрятавшие деньги аристократы, бывшие вояки, сменившие форму на пиджаки, бешено аплодировали, и Паула думала: до чего ж ослабели! Не было не только попытки обструкции, как на «Княгине чардаша», но и тени возмущения. В глубине души все эти осколки прошлого знали, что получают по заслугам, а сейчас не до фанаберии, надо уцелеть, приспособиться, умело распорядиться оставшимся и вновь всплыть на поверхность.

Но конечно же, не карикатурным фигурам обязана оперетта своим феноменальным успехом, а музыкальному одеянию, которое не одеяние даже, а суть. Никогда еще так вольно и мощно не разливалась со сцены цыгано-венгерская мелодика Кальмана. Кому какое дело до мелких расчетов Тассило, когда он рыдает под цыганскую скрипку: «Гей, цыган!», а разве помнишь о дурном характере Марицы, поющей свою блистательную выходную арию? И наплевать на скотскую глупость свиновода Зупана, коли он может закрутить вихревое «Поедем в Вараздин!». А огромные, захватывающие душу финалы, поразительные по вдохновению и мастерству!..

Кальман всю премьеру оставался тих, грустен и впервые ничего не записывал на манжетах или клочках бумаги.

— Что с тобой, милый? — с неиссякаемым терпением спросила Паула. — Почему ты опять невесел?

¹ В первой редакции графиня Гугенштейн.

— Бедный отец! Я думаю о нем. Он так и не дожил до самой венгерской из моих оперетт.

Каждая новая оперетта на отечественную тему казалась Кальману «самой венгерской».

— Чудо, что он столько прожил. Ты продлил ему жизнь.—То была святая правда: старик Кальман, давно приговоренный к смерти, жил и жил вопреки всем диагнозам, прогнозам, опыту и мудрости медицины, словно назло венским и будапештским эскулапам. Его держала напрягающая воля сына: подчиняясь непонятному наитию, Имре сам назначал лечение и режим, отменял предписания врачей, выбирал лекарства и год за годом отвоевывал у смерти своего отца — к вящему раздражению медицинских светил.

Кальман растроганно коснулся бледной руки Паулы.

— Я так ясно вижу: вот он подсчитывает, какой доход даст «Марица», вспоминает — мне в назидание — о примерном сыне Беле и просит округлить свой долг ровно до десяти тысяч ста восемнадцати шиллингов. Он был поэтом в коммерции и коммерсантом в поэзии.

— Ты истинный сын своего отца, Имре. Я не видела человека, в котором так гармонично и естественно сочеталась бы полная художественная раскованность с трезвым расчетом.

Кальман кисло поморщился: комплимент показался сомнительным.

Когда они выходили из театрального зала, к ним протиснулась молодая, броско элегантная, какая-то профессионально красивая дама, дружески кивнула Пауле и ударила Кальмана веером по плечу.

— Неужели, Имре, я такая дура?

— При чем тут ум? — В нем не было и тени смущения. — Дело в характере.

— Попался, попался! — рассмеялась дама. — Сразу понял, о чем речь. Вы опасный человек, Имре, с вами надо держать ухо востро, а язык на привязи!

И, снова тепло улыбнувшись Пауле, она сбежала по мраморным ступеням лестницы к ожидавшему ее седоватому господину с меховой накидкой в руках.

— Кто это? — с любопытством спросила Паула.

— Агнесса Эстергази. Фильмовая звезда... Да ведь нас познакомили у Легара! Ты забыла?

— Теперь вспоминаю. — Паула провожала Агнессу заинтересованным и добрым взглядом. — Она узнала себя в Марице?

— Это нетрудно. Я использовал ее словечки. К тому же взбалмошность, капризы...

— Похоже, ты неплохо ее знаешь?

— Кто не знает Агнессу? На то она и звезда.

— Она настоящая Эстергази?

— Самая настоящая. Из тех Эстергази, что уцелели при крушении Габсбургов. Кинематограф — ее призвание, а не средство к жизни.

— Зачем же ты высмеял такую славную женщину?

— Господи, для нее это дополнительная реклама. Вся Вена будет болтать: видели Марицу? Это вылитая Агнесса Эстергази. Я уверен, что она не сердится.

— Я тоже так думаю.

Похоже, Паула гордилась им, как мать сыном, успешно сдавшим государственные экзамены. «Да ты стал совсем взрослым, мой мальчик!» — говорил ее взгляд. Кальману стало не по себе: она будто видела его насквозь и дальше — в перспективе грядущих лет, куда он не мог, да и не осмеливался, заглянуть...

ИМПЕРАТОР

Это случилось на генеральной репетиции «Принцессы цирка», которую вел король венской оперетты, герой-любовник, режиссер и директор театра «Ан дер Вин» красавец Губерт Маришка.

— Эта ария героини лишняя, — безапелляционно заявил кумир Вены.

— Мне хочется оставить ее, Маришка, — посасывая незажженную сигару, проговорил Кальман. — Ты же знаешь, я сам постоянно стремлюсь к сокращениям, но...

Маришка в черном плаще и шелковой полумаске так посмотрел на Кальмана, что тот осекся. Не отводя глаз, Маришка сложил ноты вдвое и отшвырнул прочь.

— Начали!..

— Минутку, — не повышая голоса, произнес Кальман. — Я произведу еще сокращение.

Он подошел к пюпитру, снял ноты, вынул тетрадку и разорвал ее на четыре части.

— Как?.. Вы снимаете главную арию мистера Икс? — ошеломленно проговорил дирижер.

— Да... Продолжайте!

Казалось, Маришка то ли кинется на Кальмана, то ли потеряет сознание, он был белее пластрона своей сорочки.

— Кальман!.. — произнес он сдавленным голосом.

— Да, Маришка?

— Это лучшее, что ты создал.

— Мне это многие говорили, — равнодушно пробурчал Кальман. — Не задерживайте репетицию. У меня нет времени.

Маришка был корифеем австрийской оперетты, баловнем зрителей, властным и самолюбивым человеком, но прежде всего он был артистом. И пока на сцене творились суета и растерянность, напоминающие панику в обозе, он подошел к дирижеру и коротко с ним о чем-то переговорил. Затем дал знак к продолжению репетиции. Оркестр заиграл вступление к арии мистера Икс. Маришка вышел на просцениум, опустился на колени перед Кальманом и запел:

Верни, Маэстро, песню сердца назад,
Верни мне радость, о мой названный брат!
Я нищ и жалок без тех звуков и строк,
Мой дух подавлен, я опять одинок...

Спел настолько блистательно, что даже партнеры захлопали, а Кальман холодно спросил:

— Как с арией героини?

— Будет, будет, все будет, уже есть, ваше величество!

— Так бы сразу... — Кальман прикрыл пальцами зевок. — А ты отлично спел, Маришка...

...С цветами и бутылкой вина, возбужденный и радостный, Кальман вернулся домой.

— Паула, Паула! — закричал он с порога. — Я — император!.. Ты и тут оказалась права. Я — император!.. Сам Маришка пел передо мной на коленях!..

В ответ — тишина. Дурная, давящая тишина. Встревоженный Кальман поспешил в комнаты.

Из спальни выползла старая, слепая такса. Припав к полу, она вскинула длинную острую мордочку и завывала. В страшном смятении Кальман распахнул дверь. Паула лежала ничком вкось кровати, на подушке атели пятна крови. Казалось, она не дышит.

— Паула!.. — То был голос смертельно раненного зверя...

Женщина медленно открыла глаза.

— Я вернулась, — прошептала Паула. — Не так-то просто оставить своего старого мальчика... Но приучайся жить без меня, милый...

НЕ УХОДИ!..

Кальман медленно катил инвалидное кресло, в котором сидела больная, обезножившая Паула. На руках у нее дремала дряхлая, совсем ослепшая Джильда. Она не обращала внимания на многочисленных товарок, прогуливающих по улицам. В ту пору Вена по справедливости считалась городом такс: для их удобства на тротуарах были установлены низенькие поилки.

Вот выбежала рыжая длинношерстная такса.

— Попьет! — сказал Кальман и перестал толкать кресло.

— Спорим! — с бледной улыбкой отозвалась Паула. Такса подбежала к поилке и заработала розовым язычком.

— Ты всегда выигрываешь, — с обидой сказала Паула. Такса скрылась за углом, а возле крыльца появилась другая — черная, с рыжими подпалинами.

— Попьет! — азартно вскричала Паула.

— Спорим! — отозвался Кальман.

Такса потянулась к воде, но почуяла свою предшественницу и со всех ног устремилась ей вдогонку.

— Почему ты всегда выигрываешь? — почти жалостно спросила Паула.

— Но это же кавалер, а то была дама. Для него любовь сильнее жажды.

Кальман толкнул кресло...

У дверей их дома сверкал черно-зеркальными плоскостями большой «кадиллак». Кожаный человек за рулем прикоснулся кончиками пальцев к околышу фуражки с очками над козырьком. Кальман удивленно и отчужденно подумал, что эта большая нарядная машина принадлежит ему, а таинственный черный человек в коже — его шофер. Раньше он мечтал об автомобиле, это началось с тех давних дней, когда он проезжал все деньги на только что появившихся такси — единственное безрассудство за всю его жизнь. Когда же он оказался в состоянии завести машину и нанять шофера, Паула была безнадежно больна и ему все сделалось безразлично. Но она настояла на покупке машины. Кальман обрадовался, решив, что она преодолела свое отвращение к автомобилям, и теперь можно чуть не беспредельно расширить ее жизненное пространство, жестко ограниченное инвалидным креслом. Но оказалось, Паула по-прежнему ненавидела бензиновую вонь, выхлопные газы и бессмысленную скорость, не позволяющую взглянуть в окружающее. Прежде он мог бы завести выезд, но в современной Вене держать лошадей было негде, извозчи-

ки перевелись, а кареты и старинные экипажи для туристов Паула отвергала как всякую подделку. Машина предназначалась ему, а Паула осталась при своем кресле с большими колесами.

Он покорился ее желанию. С тех пор как он понял, что болезнь Паулы неизлечима, а чудеса не повторяются (ему не продлить ее дней, как это посчастливилось с отцом), Кальман стал жить машинально, просто из привычки жить. Он машинально отбывал свой музыкальный урок, сочиняя новую оперетту «Герцогиня из Чикаго», без подъема и божества, но равнодушно зная, что она обречена на успех в силу рутины — императора приветствуют даже идущие на смерть, равно и потому, что в музыке непременно окажется то б р и о, которое всегда покоряет венскую публику; машинально спорил с либреттистами, верными Браммером и Грюнвальдом, машинально покупал ветчину, машинально ходил в кафе, что-то говорил, не слыша самого себя и ответов собеседников, и даже машинально завел любовницу. Впрочем, в безотчетности последнего не было уверенности, порой казалось, что тут им распорядилась чужая воля. Странны были его дни. Зачем-то надо было вставать, бренчать на рояле, куда-то ехать, возвращаться, сбрасывать пальто на руки одной горничной, принимать пищу из рук другой, ложиться в постель, приготовленную третьей, его удивляла избыточная населенность прежде пустынного жилья.

Слабея с каждым днем, Паула уже не могла обслуживать дом с помощью одной служанки «за все». Но главное, она хотела облегчить Кальману ожидающее того сиротство. Он умел сочинять музыку, выгодно помещать деньги и выбирать вкусную ветчину — не так-то мало, но недостаточно, чтобы жить без призора. Во всем остальном он был беспомощен: не умел обслуживать себя, терялся перед посторонними, будь то привратница или дворник, не говоря уже о попрошайках всех мастей: от поддельных нуждающихся музыкантов до мнимых жертв войны. Его надо было

оборонить от сквозняков бытовой жизни, и Паула усилила гарнизон. Она наняла трех приходящих горничных, дипломированную кухарку, опытного шофера, а для общего надзора — «дворецкого», как шутили друзья, пожилого крепкого человека с военной выправкой — грозу неугодных посетителей. И последнее — она нашла ему любовницу. Да, это Паула незаметно подтолкнула друг к другу тяжелого, нерешительного Кальмана и рассеянную красавицу Агнессу Эстергази, которая при всей своей взбалмошности казалась ей «доброй бабой».

Паула хотела постепенно отучить Кальмана от себя, чтобы не так резок оказался переход к той жизни, где ее не будет рядом. Она уединилась в отдельной спальне, сводя постепенно их общение к нечастым совместным прогулкам. Она выбирала дни, когда болезнь делала ей маленькую поблажку и можно было навести бедную красу; не хотелось оставаться в памяти Кальмана с изгладанным недугом, влажным от слабости лицом, ряно-острыми скулами и разрывающим худую грудь кровавым кашлем.

Но Агнесса недолго облегчала ей задачу. Веселый грешник Губерт Маришка рассказал Кальману, что у того есть «совместитель» — начинающий киноактер. «Милая Агнесса не хочет переутомлять тебя», — добавил он со смехом. Кальман тут же, без объяснений, порвал с Агнессой и вместо разочарования и обид испытал неожиданное облегчение. Ему лучше было в сумерках Паулы, чем под чужим солнцем.

Кальман оборудовал свой подъезд специальными сходянями, чтобы удобней было вкатывать кресло Паулы. Не отличаясь ловкостью, он проделывал это довольно неуклюже.

— Бедный Имре, — вздохнула Паула, — как же я тебе надоела!

Они поднялись, «дворецкий» распахнул дверь. Кальман подкатил Паулу к столу, поставил перед ней вазу с прекрасными персиками, дымчатым виноградом.

— Зачем ты меня обижаешь? — грустно и серьезно сказал он. — Я и так уже не живу.

— Ты еще не начинал жить, Имре. Я не дала тебе счастья, а только в счастье жизнь.

— Перестань, Паула! Что такое счастье? Это когда улыбаются во весь рот, как на рекламе зубной пасты. Я этого не умею и не хочу уметь. Мне не нужно другой жизни, кроме нашей. Покой и работа — что может быть лучше? И печаль не враждебна музыке. Все, мною сочиненное, должно быть посвящено тебе, Паула. Ты вела меня и охраняла, не давала свернуть в сторону. Я жил твоим мужеством, твоей волей, твоим упрямством, твоей любовью. Я слабый человек, если ты меня покинешь, — произнес он чуть ли не с угрозой, — я погибну, так и знай!

— Как это хорошо! — тихо засмеялась Паула. — До чего искренне! Какой ты дивный эгоист, Имре. Ты хочешь удержать меня в жизни, путая своими бедами. Тебе даже в голову не приходит, что мне самой хотелось бы пожить еще немножко... Ну, просто так. Чтоб видеть солнце. Дерево за окном. Ты считаешь естественным, что мое существование полностью растворилось в твоём. И самое удивительное — ты прав. Если я дотянула до сегодняшнего дня, так только из боязни за тебя. У меня уже давно нет сил жить. Надо принять неизбежное, Имре, и научиться жить без меня.

— Не умирай, Паула! — У Кальмана прыгали губы, его усатое лицо стало беспомощным и детским. — Пожалей хоть мою музыку, если не жалеешь меня.

— Твоей музыке нужны инъекции горя. От этого она только веселеет. Из моей смерти получится хорошенький шлягер.

— Паула, ты меня ненавидишь?

— Я тебя слишком люблю, милый. Хочу облегчить тебе свой уход. Давай я напоследок стану стервой, чтобы ты вздохнул свободно.

— Как можешь ты так страшно шутить?

— А ты хочешь, чтобы я выла?.. Нет, постараюсь сохранить форму до конца. Выслушай меня внимательно. Ты не сможешь жить один. Но не заводи пустых связей.

Это не для тебя. Женись. Возьми молодую, здоровую, хорошую женщину, и пусть она родит тебе сына. У тебя комплекс отца. Ты так страшно переживал смерть своего старого, долго болевшего отца, потому что ощущал его вовсе не отцом, а сыном. Ты мучился своим несостоявшимся отцовством, хотя и боялся его. Я тебя устраивала, потому что не могла родить. Парадокс? Нет! Это снимало с тебя чувство вины за измену своей сути. Не бойся. Ты будешь прекрасным отцом. Ты вырастишь и воспитаешь не одного ребенка.

Джилда зашевелилась, задержалась на руках Паулы.

— Опusti ее на пол, Имре. Странно, даже в таком древнем существе есть еще какие-то желания. Что ей нужно на полу?

Кальман взял таксу и опустил на пол. Джилда стояла, пошатываясь и тупо уставившись в пол.

— Мы умрем с ней в один день, — сказала Паула. — Не выбрасывай ее на помойку. Зарой где-нибудь.

— Я все выполню, Паула: таксу похороню с воинскими почестями, женюсь на красавице и напложу детей. Ты довольна? — Его боль перешла в ярость.

— Ну что ты, Имре? Перестань! Посмотри: мы еще все здесь, еще здесь. Какое это чудо! Мы еще здесь... Возьми Джилду на руки и погладь меня по голове... Вот так... Это наш мир. Целых двадцать лет это наш мир...

...Ночью Кальману приснился старый сон, предвестник перемен: трещала и вскрывалась ледяная броня Балатона. Он ворочался, метался, громко стонал.

Потом настала тишина...

РАЗГОВОР С КОРРЕСПОНДЕНТОМ

— Зачем вам, серьезному писателю, понадобился Кальман? — вот первый вопрос, заданный мне в Будапеште, куда на исходе позапрошлого года я приехал собирать материал об авторе «Сильвы».

Будь это праздное любопытство, я отделался б шуткой, но спрашивал корреспондент вечерней газеты, хмуроватый молодой человек в кедах, обвешанный фотоаппаратами с устрашающими объективами. Он «накрыл» меня в гостинице «Аттриум», едва я успел переступить порог своего номера: такая оперативность удивила меня, но еще больше удивил сам вопрос.

— Вот не думал, что меня спросят об этом на родине композитора.

— Спросят, и не раз, — сказал журналист. — В вашей стране Кальман популярен, говорят, популярнее, чем у нас. Но вам-то лично он зачем?

— В двух словах не ответишь. Кальман для меня не просто важен, а важнее многого другого, да и не для меня одного...

...Это случилось в блокадном Ленинграде. Три девочки собирались в Театр музыкальной комедии, на премьеру. Да, в театр, потому что, всем смертям назло, Ленинград жил. Полуголодные опереточные актеры давали радостный, зажигательный спектакль, чтобы поддержать дух своих земляков. Спектакль, где была романтика и неподдельная веселость, горячие человеческие чувства и занимательная интрига, где сквозь условность жанра пробивалась настоящая, полнокровная жизнь. Они давали «Сильву».

И три девочки, соседки по коммунальной квартире на Кировском проспекте, две постарше, одна совсем маленькая — первоклассница, чудом раздобывшие билеты на премьеру, взволнованно наряжались, крутятся перед зеркалом, потускневшим от чада печурки и испарений варящегося в кастрюле столярного клея — деликатеса блокадных дней. Их «туалеты» были до слез жалки — ведь все что-нибудь стоящее давно обменено на хлеб и червивую крупу. Они натягивали чулки так, чтоб не видно было дырок, сажей подкрашивали давно потерявшие цвет туфли, прилажива-

ли какой-нибудь кружевной воротничок, или поясок, или брошку из крымских ракушек. Старшая девочка хотела подмазать свои бледные губы, но заработала от общей квартирной бабушки подзатыльник. Худые как щепки, бледные и большеглазые, они казались себе в зеркале обворожительными.

Младшая из подруг ужасно беспокоилась, что ее не пропустят, хотя спектакль был дневной, поскольку не хватало электроэнергии. В своей коротенькой юбчонке, из-под которой торчали байковые штанишки, и свитерке-обдергайке она выглядела совсем крошкой.

— Бабушка, — просила она, — ну бабушка, дай же мне чего-нибудь надеть!

— Сидела бы дома, — ворчала та. — Рано по театрам-то шлендрать! — Но все же потащила к сундучку и вынула оттуда клоч истершегося горностаевого меха — пожелтевшего, с почти вылезшими черными кисточками; некогда эта убогая вещица была горжеткой.

Близкий взрыв сотряс стены квартиры, где-то со звоном вылетели стекла.

— Налет, — огорченно, но без всякого страха произнесла старшая девочка. — Неужели отменят спектакль?

— Спектакль состоится при любой погоде! — важно произнесла вторая по старшинству. — При летной и при нелетной. По радио говорили.

Старушка набросила горжетку на худенькие плечи внучки. Истончившаяся от голода девочка обрела сказочный вид: не то «Душа кашля» из «Синей птицы», не то карлица-фея, но сама она была в восторге от своей элегантности.

— Совсем другое дело, — сказала она по-взрослому. — Теперь не стыдно идти на премьеру.

Подруги тоже успели собраться. Когда девочки выходили, маленькая заметила в прихожей выцветший и порванный летний зонтик.

— Бабушка, можно его взять?

— Да зачем он тебе? — удивилась старушка.

— От осколков, — сказала маленькая и, показав бабушке язык, схватила зонтик и выскочила на лестницу.

Они вышли из подворотни — три пугала, три красавицы, три маленькие героини, достойные своего великого города. Напротив их дома еще дотлевали останки школы, разбитой прямым попаданием немецкой бомбы.

Они прошли мимо объявления, привлекшего их внимание: «Меняю на продукты: 1) золотые запонки, 2) отрез на юбку (темная шерсть), 3) мужские ботинки желтые № 40, 4) фотоаппарат «ФЭД» с увеличителем, 5) чайник эмалированный, 6) дрель».

Под яростным ветром девочки перешли Кировский мост — внизу взрослые и дети с бадейками на салазках набирали воду из дымящихся прорубей, — миновали памятник Суворову и краем Марсова поля, где стояла зенитная батарея, вышли на Садовую улицу, затем на Невский и оказались у подъезда «Александринки» — там помещался Театр музыкальной комедии. Словно в довоенные дни, у театрального подъезда кипела взволнованная толпа, походившая, правда, на довоенную лишь своим волнением и жаждой «лишнего билетика», но никак не обликом: бледные лица, ватники, платки, валенки. И все-таки почти в каждом чувствовалось желание хоть чуть-чуть скрасить свой вид. Продавались программы на серо-желтой тонкой бумаге, а на афише значилось: Премьера. Имре Кальман. СИЛЬВА.

Девочки вошли. Раздеваться в почти неоттапливаемом театре было не обязательно, о чем предупреждало объявление, но, подобно большинству зрителей, они сдали в гардероб верхнюю одежду, только маленькая сохранила на шее свою ослепительную горжетку.

Девочки прошли в зал, где было немало военных — преобладали моряки, заняли места. Их бледные лица порозовели: ведь сейчас начнется счастье, дивная сказка о красивой любви, и не будет ни холода, ни голода, ни разрывов бомб и свиста снарядов — немецкий огонь не прекращал-

ся во время спектакля, но никто не обращал на это внимания, — будет то, чем сладка и маняща жизнь.

И вот появился тощий человек во фраке, взмахнул большими худыми руками, и начался удивительный спектакль, где едва державшиеся на ногах актеры изображали перед голодными зрителями любовь, страсть, измену, воссоединение, пели, танцевали, шутили, работая за пределом человеческих сил. Исполнив очередной номер, они почти вываливались за кулисы, там дежурили врач и сестра, им давали глоток хвойного экстракта, иным делали инъекцию.

Но зрители этого не знали. Они были покорены и очарованы. Не стало войны, не стало голода и смерти. Все отхлынуло — была любящая девушка из народа с нежным именем Сильва, и лишь ее горести, ее чувства были важны сидящим в зале...

И вот отгремел последний аккорд, стихли аплодисменты, широкие двери выпустили толпу.

Три девочки шли, пританцовывая и напевая: «Сильва, это сон голубой, голубой», — сами во власти голубого сна. Внезапно старшая девочка будто споткнулась, поднесла руку к сердцу и со странной, медленно истаивающей на худеньком лице улыбкой как-то осторожно опустилась на тротуар, приникла к нему, вытянулась и замерла.

— Людка, ты с ума сошла! — закричала ее подруга. — Вставай немедленно! Простудишься!

— Люда, вставай, ну вставай же! — со слезами просила маленькая.

Она опустилась на корточки, стала тормошить неподвижную Люду.

— Чего шумишь-то, — проговорила старушка с санками, — не понимаешь, что ли?..

И тогда обе девочки заплакали, закричали.

— Плачь не плачь, назад не вернешь, — сказала старушка. — Ступайте домой, я ее свезу куда надо, мне не привыкать.

Она подняла почти невесомое тело, положила на санки и повезла...

Эту историю рассказывал людям после войны известный ленинградский литератор Недоброво. А потом я услышал ее куда подробнее от одной из этих девочек, пережившей блокаду и ставшей прекрасной женщиной.

Я и сам был причастен к блокадной премьере. Мне, двадцатидвухлетнему лейтенанту, работнику отдела контрпропаганды Политуправления фронта, пришлось сбрасывать листовку, посвященную «Сильве», над немецкими гарнизонами в Чудове, Любани, Тосно. В те дни немецкое командование вновь принялось втемняшивать своему приунывшему воинству, что «Ленинград сам себя сожрет».

Листовка содержала минимум текста и много фотографий: афиша у входа в театр, набитый до отказа зрительный зал, дирижер за пультом, сцены из оперетты, смеющиеся лица женщин, детей, солдат, матросов, заключительная овация. Крупным шрифтом было набрано сообщение о премьере «Сильвы» и приглашение немецким солдатам посмотреть спектакль в качестве военнопленных, добровольно сложивших оружие. Листовка служит пропуском для сдачи в плен («Дас Флюгблатт гилт альс Пассиршейн фюр ди Гефангенгабе»).

— Кажется, я вас понял, — сказал корреспондент вечерней будапештской газеты.

Я счел нужным добавить, что благодарность Кальману вовсе не обязывает меня писать о нем жидкими слезами безоглядного энтузиазма. Кальман был живой человек со своими недостатками, сложностями, ошибками. Пушкин сказал, что в человеке выдающемся важна и дорога каждая черта. А Кальман так крепок, что выдержит все. Его не умалишь никакой правдой, как бы горька или смешна она ни была. Он встряхнется и встанет ясным и чистым, как

новый день. Ибо он не в мелких очевидностях своего бытового темперамента, хотя и это интересно, важно, а в своей музыке...

Часть II

НИЧТО НЕ КОНЧИЛОСЬ

Кальман осторожно положил цветы на могильную плиту. Над черным гранитом возвышалась скульптура из белого мрамора: женщина, вглядывающаяся в далекую пустоту слепой сферичностью мраморных глаз. Так перед кончиной смотрела часами в окно Паула, не видя ничего, потому что взор ее был обращен внутрь, в глубь души и прошлого.

Ему сорок шесть, не так уж много, а скольких близких успел потерять: отца, брата, Паулу...

— Отчего так пустеет мир? — произнес он вслух и будто услышал тихий, насмешливо-нежный голос:

— Мы рождаемся в молодом мире. Нас окружают юные братья и сестры, полные сил родители, еще не старые деды. Мир стареет с нами, но быстрее нас. Вот уже ушли деды, потом родители, старшие братья и друзья. И никуда не деться от преждевременных потерь, кому-то на роду написано уйти до срока... Тебе надо было бежать от меня раньше, я все сделала для этого, когда-нибудь узнаешь. Лишь одного я не могла: бросить тебя сама — слишком любила...

Он коснулся плеча Паулы, ее высокой шеи — под рукой был холодный камень.

Когда он повернулся, то увидел у могильной ограды женщину, наблюдавшую за ним с выражением чуть комического сочувствия. Она была элегантна и очень красива. Некоторая усталость век обнаруживала, что страсти знакомы этому молодому существу.

— Агнесса? — удивился Кальман. — Что ты тут делаешь? Это не твое царство.

— Но и не твое, Имре, ты же боишься покойников. — Агнесса усмехнулась. — Тебе не идет поза безутешного вдовца. Для этого ты слишком эгоистичен.

— Да, я был плохим мужем Пауле. И наверное, окажусь плохим вдовцом. Но я и не позер, ты это отлично знаешь.

— Это правда. Ты не умеешь притворяться. И тебе, наверное, здорово плохо без Паулы. Поэтому я и приехала. Мне сказали, что ты бываешь здесь в это время.

— Очень мило с твоей стороны, — удивленно сказал Кальман. — Но я предпочитаю одиночество.

— Я предлагаю тебе одиночество вдвоем.

— Ты что, импровизируешь водевиль: «Ричард Третий в юбке» — соблазнение над могилой?

— Ну, соблазнила-то я тебя значительно раньше.

— И предала тоже.

— Боже мой! Лишь ты мог порвать отношения из-за жалкой мимолетной связи, которую я сама толком не заметила. Столько лет прожить в Вене и остаться жалким провинциалом!

— Тебе не кажется, что над могилой Паулы этот разговор не очень уместен?

— Надо считаться с живыми, а не с мертвыми, — жестко сказала Агнесса. — Много ты думал о Пауле, когда путался со мной?

— Паула сама прекратила нашу близость, — потупил голову Кальман. — Боялась заразить меня чахоткой. Я этого не боялся.

— Паула все знала о нас. Она переживала наш разрыв. Это была замечательная женщина с мужским умом. Она боялась за тебя и считала: какая ни на есть, я могу быть настоящим другом. Она хотела, чтобы мы поженились.

— Это дико, — помолчав, сказал Кальман, — но я верю тебе. Она настойчиво говорила, что я должен жениться и завести детей. Это была ее навязчивая идея. Мне даже ка-

залось, что она готова назвать имя женщины, но меньше всего я мог допустить, что она имеет в виду тебя.

— Это почему же?

— Паула заставила меня верить в женскую порядочность.

— Бедный Имре! Тогда тебе лучше остаться холостяком.

— Я тоже так думаю.

— Но Паула не хотела этого.

— Не шантажируй меня ее именем.

— Что за тон, Имре? Ладно, Бог с тобой. Но зачем же терять дружбу?

— Ты хорошо говорила о Пауле. За это тебе многое прощается. А дружить мы, наверное, сможем.

— И на том спасибо! Ты на колесах?

— Нет, Паула не выносила автомобилей. Я хожу сюда пешком.

Агнесса внимательно посмотрела на него.

— Нет, это не лицемерие. Ты по-настоящему любил Паулу. Давай я подброшу тебя в город.

Машина быстро домчала их до центра Вены. Возле погребка «Опера» Кальмана окликнул какой-то краснощекий человек.

— Это мой зять, — сказал Кальман Агнессе. — Я здесь сойду.

— Мы увидимся?

— Конечно. Только не на кладбище.

— Тебя не оставило чувство юмора. Ты будешь жить.

Кальман вышел из машины. Агнесса дружески помахала ему рукой.

— Поздравляю, — сказал зять. — Ты не теряешь времени даром.

Кальман пожал плечами.

— Какая женщина! — Зять поцеловал сложенные щепотью пальцы. — И какое имя!.. Не знаю, что она в тебе нашла, но забрало ее крепко. Столько времени графиня

Эстергази ждет пожилого мужчину с внешностью отнюдь не лорда Байрона.

— Не болтай!

— Я совершенно серьезно. Мы все... и твоя мама надеялись на этот брак. Она молода, красива, богата и знатна. Представляешь, как будет звучать: графиня Кальман-Эстергази, граф Кальман-Эстергази!..

— Я Кальман, и с меня этого достаточно.

— Надо и о родне думать. Нам давно хотелось породниться с аристократами. Может, у тебя на примете какая-нибудь Габсбург или Нассау? Признайся честно своему верному Йоше. Хочешь стаканчик чего-нибудь?

— Нет. Ты мне надоел со своими пошлостями. Пойду в кафе «Захер».

— Не сердись, Имре. Я же любя.

Кальман не ответил и пошел через улицу в сторону избранного венской богемой кафе.

Он вошел и, рассеянно раскланиваясь с посетителями, двинулся к своему обычному столику у окна.

Официант, не спрашивая заказа, с быстротой молнии поставил перед ним кофейник, чашку и стакан с ледяной водой. Чиркнул спичкой. Кальман с наслаждением закурил сигару. Голубое облако всплыло перед ним. Он пропустил мгновение, когда в этом облаке обрисовалось вначале смутно, затем все отчетливей девичье лицо такой светлой и радостной красоты, что вторично будет явлена человечеству спустя годы и годы в образе юной Мэрилин Монро. То же золото волос, синь глаз, кипень зубов в большой легкой улыбке, та же нежнейшая кожа, совершенная линия шеи и плеч. Но в этой девушке было больше какой-то благородной прочности, при всей деликатности сложения, в ней не чувствовалось даже намека на излом, будто ее растили в особо здоровом, напоенном свежестью трав и цветов пространстве.

Кальман прочно уставился на нее, но девушка, занятая разговором с подругой, не догадалась об этом неприлич-

ном разглядывании. Когда же она неожиданно повернулась в его сторону, он успел скрыться в густом облаке дыма.

Официант как раз что-то прибирал на его столике.

— Запишите на мой счет! — крикнула девушка и быстро пошла к выходу.

Кальману показалось, что официант хотел кинуться за ней вдогонку.

— Обер! — остановил его Кальман. — Кто эта девушка?

— А, не стоит разговора, господин Кальман. Какая-то статисточка... Никогда не платит за кофе.

— Сколько она задолжала?

— Семь шиллингов четыре крейцера, — без запинки ответил официант.

— Запишите на меня, — сказал Кальман. — Она одна приходит?

— Если вы о кавалерах, господин Кальман, то одна. Раньше ее приводила мамочка. Эта хоть тихая, стеснительная. А мамочка — не заплатит да еще наорет.

— Ладно. Вам будет уплачено, и довольно об этом.

Кальман отвернулся и вдруг увидел в окне удаляющуюся фигуру девушки. Увидел ее длинные, стройные ноги, осиную талию, тонкое, долгое юное тело. Увидел в неестественном приближении, как будто навел бинокль. Девушка вдруг оказалась совсем рядом, ее можно было бы позвать шепотом. Но то был оптический обман. Она мгновенно отдалилась на всю длину улицы и вдруг исчезла, как стаяла. Но и это был обман, она продолжала существовать где-то там, в толпе и сумятице городской жизни, ее можно опять увидеть, хотя бы в этом кафе... Ему казалось еще недавно, что все кончилось. Да, все кончилось, но все начиналось снова...

ВЕРУШКА

Со стороны могло показаться, что это одевают манекен. Но не было тут сторонних наблюдателей, все обитательницы захудалого пансиона с пышным названием «Цен-

траль» принимали участие в великой женской заботе. И обряжали они вовсе не манекен, а живую, нежную, розовую, дышащую плоть — изумительно сложенную золото-волосую девушку, стоящую посреди комнаты. Пахло утюгом, пылью, недорогими духами. Каждая деталь туалета придирчиво осматривалась, чистилась, встряхивалась, проглаживалась, опрыскивалась «Лориганом для бедных» и надевалась на обнаженную красавицу.

Вот на ней оказался лифчик, потом один чулок, другой, пояс с подвязками; подвязки соединились с чулками, натянув их до отказа и обрисовав длинные стройные ноги с высоким благородным подъемом и сильными икрами; ступни всовываются в черные лакированные туфли. Затем девушка продела руки в кружевные рукава тончайшей, просвечивающей кофточки.

— Штанишки! — крикнула одна из добровольных камеристок. — Мицци, что ты там копаешься?

Из смежной двери высунулось покрасневшее от раздражения лицо рыжеволосой Мицци.

— Чего орете?.. Дырка на самой попке. Пьяный дурак Мориц уронил пепел. Сейчас зашью.

— Неужели других нет? — подал жалобный голос «манекен».

— А у тебя есть?.. Чем мы лучше?.. У одной Мицци приличные деду, и те прожгли.

— При наших заработках — хоть бы фасад содержать в порядке! — сказала маленькая травестюшка.

Наконец Мицци залатала дырку.

Одна нога, другая нога, через голову накидывается юбка, теперь жакет, шляпка. Чего-то не хватало... Добрая ворчливая Мицци принесла сумочку на длинном ремешке.

— Только не крути ее вокруг пальца, — предупредила Мицци, — это неприлично.

Полностью экипированная красавица подошла к зеркальной дверце шкафа и отразилась там во всем своем великолепии. Это уже знакомая нам посетительница кафе

«Захер», чей кофе с королевской щедростью оплатил потрясенный ее красотой Кальман.

— Только смотри, Вера, к трем часам ты должна вернуться. Иначе мне не в чем будет выйти, — сказала одна из девушек.

— Не забудь где-нибудь сумочку, — предупредила Мицци.

— И штаны тоже, — злобно сказала женщина с прилипшей к губе папироской.

— Не суди по себе, Грета! — огрызнулась Вера.

— Не залей юбку, я в ней выступаю, — поступило очередное напоминание.

— Не бойтесь, девочки, все будет в полном порядке, — заверила подруг Вера, ловко орудуя пуховкой.

— Имей в виду: за чулки убью! — пригрозила травестюшка.

— У меля в два сорок массовка — не забудь...

— А у меня в три проба...

— Брось, — сказала курильщица, — на тебе некуда пробу ставить.

— Да успокойтесь, девочки, как вам не стыдно? — выщипывая брови, сказала Вера.

И хоть сильно беспокоились за свои жалкие вещички насельницы пансиона, они все равно рады за подругу, которой, похоже, наконец-то засветило солнце. Под малогостеприимным сводом собрались юные и не очень юные существа, с которыми жизнь обошлась довольно сурово: актрисы без ангажемента, балетные статисточки — «крысы», как сказано у Бальзака, будущие кинозвезды, не продвинувшиеся дальше массовки; обездоленные существа стойко держались против злого ветра неудач, хотя редкая устояла бы против временной связи с хорошо обеспеченным господином.

— А кто он хоть такой, этот твой банкир? — спросила курящая.

— Странно, — подмазывая губы и оттого чуть пришепывавая, отозвалась Вера, — я его тоже приняла за банки-

ра, когда он подошел ко мне в кафе. Он такой полный, солидный, неторопливый, молчаливый, настоящий делец, а знаете, кем он оказался? Кальманом!

— Каким еще Кальманом?

— Ты с ума сошла? Не знаешь короля оперетты?

— Ладно болтать-то! Ври, да знай меру. Будет Кальман с тобой связываться. Ему — только свистни... Весь балет...

— И все солистки...

— И все примадонны...

— Да у него роман с графиней Эстергази, — важно сказала Мицци.

Вера несколько растерялась перед этим натиском.

— Как же так?.. Он обещал представить меня Губерту Маришке. Тот даст мне роль в «Принцессе из Чикаго».

— Губерту Маришке?.. Красавцу Губерту?.. Любимцу Вены?.. Да он просто жулик, этот твой бухгалтер...

— Ладно, снимай жакет! Нечего дурака валять. Этому счетоводу и так много чести...

— А что же ты не спешишь к господину Кальману? — ехидно сказала курящая. — Уже двенадцатый час.

— Он обещал заехать за мной на машине.

Девушки издеваются над Верой не по злобе — от разочарования. Они поверили чудной сказке, оказывается, опять обман, не солидный покровитель, а какой-то очковтиратель. Послышался резкий автомобильный гудок. Девушки кинулись к окнам. Внизу стоял открытый «кадиллак» Кальмана. Кальман курил сигару, откинувшись на сиденье, шофер в черных защитных очках мял грушу клаксона.

— Он! — охнула белобрысая статисточка.

— Кто он?!

— Дер Кальман, — прошептала «крыса» и лишилась сознания...

...В третьем часу дня в пансионе «Централь» началась паника. Девушки — в туалете каждой чего-то не хватало — яростно бранили запозднившуюся подругу.

— Делай после этого добро людям!..

— Я опаздываю на свидание!..

— Небось, сидит в ресторане и корчит из себя светскую даму!..

— Если я потеряю роль — глаза выцарапаю! — пообещала травестюшка.

И тут появилась запыхавшаяся Вера. Девушки накинулись на нее, как грифы на павшего верблюда, и стали сдирать свои вещи...

Вера в халатике и стоптанных домашних туфлях убежала подруг не сердиться.

— Девочки, милые, честное слово, я не виновата. Господин Кальман никак не мог сговориться с директором Маришкой.

— Неужели с ним настолько не считаются?

— Он там император! — гордо сказала Вера.

— Так за чем же дело стало?

— Маришка сразу принялся ухаживать за мной. А Кальман сказал: «Маришка, ты мне мешаешь». Совсем как в «Княгине чардаша». Тот отстал, но разозлился и нарочно развел канитель.

Вбежала готовая на выход Мицци, брезгливо держа что-то завернутое в промасленную бумагу.

— Это что такое?

— Бутерброд с ветчиной. Господин Кальман меня угостил. Он любит ветчину и всегда носит с собой в пакетике.

— Не много же ты заработала! — обдала ее презрением Мицци и выметнулась из комнаты...

— Ну а роль тебе хоть дали? — поинтересовалась травестюшка.

— Дали. Маленькую. Всего несколько слов. Но с проходом через всю сцену. О, мне бы только показаться публике!

— Отбоя не будет от ангажементов!..

Еще несколько шуток, запоздалых охов по поводу незамеченной дырки, спущенной петли, и девушки, будто воробьи, разом вспорхнули и улетели. Да они и были

под стать воробьям, только в отличие от пернатых собратьев иной день и зернышка не наклевывали в городском навозе...

В опустевшем пансионе «Централь» Вера гладила свое старенькое платье в комнатке толстой, расплывшейся консьержки.

— Ну как я пойду в ресторан в таком виде! — с отчаянием сказала Вера. — Может, отказаться?

— Ему нужна ты, а не твое платье. Не важно, как женщина одета, важно, как она раздета.

— Но я еще не женщина, тетушка Польди. О чем вы говорите?

— Зачем же ты идешь?

— Он мне нравится. Он знаменитый. На него все смотрят. И я никогда не была в дорогом ресторане.

— Хочешь совет? Есть у тебя хоть одна приличная вещь? Шарфик? Дай сюда этот шарфик.

Вера принесла шарфик. Тетушка Польди встала и с неожиданной грацией принялась играть пестрым лоскутом ткани, то повязывая вокруг шеи, то накидывая на плечи, то лаская пальцами, словно мужскую руку. Вера смотрела как замороженная.

— Поняла?.. Привлекай внимание к этому шарфику, и мужчина ничего больше не увидит. Ни старого платья, ни дырявых чулок, ни сношенных туфель. Мужчины, дитя мое, вообще не видят, как женщина одета. Мы обманываем самих себя, считая, что одеваемся для мужчин. Мы одеваемся только друг для друга.

Вера не слушала, с подавленным ужасом смотрела она на безобразную старуху, бывшую когда-то неплохой актрисой и, наверное, привлекательной женщиной.

— Тетушка Польди, а как же так случилось?..

— О чем ты?

— Все это... — Вера обвела вокруг себя рукой.

— Ушла красота, ушла молодость. Я не умела откладывать на черный день. Я жила. И ни о чем не жалею. У меня была жизнь. Смотри, платье сожжешь.

Вера поспешно отняла уют; в синих сосредоточенных глазах — твердая решимость не повторить судьбу тетушки Польди.

Кальман пришел вовремя. Вера высмотрела его из окна и сбегала вниз, прежде чем он успел позвонить. Она сразу убедилась в мудрости старой привратницы. Утром он внимания не обратил на ее элегантный туалет, а сейчас, невольно следя за игрой с шарфиком, заметил:

— Как вы мило одеты!..

Но эта игра не ввела в заблуждение зятя Кальмана Нишу, когда они, отпустив машину, вошли в вестибюль его ресторана. Он кинулся им навстречу, но вдруг отступил и стал быстро-быстро говорить что-то по-венгерски. А говорил он, что Кальман, видать, сошел с ума, если позволил себе привести в ресторан эту нищенку.

Кальман пытался ему возражать, но тут Вера повернулась и кинулась прочь.

Он успел — при всей своей тучности — настичь ее в дверях. Они почти вывалились на улицу под начавшийся, как и положено, дождь.

— Что с вами, Верушка? — впервые назвал он ее тем именем, которое останется за ней навсегда.

— Я понимаю по-венгерски, — прозвучало сквозь слезы.

— Не обращайтесь внимания на этого мужлана... Он приползет к вам с извинениями.

— Не нужны мне его извинения. Он прав. Я нищенка, а нищие не ходят по ресторанам.

— Мне казалось, что вы так мило одеты!..

Они шли под проливным дождем и не замечали, что промокли до нитки, что в туфлях хлопала вода.

— Я хорошо знаю бедность, — говорил Кальман. — Мы все исправим. Как жаль, что магазины уже закрыты.

— Но я хочу есть, — жалобно сказала Вера. — За весь день я съела один ваш бутерброд с ветчиной.

— Бедная девочка! Знаете что, я живу поблизости. Не бойтесь, это вполне прилично. Дом полон прислуги, нам быстро приготовят поесть.

— Господин Кальман, с вами я ничего не боюсь.

Кальман накинул на плечи Веры пиджак, и они побежали сквозь дождь к его дому.

Дверь открыл важный камердинер с военной выправкой и ухоженными, торчащими вверх усами. Он снял с Вериних плеч пиджак своего хозяина и с нескрываемым презрением окинул взглядом непарадную фигуру посетительницы.

В коридор заглянула горничная, из кухни высунулась кухарка. По совету Агнессы Эстергази он перевел гарнизон на казарменное положение.

— Помогите даме, — сказал Кальман горничной. — А потом проводите в гостиную. Я пошел переодеться.

Камердинер последовал за ним, а горничная панибратским жестом пригласила Веру в ванную комнату.

Переодеваясь, Кальман давал указания камердинеру:

— Ужин — холодный, вино — подогретое. Накройте в малой гостиной. Затопите камин. Да... обязательно — устрицы и к ним мозельвейн.

— Слушаюсь.

— Даме предложите рюмку «мартеля».

— Может, просто стопку шнапса? — с невинным видом сказал камердинер.

Кальман стал императором, но не для наглых столичных слуг.

— Делайте, как я сказал.

Когда Вера вышла из ванны с плохо просушенной головой, в мокроватом, жалко обтягивающем платье и мокрых туфлях, она сразу почувствовала по выражению лица величественного камердинера свою низкую котировку. Она хотела сесть на диван.

— Не сюда, — сказал камердинер и показал на стул с плетеным сиденьем.

Вера села, с ног ее текло, она попыталась надвинуть на пятно коврик, но ее остановил железный голос камердинера:

— Не пытайтесь, дамочка. Паркет все равно испорчен.

— Я вам не «дамочка», — сказала Вера, смерив его взглядом. — Имейте уважение к гостям своего хозяина.

Камердинер покраснел, он не ожидал отпора. Кухарка из любопытства сама подавала на стол. Она принесла устрицы на льду, аккуратно нарезанные дольки лимона, поджаренный хлеб. Камердинер открыл бутылку белого вина.

Вера не торопилась. Она смотрела, как Кальман взял половинку устричной раковинки, выжал туда дольку лимона, подцепил маленькой вилкой студенистый комок и отправил в рот. Со светским видом последовала она его примеру, но не смогла проглотить кислый, холодный и с непривычки довольно противный комочек. Камердинер прятал усмешку, правда, не слишком старательно.

— Выплюньте, — тихо сказал Кальман. — Но Вера заставила себя проглотить устрицу.

— Это, видимо, отсендские, — сказала она с апломбом. — Некоторые их любят. Но мне всегда чудится легкая затхлость. Я признаю только устрицы Бискайского залива: ла-рошельские или олеронские. — У Веры была цепкая память, бессознательно вбиравшая любые сведения.

— Слышите, Фердинанд, — сказал Кальман. — Надо брать только бискайские устрицы. А эти уберите!

— Слушаюсь! — отозвался камердинер и посмотрел на Веру.

И она посмотрела на него: открыто, прямо и вызывающе. В их взглядах читалось: увидим, кто кого. Но Кальман ничего этого не заметил.

— Разрешите выпить за вас. За ваш дебют.

Они выпили.

— Я старше вас на тридцать лет, — сказал Кальман. — Могу я называть вас Верушкой?

— Пожалуйста, — улыбнулась Вера. — Хотя никто меня так не называл.

— А когда вы ко мне привыкнете, когда мы подружимся, вы будете называть меня Имрушкой, хорошо? Это напомнит мне детство, родительский дом, молодых родителей, сестер, брата.

— Вы очень любили свою семью?

— Я и сейчас люблю, памятью — ушедших, сердцем — оставшихся.

— Вы очень хороший человек, — искренне сказала Вера — Я не видела таких хороших людей.

Поужинав, они пересели в низкие мягкие кресла у камина, им подали кофе. Спросив разрешения, Кальман закурил сигару и сквозь завесу дыма долго смотрел на Верушку. Она, отогревшись и насытившись, наслаждалась уютом, покоем и тишиной гостиной, потрескиванием поленьев в камине, игрою пламени и присутствием деликатного, надежного и милого человека. Но что-то женское неудовлетворенно попискивало в ней.

— Какие у вас круглые колени! — задумчиво произнес Кальман.

— Разглядел! — засмеялась Верушка. — Нельзя сказать, что вы слишком наблюдательны!

— У вас удивительно красивые ноги, — осмелел Кальман.

— Но в дырявых чулках, — добавила Вера.

— Верушка, — поколебавшись, сказал Кальман. — Могу ли я попросить вас пойти со мной завтра в город и несколько обновить ваш туалет?

— Несомненно! — с комическим вздохом отозвалась Верушка. — Я ни в чем не могу вам отказать. Но с одним условием, — добавила она серьезно. — Я беру у вас в долг. Верну из первой полочки.

— Разумеется, — сказал Кальман. — Я это и имел в виду. А сейчас я пошлю за такси. Вам завтра рано в театр..

Несмотря на юный возраст, Верушка всегда твердо знала, чего хочет, другое дело, что знание своих потребностей ничего ей не приносило. Иначе было сегодня. В магазине на прекрасной Кернер-штрассе Верушка без проволочек приобрела голубое плиссированное шелковое платье, под цвет ему туфли, сумочку, перчатки и — верх изящества — в голубых тонах трехцветную косынку. Переодевшись, она гордой и легкой поступью подошла к Кальману, поджидавшему ее в автомобиле.

— Голубая симфония! — произнес он восторженно и с более деловой интонацией осведомился, где же сверток со старыми вещами.

— Зачем тащить старые тряпки в новую жизнь? — со смехом отозвалась Верушка.

Кальман даже не улыбнулся: подобная расточительность была ему глубоко чужда. Верушка не догадывалась, с каким аккуратным и бережливым человеком свела ее судьба. Когда же догадается, то разнесет в щепы жизненные устои Кальмана. Но это случится много позже.

— Куда пойдём обедать? — спросил Кальман, оправившись от легкого шока.

— К вашему зятю, — решительно ответила Верушка.

Жажда реванша пронизывала ее юное, но испытанное уже немало унижений сердце.

«Кадилак» остановился возле заведения Иоши. Когда Кальман и его спутница вошли, шустрый ресторатор со всех ног кинулся к ним навстречу. Кальман не подал ему руки, лишь проворчал угрюмо:

— Сперва извинись перед дамой.

— Я впервые вижу эту прекрасную даму и ни в чем перед ней не виноват, — хладнокровно сказал Иоша. — Милости прошу, уважаемая госпожа, весь к вашим услугам! — И он любезно поклонился Верушке.

— Ты негодай! — вскипел Кальман.

— Он умный человек, — улыбнулась Верушка. — Я не намерена принимать извинения за глупую замарашку, су-

нувшуюся в первоклассный ресторан. — И Вера протянула руку Иоше.

— Мы будем друзьями, — сказал тот, склоняясь к ее руке...

...Красивая и нарядная, с маленьким чемоданчиком, Верушка отправилась на премьеру «Принцессы из Чикаго».

— Пожелайте мне удачи, тетушка Польди. Сегодня у меня премьера.

— Дай Бог тебе счастья, девочка! — Тетушка Польди схватилась за край деревянной скамейки. — Большая роль?

— Слов десять... Но самая важная в моей жизни. Я приду поздно, если вообще приду.

— Значит, все-таки женится?..

— А куда ему деваться?.. Но уж очень он нерешительный.

— Кавалер старой школы.

— Слишком старой.

— Это у нынешних: раз-раз — и на матрас. А он приглаживается. Хочет понять: по любви ты за него идешь или по расчету.

— Почему это надо разделять? Конечно, я полюбила. Но ведь я знаю, что он не лифтер и не жилеточник. Влюбиться можно и в голь перекатную, но тогда я бы подавила свое чувство.

— Умница! У тебя сердечко с головкой в ладу. Я сразу, как тебя увидела, поняла, что ты в «Централе» не удержишься.

Премьера прошла триумфально, что уже стало привычным для Кальмана. И Верочка промелькнула по сцене эффектно, хотя замечена была лишь наметанным глазом старых любителей опереточных див, вроде пресловутого Ферри.

Кальман без конца выходил раскланиваться и был величествен, как Наполеон на торжественных полотнах Давида, благо он напоминал великого корсиканца малым ростом, дородностью и угрюмством.

Вера быстро разгримировалась и сбежала вниз, к дверям артистического подъезда, где, как она полагала, ее будет ждать Кальман, но Кальмана не было.

— Господин Кальман не прѣходил? — спросила она привратницу, потягивающую кофе из большой фаянсовой кружки.

Та отрицательно мотнула головой.

За стеклянными дверями пронеслись косые струи дождя, как будто нанявшегося сопровождать все перипетии Вериного романа.

Сверху донесся шум. Спускалась большая и блестящая компания. Возглавлял шествие сияющий, неотразимый Губерт Маришка об руку с примадонной. За ним, обведенный почтительным кругом, шествовал император Кальман об руку с графиней Эстергази, она что-то быстро говорила, и Кальман внимательно слушал, склонив к ней лысоватую голову, а сзади по бокам роились субретки, комики, оркестранты, замыкал шествие длинновязый маэстро. Конечно, они шли отметить премьеру.

Верочка выступила вперед, очаровательно улыбаясь, но рассеянно-самоуверенный взгляд Губерта Маришки лишь скользнул по ней и ушел в пустоту, а Кальман даже не оглянулся, и никто из партнеров не обратил на нее внимание. Она была чужая им: статисточка, которую по знакомству выпустили на сцену. И тут она со стыдом и болью почувствовала, как тускло выглядит не только рядом с роскошной Эстергази и примадонной, но даже с рядовыми артистками, умеющими придать себе блеск малыми средствами. Она отступила в тень.

Веселая толпа прошла, обдав ароматом духов и пудры, сладким запахом дорогих сигар, благоуханием удачи. А за дверями, дружно раскрыв зонтики, погрузилась в иссеченную дождем ночь.

Вера выглянула за дверь — ливень сек по тротуарам, мостовой, листьям каштанов и платанов, по редким фигурам прохожих, крышам лимузинов, кожаным верхам извозчичьих пролетов, куда ни глянь — разлитое море.

— Тетя Пеппи, одолжите мне ваш зонтик, — попросила Вера привратнику.

— Еще чего! А если мне понадобится самой выйти?

— Но вы же никуда не выйдете до завтрашнего утра.

— А пописать? Ночью я люблю это делать под платанами. Хорошо обдувает.

— Мне так далеко идти...

— Дойдешь — не сахарная!.. Зонтик денег стоит.

— Какая же вы недобрая!..

— Посмотрим, какой ты будешь в мои годы!.. Не взяли тебя, — сказала она злорадно. — Ишь, вырядилась!.. Кому ты нужна, крыса?! — закончила со всей злобой неудавшейся жизни.

Слеза выкатилась из Вериного глаза. Девушка пошла к дверям и вдруг увидела поднос с песком и в нем — брошенные мужчинами недокуренные сигары. Она узнала толстую дорогую сигару Кальмана, уже погасшую, с серым колпачком пепла. Сама не зная зачем, она взяла окуроч, сунула в сумочку и вышла на улицу.

Она шла по лужам и ручьям, не выбирая дороги, нарочно ступая в самый поток, и слезы на лице ее смешивались с дождевыми каплями.

Насквозь промокшая, она подошла к своему мрачному пансиону и увидела у подъезда знакомую фигуру с зонтом.

— Верушка, — сказал Кальман, — куда вы запропалились?

— И вы еще спрашиваете?.. Вы прошли мимо меня с этой роскошной графиней и даже не оглянулись!

— Я вас не видел, — простодушно сказал Кальман. — Я немного проводил графиню, объяснил ей, что на меня нечего рассчитывать, извинился перед друзьями и вернулся назад. Но там была только старая ведьма с огромной кружкой кофе.

— Мне надоело ждать, и я пошла к своему дружку. Он живет рядом.

— Вот как!.. — Кальман опустил голову и медленно повернулся.

— Имре! — вскричала Верушка. — Нельзя же быть таким наивным. Какое свидание?.. Какой дружок?.. Я плакала и шлепала сюда по лужам. С вашим окурком в сумочке. — Она достала остаток кальмановской сигары.

— Зачем вы его взяли? — Кальман был глубоко поражен.

— Сама не знаю... Как последнюю память о вас...

— Верушка, — растроганно сказал Кальман. — Скоро закрытие сезона. Поедьте в Венецию.

— Это неудобно, Имрушка.

— Спасибо, что вы меня так назвали. Пригласим вашу маму. Кстати, где она?

— В Румынии.

— А что она там делает?

— Выходит замуж. Но она немного потерпит... ради меня..

Гондола скользила по каналу, отражавшему серпик месяца. На фоне звездного неба вырисовывались контуры дворцов и высоченной колокольни собора Святого Марка. Затих неумолчный треск голубиных крыльев на соборной площади. Сизари, турманы, воркуны, чистяки разлетелись по крышам для недолгого чуткого сна.

Гондольер лениво шевелил веслом. Под балдахином на вытертом сиденье полулежал Казанова-Кальман, к плечу его приникла расцветшая на регулярном венецианском питании Верушка.

— Скажи, чтобы он спел что-нибудь народное, — попросила Верушка.

И на ужасной смеси немецкого, французского, с примесью условно итальянского — «бамбино», «баркарола» — Кальман заказал гондольеру венецианскую песню о любви, подтвердив серьезность заказа несколькими сольдо.

Гондольер отложил весло, достал гитару и не слишком приятным, но верным голосом запел нечто весьма далекое от колеблющегося ритма баркаролы:

Сияют звезды на небе ясном,
В жемчужном круге плывет луна.
Когда вместе мы с тобой
И вдали шумит прибой,
О счастье вечном звенит струна!..

— Это не венецианская песня. Это Кальмана.

— Какого еще Кальмана? — удивился гондольер. — Народ поет.

— Народ, может, и поет, но это мелодия из оперетты «Баядера».

— Синьор что-то путает, — натянуто улыбнулся гондольер.

Чтобы задобрить его, Кальман кинул еще несколько монет.

Гондольер пришел в хорошее состояние духа и громко запел шлягер из «Княгини чардаша».

— Это тоже Кальман, — огорченно сказал композитор.

— Какой Кальман? — разозлился гондольер. — Не буду петь!.. — И скрепил это решение международной формулой разрыва: — Моя твоя не понимай.

— Ты слишком популярен, Имрушка, — сказала Вера. — Вчера в траттории весь вечер играли попури из «Марицы».

— А я что — виноват? — проворчал Кальман. — Маришка утверждает, что на страшных Соломоновых островах ритуальные убийства происходят под вальс из «Принцессы цирка».

— Очень остроумно, — суховати одобрила Верушка. — Пусть гребет к берегу. От воды несет, и слишком много дохлых крыс.

Кальман дал распоряжение обиженному гондольеру, и вскоре они вылезли из гондолы на набережной Скъявоне, неподалеку от моста Вздохов, о чем Кальман счел нужным напомнить Верушке.

— К вздохам этих несчастных прибавятся и мои вздохи, — сказала Верушка.

— Тебе надоело наше путешествие?

— Нет, ты мне надоел, Имрушка. А еще — гнилые дворцы, вонючие каналы, голубиный помет, запах жареной рыбы и туристы с отвисшими челюстями. А главное — вода. Всюду она колышется, плещется, хлопает. И все тут какое-то зыбкое, ненастоящее. А я хочу прочной жизни на прочной земле. Мне надоела неопределенность.

Из всей ее длинной тирады, смысла которой был совершенно ясен, Кальман задержал в сознании лишь первую фразу и откликнулся на нее:

— Я должен был это предвидеть. Такая разница лет!.. Ты могла быть моей внучкой...

— Не завирайся, Имрушка. Тогда твоему сыну или дочери пришлось бы родить меня в двенадцать лет.

— А что ты думаешь, известны случаи... — Он понял, что зарпортовался, и продолжал в ином, серьезном и печальном, тоне: — Никогда еще не вторгался я так глубоко в судьбу другого человека. Как хорошо мне было с тобой! Но даже в самые дивные минуты к моему счастью примешивалась боль. Ведь на свете столько мужчин, которые куда моложе и во всех смыслах привлекательнее меня.

— Разве я дала тебе повод сомневаться в моей верности? — несколько сбита с толку витийством обычно молчаливого человека, спросила Верушка.

— Неужели я оскорбляю тебя подобным подозрением? Я просто неисправимый пессимист. Таким сделала меня жизнь. Я и дальше пойду скорбным путем одиночества...

— И думать забудь! — прозвучал серебристый, но твердый голосок. — Ты меня достаточно скомпрометировал.

— О чем ты, Верушка? — Интонация глубокой скорби задержалась в его голосе.

— Я согласна.

— С чем ты согласна?

— Согласна стать твоей женой.

Это было слишком для изношенного сердца, и Кальман схватился рукой за перила горбатого мостка, перекинутого

через узкий канал. «Что со мной? — думал он смятенно. — Ведь сбылась заветная мечта. С первого взгляда я понял, что в ней моя судьба. Иначе за каким чертом стоило покупать дом?..»

Он купил дом перед поездкой в Венецию под нажимом Агнессы Эстергази. Насколько непостоянна была она в любви, настолько верна в дружбе. Поняв — без тени страдания, — что браку с Кальманом не бывать, она, будто выполняя невысказанный наказ Паулы, стала опекать его. «Тебе надо жениться, — убеждала его Агнесса. — Но ты не поселишь другую женщину во владениях Паулы. Брось скаредничать. Квартиры, даже большие, неудобны. Тебе нужен дом, чтобы в нем была детская половина... — И в ответ на протестующий жест: — Ты же непременно наплодишь кучу кальманят. Дети орут с утра до ночи, ты не сможешь работать. Женись на этой хорошенькой статисточке, как там ее?.. Она улучшит кальмановскую породу. Хватит низкорослых толстяков, она длинноногая, стройная, что надо!» — «Зачем я ей нужен?» — сумел он вставить. Агнесса возмутилась: «Ну, знаешь, если ты годился для меня!..»

А сейчас его любимая произнесла «да», в Вене их ждет дом, которому уже присвоено название «Вилла Роз», вокруг дивный розарий, ароматом роз будут дышать его дети — вот оно счастье, о котором говорила Паула, но все его недоверие к жизни всколыхнулось мутной волной и затопило готовую вспыхнуть радость. Он сказал осторожно:

— Если мы скрепим наш союз... твоя мамочка... уедет хотя бы в Румынию?

— Да, — убежденно ответила Вера. — Ей тоже надо добить свое дело.

— Какое дело?

— Ты же знаешь, она собирается замуж.

— Это у вас семейное?.. Стремление к браку?

Вера чуть помолчала, затем сказала голосом, в котором чувствовался металл:

— Да, господин Кальман. Мы не шлюхи...

...Прямо с вокзала Кальман повез Верушку на «Виллу Роз». В холле их встретили камердинер, горничная и кухарка. Кальман сухо поклонился и сразу прошел к себе. Вера, в элегантном, отделанном соболем пальто, остановилась посреди вестибюля и не спеша оглядела обслугу своими синими сияющими глазами.

— Сегодня же получите расчет у господина Кальмана, и чтоб духу вашего не было!

Они сразу поняли, что перед ними хозяйка, полноправная хозяйка, чьи слова обжалованию не подлежат. Недавно им вспало на ум посмеяться над ней, теперь пришла расплата. Никто не пытался и слова молвить в свое оправдание, лишь горничная спросила:

— Можно хотя бы переночевать?

— Здесь не ночлежный дом, — отрубил Верушка и стала подниматься по лестнице...

СЧАСТЬЕ

Очевидно, это и есть счастье. Ты сидишь, попыхивая сигарой, в вольтеровском кресле, гладкий бархат ласкает твой начинающий лысеть затылок, а взгляд покоится на стройной фигуре женщины, которую ты любил до недавнего времени больше всего на свете. Нет, твое чувство не остыло, только теперь оно делится между женой и сыном, увесистым малышом, в котором умильно проглядывают твои черты, хорошо, что в меру, ровно настолько, чтобы испытывать щемящую родность к маленькому, осененному прелестью матери существу с голубыми, то круглыми, как копейка, то кисло зажмуренными глазками.

Сегодня «Иоганн Штраус-театр» дает новую оперетту Кальмана — «Фиалка Монмартра», и, как всегда перед премьерой, Кальман замкнут и молчалив; нынешнее его состояние не имеет ничего общего с прежней паникой, он

крепок ликующей самоуверенностью Верушки. Он то прикрывает глаза, то распахивает, ослепляя взгляд серебристым сверканьем пышной шерсти какого-то зверя. Давно убитого и ставшего дамской накидкой зверя. Он никогда не помнил, как называются меха, укутывающие обнаженные плечи Верушки, похоже, что это черно-бурая лисица.

Верушка уже взяла в руки накидку, но тут обнаружила какой-то беспорядок в туалете, и сразу вокруг нее засуетились три горничные, что-то одергивая, оправляя, подкалывая.

Кальмана радостно удивляло, как быстро и уверенно хрупкая девушка превратилась в блистательную молодую даму. Верушка ничуть не отяжелела, упаси Бог! — она внимательнейше следила за своим кушачком и весом, но налилась, развернулась в плечах, научилась придавать своему легкому телу величественную степенность. И откуда такое у недавней обитательницы захудалого пансиона «Централь», безработной статисточки? Она — дело его рук, он изваял ее, как Пигмалион Галатею! — горделивое чувство вновь разнеживающе смежило усталые веки Кальмана. Во тьме он слышит резкий, повелительный голос:

— Поправьте складку, чучело безрукое!

Он поспешно открыл глаза. Только в дреме могло почудиться, что сердитый окрик адресован ему, а не провинившейся горничной. Кальману по душе властная манера Верушки, столь чуждая деликатной Пауле; лишь раз или два за всю их совместную жизнь изменила Паула своей терпеливой повадке — ему во спасение. Верушка из породы сильных, из породы победителей. Хорошо, если сын и все дети, какие будут, унаследуют не только красоту, но и характер матери.

— Послушай, сердце, ты правда посвятил мне «Фиалку Монмартра»? — слышится мгновенно изменивший интонацию мелодичный голос, и Кальман испытывает гордость, что ради него Верушка насилует гортань, превращая терку

в колокольчик. Как же считается она с ним, своим супругом и повелителем!

— Конечно, тебе. Ты же моя фиалка.

— А старик банкир, устраивающий счастье влюбленных, это ты сам? — со смехом спросила Вера.

— Ну... в какой-то мере, — смущенно сказал Кальман. — Но я присутствую и в художнике, таким образом, я устраиваю собственное счастье с фиалкой.

— Взбалмошная Нинон — это, конечно, Агнесса Эстергази. А вот кто такой шарманщик Париджи? — спросила она лукаво.

— Вымышленный персонаж, — пробормотал Кальман.

— Не хитри, Имре... А вы не колитесь! — прикрикнула на горничную. — Твоего злого, взбалмошного хапугу Париджи я вижу почему-то в юбке.

— Может, хватит об этом, Верушка? — Кальман кивнул на горничных.

— Подумаешь! — свободно сказала Вера. — Это никого не касается. Все мужчины ненавидят своих тещ. А мамуля такая непосредственная!

— Слишком, — пробормотал Кальман.

Верушка подошла к зеркалу, жестом отпустив горничных.

— Скажи, солнце, ты действительно обобрал Пуччини?

— Нет. У нас общий первоисточник: «Сцены парижской жизни» Мюрже. Либреттисты пошли в чужой след.

— Их пора менять, — заметила Вера (участь господ Брамера и Грюнвальда была в этот момент решена). — Они совершенно исхалтурились. Но где был ты?

— Возле тебя, — тихо сказал Кальман. — Я действительно не сидел у них над душой, как прежде. Что мне оперетта, когда рядом «магнит, куда более притягательный». Знаешь, откуда это?

— Из рекламного проспекта?

— Нет, из «Гамлета»... Понимаешь, Верушка, это самая личная из всех моих оперетт. Ведь даже сцена под дождем

взята из жизни. Помнишь, как ты меня ждала, а я тебя потерял, и потом мы встретились возле твоего пансиона?

— Еще бы не помнить! Я этого тебе никогда не забуду.

— Неужели ты такая злопамятная?

— Шучу, шучу!.. Заглянем в спальню его королевского высочества и — в театр!

Они прошли в детскую. Здесь в кровати с сеткой, под бархатным балдахином, под присмотром накрахмаленной няньки, возлежал наследный принц — полуторарагодовалый Чарльз.

Кальман глядел на сына больше чем с любовью — с благоговением.

— А знаешь, он все-таки похож на меня, — сказал Кальман, любуясь прищуренными глазками ребенка.

— Упаси Боже! — вырвалось у Верушки.

— Что — я настолько уродлив? — не обиделся, а приуныл Кальман.

— Ничуть! Ты по-своему хорош. Любая твоя черта значительна, потому что на ней клеймо — Кальман. А если мальчик не унаследует твоего таланта?.. Пусть уж лучше он пойдет умом и талантом в отца, а красотой — в мать.

— Не возражаю, — кивнул Кальман, — только бы не наоборот... Ты знаешь, я лишь однажды был по-настоящему счастлив, — сказал он самой глубиной души. — Когда из тебя вылез этот людоед.

— Чует мое сердце, что он не последний, — покачала золотой головой Верушка.

Кажется, Кальман впервые отправился на премьеру в отменном расположении духа...

Появление Веры вызвало в театре едва ли не большее волнение, нежели самого прославленного композитора. Дамы общепетали ее меха, бриллианты, мужчины отдали дань красоте. Вчерашняя статисточка принимала всеобщее внимание как нечто само собой разумеющееся.

И была сцена под дождем, и Вера нашла руку Кальмана и нежно пожалала, и он уже не огорчился несколько вя-

лым приемом своего детища и порхающим по залу именем «Пуччини». Вера была благодарна ему — все остальное ничего не значило. И тут грянула ослепительная «Карамболина — Карамболетта», мелькнувшая ему из глубины печали в далекие дни, — великолепная исполнительница с волнующе-зазывным голосом и совершенной пластикой схватила зал и властно повлекла за собой. И с последней нотой определилась новая победа Кальмана — такого шквала аплодисментов не было в «Иоганн Штраус-театре» со времен «Цыгана-премьера» и «Княгини чардаша».

— Ты — гарантия счастья, — шепнул Кальман Верушке, подымаясь, чтобы выйти на аплодисменты и восторженные вопли публики...

... — Мы опаздываем! — кричит Вера, еще более роскошная, сверкающая и сияющая, чем два года назад, когда Кальманы отправлялись на «Фиалку Монмартра».

— Не опоздаем, — проворчал Кальман. — Император не может опоздать. Значит, все остальные пришли слишком рано.

— Что ты там бурчишь, Имрушка? Опять чем-то недоволен?

— Я люблю традиции. Мы должны зайти в детскую.

Наследный принц что-то строил из кубиков и не обратил на родителей никакого внимания, но из сетчатой кровати в бессмысленной радости загугнило новое существо в чепчике.

— Принцесса Елизавета! — торжественно произнесла Вера.

— Лили... — прошептал Кальман и отвернулся. — Не могу... сердце разрывается.

Воплощенное здравомыслие, Вера не поняла движения мужа.

— Ты что?.. Здоровая, крепкая девочка!..

— Но такая маленькая, хрупкая, незащищенная!.. — тосковал Кальман.

— Ничего себе хрупкая!.. Высосала одну кормилицу, сейчас приканчивает вторую.

— Может ли быть что-нибудь лучше детей? — сказал Кальман.

— Взрослые люди, если они не гады. Неизвестные величины всегда сомнительны.

— Это не ты придумала. — Кальман глядел на Веру, словно видел ее в первый раз. — Ты не могла додуматься до такого.

— Ты считаешь меня круглой дурой?

— О нет! — убежденно сказал Кальман. — По-своему ты очень умна. Но только другим умом.

— Хорошо, что покался. За это будешь награжден еще одной наследницей или наследником.

— Верушка! — растроганно сказал Кальман. — Если тебе не трудно, то прошу еще одну девочку.

— Принято!.. И поедем. Слушай, а ты совсем перестал бояться премьер?

— Не знаю. Но я живу не только ими. Эта детская стала для меня важнее. И потом, я верю в Губерта Маришку, как в Бога. С ним не бывает провалов. Тьфу, тьфу, тьфу!.. — Он сделал вид, будто плачет через плечо, и схватился рукой за притолоку.

Вера расхохоталась:

— В глубине души человек не меняется. В знаменитом Кальмане, Муже, Отце, Хлебосольном хозяине, Короле оперетты дрожит маленький провинциальный Имрушка.

— Возможно, ты права... — задумчиво сказал Кальман.

..Шла самая эффектная сцена из оперетты «Наездник-дьявол». Герой — лихой гусар и венгерский патриот — на всем скаку взлетает на вершину высоченной крутой лестницы и там подает императрице петицию о создании венгерского парламента. И впоследствии никто, кроме великолепного наездника и безумно смелого человека Губерта Маришки, не отваживался так играть эту сцену. Подвиг свершался

скрытно от глаз зрителей, которые видели лишь результат: потрясенность императрицы и всех окружающих.

На репетициях, в том числе генеральной, Маришка великолепно выполнял этот опасный трюк, но тут конь почти на самом верху остутился, взмыл на дыбы, медленно и грозно повернулся на задних ногах и вместе с наездником грохнулся вниз. В последнее мгновение Губерт Маришка сумел выброситься из седла, конь и всадник упали поврозь. Каким-то чудом конь уцелел и поднялся на ноги. Маришка оставался недвижим. В зале царил мертвая тишина.

— Жизнь куда богаче любой фантазии, — шепнул Кальман на ухо Верушке. — Такого варианта провала даже я не предвидел.

Маришка приподнялся, оглянул грязные подмостки, себя, распростертого, и громко, с презрением сказал:

— Паркетный наездник!..

Зал облегченно захохотал и захолопал.

Ловким, тигриным движением артист вскочил на ноги и дал знак дирижеру. Тот сразу понял его и заиграл вступление к танго-шлягеру, уже слетому Маришкой с огромным успехом. И Маришка запел, как не пел еще никогда:

Образ один, бывшее виденье

Ни сна, ни покоя не хочет мне дать.

Образ один, позволь на мгновенье

Печаль и томленье из сердца изгнать...

В богатой триумфами карьере любимца венской публики не было подобного успеха. Зрители стоя приветствовали артиста, с таким мужеством спасшего спектакль.

Отерев пот с чела, Кальман сказал Верушке:

— Молодец Маришка! Я уже хотел отказаться от стелитейных акций.

— Я тебе столько раз говорила: пока я с тобой, ничего плохого не случится.

Кальман поцеловал ее руку...

...Минуло около двух лет, и вновь они собрались на премьеру. Кальман не подозревал, что это окажется его по-

следней премьерой в Европе, и уж подавно не подозревал, что «Жозефина» — во многом несовершенное, хотя и отмеченное блеском таланта произведение — станет последним творческим актом в его жизни, а то, совсем небольшое, что еще появится под его именем, будет лишено кальмановского света — ремесленные поделки. Творческая воля иссякнет: будут лишь житейские взлеты и падения, бытовые радости и неудачи, много денег, не будет одного — Музыки. В конце жизни он обмолвится фразой, что творцу не надо слишком много жирного счастья, оно усыпляет, убивает живительное беспокойство. Писатель должен всегда чуть-чуть недоедать, — говорил Лев Толстой. Это относится к любому художнику. Кальман уписывал за обе щеки. Он любил Верушку, свой красивый дом, внимание прославленных и высокостоящих особ, обожал детей и собирал их молочные зубы. Накопился целый мешочек, который незадолго до смерти он уничтожил: уходя, прибирай за собой, посторонним нет дела до твоих сентиментальных чудачеств.

Его безмятежное счастье не омрачилось даже тем, что впервые театр «Ан дер Вин» отказался от его новой оперетты: забит репертуар. Правда, к этому времени разорившийся «Йоганн Штраус-театр» стал кинематографом, а старый «Карл-театр», обветшавший и готовый обрушиться, закрыли, щадя зрителей. Премьеру играли в Цюрихе. Кальман любил степенный, тихий Цюрих, ему нравилась тамошняя простодушная, заранее расположенная публика. Лишь одно его огорчало: вопреки традиции, он не зайдет на этот раз в детскую, чтобы приветствовать новое существо, созданное его любовными усилиями. Но Верушка быстро его успокоила. «Оно ведь с нами», — сказала она, хлопнув себя по тугому, тщательно упакованному в бандаж животу. «Я не знаю, кто оно!» — жалобно сказал Кальман. «Девочка, — прозвучал уверенный ответ. — Илонка». — «Илонка! — повторил Кальман, как бы пробуя имя на вкус. — Я чувствую, что она будет моей любимицей».

Так они и поехали втроем: Кальман, Верушка и незримая Илонка в упаковке материнского тела.

Премьера прошла успешно, добрые швейцарцы не жалели ладоней.

— А Наполеон был правда похож на тебя? — поинтересовалась Верушка после спектакля. — Или только на сцене?

— Ей-богу, не знаю. Но он был тоже маленький и тучный. А вот Жозефине до тебя далеко.

— А Жозефина — это я?

— Конечно! — с горячей нежностью откликнулся Кальман. — Ты была моей фиалочкой, сейчас ты императрица. Все ты и ты, только ты.

— Я не хочу отставать от тебя в щедрости. — Вера рассмеялась. — Наполеон был Кальманом на поле боя. — И вдруг, разом став серьезной, она спросила: — Ты часто вспоминаешь Паулу?

— Нет... — покачал головой Кальман, удивленный, почему она заговорила об этом.

— Вот не думала, что ты такой неблагодарный...

— Я просто никогда не забываю о ней, — искренне сказал Кальман.

Верушка нашла его руку и тихонько пожала. Будто прозвучала музыка только что замолкшей «Жозефины», музыка любви...

Да, это было счастье. А затем музыка оборвалась. Не только его, но и всякая музыка. Флейту и скрипку заглушили рев танков, топот кованых солдатских сапог — осуществляя «аншлюс», гитлеровские войска хлынули в Австрию.

На Европу опустилась ночь. Темная, непроглядная ночь. Политики-«миротворцы» — трусы и предатели — тщетно обшаривали непроглядь карманными фонариками. Гитлер, не скупясь на успокоительные заверения, гнал свою тьму на Чехословакию, в Мемельский коридор. Затем настанет черед Польши...

ВЫБОР

Кальман вылез из машины неподалеку от канцелярии, ведающей Остмарком, так теперь именовалась Австрия, ставшая немецкой провинцией. Четко отпечатала шаг колонна коричневорубашечников. Проехал отряд немецких солдат на мотоциклах, наполнив улицу душной бензиновой вонью. В витринах магазинов, в окнах кафе — флажки со свастикой и фотографии человека с косою челкой и чаплиновскими усиками. На некоторых дверях висели таблички: «Юден Эйнганг ферботен». Какой-то парень смущенно и недоуменно разглядывал желтую повязку с изображением шестиконечной звезды на рукаве своей куртки.

Кальман вошел в кабинет. За дубовым письменным столом, под большим портретом Гитлера, сидел чиновник в мышинового цвета костюме — среднеарифметический человек по первому взгляду, так в нем все невыразительно, корректно, правильно и бесхарактерно, трупопожирательница-гиена при ближайшем ознакомлении. Он не приподнялся, когда Кальман вошел, не ответил на поклон, не предложил сесть пожилому человеку и начал сразу, без предисловий и раскачки, неокрашенным четким голосом:

— Рейхсканцлер поручил мне сообщить лестное для вас известие. В знак признания ваших музыкальных заслуг вам присвоено звание почетного арийца.

Кальман поклонился.

— Что означает ваш поклон? — чуть ужесточил голос чиновник. — Изъявление благодарности или знак того, что вы меня слышите? — Он сделал паузу, но Кальман хранил молчание, и он продолжал: — Господин Франц Легар, чьей жене оказана такая же честь, был красноречивей.

— Господин Легар куда более светский человек, чем я, — своим тусклым голосом сказал Кальман. — Кроме того, политически он несравненно развитее. Я, простите бедного музыканта, кое-как разбирающегося в своей про-

фессии, но темного во всем остальном, вообще не понимаю, что означает это почетное звание. Вернее, я чувствую, что мне оказан лестный знак внимания со стороны рейхсканцлера, хотя и ни о чем подобном не просил, и, видимо, не охватываю всей полноты чести и покровительства, мне оказанных.

Простодушная манера Кальмана ввела в заблуждение чиновника; возросло лишь презрение к недоумку, более злые и опасные чувства еще молчали.

— Известно, что музыканты — люди не от мира сего, но я не думал, что до такой степени. Вы знаете хотя бы, что такое аншлюс?

— Да. Присоединение Австрии к Германии.

— Сразу видно, что немецкий не родной ваш язык. Вы не понимаете оттенков.

— Разумеется, я уроженец Венгрии.

— Аншлюс в данном случае, — начиная раздражаться и еще не отдавая себе отчета в причине своего раздражения, наставительно сказал чиновник, — это контакт, союз, соприкосновение. Австрия подалась к родственной ей Германии, добровольно приняв законы и нормы более великого партнера, в том числе связанные с чистотой крови. Иностранцам: евреям, цыганам, славянам, всем низшим расам — не место в жизненном пространстве германцев. Эти недочеловеки подлежат устранению. Но фюрер ценит австрийскую музыку, вот почему счел возможным почтить высоким отличием, дающим права гражданства на немецкой земле, жену Легара и вас.

— Благодарю за исчерпывающее объяснение. Я не беру на себя смелость обсуждать национальную политику рейхсканцлера, скажу лишь о себе. Я родился в Венгрии и всю жизнь ощущал себя венгром. Думал как венгр, чувствовал как венгр, и свою музыку создавал как венгр.

— Но ваш отец?..

— Он тоже считал себя венгром. Но главное: я не австрийский, а венгерский композитор.

— При чем тут австрийский?.. При чем тут венгерский? — с белой яростью зашипел чиновник. — Оперетта — еврейская музыка. Ее пишут одни евреи: от Оффенбаха до Абрахамса.

— А как же говорят о «венской» школе?

— Что такое Вена, да и вся Австрия? — зашелся чиновник. — Сплошная Иудея. Куда ни плюнь — попадешь в обрезанца!..

— Неужели? — тем же тусклым голосом сказал Кальман. — Господин Шикльгрубер, он же рейхсканцлер Гитлер, — австриец. Я видел дом, где он родился...

— Молчать! Вы приговорили себя, Кальман. Либреттиста Легара мы уже отправили в Бухенвальд. Вы составите ему компанию.

— Вы думаете, у нас с ним получится? В последние годы мне не хватало хорошего либреттиста...

— Вы свободны! — гаркнул чиновник.

— Это единственное, что мне хотелось услышать, — пробормотал Кальман и вышел.

Наверное, когда человек так долго был императором, ему невозможно сразу стать рабом — иначе Кальман и сам не мог объяснить своего странного мужества, мгновенно покинувшего его на пустой лестнице гитлеровской канцелярии. Колени его подгибались. Бледный, с залитым потом лицом он спустился вниз, цепляясь за перила, и почти упал на подушки своего «кадилака»...

...Адмирал Хорти, диктатор Венгрии, скучал в своем огромном пустынном кабинете. Этот странный адмирал без морей и флота был уже старым человеком, не поспевавшим за временем, о чем в глубине души он и сам знал, как знал и о своем неминуемом отстранении Гитлером. Порой адмирал задумывался: примет ли опала форму физического уничтожения или малопочетной отставки, но с годами мощный инстинкт самосохранения в нем пригас. Он прожил большую жизнь, но так и не выполнил своего главного

назначения: не восстановил обобранной Версальским миром Венгрии, и твердо знал, что Гитлер ему в этом не поможет. Адмиралу, в сущности, все стало безразлично, он подчинялся лишь инерции власти.

Вошел начальник его канцелярии, старик с пергаментной кожей и голым пятнистым черепом, — единственный приближенный, которому Хорти полностью доверял.

— Кальман, — сказал тот.

— Что Кальман?

— В Будапеште Гитлер присвоил ему почетного арильца и право жить в Австрии. А Кальман сказал, что считает себя венгром, и уехал.

— Ну и ну! — вскинул брови Хорти. — Откуда такая прыть?

— Нам его прыть ни к чему. Он здесь не нужен.

— Отошлем назад.

— За него просят все Эстергази.

— Пусть и дадут ему убежище.

— Адмирал или в очень хорошем, или в очень дурном настроении, — ворчливо сказал начальник канцелярии. — Тут не до шуток.

— Да. Такого оскорбления Гитлер не простит. Что вы предлагаете?

— Дать ему и всей семье венгерские паспорта и венгерский флажок на радиатор. Пусть катят во Францию, а оттуда в Америку. Через «большую лужу» гестапо его не достанет.

— Вот не знал, что вы такой поклонник оперетты!

— Я ее терпеть не могу. Признаю только органную музыку добаховского периода. Но это мое личное дело. А Кальман принадлежит миру.

— Да... — задумчиво сказал Хорти. — Он принадлежит миру, этот маленький, пожилой, слабый человек. А мир — не фикция?.. А будущее — не фикция?.. Кто знает... Во всяком случае, раз в жизни позволить себе добрый поступок...

Довольно невзрачный, старый, но знавший лучшие дни океанский лайнер «Котте ди Савойя» приближался к концу своего долгого путешествия, к земле обетованной многочисленных беженцев из Европы.

...Кальман стоял на палубе и неотрывно глядел на пенящиеся валы; казалось, волны убегают к милой и проклятой Европе, которую его семья покинула в лихорадочной спешке — война могла разразиться со дня на день.

Полгода, проведенные в Париже, стоили Кальману многих лет жизни. Зловещая тьма расплывалась над Европой, гася одну звезду за другой, а Париж, то ли бросая вызов року, то ли в бездумье обреченности, жег свою ночь лохматыми кострами бесшабашного, большого веселья. И Верушка очертя голову кинулась в этот огонь — Жанна д'Арк безрассудства и наслаждений. Никогда еще так самозабвенно не отплясывал Париж — ритм румбы захватил даже министра иностранных дел Бонне, которому естественней было бы в роковые дни напрягать голову, а не ноги, — никогда еще Париж так самозабвенно не влюблялся. И тщетно утешал себя Кальман, что с самого начала провидел свою участь, что тридцать лет возрастной разницы неминуемо скажутся рано или поздно и что ревность — законное человеческое чувство, которое так же необходимо испытать каждому, как любовь, страсть, упоение, печаль и отчаяние, — все это мало помогало. Боль давила его так поздно проснувшееся сердце, он был глубоко несчастен и утратил душевную высоту в своем страдании. Отвратительные, унижающие в первую голову его самого сцены ревности, бессмысленные, ничего не разрешающие объяснения, потоки самозащитной лжи лишь способствовали разъединению. Он не хотел за океан, но стал почти счастлив, когда широкая полоса воды отделила борт старой посуды «Котте ди Савойя» от набережной Гавра.

Он не ждал рая за «большой лужей», не строил иллюзий, но избавлялся от кошмара, воплотившегося в Париж. Зачем думать о том, что ждет его в Америке, достаточно,

что там будет по-другому, и общее стремление уцелеть, выжить на новом месте сблизит семью, затянет образовавшуюся брешь. Он услышал восторженные вопли детей:

— Земля!.. Земля!..

Повернул голову, увидел надвигающийся берег и пошел к своим.

— Америка! — восторженно кричали дети.

— А где же небоскребы? — обескураженно вспомнил Чарльз Кальман, глядя на пустынный пристанский пейзаж, украшенный двумя пыльными пальмами, колючим кустарником и плоскими грязно-белыми строениями. Дальше, в розовой пыли, проглядывалось какое-то поселение.

— И статуя Свободы! — закричала капризно Лили.

— Это другая Америка, детки, — ласково сказала Верушка. — Папа впопыхах взял билеты не на тот пароходик. Мы прибываем не в Соединенные Штаты, а в Мексику.

— Папа брал билеты впопыхах, — угрюмо сказал Кальман, — потому что мамочка едва не дотанцевалась до начала войны.

— Имрушка, детям неинтересны твои выдумки. Лучше позаботься о чемоданах.

Пароход толкнул хлипкую пристань своим грузным океанским телом, отчего, казалось, содрогнулся весь окрестный мир с пальмами, кустарниками, белыми домишками под плоскими крышами и даже призрачный поселок, плавающий в розовой мути.

Следом за остальными сошли на берег Кальманы, чей немалый багаж тащили с десятков оборванцев в соломенных шляпах.

Паспортный контроль проходил прямо под открытым небом. Молодой, толстый, меднолицый, свирепо-добродушный контролер, похожий на людоеда-вегетарианца, быстро и ловко просматривал документы приезжих маленькими цепкими глазками, со вкусом прихлопывал штемпелем и что-то записывал в лежащей перед ним конторской книге.

Он быстро просмотрел документы Веры, несколько дольше задержался взглядом на ее прелестном лице, потрепал по голове Чарльза, нажал на кнопку носа малышки Илонны, заставив ее весело рассмеяться, сунул банан Лили. И вот уже Вера Кальман оказалась по другую сторону рубежа, откуда наблюдала, как ее муж протянул паспорт контролеру.

Тот посмотрел, полистал, подул на печать, но почему-то не приложил ее к паспорту, а вновь округлившимися глазами вперился в документ. Затем подозвал к себе другого паспортиста, они о чем-то поговорили и радостно-иронично, белозубо рассмеялись.

— Так не пойдет, приятель, — на ломаном английском сказал первый паспортист. — Клеить свою фотографию на чужой паспорт, к тому же женский, — попадает уголовщиной.

Кальман оторопело посмотрел на веселящегося офицера погранвойск и ничего не сказал.

— Он онемел, — заметил второй паспортист, и оба от души расхохотались.

— Имре, ты скоро там? — нетерпеливо крикнула Вера. — Вечно с тобой недоразумения.

— При чем тут я? — откликнулся Кальман. — Меня не пропускают.

— И не пропустят, фройляйн, — издевательски сказал толстяк.

— Не забываетесь!..

— Нет, фройляйн Ирма, мы не забываемся. — Толстяк перестал смеяться, в нем появилось что-то хищное, опасное. — Но если вы думаете, что мы здесь такие дураки, то глубоко заблуждаетесь.

— К дикарям приехал! — подхватил его товарищ.

Кальман устал от жизни, от людей, получивших вдруг какую-то странную власть над его существованием. То ему предлагают данайские дары, то вынуждают к бегству, то не пускают, он уже начисто не располагает собой.

— Можете вы объяснить толком, что у меня не в порядке? — сказал он со вздохом.

— Скоро вы там? — крикнула Вера.

Он передернул плечом и не ответил.

— А то, господин хороший, что мужского имени Ирма не бывает, — сказал офицер, — и это нам так же хорошо известно, как и вам.

— Какая еще Ирма? Я — Имре.

Офицер ткнул ему под нос паспорт.

— Ирма Кальман, — прочел композитор. — Только этого не доставало!.. Простая описка, господин офицер...

— Куда же вы раньше смотрели? Каждый гражданин обязан проверить получаемые документы. Я вас не пропускаю. Можете отправляться назад.

— Имре, сколько можно? — Вера подошла к барьеру.

— В паспорте перепутали, там стоит «Ирма». Они не пропускают меня. Считают, что я украл женский паспорт.

— Да вы с ума сошли! — накинулась на паспортистов Верушка. — Не знаете знаменитого Имре Кальмана. А еще офицеры!..

Поразительная перемена произошла с главным паспортистом.

— Вы... вы великий Кальман?.. Боже мой!.. Пепе, Хуан, Панчо!.. Вы видите, кто это? Сам Имре Кальман. Вива, Кальман!.. Вы даже представить не можете, что для меня значит!.. Я играл свадьбу под вашу музыку. Ах, если б Розалия знала!.. У нас была самая красивая свадьба во всем Матаморосе, во всей провинции. Мы танцевали до упаду под ваши божественные вальсы.

Он схватил стройного Панчо и закружил его в вальсе, напевая во все горло:

Брось тоску, брось печаль
И гляди смело вдаль,
Скоро ты будешь, ангел мой,
Моею маленькой женой!..

— Гитару!.. Вина!.. Гости приехали!.. — совсем зашелся счастливый офицер.

— Опомнись, Хулио, мы же на работе, — остановил его Пепе.

— Ох, простите!.. Но вы еще будете в Мексике, сеньор Кальман? Теперь вы знаете, как вас здесь любят. Милости просим в Матаморос. А маленькая ошибка в паспорте ничего не значит. Верно, сеньор?

— Конечно! — улыбнулся Кальман. — Равно как и то, что вы пели музыку моего старого друга Ференца Легара, — И перешел границу...

ПЛАТИНОВАЯ НОРКА

У американцев оказалась такая сердечная манера здороваться: с громкими восторженными криками, похлопыванием по спине, прижиманием бритой, но все равно колющейся щеки к твое щеке, что поначалу Кальман вообразил себя долгожданным гостем. Но постепенно убедился, что за всей этой мнимой сердечностью ровным счетом ничего нет. Эти приветливые люди в подавляющем большинстве своем понятия не имели, кто он такой, даже имени его не слышали. Правда, среди них попадались такие, что могли бы насвистать песенку из «Княгини чардаша» или танго из «Наездника-дьявола».

Никаких предложений не поступало. Особенно разочаровал Голливуд. Ласки и приветов тут изливалось больше, чем во всей остальной Америке, но ни единому продюсеру не вспало на ум заказать ему музыку для фильма или накрутить одну из его популярных оперетт. С глубоким огорчением он вскоре понял, что старый друг Сирмаи, давно прилепившийся к Голливуду, сыграл не последнюю роль в его фиаско. Здесь не признавали сантиментов, и Сирмаи вполне пропитался местным духом: конкурент опасен — устрани его. Ну а мюзик-холлы, эстрада, бродвейские театры, радио — должны же они откликнуться на появление

«короля оперетты»? Он ждал, потом перестал ждать, но все же после недолгой утренней прогулки, не сняв пальто и шляпы, набрасывался на многочисленную почту. В основном то были рекламные проспекты автомобилей, парусников, холодильников, клюшек и всего снаряжения для гольфа, теннисных ракеток и мячей, пылесосов, детских колясок, садовых портативных косилок, бандажей, пишущих машинок, велосипедов... Кальман раздраженно перебирал яркие бумажки, роняя их на пол. Потом шли просьбы благотворительных обществ, приглашения на всевозможные вечера, какие-то церковные послания.

Спустившаяся в холл Верушка застала мужа за обычным занятием. Скромно, но изящно одетая, она стала поновому быстрой и деловой. Видимо, ее пластичная натура усвоила энергичный американский стиль.

— Что ты тут мусоришь? — укорила она мужа.

— Можно подумать, что нас только и ждали, — раздраженно сказал Кальман. — Отовсюду приглашения на всевозможные партии, даже от вовсе незнакомых лиц, наверное, опять с кем-то путают, как в Матаморосе. И хоть бы одно деловое письмо. Хоть бы один заказишко на музыку. Им тут ничего не нужно. Голливуд молчит. Старый друг Сирмаи бдительно следит за своими владениями. На что мы будем жить — ума не приложу.

— Ты что же, потерял все деньги?

— Не все, конечно, но больше, чем хотелось бы. И мы живем явно не по средствам.

— Скромнее некуда. Мы никого не принимаем.

— Недавно ты устраивала прием, и довольно шумный. Что у американцев за манера тащить в гости кого ни попало? Пригласишь пару — явится десять человек.

— В каждом обществе свои обычаи. У них море обаяния.

— Вот уж нет! Наигранная сердечность, объятия — всему этому грош цена. Внутри же — ледяной холод. Стрикли бизнес.

— Хватит ворчать, Имрушка. Сейчас ты порадуешься. Я иду работать.

— Что-о?! Ты — работать?.. Я этого не допущу.

— Я же не в судомойки иду. А в салон верхнего платья. Самый светский в Нью-Йорке. В отдел меха. Я кое-что понимаю в мехах, и вкуса не занимать. Уже обо всем договорено. И тебе не придется тратиться на мои туалеты.

— Ты собираешься так много зарабатывать?

— Нет, — засмеялась Вера, — так скромно одеваться.

Меховой отдел роскошного магазина не мог похвалиться обилием покупателей, но те, кто были, спустились с вершин Олимпа. Здесь разлит лунно-серебристый свет, и некая лунность отличает плавные движения продавщиц. Обслуживание клиентов напоминает священнодействие. Ни резких движений, ни быстрой походки, ни напряжения голосовых связок. Плавно, бесшумно закрываются двери, не слышны шаги на толстых коврах. Эта тихая, замороженная жизнь отражается в десятках зеркал. Но и это очарованное царство очнулось, когда в магазин вошла Грета Гарбо — величайшее чудо Голливуда.

Молчаливая, сдержанная, погруженная в себя, почти без косметики, не нужной ее совершенной красоте, малообщительная, серьезная, Грета Гарбо тем не менее мгновенно становилась центром, вокруг которого вращалось мироздание. Весь магазин немедленно переключился на Грету, но главная роль в обслуживании знатной клиентки отводилась Вере.

— Что угодно, мадам? — улыбаясь своим прекрасным ртом, любезно, но без малейшей приниженности спросила Вера. — Вы оказываете нам честь.

Грета Гарбо медленно распахнула ресницы. И, видимо, продавщица произвела на нее впечатление. Она улыбнулась:

— Что-нибудь хорошее. Но по-настоящему хорошее.

— Вот это специально для вас.

Грета Гарбо подставила плечи, мех словно облил ее стройное тело. Она коснулась пальцами нежного ворса.

— У вас прекрасный вкус, мадам, — проговорила она хрипловатым, волнующим голосом.

— Хотите еще что-нибудь примерить?

— Нет. Лучше не будет... — Гарбо пристально, без улыбки смотрела на Веру. — Вы так красивы. Почему вы не снимаетесь в кино?

— Я бездарна, мадам. Мне удастся играть лишь одну единственную роль.

— Какую?

— Роль жены Имре Кальмана.

Брови актрисы поползли вверх.

— Вот как!.. Но ваш муж так популярен в Америке...

Вера заметила это «но».

— Наверное, колесо должно раскрутиться.

— Не сбрасывайте со счетов Голливуд. Это, конечно, пакость, но веселая и, главное, денежная пакость. — Гарбо протянула Вере свою карточку.

— Спасибо, — сказала Вера. — Мне кажется, что мы еще встретимся. До свидания.

И, глядя в спину уходящей актрисы, прошептала:

— У меня будет такая же шуба... А тебя я раздену в своем доме.

В магазин зашла пара: стандартно красивая молодая дама и хрупкий, изящный горбоносый господин с порывистыми жестами француза-южанина. Дама направилась в отдел накидок, жакетов, горжеток, а ее спутник, ненароком увидевший Веру, вдруг замер посреди магазина, и вид у него был тот самый, о котором в Сицилии почти всегда говорят: расшибло громом...

Вечером они сидели в маленьком, очень дорогом ресторане, помещавшемся в трюме парусной яхты, заякоренной посреди искусственного озера. Небольшой, тихий черный джаз играл медленное, тягучее, с кошунственным церковным оттенком танго.

Француз пригласил Веру. Оба оказались первоклассными танцорами.

Когда они возвращались за столик, он сказал с таким видом, будто никто и никогда не произносил этих заезженных слов:

— Мы созданы друг для друга.

— Я замужняя женщина, — поникла головой Верушка.

— Здесь есть город, где разводят и женят за десять минут.

— Постарайтесь узнать его название, — словно издали улыбнулась Вера.

— Рено! — выдохнул экспансивный француз и ненароком сшиб бокал шампанского.

— Это к счастью, — сказала Вера.

— Проклятая война никогда не кончится! — Кальман с раздражением отшвырнул газету.

Верушка, в легком, отделанном песцами пальто, достала из шкафа чемоданчик крокодиловой кожи.

— Я ухожу, Имрушка, — сказала она.

— Я думал, мы вместе пообедаем, — рассеянно отозвался тот. — С Голливудом опять сорвалось. Там мафия крепче сицилийской. Вся киномузыка в руках у Тёмкина и компании. Сирмаи самому достаются крохи...

— Сейчас тебе будет полегче, Имрушка, — с грустной улыбкой сказала Вера. — Семья уменьшится на одного едока. Меня уже не будет за семейным столом.

Кальман был так подавлен своими заботами и так далек от мысли потерять Верушку, что слышал только слова, начисто не ощущая весьма прозрачного подтекста.

— Ну, ты и так почти ничего не ешь! — заметил он.

— До чего же ты бестолковый! — начала злиться Верушка. — Я ухожу!.. Понимаешь, ухожу!..

— Куда?

— К Гастону.

— Зачем?

— Чтобы выйти за него замуж, болван!

— А для чего? — как-то по-бытовому удивился Кальман. — Я же тебе ни в чем не мешаю.

— Жизнь стала бесперспективной. Мне не хочется продавать манто, которые покупает Грета Гарбо. Праздники кончились. А я не могу так... У каждого в жизни свое предназначение. У тебя — музыка, жаль, что ты не создаешь ничего нового, у меня — блистать. Я из тех, кто вертит земную ось.

— Ты можешь бросить наших детей? — Суть происходящего наконец-то дошла до Кальмана.

Вера провела рукой по глазам.

— Ты же не отдашь их мне?

— Конечно нет.

— Я это знала...

— Кто он такой?

— Француз. Молод. Сказочно богат. Удивительно танцует и влюблен в меня без памяти.

— Обещал жениться?

— Имрушка, за кого ты меня принимаешь? Как только я получу развод, мы поженимся и уедем в Южную Америку.

— Это еще зачем?

— Так мне легче будет. Здесь я буду все время думать о детях... о тебе тоже и мучиться. Потом, мне интересно посмотреть на живых аргентинцев, бразильцев, папуасов.

— Это в Океании.

— Что?

— Папуасы. В Южной Америке — индейцы. Коренное население.

— Спасибо, Имрушка, ты такой умный. Сейчас самое важное — уточнить состав южноамериканского населения.

— И все-таки, прости меня, я не понимаю, зачем тебе все это нужно? — искренне сказал Кальман. — Так усложнять жизнь!

— Ну... я же люблю его, Имрушка. Влюблена до безумия. — Вера подкрашивала чуть потекшие от слезной влаги густые длинные ресницы.

— Куда же девалось... куда девалось все наше?.. — томился Кальман.

— Имре, милый, пойми: день есть день, а ночь есть ночь. Ты же сам всегда говорил, что тридцать лет разницы между нами когда-нибудь скажутся. Вот они и сказались.

— Я это знал и не мешал тебе. — Он смотрел ей прямо в глаза.

— Я не злоупотребляла своей свободой, — ответила она словам, а не взгляду. — Слушай, нет ничего нуднее и безнадежнее выяснения отношений. Давай прекратим... Вещи я уже собрала. Завтра пришло за ними. Утром, когда тебя не будет. Все связанное с разводом я беру на себя. Но будь мне до конца другом: подготовь детей.

— Ты даже не попросаешься с ними?

— Перед отъездом в Америку. Приведи их в парк... Нет, лучше к Земледельческому банку, природа настраивает на слишком грустный лад. Я дам тебе знать.

— Как все это неожиданно!..

— Просто ты был невнимателен и слишком уверен во мне. Не замечал моих метаний.

— Почему, я видел, как тебя пришибла норка Греты Гарбо.

— Да! И не только это. Я перестала быть Жозефиной, я стала Золушкой. Тут уважают только деньги, ничего больше. Ты сам приучил меня быть наверху. Мне противно, что на нас смотрят сверху вниз здешние нувориши.

— Я этого не замечал.

— Ты вообще ничего не замечаешь. Паришь в облаках, а я земная. Я дала тебе все, что могла: любовь, детей, лучший дом в Вене. Теперь я имею право пожить для себя... Не провожай! Так будет легче и тебе, и мне.

Вера поднялась, быстро, не глядя на Кальмана, пересекла комнату и вышла — из дома, из его жизни.

Кальман стоял у окна, из которого не мог видеть Верушку, только крыши невысоких старых домов, гаражей, сараев, трубы на горизонте, задымленные облака. Он ду-

мал: «Когда-то в мою жизнь вошла семнадцатилетняя девочка, а мне казалось, что я обзавелся гаремом, так много ее было, так много сопутствовало ей шума, людей, обязанностей, отношений. Я всегда стремился к тишине, но принял эту сумбурную, суматошную жизнь, потому что ей так нравилось. За измену себе я поплатился музыкой. Но любовь и дети казались мне достаточным возмещением. Потом любовь потребовала отдельной платы — болью, ревностью, унижением. Я смирился и с этим. И все-таки не сохранил ее. Остались дети. Я отвечаю за них, я должен жить... Но почему же минувшей ночью не раздался грохот вскрывающегося Балатона? Все значительные перемены в моей жизни предварялись этим сном. А мне снилось, что я покупаю на распродаже Центрального парка летние носки по три доллара за дюжину. Балатон не явился, Балатон молчал, как странно!..»

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Вера вышла из машины возле Земледельческого банка. Ветер гнал по земле пожелтевшие листья. Тонкий шорох наполнял утреннюю тишину. В этот ранний час улица делового центра, еще не запруженная служащими, была пустынна. Неужели всегда аккуратный Кальман опаздывает? Вера взглянула на ручные часы, где бриллиантики заменяли цифры, — нет, это она приехала слишком рано.

Длинношерстная такса долго мочилась на тумбу. Справив нужду, поскребла задними лапами асфальт в атавистическом заблуждении, что таким образом уничтожает свои следы, и побежала дальше. Из-за поворота вышел Кальман с детьми — небритый, кое-как одетый, в незатянутом галстуке — прежде он не позволял себе таких вольностей.

— Внимание! — сказал он, бросив взгляд на тумбу. — Чарли, не зевай.

И тотчас возле тумбы возник блю-терьер с заросшей мордой.

— Пописает! — азартно крикнул Чарли.

— Не спорю, — согласился отец, к большому его разочарованию.

На смену блю-терьеру подбежал коротконогий скотч.

— Пописает! — вскричал Чарли.

— Нет. Ставлю доллар.

— Идет.

Пес почти добежал до тумбы, но тут учуял сучку, примеченную наметанным глазом Кальмана, и желание мгновенно вытеснило иные физиологические потребности.

— Гони доллар, — потребовал Кальман.

Чарльз унаследовал отцовскую неторопательность. С крайне кислым видом он достал из кармана доллар и отдал отцу.

— Больше не играю, — сказал он хмуро, — три доллара за одну прогулочку — многовато.

— Я считался чемпионом этой игры, когда тебя и в проекте не было, — горделиво сообщил отец. — Так и быть: получите мороженое. Принимаю заказы.

— Мне шоколадного! — быстро сказала Лили.

— А мне орехового, — решила Илонка.

— А мне шоколадного и орехового! — плотоядно сказал Чарльз.

— Пожалуйста. Мне не жалко. Оплата из твоего проигрыша.

Напоминание о проигрыше вновь погрузило Чарльза в пучину мрачности.

Они заметили черную машину у портала Земледельческого банка.

— Кажется, это Верушка, — сказал Кальман. — Ну, детки, быстро попрощайтесь с мамочкой, не задерживайте ее. Мамочке нужно в Южную Америку. И не говорите, что я здесь.

Он спрятался за колонну, а дети побежали к матери. Верушка схватила их, принялась целовать, глаза ее затуманились слезами.

— Милые вы мои!.. Бедные вы мои!..

При этих жалобных словах маленькая Илонка начала кукситься, сама не понимая с чего.

— Ну мама!.. Ну чего ты?.. — капризно сказала Лили.

— Сиротки бедные!.. Чарли, мальчик мой!.. Да как же я буду без вас?.. А вы без меня?..

Лили начала покусывать губу, Чарльз, и без того расстроенный проигрышем трех долларов, часто заморгал.

— А где же он... голубок мой старенький?.. — Острые глаза молодой женщины углядели спрятавшегося за колонну Кальмана. Она кинулась к нему.

Кальман казался очень смущенным тем, что Верушка его обнаружила.

— Ты прости, Верушка, я не хотел...

— Какой ты небритый, запущенный!.. За тобой никто не смотрит!..

— Я не успел побриться... А ну, ребята, оставьте маму в покое. Она спешит...

— Как ты можешь, Имрушка?.. Спешит!.. При виде этих ангелов!..

— Тебе надо собраться. И неловко перед твоим мужем.

— О чем ты говоришь? Забудь об этом человеке. Я никуда не еду.

— Он что — обманул тебя? — вскипел Кальман. — Тогда он будет иметь дело со мной!

— Угомонись, Имрушка!..

— Не угомонюсь! — вскричал бесстрашный Кальман. — Я заставляю его жениться. Я вызову его на дуэль. По матери я из рода отважных куруцев. О Верушка, ты увидишь, как дерется потомок не ведавших страха. — Кальман сделал выпад воображаемой шпагой. — Это будет удивительный пример этнического возрождения. Я приведу его на веревке к алтарю.

— Успокойся, Имре, мы давно зарегистрировали наш брак. Он безумно любит меня.

— Попробовал бы не любить! — кровожадно сказал Кальман.

— Но я поняла, что не люблю его... Я люблю вас, мои единственные. Я даже не знала, что так привязалась к тебе, дорогой ты мой!

— Верушка, — глубоким голосом сказал Кальман, — я никогда не позволю себе разрушить чужую семью.

— Какая там семья! — отмахнулась Вера. — Вы моя семья. Мама остается с вами.

— Мама остается, мама остается! — обрадовались дети.

— Но мне неудобно перед этим человеком... твоим мужем, — жалобно сказал Кальман. — Судя по всему, он славный малый.

— Много ты знаешь!.. Истерик, скандалист, по три раза в день кончает самоубийством. Орет и плачет по каждому поводу. Ревнив, как мавр, хотя сам — французик из Бордо-дри-дри. Красивый дурак и сумасшедший. К тому же лопух, перевел на меня почти все деньги.

— Верушка, — очень серьезно сказал Кальман, — если ты действительно хочешь вернуться, то отдай ему все деньги до копейки. И ты придешь домой в том, в чем ушла. Иначе дверь окажется на замке.

В доме Кальманов готовилось большое торжество. И это крайне волновало маленькую Илонку.

— Ну Лили, — приставала она к сестре, — разве сейчас Рождество?

— Какое Рождество, дурочка?

— А почему — ящики, коробки? Я думала, это подарки от Санта-Клауса.

— У нас сегодня свадьба. Папа и мама женятся.

— А разве они неженатые?

— Нет!.. Отстань!..

— Значит, мы незаконные, — последовал весьма логичный для невинного дитяти вывод.

— Дура, дура и дура! — выгадывая время, бранилась Лили. — Мы совершенно законные. Папа и мама были

женаты, потом сделали перерыв, как отпуск или каникулы, а сейчас отдохнули и опять женятся.

— И будут новые законные дети? — полюбопытствовала Илонка.

— Это я тебе не скажу, — по-взрослому неискренне ответила Лили. — Детей, как ты знаешь, приносит аист. Если они его хорошенько попросят...

— Они не будут просить, — задумчиво сказала малышка. — Мама так бережет фигуру...

Лили не успела отозваться на слова сестры. Дверь распахнулась, впустив некий драгоценный блеск, сверк — невозможно было сразу постигнуть, что это: поток драгоценного металла, хрустальный водопад, ступок серебристого света или чудо, не имеющее разгадки, а затем определилось, что это дивный, переливчатый, нежнейший мех, некогда приютивший тело Греты Гарбо, а сейчас с не меньшим успехом укутавший девичью фигуру Веры.

Девочки замерли в молитвенном экстазе, и тут вошел Имре Кальман.

— Лили, Илона, марш отсюда! — с непривычной строгостью скомандовал он дочерям, взор которых горел не детским, а женским огнем.

Когда те с неохотой вышли, с его трясущихся губ слетело:

— Ты нарушила уговор. Свадьбы не будет.

— С ума сошел, Имрушка? Я назвала столько гостей! И какой договор я нарушила?

— Эта шуба стоит целое состояние. А я сказал: вернись в чем ушла, и ни гроша чужих денег.

— Как ты меня напугал! Можешь успокоиться — тут только твои деньги.

Но это сообщение отнюдь не успокоило Кальмана, скорее наоборот.

— Господь с тобой! У меня нет таких денег.

— Поищи. Найдутся. Это твой свадебный подарок.

— Я не могу дарить тебе шубку ценою в двадцать тысяч долларов.

— В сорок, милый. Попробуй купить платиновую норку такого качества за двадцать тысяч. А эта не хуже, чем у Греты Гарбо. Я тогда еще поклялась иметь такую же.

— Ты губишь меня!..

— Я тебя спасаю. Ты не понял Америки. Здесь все решает реклама. Нищий Кальман никому не интересен. Кальман, дарящий жене шубу за сорок тысяч, нужен всем. Моя шуба принесет тебе несказанный успех!..

На рассвете из дверей кальмановского дома вывалились сильно подгулявшие гости. Мужчины в помятых, залитых вином фраках, дамы в не менее пострадавших вечерних туалетах.

— Недурно погуляли! — заметил один из гостей. — У европейцев есть чему поучиться.

— Но старик Кальман каков! — подхватил другой. — Увел лучшую женщину!..

— Да, — с серьезным видом согласился первый. — Препятствия жена была не Бог вещь что, эта — высший класс!..

И, расхохотавшись, разошлись по машинам...

А Верушка оказалась пророком. Шубка сработала. Кальману предложили концертное турне по всей стране. Очнулся Голливуд: Луис Б. Майер, один из шефов крупнейшей студии «Метро Голдвин Майер», приобрел право на постановку «Марицы». Подзабытые оперетты снова вошли в моду. Он даже потрянул стариной и разразился слабой «Маринкой» о некогда на шумевшей и давно всем надоевшей в Европе майерлингской трагедии, когда кронпринц Рудольф застрелил свою любовницу баронессу Мари Вечора и покончил самоубийством сам. Но и на это вялое творение усталого духа повалили валом. Америка всегда поклонялась удаче.

ОТКРЫТЫЙ ДОМ

Кальманы зажали на широкую ногу. Таких приемов не бывало даже в цветущие венские дни. За столом сходились мировые знаменитости, князья по происхождению и кня-

зья духа: наследный принц Отто Габсбург чокался с писателем-изгнанником Эрихом Марией Ремарком, прославленный режиссер Эрнст Любич спорил с Джорджем Балланчиным, а им ласково внимали маленький Артур Рубинштейн и дылда княгиня Талейран де Перигор.

Кальман предпочитал этим шумным сборищам занятия с сыном, обнаружившим несомненный музыкальный талант. Чарли доверил отцу великую тайну: он сочинял сонату ко дню рождения мамочки. С рубиновыми от волнения ушами он играл адажио, когда ворвалась перевозбужденная Верушка в полном параде, то есть почти обнаженная.

— Имре, ты не переодевался?

— Дай нам кончить урок.

— Завтра наиграешься. Чарли, марш на свою половину!

Сын послушно собрал ноты и вышел.

— Почему такая паника?

— Ты забыл?.. Я пригласила Грету Гарбо.

— Ну и что с того? Мало мы перевидали голливудских див?

— Имрушка, постыдись! Гарбо — не дива. Это великая актриса.

— И великие были, — скучным голосом сказал Кальман. — Марлен Дитрих, Ингрид Бергман, Бет Девис, кто-то еще.

— Гарбо — это Гарбо. Она никому не чета. И потом — это мой реванш.

— Как — а шубка?..

— Этого мало. Она видела меня продавщицей.

— Вольно ж тебе было!.. Но в Америке никто не стыдится своего прошлого, напротив, гордятся.

— Звезды экрана. А я не звезда. Я свечусь твоим отраженным светом.

— Спасибо. Я довольно тусклый источник.

— Тебе непременно надо испортить мне настроение?

— Такая попытка обречена на провал.

- Да. У меня хватает оптимизма на двоих.
- Даже больше...
- Будь хорошим, Имрушка. Не огорчай меня.
- Сколько народа ты назвала?

Вера расхохоталась:

— Я сказала Грете, что будут только свои. Человек десять от силы. Но ты же знаешь американцев. Съезжаться только начали, а там уже столпотворение. Спускайся поскорее.

— Я что-то не в форме. Спущусь, когда приедет Гарбо.

Вера убежала. Кальман прошел в гардеробную, но перед этим принял лекарство, запив его водой из сифона. Послушал пульс, покачал головой и с неохотой стянул домашнюю куртку.

Он только успел повязать черную бабочку, когда ворвалась крайне возбужденная Вера.

— Имре, немедленно вниз! Пришла Грета!

— Пришла-таки... — промямлил Кальман, натягивая фрак.

— Ты не представляешь, что там было!.. Грета — сущее дитя. Она всему верит. Я сказала, что будут только свои, и она явилась в спортивной юбке и свитере. А тут человек четыреста и драгоценностей на полтонны. Я испугалась, что она удерет. Не тут-то было. Подмигнула мне, усмехнулась и пошла танцевать. Все только на нее и смотрят. Великая женщина! Ну пошли!

Кальман потащился за женой — сутулый, старый, усталый, с погасшим взором.

Когда они пробирались сквозь плотную массу гостей, Кальман обменивался кое с кем поклонами, порой рукопожатием, но большинству он просто не был знаком.

— Слушай, а кто этот старичок? — спросила одна из дам своего мужа. — Я его вроде где-то видела.

— С ума сошла? Это муж хозяйки.

— А кто он такой? Бизнесмен?

— Знаменитый композитор. Кальман.

— Сроду не слыхала.

— Только помалкивай об этом. А то сразу поймут, что ты круглая дура.

Кальман пробрался к танцующим. Грета Гарбо узнала его издали и сразу оставила партнера. Узкая юбка и черный свитер облегли ее, как вторая кожа. Но она выделялась в толпе не только спортивной простотой, а исходящим от нее веем большой личности. Она не смешивалась с окружающими, не была частью целого, она была сама по себе.

— Мой муж, — представила Вера и стинула.

Грета открытым мужским жестом протянула руку.

— Я воспитывалась на вашей музыке. И вот вы... живой, с теплой рукой и грустными глазами. Это все равно что увидеть Верди, или Грига, или Сальвини.

— Я кажусь таким старым?

— Нет, таким вечным, — улыбнулась Гарбо. — У вас весело. Но я не люблю американского веселья. Я пришла, чтобы увидеть вас. И увидела.

— Только не уходите, — попросил Кальман. — Вера так ждала вас, так взволнована вашим приходом.

— Я догадываюсь — почему. Не бойтесь, я ее не разочарую. Ради вас. И потом — мне нравятся люди, которые точно знают, чего хотят. А вы не танцуете?

— Увы... Мальчиком я возомнил себя организатором бала. Я открыл танцы, тут же наступил на подол девичьей партнерше, уронил ее и сам шлепнулся сверху. С тех пор с танцами было покончено.

— Какой вы милый! Я так рада, что пришла. Хотя, по правде, не люблю танцев, шампанского и подобных трапез.

Ее пригласили. Она улыбнулась Кальману. Он склонился и поцеловал ей руку. Грета поцеловала его в темя. Затем добросовестно, как и все, что она делала, принялась отплясывать с очередным профессиональным красавцем.

Кальман заметил, что Грета Гарбо исчезла сразу после обеда, попробовав, не ломаясь, всех кушаний, исчезла, точ-

но уловив момент, когда выпитое ударяет в голову и званный обед переходит в голливудского пошиба бесчинство. Это случилось неизбежно, но Кальман так и не мог привыкнуть к заокеанскому стилю.

Присутствие Греты Гарбо сдерживало гостей, но сейчас все энергично наверстывали упущенное. Толстый актер, преемник знаменитого Фатти, плохо кончившего партнера Чаплина, делал стриптиз, обнажая чудовищную гору мяса; окружающие покатывались от хохота.

Но еще больший успех имела актриса Джинджер Роджерс; она исполняла на столе один из самых известных номеров примы, с меньшим искусством, зато без всяких одежд.

Кальман с сигарой во рту помыкался среди гостей, затем поднялся на второй этаж, думая уединиться в одной из спален. Но всякий раз, открыв неплотно прикрытую дверь, он бормотал: «Пардон!» — и поспешно отступал.

После очередного извинения дверь распахнулась, откуда высунулась обнаженная женская рука, схватила Кальмана за отворот фрака и попыталась втянуть в комнату.

Кальман с трудом вырвался.

— На кладбище торопишься, папашка? — слышался нетрезвый женский голос. — Пришли мне Джорджа.

— Какого Джорджа?

— Вашингтона, мурло! — И девица захлопнула дверь.

Кальман засеменял по коридору, зажимая рукой сердце...

ПОД ОСЕННЕЙ ЗВЕЗДОЙ

Пронеслись годы. Правда, для много и тяжело болевшего Кальмана время порой ковыляло черепашьим шагом. Старый, желтый, как китаец, он полусидел на кровати, укутав ноги в плед из верблюжьей шерсти. Ему перевалило за семьдесят, жизнь прожита, и сейчас он дотлевет под бдительным-любовным присмотром неотлучно находящейся при нем сиделки, старой девы Ирмгард Шпис. Черты Кальма-

на мало изменились, но лицо как-то обвисло, волосы над ушами и по-прежнему густые усы сохранили свой темный цвет, но весь он сморщился, сжался, запал в самого себя, а левая рука утратила подвижность от мозгового удара. В комнате полумрак, свет затененной настольной лампы позволяет различать предметы старинной обстановки: кресла жакоб, позолоченные багетные рамы картин, отмеченный бликом угол кабинетного рояля. Кальман завершал земной путь отнюдь не в богадельне, а в прекрасной квартире на тихой улице одного из аристократических кварталов Парижа.

— Нет, дорогая Ирмгард, — твердо произнес Кальман. — Я не обмолвлюсь словом до гуляша. Я чувствую, что он давно готов.

Ирмгард охнула и кинулась в прилегающую к кабинету крошечную кухню, где она собственноручно готовила нехитрую еду для больного.

Кальман устроился поудобнее и с хитро-алчным видом гурмана стал ждать обеда.

Расторопная сиделка вкатила столик на колесиках, в серебряной супнице аппетитно дымился гуляш. Было тут и немало приправ, а кроме того тарелка с овсянкой-размазней.

— Садитесь поближе ко мне, — попросил Кальман, получив тарелку с кашей и ложку.

Сиделка пристроилась у изголовья; острый венгерский гуляш предназначался ей, но своим густым ароматом он сдабривал Кальману осточертевшую кашу. У больного и сиделки были хорошо отработанные приемы: гуляш исходил паром прямо в нос Кальману, кроме того, Ирмгард проносила ложку мимо его рта, и перично-пряный дух скрашивал безвкусную овсянку.

— Неплохо! — похвалил Кальман. — Надо сдобрить эту остроту глотком вина.

Сиделка безропотно извлекла из-под кровати бутылку эгерского красного и бокальчик. Наполнив его, она поднес-

ла вино к носу Кальмана, после чего сделала добрый глоток. При этом они оба пожелали друг другу доброго здоровья.

Каша и гуляш были доедены, и сиделка попыталась оттянуть ремешок на юбке, но это ей не удалось.

— Вы такой обжора, господин Кальман, что скоро на мне ничего не будет сходиться.

— На мой вкус, округлость стана лишь красит женщину. Вы очень посвежели, милая Ирмгард.

Сиделка покраснела.

— Вы находите?..

Кальман взял ее руку и поднес к губам.

— Ой, мои руки пахнут гуляшом! — вскричала сиделка.

— Это и прекрасно, — заметил Кальман. — А теперь, по обыкновению, немного подымим.

Сиделка чуть поколебалась, потом вынула из кармашка халата сигару, зажигалку, под села к Кальману, который собственноручно отрезал кончик сигары, закурила и выпустила изо рта голубой дым. Ноздри Кальмана жадно раздулись, он ловит сладкий аромат «кэп-стайна» — курить ему строжайше запрещено.

— Ах, господин Кальман, вы сделаете из меня заядлую курильщицу, — не без кокетства сказала Ирмгард.

— Надо же иметь хоть какой-то порок. Не то вас живьем возьмут на небо. А мне не хотелось бы лишиться моей верной Ирмгард.

— Вы всегда смеетесь надо мной! — Ирмгард притворялась обиженной, но в глубине души была донельзя польщена. — С моей стороны не будет бестактным вернуться к прерванному разговору?

— Ничуть. Но при одном условии: за картами.

Ирмгард достала порядком заигранную колоду и сдала: половину карт Кальману, половину — себе, «пьяница» — единственная карточная игра, которая его не утомляла.

— Вас интересует, Ирмгард, чем занимался я все эти годы без музыки? Стоп!.. Не думайте меня обмануть:

дама бьет валета. — Он жадно забрал взятку. — Переодевался: пиджак, визитка, смокинг, фрак, шляпа, котелок, цилиндр, замшевые, кожаные, лакированные туфли. Что еще?.. Обедал: дома, в ресторанах, клубах. Приемы, приемы, приемы. Что-то мне присуждали: какие-то степени, награды. Поль Бонкур вручил офицерский крест Почетного легиона. Ах, это было уже при вас. Но балатонский лед не трещал, нет... Ирмгард, не жульничайте, червонный туз мой... Каждому творцу надо немного недобирать во всем: в любви, признании, деньгах, особенно в последнем. Иначе душа засыпает. Деньги текли ко мне со всех материков. Хорошо еще, что Верушка обладает редким умением их тратить. Наша жизнь была под стать оперетте, она шумела, пенилась и вся шла под музыку. Верушка неутомимая танцорка... Ну, что еще?.. Радовал Чарльз своей музыкальной одаренностью. Развлекали и болезни: один инфаркт, другой, перелом руки, insult, все это очень наполняет жизнь. Но все-таки не до конца. И после долгих колебаний я взялся за «Леди из Аризоны». Это моя благодарность приютившей нас стране. Боюсь, что благодарность слабая. Остались техника и навыки, вдохновение ушло. Да и как могло оно не уйти в напряженной пустоте моей жизни. И все-таки мне хотелось бы дожить до премьеры...

— Дожить! — с негодованием вскричала Ирмгард. — Если хотите знать, такие люди, как вы, вообще не имеют права умирать.

— Сильно сказано, Ирмгард, хотя вы расходитесь с Гете. Тот считал смерть самым красивым символом из всех, придуманных людьми. Так или иначе, но вы проиграли, Ирмгард, хотя ваш проигрыш не идет в сравнение с моим. Вы пьяница. Вы не можете без рюмки кюммеля.

Ирмгард покорно достала из ночного столика маленькую бутылку «Доппель-кюммеля», налила в мензурку и медленно выцедила ее. Кальман делал глотательные движения, потом облизал губы.

— Сдавайте, Ирмгард, может, возьмете реванш... Мне не о чем думать, наверное, поэтому я все чаще задаюсь мыслью: а мои старые оперетты имеют хоть какую-нибудь ценность? Знаете, меня это по-настоящему мучает.

Ирмгард сделала порывистое движение протеста.

— Вы не можете быть объективной, Ирмгард, вы слишком привязаны ко мне. И я к вам привязан. Все мои теперешние радости от вас. Запах гуляша и запах сигары, выпитое вами вино и рюмка кюммеля, азартная карточная игра, умный разговор. Я отраженно наслаждаюсь жизнью. «На старости я сызнова живу». Кто это сказал?.. Неважно. Я могу с полным правом отнести к себе эти слова... У нас не испытано еще одно удовольствие: просмотреть курс акций.

— Это перед сном, вместо сказки. Господин Кальман, а почему вы не вернулись в Венгрию?

— Спросите Верушку, Ирмгард. Она вам скажет: потому что фашисты убили моих сестер Илонку и Милекен. Как будто весь народ отвечает за преступления кучки вырожденков!.. В Венгрии мало танцевали после войны.

— Вы хотели жить в Париже?

— Нет. Если не дома, то хотя бы в Швейцарии. Я всегда любил тихий Цюрих, и меня там любили. Но это слишком мелко для Верушки. Она сознает свое назначение в обществе и не желает манкировать высокими обязанностями. Мне создали Цюрих на дому. Тишина, полная изоляция, за окном деревья, на столе эдельвейсы.

Дверь распахнулась, и влетела запыхавшаяся Верушка.

— Ну как вы тут, мои дорогие?

— Ты уже вернулась? — со сложной интонацией спросил Кальман.

— Только принять душ и переодеться. Там было ужасно душно. Хорошо вам прохладиться, а у меня еще благотворительный базар.

— С танцами? — невинно спросил Кальман.

— Не знаю. Может быть, немного потопчемся потом, для разрядки. Ты хорошо себя вел?

— Как самый послушный мальчик, — подделываясь под Верушкин тон, ответила сиделка.

— Ей-богу, вам позавидуешь! Идиллия, да и только.

— А ты оставайся с нами, — лукаво предложил Кальман.

Верушка притуманилась.

— Каждый должен нести свой крест, Имре. Общество не прощает дезертирства. Я должна быть на посту.

— Не щадишь ты себя, Верушка!.. А знаешь, я закончил оперетту «Леди из Аризоны».

— Ого! — Голос обрел неподдельную серьезность. — Ну, Имрушка, ты молодец! Так бы взяла и поцеловала.. Теперь у твоей женушки прибавится хлопот. Реклама, пресса, интервью. Но я этого не боюсь.

— Спасибо, родная. Ты — стойкий оловянный солдатик.

— Не сомневайся.. — Она чмокнула Кальмана в макушку и устремилась к дверям. Здесь, что-то вспомнив, она повернулась и спросила кокетливо: — Надеюсь, главная героиня — как всегда, я?

— А как же иначе? — бодро ответил Кальман.

Верушка послала ему воздушный поцелуй и скрылась.

— А кто у вас главная героиня? — поинтересовалась Ирмагд.

— Лошадь, — прозвучал спокойный ответ.

Смущенно кашлянув, Ирмагд сказала:

— Господин Кальман, я знаю вас уже несколько лет, но кажется — всю жизнь. Вы всегда посмеиваетесь, даже когда вам плохо. Скажите, а вы знаете, что такое слезы? — И, выпалив это единым духом, она залилась краской, проникшей и за вырез белого халата.

— Боже мой, Ирмагд! — засмеялся Кальман. — В детстве я был отвратительным плаксой. Ревел по каждому поводу. В школе меня часто обижали — за маленький рост, наивность, полное отсутствие спортивности, но я научился пускать в ход кулаки и перестал плакать. Да, да, можете

себе представить?.. Паула растопила мое бедное сердце, я опять начал сочиться, как незавернутый кран. Но Верушка его завернула, до отказа. Я стал непробиваемым. Впрочем, вру. Я заплакал, когда узнал, что в освобожденном Будапеште в первом открывшемся кинотеатре показывали мою «Княгиню чардаша». И знаете, кто ее снял? Русские. Во время войны, такой войны, они поставили на Урале фильм по моей оперетте. Я так жалел, что мне не удалось увидеть... Знаете, я каким-то таинственным образом связан с Россией, где никогда не бывал. В блокадном Ленинграде тоже поставили «Сильву» — так они называли «Княгиню чардаша». Певучая венгерская крестьяночка подымала настроение голодным людям. Русские даже выпустили листовку, мне ее прислали. — Кальман с усилием приподнялся, достал бювар из тумбочки и вынул тонкий голубой квадратик бумаги.

Он протянул его Ирмгард, но листовка выскользнула из его пальцев и, покачиваясь в воздухе, словно в ночном небе войны, медленно опустилась на пол. Сиделка проводила взглядом коротенький полет и лишь тогда подняла листовку.

Она увидела красивый театр с колоннами, афиши на стене, темные фигуры людей, голые рослые деревья.

— Какой чудесный театр!.. И сколько людей!.. Надо же!.. А кто ее вам прислал?

Кальман не ответил.

— Уснул, — нежно сказала Ирмгард и поправила подушку. — Даже про акции забыл.

Кальман спал. И снова, после многих, многих лет, ему снился тот самый сон о Балатоне, который в детстве был явью, проникающей в сновидение: со страшным, оглушительным грохотом рвется ледяной покров. И как всегда, бессознательно провидя некий перелом жизни: то ли радостный, то ли горестный, — он стонал, метался, вскрикивал.

Устроившаяся рядом в кресле с откидной спинкой Ирмгард поднялась, стала успокаивать больного. Он про-

должал метаться и стонать. Она прилегла рядом, прижала его голову к груди.

— А?.. Что?.. — Он открыл глаза. — Это вы, Ирмгард?

— Вам неприятно?

— Что вы! После иллюзии выпивки, курения и насыщения мне не хватало лишь иллюзии близости. Не обижайтесь, Ирмгард, это шутка. Мне приснился старый, страшный и любимый сон. Да, так бывает: страшный и любимый.

— Спите, спите... Ничего не бойтесь. Я с вами...

КОНЕЧНАЯ СТАНЦИЯ

Звучат последние аккорды «Леди из Аризоны». Зал стоя рукоплещет, требуют автора.

Он выходит своей тяжелой походкой, волоча ногу, в черном элегантном фраке, сидящем несколько мешковато. Белая крахмальная рубашка подчеркивает желтизну лица. Чуть приметным наклоном головы Кальман отвечает на овации зала. Его темные, будто исплаканные глаза равнодушно пробегают по лицам приветствующих его мужчин и женщин. Внезапно зрачки наполняются удивлением и жизнью. В ложе бенуара он обнаруживает странную компанию: завитые белые парики по моде XVIII века, кружевные воротники, камзолы. Боже мой! Ему аплодируют сам великий Иоганн Себастьян Бах и его удачливый соперник Гендель! Он видит округлое лицо Моцарта с чуть припухлыми щечками, а рядом великолепную голову Бетховена с гривой путаных седеющих волос. А затем он видит Гайдна, Шуберта, Верди, Листа, Чайковского!.. Они все пришли сюда, чтобы воздать ему должное, они признают его своим. Удивление, ошеломленность, гордость до боли — все уходит, уступая место святой умиротворенности: он получил ответ на терзавший ему душу вопрос: зачем он жил.

Он сходит со сцены и, уже не волоча ногу, легкой и твердой поступью идет сквозь расступающуюся толпу к

ложе бенуара в братские руки тех, кому он поклонялся, смиренно сознавая свою малость перед ними. И вот они принимают его в свой круг.

— Неужели то, что я сделал, чего-то стоит? — говорит он с глазами, полными слез.

— Вы гений! — порывисто воскликнул Моцарт. — Хотите услышать это от самого Сальери, не сказавшего и слова неправды? Куда он опять запропастился?

— Он все время ищет Сальери, — с улыбкой заметил Чайковский, пожимая Кальману руку. — Минуты не может без него.

— Бедняга, — вздохнул Ференц Лист, — глупую сплетню, пущенную невесть кем, он замаливает, как собственный грех.

— Нет второго такого сердца, как у Моцарта, — с глубокой нежностью сказал Чайковский.

Кальман вглядывался в любимые лица, и внезапная догадка пронзила сознание.

— Если я вас вижу... говорю с вами... значит, я тоже умер?

— Конечно, дорогой, — спокойно сказал Чайковский. — Почему это вас пугает?

Кальман промолчал. Догадка оказалась страшной лишь в первое мгновение: он слишком привык быть живым. Но что может быть лучше, чем оказаться среди таких людей? Он, видимо, отошел во сне, без боли, страха и мучений, в добрых руках Ирмгард — когда-нибудь они встретятся снова...

Театр исчез, теперь все они двигались по тянущейся вверх дороге, странной, клубящейся, словно облака, залитой серебристым светом дороге; ноги не чувствовали тверди, но это не мешало, идти было легко, надежно, мышцы не напрягались, и он чувствовал, что уже никогда не испытает усталости.

— Куда мы идем? — спросил он Чайковского.

— К Главному капельмейстеру, разумеется. Вам же надо представиться.

— Ну конечно, как я сам не догадался!..

— Не робейте, мы будем с вами.

— А мои друзья, — неуверенно проговорил Кальман, — Якоби, Лео Фалль?..

— Вы всех увидите, попозже. — Чайковский пронизательно посмотрел на Кальмана. — Понимаете, здесь тоже существует известное разделение...

— Как — и в раю?..

— Меньше, чем где бы то ни было, но полное равенство, очевидно, недостижимо. Ведь и у ангелов есть чины и степени. Михаил и Гавриил — действительные тайные советники, а есть крылатые коллежские регистраторы. Вы попали, вполне заслуженно, в высший круг. А у милейшего Якоби — какой славный человек! — Оскара Штрауса, Лео Фалля — своя компания. Все любят легкую музыку, но стесняются в этом признаться. Рай не исключение.

— А кто же из наших...

— ...в «высшем обществе»? — со смехом подхватил Чайковский. — Только Оффенбах, Иоганн Штраус и вы. Долго не знали, что делать с Легаром. Его подвел недостаток самобытности. Вот вы не дали захватить себя стихии венского вальса.

— Мой дорогой отец! — воскликнул Кальман. — Его совет пригодился и на земле, и на небе. Держись чардаша, говорил он, и ты спасешься! Боже мой, сколько же я тут узнаю! — произнес он растроганно. — Я разговариваю с вами, могу обратиться к Баху, Бетховену!.. Голова идет кругом.

— Постепенно вы привыкнете и будете считать это в порядке вещей.

— Петр Ильич, я имел наглость считать себя вашим учеником. Никого не любил я так, как вас, и никому так не верил. Можно, я еще кое о чем спрошу?

— Пожалуйста, дорогой. О чем угодно.

— Святой Петр в форме?

— Как вам сказать? Вы же знаете, его распяли вниз головой. С тех пор он страдает приливами крови. Но вообще старик крепкий.

— А по службе?.. Справляется?..

Петр Ильич сдержал шаг и пристально поглядел на Кальмана.

— Я понял, что вас беспокоит. Можете быть уверены, ни один посторонний сюда не проникнет. У святого Петра глаз — алмаз. Он стоит в воротах, позванивая ключами, — признаться, раздражающая привычка, ключи у него почему-то всегда вызванивают первые три такта из «Ночи на Лысой горе» нашего Мусорянина, — видит все. Обмануть его невозможно. Так что будьте уверены: вас тут не потревожат. Никто. Никогда.

Тени великих музыкантов продолжали двигаться по серебристой дороге, к чертогу Вседержителя.

Поезд, отошедший много, много лет назад от платформы будапештского вокзала, прибыл по назначению...

ВСПОМНИМ О ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ...

Если в небе был порядок, то на земле обстояло куда хуже. Бьется, словно в приступе эпилепсии, на грязных подмостках Джонни Холлидей. Ревет, стонет, беснуется наэлектризованная толпа: волосатые, с пеной на губах юнцы и растерзанные, почти обнажившиеся девки. Холлидея сменяет лондонское музыкальное трио, которое в исходе шестидесятых едва ли не побил рекорд лжемюзикального безумия; каждый из участников имел свое амплуа: дебил, баба (естественно, то был мужчина) и бесноватый, это трио доводило молодую аудиторию до пределов скотства. Мелькают и другие герои на час, сводившие с ума растерянную молодежь семидесятых и, чудовищно нашумев, канувшие неведомо куда. Гремят кошмарные дискотеки с неистовствующими танцорами; в их танцах нет сближения, нежности, нет «пары», вокруг одного щелкающего в прострации пальцами и двусмысленно вихляющего бедрами кавалера может изгаляться с десятков «дам»; здесь достоинство музыки оценивается лишь по степени ее громкости, здесь в

смердящей потом, кишашей влажными телами полутьме утрачивается ценность человека; здесь нет ни мужского, ни женского начала, никто не помнит, какого он пола, нет ни красоты, ни праздника, лишь наркотическое забвение, уход от реальности. Грохочут рок-оперы, разрушающие барабанные перепонки, оргийное громовое хамство, в которое так быстро выродилась новая эстетика музыкального спектакля.

Страшнее всего поведение зрителей, особенно на концертах любимых «звезд», то пресловутое «соучастие», в котором иные социологи видят ключ к пониманию движения времени и загадочной сути граждан завтрашнего мира. Деградация музыки естественно сочетается с деградацией зрителей. Это поведение можно определить словами одного французского писателя: «Все жалкое, что есть в человеческой природе, разнуздывается перед вечностью». Конечный смысл этих вакханалий — отказ от самоуважения и уважения к чему-либо вне тебя. Ведь идолов тоже не щадят: их обсыпают всякой дрянью, заглушают, в них швыряют жеваной бумагой, окурками, чуть ли не оплевывают; они не более чем повод для разнуздывания дурных страстей.

А завершится все тем безмерно печальным зрелищем, что явлено на знаменитой картине Виктора Васнецова «После побоища», только вместо богатырей в кольчугах и шишаках на опустевшей земле, под багровым солнцем и тенями громадных хищных птиц, будут валяться длинноволосые, бесполое молодые люди, а вместо мечей и бердышей — искореженные электроинструменты.

И тогда в отдалении возникнет фигура одинокого цыгана. Он взмахнет смычком, и полетится вечная чистая песня. Встанут с земли поверженные с юными, прекрасными, задумчиво-тихими лицами — и это будет спасением.

ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Эти вкусно пахнущие, обставленные в уютном стиле конца прошлого века кафе будапештцы до сих пор называ-

ют по имени прежнего владельца — «Жербо». В одном из таких кафе, по всей вероятности помнившем Кальмана, мы и встретились. Место встречи, конечно, выбрал Пал, театральный критик на покое, сильно пожилой, смуглый и очень крепкий человек (язык не повернется сказать — старик), которому чуть приметная хромота и зажатая в руке тяжелая, с медным набалдашником трость придавали вид ветеранской уверенности и напора, хотя Пал никогда не носил военной формы.

Я все откладывал нашу встречу, запланированную общими друзьями чуть ли не на день моего прилета в Будапешт. Они считали, что путь к Кальману идет через Пала, в первую очередь через Пала, его современника, близкого знакомого, отчасти коллеги, поскольку Кальман долгое время подвизался в газете в качестве музыкального критика. Но я боялся, что собеседник сразу превратится в моего наставника, уж слишком ярок был отсвет творца «Княгини чардаша» на его челе. Меня всегда страшило попасть под пресс чужого, выношенного мнения, готовой «теории» творца и человека. Это лишает внутренней свободы, гасит то, что пышно именуют «творческим импульсом». Мне надо до всего доходить своим умом, даже если путь предстоит окольный и неторный. К тем писателям, поэтам, композиторам, о которых мне довелось писать, я старался приблизиться прежде всего через их творчество, вживаясь в человека с помощью созданного им, а не исследователями. Какось, не люблю специалистов, мне с ними душно. «Очевидцев» тоже не больно жалую, они, как правило, ничего не помнят по-настоящему, но каждый цепко держится за свою легенду. Если я пишу о композиторе, то мой строительный материал: много, много музыки, биографические сведения, минимум писем и воспоминаний. И ко дню нашей встречи с Палом в «Жербо» я не только наслаждался Кальмана до отупения, но повидался с его родственниками и с очаровательными в своей легкой и опрятной старости актрисами — участницами кальмановских премьер, — каждая

показывала, как драгоценность, сухую, увядшую руку, которой касались губы благодарного маэстро; наскочил я и на сочинителя веселой музыки, то ли продолжавшего, то ли преодолевавшего традиции Кальмана, и на дряхлого музыковеда, судившего о нем на уровне тех критиков, что обвиняли «Княгиню чардаша» в сервилизме, и на согбенного режиссера, ставившего «Наездника-дьявола» в одном провинциальном театре до войны, прочел мемуарную книгу Веры Кальман, прелестные и досадно краткие воспоминания самого композитора, а главное — выработал свое собственное к нему отношение. Словом, я уже не боялся встречи с Палом.

Мы заняли столик с круглой мраморной столешницей, сделали заказ, обмениваясь ничего не значащими замечаниями. Заказ был выполнен на диво быстро, перед каждым оказалась чашка с дымящимся кофе, кусок вишневого торта, сливочница и стакан с холодной водой.

Аккуратно откусив прекрасными вставными зубами кусочек торта и запив глотком кофе, Пал с решительным видом заявил, что «Венгрия — страна Бартока, а не Кальмана», и для убедительности стукнул ладонью по мраморной крышке столика.

— Мне кажется, вы себя обедняете. Венгрия — страна Листа, Эрккеля, Бартока, Кодаи, Кальмана и Легара. При желании список можно увеличить.

— А зачем?

— Искусство — это трамвай, в котором никогда не тесно.

— Чьи слова? — спросил он заинтересованно.

— Аристотеля.

Он серьезно кивнул, но тут же спохватился и захохотал:

— Маленькие нации должны быть разборчивее к своим знаменитостям.

— Скорей уж — бережнее.

— Это тоже из Аристотеля?.. Поймите, Кальман стал писать оперетты, потому что не выдержал конкуренции Бартока и Кодаи на ристалище серьезной музыки.

На это я сказал, что он объяснил мне заодно и феномен Штрауса, поднявшего вальсовую музыку на небывалую высоту. По-видимому, все дело в том, что он не потянул в заочном соперничестве с Гайдном и Шубертом, ему ничего не оставалось, как стать «королем вальса».

— Но вы же не станете утверждать, что равным творческим усилием созданы «Варварское аллегро» и «Принцесса цирка»?

Я с простодушным видом спросил, что стоило тяжело нуждавшемуся Бартоку стиснуть зубы да и размахнуться «Принцессой цирка» — на всю жизнь хватило бы.

— Барток был слишком принципиален и горд для этого.

— Но не считал же он унижительным для себя просить поставщика музыкального брик-а-брака устроить его сочинения в печать. Просьба, кстати, была немедленно выполнена, о чем Барток нигде не упоминает.

— Зато Кальман хвастается напропалую.

— Не хвастается, а гордится, что помог великому человеку. Но мы говорим не о том. Барток просто не мог сочинить «Принцессу цирка», как Кальман — «Варварское аллегро». Разные типы одаренности. Даже гениальности. Ведь назвал же Шостакович, творец величайших симфоний и посредственной оперетты «Москва, Черемушки», Кальмана гением.

— Он его в самом деле так назвал?

— Да. И сделал это печатно. Из творцов легкой музыки он возвел в гении лишь Кальмана и Оффенбаха, не причислив к ним короля вальса Иоганна Штрауса.

— Каждый имеет право на собственное мнение.

— Конечно. Но надо полагать, что в существовании таланта творцы разбираются лучше критиков. Один музыковед — не из числа самых глупых — утверждал, что Кальману было трудно выдвинуться в Вене, тогда он решил написать великую оперетту. И возникла «Княгиня чардаша». А не прими он решения, так бы и сорил всяким дрянцом.

Видно, вкусный торт и ароматный кофе подействовали умиротворяюще на моего собеседника.

— Давайте считать, что тема «Барток — Кальман» еще ждет своего исследователя.

— А вы считаете, что такая тема правомочна?

— Они были соучениками по консерватории, дружили, годы шли рука об руку. Кальман привил Бартоку любовь к Чайковскому — ненадолго, правда, но в «Кошут-симфонии» ощущается влияние увертюры «Тысяча восемьсот двенадцатый год». Они и позже встречались, Барток пытался обратиться Кальмана в свою политическую веру. Да тут материала на несколько диссертаций!

— Кому они нужны?

— А кому нужны девяносто девять процентов всех диссертаций? Только самим диссертантам. Но в оставшемся одном проценте оказалась «Частная теория относительности» Эйнштейна; и этим амнистирован весь остальной мусор.

— Я надеялся, что вы расскажете мне что-то новое о Кальмане. Вы же знали его...

— Ну, знал — слишком громкое слово! — живо перебил Пал. — Что мы вообще знаем друг о друге? Мы виделись с десятков раз, как-то перекинулись в картишки. Он играл вдумчиво, медленно и плохо. На проигрыш разозлился, но умеренно. Был не речист. А вообще — серьезный, положительный, работающий человек. Мастер своего дела. И набит мелодиями до ноздрей. Опереточный Верди.

— Это общеизвестно.

Пал задумался, а потом сказал с веселыми искорками в карих непогасших глазах:

— Хотите, я расскажу вам маленькую историю, никому или почти никому не известную?

— Еще бы! — вскричал я. — Вишневый торт мне вреден, от кофе — сердцебиение, а хулы на Кальмана я наслаждался предостаточно.

— Жил-был обожатель Бартока и, естественно, ненавистник Кальмана, журналист, писавший иногда о музыке,

хотя музыкальным образованием не обладал. Он был любителем высшей пробы — с абсолютным слухом, завсегда-таем концертов, другом крупных музыкантов. К его мнению прислушивались. Он много сделал для популяризации Белы Бартока. Прожив долгую, очень долгую жизнь, он долго, очень долго, хотя и без особых мучений, умирал от болезни, ставшей бичом нашего времени. Мы все родились под тропиком рака. Угасал медленно, отказываясь постепенно от всего, что любил. А любил он многое: тонкую еду, хорошее вино, женщин, общество друзей (он попрощался с ними, когда слег, и запретил навещать себя); наконец очередь дошла до книг и газет, телевизора и последних известий по радио, его не интересовало, что происходит в мире длящих жизнь. Из живых существ при нем оставалась лишь старая жена, из неотвратимостей — музыка. Когда он не спал и не проваливался в забытье, то включал магнитофон и слушал Бартока, иногда крутил приемник, чтобы найти Бартока в пустом шуме мироздания. Незадолго до кончины он уже не мог прослушать какую-нибудь вещь Бартока до конца: не хватало ни душевных, ни физических сил. Теперь он крутил ручку приемника почти машинально, выхватывая из хаоса случайные звуки. Однажды он наткнулся на знакомую, но забытую мелодию. Он стал слушать и слушал так долго, что из кухни прибежала обеспокоенная жена. Она-то знала, как ненавистна ему эта музыка, и решила, что он кончается.

Слабым движением он отвел ее руку, протянувшуюся к приемнику.

— Не надо... — прошептал он. — Мне так хорошо... Эти молодые женщины... Им весело... Они, наверное, танцуют... Как прекрасен и радостен мир! Я наконец-то понял... Жить можно... нужно с Бартоком, умирать — с Кальманом...

И этот поклонник творца «Варварского аллегро» отошел под большой финал не то «Княгини чардаша», не то «Марицы», вы же знаете, я плохо разбираюсь в опереттах...

Московские гнезда

В НАЩОКИНСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Так этот переулок, идущий параллельно Гоголевскому бульвару и соединяющий Сивцев Вражек с ул. Рылеева (бывш. Гагаринский), называли только старожилы, для остальных он был улицей Фурманова. В угловом доме жил некогда любимый друг Пушкина Павел Воинович Нащокин; стоял тут и первый кооперативный дом писателей, откуда брали Мандельштама, Клычкова и вынесли Булгакова.

Это началось в тот короткий промежуток, когда, вернувшись после контузии с Воронежского фронта домой и кое-как придя в себя, я искал, чем бы заняться. Чувствовал я себя неважно, но все же съездил от «Комсомольской правды» в Сталинград, где еще вылавливали немцев из подвалов и расчищали улицы от завалов и трупов. Переболев сталинградским колитом от зараженной воды, я стал оформляться на должность военного — беспогонного корреспондента в газету «Труд». Эти хлопоты не занимали много времени, и родители посоветовали мне вспомнить английский язык, который я одно время изучал в заочном институте. Напротив нас жила домашняя учительница, добрый, отзывчивый человек, готовый заниматься со мной бесплатно. Так я познакомился с одной из сестер Гучковых — помните великолепный рисунок Валентина Серова «Сестры Гучковы»? — Надеждой Николаевной, по мужу Прохоровой. Муж, давно умерший, был сыном легендарного фабриканта Прохорова, владельца Трех гор — московской мануфактуры, до сих пор хранящей о нем благодарную память.

Занятия наши шли недолго, с большими перерывами, когда я уезжал на фронт, и для меня самым ценным в них было общение с человеком редкой души: доброй, изящной, глубокой, редко пронизательной и как-то стыдливо укрывающейся от своего провидческого дара. Видя насквозь окружающих, Надежда Николаевна умудрялась сохранить нежность и жалость к людям. Для меня же после годичного пребывания на политработе (контрпропаганда) слово «человек» уже не звучало гордо.

Однажды я вышел из подъезда, чтобы прогулять моего эрделя Лешку, и меня окликнули:

— Послушайте, милейший!...

Я остановился, пораженный и странным обращением, и необъяснимой, волнующей старинностью окликнувшего меня девичьего голоса. Ко мне медленно приближались две высокие, рассеянно и диковато улыбающиеся девушки в каких-то роскошных лохмотьях. В руках у них были веера и бинокли, в прическе — цветы и черепаховые гребни, поверх шелковых платьев накинута не то шали, не то оконные гардины, на груди — старинные брошки и жемчужные подвески, на плечах — елочные блески, но все это не выглядело смешным, напротив — горестно-привлекательным, как старинная мелодия, исполняемая безумным музыкантом на расстроенном клавесине. Покоренный волнующими звуками их чистой, несовременной русской речи, достоверной в каждом тончайшем обертоне, я был покорен и обликом их, лишенным жесткой и плоской обыденности.

То были дочь и племянница моей учительницы английского языка и по ее просьбе сообщили мне, что очередной урок не состоится. Надежда Николаевна заболела. Как потом оказалось, то было начало той тяжелой, неизлечимой болезни, что очень скоро свела ее в могилу.

Едва ли мы догадывались тогда, в те краткие минуты нашего общения посреди узкой, булыжной, всегда бессолнечной улицы, что между нами завязывается дружба на

всю жизнь. Они жили напротив, в старом доходном доме, на первом этаже, с окнами, выходящими во двор. Вскоре я перешагнул порог их милой квартиры, захлавленной, нищенски-благородной. Среди старой рухляди на выгоревших стенах сияли рисунки Серова и Сомова, чудесные миниатюры соседствовали с фотографиями джентльменов в котелках и дам в шляпах величиной с цветочную клумбу.

Когда я появился в доме Веры — дочери моей дорогой учительницы, и Любы — ее племянницы, Надежды Николаевны уже не стало.

Зато вскоре там оказался новый жилец. Однажды после долгого отсутствия — служебная командировка — я пошел к сестрам. По привычке заглянув в окно — дома ли? — я обнаружил на кушетке незнакомого молодого человека, худого, длинного, голенастого, с костистым выразительным лицом и громадными длиннопальными кистями. Он о чем-то думал, помогая мысли работой хорошо развитой челюсти, лицевых мышц, рыжеватых бровей и губ, которые то закусывал, то втягивал в рот. Мне так понравился этот мимический театр для никого, что я с минуту простоял тихо, а потом сказал:

— На кушетке загрезился молодой педагог.

Он вскочил испуганно-смущенно и засмеялся, выпячивая вперед подбородок, — типично по-немецки. Это подсказало мне догадку, я подозревал о существовании молодого человека в координатах сестер.

— Слава, — сказал он, протянув свою невероятную руку. — А я знаю, вы — Юра.

Если я буду называть Святослава Теофиловича Рихтера в моем рассказе о тех милых далеких днях полным именем, у меня ничего не получится, я буду фальшивить. Ибо знал Славу, а Святослава Теофиловича мне не довелось узнать, и хорошо, что не довелось, иначе это означало бы утрату дружбы.

А вот с Верой Ивановной Прохоровой мы очень долго — для балды — именовали друг друга по имени-отчест-

ву, и только в старости стали «Верочкой» и «Юркой». Любовь Юрьевну Висковскую я всегда называл по имени, как и она меня. Теперь вы познакомились с главными героями очерка. Кстати, в кружке, членом которого я вскоре стал, у них были и другие имена: «Вера — Випа — аббревиатура; Слава — Свет, Светик; друг Любы Игорь — Ирочка, ее воздыхатель — Борзая (очень породистый), лучшая подруга Мила — Кай (любила укорять: «И ты, Брут!»); сестры Соколовы — Кузнец и Лебедь (первая уверяла, что всяк кузнец своего счастья, вторая — начинающая балерина у воды). Водились и странные существа, о которых я знал лишь понаслышке: загадочная Мамыха, Гаявата — кажется, то был приемный сын пианиста Ведерникова, произраставший, по уверению Веры, в большой стеклянной банке на окне, Воробей, неутомимо вязавший паголенок, чрезмерный даже для Пеппи Длинныйчулок, уж вовсе какая-то нежить, которую я не запомнил. Все это было в традициях дореволюционных московских семей с художественным вывертом. Носил ли прозвище я — не знаю.

К постоянным посетителям сестер принадлежали: семья Анатолия Ведерникова, с которым Слава тогда часто играл в концертах на двух роялях, уже упоминавшийся Ирочка — молодой блестящий математик, доктор наук П.Маслов со своей подругой Милой (она же Кай), музыковед Кира Алемасова — большая, добрая, близорукая, но яростная, когда дело касалось ее музыкальной веры, Владимир Богомазов — виолончелист и художник, Олег Агарков — пианист, дирижер, преподаватель музыки, в ту пору он тяготел к нетрадиционным инструментам, связанным с электричеством и энергией воды (за последнее не отвечаю, поскольку это со слов Веры), его жена, талантливая артистка Татьяна Панова, бывала редко, как и пианист Мержанов, разделивший с Рихтером первую премию на послевоенном Всесоюзном музыкальном фестивале; не раз встречал я там Милу Нейгауз, дочь Генриха Густавовича, писателя Н.Мельникова — Иоанна Предтечу космополитизма;

фоном мелькали бутоньерки осенних и весенних роз — консерваторские хлопотуньи, Славины поклонницы.

Я не собираюсь рассказывать историю своих отношений с прохоровским домом, это очень важная для моей жизни, но другая тема. Мне хочется дать представление о том добром огоньке, который долго горел, потом тлел в сталинской ночи, но в конце концов был раздавлен и заглашен солдатским сапогом.

Царила в доме музыка, что естественно, но едва ли меньше было литературы, особенно поэзии (через Генриха Густавовича — учителя Славы и родственника — по жене — Веры и Любы наш кружок выходил на Пастернака, чей образ реял тут постоянно), и живописи — мы дружили с Фальком, жившим поблизости. По воскресеньям мы ходили к нему в мастерскую, и Роберт Рафаилович, молчаливый и печальный, с покорным видом показывал нам свои картины — он был на редкость плодовит, хотя время никак не стимулировало подобную производительность. Но художник такого масштаба зависит от вечности, не от времени, а с вечностью у Фалька было все в порядке. В мастерскую набивалось много народа: бесконечно преданные Фальку бывшие жены, подростки, семейную принадлежность которых мне никак не удавалось вычислить, какие-то лунные, не ведающие самих себя женщины; добиралась сюда и хромуля, прекрасная поэтесса, падчерица жизни Ксения Некрасова.

Но едва ли не самым ярким впечатлением тех лет, связанных с нащокинским гнездом, был театр, их беспрерывный домашний театр, которым управлял Рихтер. Он и сам был театром: легко вспыхивающий, увлекающийся, ранимый, мудрый и ребячливый, то яркое пламя, то серый пепел. Последнее в описываемую пору случалось редко, потом участилось.

У Славы были постоянные глубокие любви, прежде всего Пастернак и Пруст, но случались и кратковременные очарованности. В ту пору он со смехом и восторгом выпле-

скивал строчки Северянина, которого только что открыл. Он упивался всякими «ландолетами», «фетратортами» и прочей галантерейщиной. Зная о его увлечении, я отметил наше знакомство северянинской строкой. Мы любили играть в цитирование: один начинает, другой заканчивает. Особенно доставалось от нас Прусту.

А у Веры в кумирах ходили Теккерей и Диккенс. Если б не Вера, я не осилил бы «Виргинцев» и «Гарри Эсмонда». Но, заразившись ее энтузиазмом, я вчитался и стал получать огромное удовольствие от неторопливой прозы Теккерей. А Чарльз Диккенс — я зачитывался им в детстве и по дурацости считал детским писателем — открылся мне тем «великим христианином», каким его видел Достоевский.

О чудесные, чуть усталые посидухи поздно вечером за чаем (коньячок тоже не возбранялся) после концертов Рихтера или Ведерникова, когда сменивший мокрую рубашку маэстро сам уже не в силах говорить, но хочет слушать друзей, чтобы медленней догорал костер творческого состояния. Я всегда удивлялся, как строго они себя судят. Не помню, чтобы хоть раз тот или другой испытали шестое чувство советского человека: глубокое удовлетворение. Ведерников — пианист необычайно строгий, композиторы любят его за скрупулезность, с какой он исполняет их музыку, а не свое представление о ней или фантазии на предложенные темы, человек трудного, неуживчивого нрава, а стало быть, нелегкой судьбы, становился трогательно тих, мягок и покладист в эти магические часы.

Рихтер был природным режиссером. Он обожал лицедейство в любых видах (не погнушался даже Листом прикинуться в плохом фильме Гр. Александра «Глинка»), был неистощим на выдумки. Помню, зимним пуржистым вечером я сидел один дома и грустно смотрел в окно, за которым закручивались снежные спирали, вдруг — сильный стук в дверь. Открываю, и с морозным обдувом — первый этаж — в прихожую врываются трое: альгвазил в

треуголке, узком мундирчике, со шпагой на перевязи, красотка в мантилье и таинственной полумаске, с розой в волосах, Пьеро в белом одеянии и черной шапочке, плотно облегающей голову. Он отвешивает глубокие изящные поклоны, а глаза тоскуют по Коломбине. Не подготовленный к появлению этой троицы, я мгновение-другое нахожусь в обалдении: мне легче поверить, что время оскользнулось назад, чем признать переодевание. Слава в восторге: невыносящий похвал своему главному дару, на театре он тщеславен. Замечательно, как проявлялся в этих «игрищах» (домашнее слово) его характер: он не выносил халтуры, небрежности, того, что называется «спустя рукава» или «кое-как». Он всегда добивался максимума, проявляя невероятную выдумку и настойчивость. Иной раз весь дом переворачивали, чтобы отыскать нужную ленточку, страусовое перо, митенку или помятый котелок. И лишь в том случае, если необходимый предмет не обнаруживался, — а дом был набит старым барахлом, — создавался с предельной тщательностью эрзац. Он так отшколил сестер, не проявлявших поначалу особого артистического таланта и рвения, что они стали виртуозами перевоплощения. Слава не любил представлений «анфрак», но допускал известную условность в декорациях, костюмы же должны были соответствовать эпохе, пусть иногда с налетом пародийности. Он очень любил ставить шарады, сообщая им предельную театральность. Нередко ради какого-нибудь «первого слога» создавался целый спектакль, от исполнителей он неизменно требовал «полной гибели всерьез».

«НОЧНОЙ МАРСЕЛЬ В ПРИТОНЕ ТРЕХ БРОДЯГ»

Вершиной Славинной театральной деятельности стал «Марсельский кабачок». О нем долго говорили в московских кругах — с легким трепетом ужаса. Мне до сих пор кажется, что кабачок этот был на самом деле, да-да-да, он был «ночной Марсель в притоне «Трех бродяг», где пьют мужчины эль, а женщины жуют с матросами табак», куда более чарующий, нежели настоящий Марсель, увиденный мною в свой час.

Сколько прошло лет и крутой жизни, а мне все снится тот удивительный праздник посреди сгущающегося давящего мрака страны, забывшей о военной отваге и подвиге в привычной рабской покорности. Повар, любящий лишь острые блюда, снова принялся крепко перчить жизнь несчастного народа, жизнь каждого из нас. А Слава, будто не ведая о том, решил пригласить нас в марсельский кабачок. И ведь недалек уже был тот день, когда выяснится, что атом расщепил смерд Ивашка, когда колол дрова, что все на свете придумано, изобретено, открыто русскими, и всякая иная точка зрения, как и малейшее проявление симпатии к чужеземцам, — низкопоклонство перед Западом, заслуживающее тягчайшей кары.

Из трех смежных комнат было создано пространство, вместившее целую толпу гостей, которым не было тесно. Тут разместился бар со столиками, эстрада — крышка Славинного прокатного рояля (Слава уже победил на Всесоюзном конкурсе, а своего рояля не имел, как и своего фрака), низ рояля был задрапирован, а на крышке поочередно появлялись две певицы-студийки, исполнявшие лихие куплеты под Славин аккомпанемент. Когда одна из них по ходу дела приподняла юбку над стройными ногами, посетители кабачка дружно закричали: «Выше! Выше!». Слава принял это на свой счет и заиграл на таких верхах, что певица пискнула и замолкла. И была тайная кофейня, куда, креп-

ко схватив вас за руку, отводила таинственная фигура в сари и в чадре. Миновав лабиринт, вы оказывались в голубой комнате, обитой штофом, пол покрывали ковры, низкий диван с подушками манил прилечь и насладиться кальяном. Вам подавали турецкий кофе в старинной чашечке, что-то вроде шербета, и божественный напиток (армянский коньяк), звучала музыка, и гурия в шальварах, бренча браслетами на гибких руках, танцевала танец живота. Я только потом догадался, что подавала кофе с изящным приседанием Кузнец, а гурией обернулась ее сестра Лебедь.

Талант Славы выразился в том, что тут естественно совмещалось подлинное с театральным. Кофейня была декорацией, а коньяк, кофе, шербет, музыка, обслуживание и танец — настоящие и отличного качества. Мы были свидетелями драки матроса с помпоном на шапочке (Слава) и пронырливого журналиста (Ирочка), который, пощипывая бородку, все чего-то вынюхивал, выслеживал и записывал в крошечный блокнотик. Конечно, завсегдатаям кабачка это пришлось не по вкусу, вот и разгорелась драка. Они не словаривались заранее, и все выглядело совершенно естественно. А дрались они убедительно, красиво и, разумеется, без взаимного ущерба.

И было явление таинственной незнакомки, дамы в черном, которая так прочла малоизвестные стихи Баратынского, что у многих из нас появился новый любимый поэт. Эта дама исчезла, ее искали, но тщетно. Она сама появилась в конце вечера и прочла другие прекрасные и опять же неведомые присутствующим стихи, кажется, Батюшкова. Русская поэзия еще богаче, нежели мы привыкли считать. А незнакомку мы разгадали на другой день — актриса Малого театра Панова. И было явление таинственного незнакомца, денди, Дракулы, так строен, худ, элегантен и опасен он был в безукоризненном фраке, уайльдовом плаще и цилиндре. Он вызывал панику среди молодых посетительниц кабачка, и опять же тут сошлись: игра в таинст-

венного незнакомца с очарованностью — всерьез. Оговорюсь, Виктор Мержанов не знал, что он Дракула, как и все остальные, — венгерский граф-вурдалак появился в России позже.

А у меня с доктором наук Масловым, после того как я долго и неумело изображал апаша, произошел серьезный и ожесточенный литературный спор. Оказывается, у него давно были ко мне какие-то претензии, но он не решался высказать их, пока мы были самими собой, здесь же пожилой миллионер (его ампула), зашедший в приморский кабачок из вывернутого наизнанку снобизма, мог без обиняков все сказать в лицо вертлявому апашу. Были и танцы — всерьез, и пляски — для балды. Были шарады, розыгрыши, ухаживания — последнее далеко не всегда в шутку. Был праздник и была жизнь, какой никто из нас тогда еще не видел. Почему мы так легко и просто вписались в незнакомый нам мир? За границу еще никто не ездил, даже Рихтер с Мержановым, кабачков таких мы не видели, разве что в кино, а почувствовали тут себя как дома. Эту пластичность нам подарило чувство свободы. Мы раскрепостились, скинули гнет и дурман, и в нас открылись новые, неведомые возможности. В человеке заложено много такого, о чем он не догадывается, если лишен свободы. Слава подарил нам эту свободу вместе с огромным блюдом спагетти, которых мы не только не едали, но и не видали. Кто-то из поклонников презентовал ему большую нарядную коробку с благодатью итальянской кухни.

А ведь все это дорого стоило, откуда такие деньги в то суровое время? — наверняка озаботится нынешний читатель, замученный инфляцией и дефицитом. У нас была складчина, но, конечно, главный удар пришелся по Рихтеру, угрожавшему на кабачок чуть не всю свою премию. А был он в ту пору человеком далеко не богатым, да что там — просто неимущим, без жилья, инструмента и гардероба.

Я не сказал еще об одном, о той предутренней печали, которая повисает вместе с дымом в каждом ночном кабач-

ке, когда замолкает музыка, гаснут огни, и лишь запахи вина, пищи, косметики и сгоревшего табака напоминают о промелькнувшей сказке, и надо расходиться по домам, в будничную жизнь...

Кабачок наш не остался без последствий. Кого-то куда-то вызывали, шебуршали парткомы и профкомы, делали выводы. А за Славой вновь установили слежку. Он лишь чудом избежал ссылки в дни войны, когда в одну ночь выселили из Москвы всех немцев. Эту ночь Слава провел на Воробьевых горах, переживая ссору с Анатолием Ведерниковым, своим самым близким музыкальным единомышленником в ту пору. А пришедший за ним оперативник до утра не смыкал глаз в старом вольтеровском кресле, читая «Квентина Дорварда».

— Так где же ваш Рихтер? — зевая, спросил он на рассвете.

Вера развела руками.

— Понравилась книга?

— Ничего. Хотя и трудновато. Дадите дочитать? Я после занесу.

— Нет-нет, — поспешно сказала Вера. — Мы вам ее дарим. На память о приятном знакомстве.

— Так я пошел, — сказал оперативник, чуть не вывихнув зевком челюсть, и ушел в свою жизнь, такую нужную, полезную людям.

Славу оставили в покое, хотя время от времени унылая фигура в прорезиненном плаще и калошах маячила во дворе между старым вязом и помойкой. И вот снова вечный спутник нашей жизни повис хвостом. Слава к нему привык, дружелюбно здоровался, однажды в метро указал глазами на чуть вывалившуюся из нагрудного кармашка красную книжечку. Агент поблагодарил его сердечной улыбкой. Советская идиллия...

Да, наш милый, невинный кабачок потребовал известного мужества от всех участников, и особенно от нашего Вальсингама, затеявшего этот пир во время чумы.

Полагаю, сегодняшнему читателю, родившемуся в благостную эпоху застоя и расправившему крылья в пасмурную пору перестройки, рассказанное выше не покажется в диковинку, после того как стало известно о 250 тысячах кандалов-наручников, которые радители державной пользы заготовили для своих сограждан. А ведь пара наручников, в отличие от презерватива, не является предметом одноразового пользования.

Наш кружок продолжал существовать некоторое время, потом распался, вернее трансформировался, но вскоре погиб: арестовали Випу — Веру Ивановну Прохорову и дали десять лет строгого режима. К этому времени Слава Рихтер уже вел отдельную жизнь, не порывая, разумеется, старых дружеских связей. А в дом по Нащокинскому поварился новый друг — высокоодаренный, непризнанный и никому, кроме знатоков, неведомый композитор. Как выяснилось в дальнейшем, несчастнейший человек. При всем своем таланте, уме, прекрасных началах, заложенных в него домом, воспитанием, он обладал слабой, трусливой душой и дал себя завербовать. Вера оказалась не единственной его жертвой.

Мне не хочется называть имени этого человека, который закрыл кружок в Нащокинском переулке, его уже нет в живых. Он нес наказание в себе самом. Но сейчас находятся люди, которым хочется во что бы то ни стало его реабилитировать, причем самым недопустимым способом: клеветой на тех, кто был его жертвой. Лучше бы им помолчать. Пусть искупает свою вину музыкой, которая так долго была под запретом, а сейчас начала звучать. Иначе — я повторяю предупреждение Пушкина: «Но если...».

Чайковский: финал трагедии

Когда уходит творческая личность такого масштаба, как Чайковский, она оставляет потомкам некие трудно формулируемые обязательства в отношении себя, куда, как самое незначительное, входят юбилеи. Эти обязательства я бы назвал поддержанием достоинства имени. Последнее — тонкое и сложное дело, не имеющее ничего общего с цезарийским обожествлением. В наших условиях, когда все фальсифицировано — и настоящее, и прошлое, и будущее, — истинное уважение к ушедшему гению может быть выражено порой в «снижении» его образа, если того требует правда. Я беру в кавычки слово «снижение», ибо никакая истина не может унижить великого творца, разве что в глазах безнадежных филистеров.

В «хозяйстве» Чайковского царит такая же неразбериха, такой же развал, как и во всех других областях нашей скорбной жизни. И здесь под дырявой завесой официального пышнословия — равнодушие, неуважение, порой открытое хамство. Мне пришлось с этим не раз сталкиваться за последнее время.

...Ранней весенней порой я отправился на концерт в Большой зал Консерватории, где народная артистка СССР Маквала Касрашвили исполняла романсы Чайковского. Это был один из концертов юбилейного цикла.

Март — тяжелый месяц, он соединяет в себе все худшее от зимы и все худшее от весны. В слякотно-склизкий, мешающий снег с дождем, продуваемый железным ветром под вечер пустился я в путь на встречу с музыкой, и в душе звучали отголоски радости, оставшейся от юных дней,

когда посещение концерта, спектакля было праздником. Этот праздник угас с приближением к Консерватории. Улица Герцена — в части, примыкающей к храму музыки, — была перекопана, перекорезена и перекрыта. Таких ужасных земляных работ я не видел даже в Москве. Привычная, милая и радостная суетня у консерваторских дверей обернулась гибелью Помпеи.

В вестибюле афиши концерта не оказалось. Было много афиш других юбилейных концертов, посвященных инструментальной, преимущественно фортепианной, музыке Чайковского. И почему-то на последних половина программы была отдана Рахманинову. Неужели фортепианное наследие Петра Ильича так бедно, что его нужно подкреплять творчеством высокоталантливого последователя? Скорее всего никакого расчета тут не было. А что же было? Андрей Платонов любил рассказывать: «У артели 'Юный коммунар' сидит дряхлый-предряхлый сторож. Двое детей, пораженные контрастом объявленной над входом в артель юности и мафусаиловым возрастом стража, спрашивают: «Дедушка, а почему «Юный коммунар»?» — «Так...» — равнодушно, не подымая глаз, отвечает старик. Платонов произносил не «так», а «тэць». И здесь не надо выяснять, почему на концертах, посвященных Чайковскому, исполняют Рахманинова — «тэць»... Под это «тэць» идет вся наша жизнь.

Самое же удивительное — никаких афиш концерта Касрашвили я так и не обнаружил. Неужели отменили? Но, пробравшись к окошечку администратора, я услышал, что концерт состоится. «А почему нет афиш?» — «Тэць...» — ответил он с выражением платоновского сторожа.

Войдя в зал, я испытал новое раздражение. Среди знакомых старых медальонов великих композиторов прошлого выделялись грубостью подделки изображения консерваторских новоселов: Шопена, Даргомыжского, Мусоргского, Римского-Корсакова. Я стал вспоминать: кого так самовольно выселили? Генделя, Гайдна, Мендельсона-Бартольди, Лис-

та?.. В последнем я не был уверен. Но в чем провинились остальные? Лишь в том, что понадобились места для отечественных музыкантов, а заодно для славянина Шопена? При всем уважении к симпатичному дарованию Даргомыжского — он не принадлежит к мировой музыкальной элите в отличие от вышеназванных лишенцев. И даже творец замечательных русских опер Римский-Корсаков, если б его спросили, не посягнул бы на место гигантов, которым поклонялся. А деликатный Шопен просто умер бы от стыда при одной мысли о том, что из-за него кого-то вынесут из парадных комнат дворца музыки — Консерватории имени Чайковского.

А собственно, почему Консерватории присвоили имя Чайковского? Ведь она была основана Николаем Григорьевичем Рубинштейном, выдающимся пианистом и музыкальным деятелем, покровителем, потом старшим другом, блестящим исполнителем и популяризатором творчества Чайковского. Высоко над сценой висит его мраморный профиль, благородная голова увенчана лавровым венком. Очевидно, он все же признается создателем Московской консерватории. Тогда на каком же основании его детище названо именем Петра Ильича, который лишь короткое время профессорствовал в этих стенах, без охоты и тщания, ибо ненавидел преподавательскую работу? Московская консерватория по праву носила имя Николая Рубинштейна, как Ленинградская — имя своего основателя, величайшего, наряду с Листом, пианиста Антона Рубинштейна. Сейчас она подарена творцу «Садко» и «Снегурочки». Не знаю, как Римский-Корсаков, но Чайковский, без сомнения, с возмущением отказался бы от такого дара. Он любил Николая Григорьевича, был исполнен к нему благодарности, тяжело ранен его смертью и посвятил ему скорбное трио «Памяти великого художника». Что за манера распоряжаться тем, что не тобой создано, цинично присваивать, а потом раздаривать чужие замыслы и чужой труд? И что за безбожное самоуправство? С великими покойниками ве-

дут себя, как с живой номенклатурой: кого-то снимают, кого-то назначают, кого-то поднимают, кого-то исключают из рядов.

«А чего ты так расшумелся? — могут мне сказать. — В стране колбасы нет, а ты!..» А может, потому и нет колбасы, что слишком много обижали музыкантов и музыку, писателей и литературу, художников и живопись, ученых и науку, а в результате шатнулась и рухнула коллективная совесть, настала пустота в народной душе, и все исчезло в ничем не сдерживаемом бесчинстве власти?

Два слова о концерте — этого требует простая вежливость в отношении певицы. Концерт прошел с большим успехом почти при полном зале, что удивительно при его засекреченности.

А теперь о другом: от чего умер Чайковский? Пока писал статью, задавал разным людям этот вопрос. Иные даже не знали, что он умер, другие — что он жил, но подавляющее большинство ответило твердо: от холеры. Нашлись и более сведущие люди: Александр III приказал Чайковскому покончить с собой, если он не хочет суда и всенародного позора. Петра Ильича обвиняли в связи: по одной версии — с сыном какого-то генерала, по другой — с наследником престола. За последнего, видать, приняли друга Чайковского, великого князя Константина Романова, К.Р. — переводчика Шекспира, лирического поэта, автора текстов многих его романсов, повинного в содомии. Меня удивило, что многие из опрошенных понятия не имели о нестандартной физиологии композитора. Не торопитесь возмущаться, мои целомудренные соотечественники, сперва дослушайте.

Причины и обстоятельства смерти Чайковского широко известны во всем мире, но только не у нас. Я сожалею, что у меня под рукой нет материалов и я не помню имен участников этой драмы, которые все установлены. Петр Ильич покончил с собой по приговору суда чести выпускников юридического училища, к числу которых сам при-

надежал. Один из этих выпускников занимал высокий пост в канцелярии государя. Через его руки прошло письмо некоего барона с жалобой на Чайковского, якобы совращающего его сына. Высокопоставленный канцелярист решил, что эта жалоба будет иметь роковые последствия: государь предаст Чайковского публичному суду, позор ляжет на все юридическое сословие, а уж на бывших соучеников виновного — и подавно. Он немедленно собрал суд чести, пригласили Чайковского. Среди судей оказался правовед, в которого в студенческие годы Петр Ильич был беззаветно и чисто влюблен. Приговор был единодушный: уйти самому и тем спасти собственную и корпоративную честь. Петр Ильич безропотно повиновался — он принял яд. Только самые близкие люди и лечащий врач знали истинную причину смерти, для всех остальных он умер от холеры. Царь Александр узнал правду и сказал со слезами в полных, как у спаниеля, глазах: «Экая беда! Баронов у нас хоть завались, а Чайковский один!» И распорядился соборно хоронить своего любимого композитора. Такие похороны Петербург видел лишь однажды, когда провожали в последний путь Достоевского. Отпевали Чайковского в Казанском соборе, тело предали земле в Александро-Невской лавре. Над гробом ледяную речь произнес один из судей. Тот, которого он так любил в молодости.

Я полагаю, что не все читатели периодики, в чьей культурной подкованности нет сомнения, достаточно сведущи в проблемах однополой любви. О голом разврате я не говорю, он вне нашей темы. Случаются — и далеко не редко — существа мужского пола, в организме которых превалируют женские гормоны. И тут не поможет ни бравый вид, ни борода и усы — природу не обманешь: это женщины с естественной тягой к носителям мужского начала. Вполне понятно, что женщины их отвращают. Все это выпало на долю несчастного Петра Ильича.

Насколько известно, никто из знаменитых урнингов не страдал от своей физиологической исключительности: ни

Микеланджело, ни Шекспир, ни Уайльд, ни Уитмен, ни Марсель Пруст, ни Андре Жид, ни Жан Кокто, ни Дягилев, ни Михаил Кузмин. Для многих из них вывернутая (ни в коем случае не извращенная) сексуальность стала творческим импульсом: культ мужского тела у Микеланджело, Смуглая леди сонетов Шекспира — мужчина, «В поисках утраченного времени» — энциклопедия Содома и Гоморры, теми же мотивами исполнены проза Уайльда, Андре Жида, проза и поэзия Михаила Кузьмина. У других физиология не коснулась творчества (Бенвенуто Челлини, Шелли, Уитмен). И никому это не отравляло жизнь. А Петр Ильич мучительно страдал и упорно, безнадежно насиловал свою душу и плоть, чтобы стать таким, как все.

Еще в молодости, влюбившись (во всяком случае, убедив себя, что он страстно, пламенно влюблен) в певицу Дезире Д'Арто, Петр Ильич сделал ей предложение. Кажется, и Дезире разделяет его чувства. Но дело как-то застопорилось. Дезире уехала из России, а потом вернулась с мужем — дураком-баритоном, которого прежде в грош не ставила. В тех русских источниках, которыми я располагал, работая в свое время над киносценарием, об этом неудачном сватовстве говорится или с простодушным сочувствием, или с недомолвками, недоговорами, что появляются у наших авторов, когда затронута их стыдливость или когда нельзя говорить правду. У меня создалось впечатление, что Петр Ильич замешкался, неуверенный в своей возможности составить счастье женщины, а проницательная, испытанная в страстях оперная дива что-то смекнула и облегчила милому ей человеку и музыканту выход из затруднительного положения. Петр Ильич глубоко и долго страдал. Но язык не повернется считать эту робкую любовную историю неудачей, если она подарила миру фортепианные пьесу и романсы «Ни слова, о друг мой», «Нет, только тот, кто знал», «Не верь, мой друг», «День ли царит», «Забывать так скоро».

И еще раз Петр Ильич пытался обмануть природу: он женился на Антонине Ивановне Милюковой, нимфоманке и авантюристке, ловко прикинувшейся музыкантшей и его страстной поклонницей. На редкость удачный выбор! В перую же брачную ночь его постиг нервный припадок, он кричал, трясся, плакал, терял сознание...

Общеизвестны слова Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи...» Видимо, музыка нередко творится из того же материала. Но из сора своей поспешной и спасительной, как казалось несчастному, женитьбы Петр Ильич ничего не извлек: музыка надолго отказала, его постиг тяжелый нервный кризис. Надежда Филаретовна фон Мекк, уже ставшая его ангелом-хранителем, выкупила страдальца из супружеского плена. Впрочем, Милюкова еще не раз напоминала о себе бывшему мужу, предлагая усыновить появлявшихся у нее время от времени детей и усугубляя навек поселившуюся в нем меланхолию. Петр Ильич никогда не был жизнерадостным весельчаком, но после неудачной женитьбы грусть стала с ним неразлучна.

Этот настрой усугублялся вечным ожиданием разоблачения. В нем исток тех мучительных приступов необъяснимого житейски страха, которые постигали Петра Ильича то в купе поезда, то в гостиничном номере, то в собственном кабинете, то посреди ночи в постели. Все больше становилось черных дней у этого по природе своей светлого, легкого, готового к радости человека. Таким изредка являлся Чайковский своим близким и друзьям, и тогда никто не мог сравниться с ним в обаянии, остроумии, блеске ума. Но недолго светило солнце, вновь накатывали тучи тоски, страха, отчаяния.

«Роман невидимок», о котором немало, но крайне застенчиво сказано в нашей литературе, ибо тут тоже имеется причина для ханжеских умолчаний — материальная зависимость композитора от Надежды фон Мекк, — в свою очередь явился для Чайковского источником тяжелых мук. Меньше всего смущала Петра Ильича та крупная сумма,

которую ежегодно выплачивала ему Надежда Филаретовна, он умел давать и брать, не сосредоточивая на этом душевного внимания. С печалью и страхом он очень скоро обнаружил, что Надежда Филаретовна не только почитательница его музыки и щедрая меценатка, но и влюбленная в него женщина. И тут началась двойная мука: он боялся с ней встретиться и равно боялся, что она догадается, почему он ее избегает.

Каждый божий день начинался для него со страха: она все знает, а вечером он вздыхал с облегчением: пронесло, на этот раз пронесло. Надолго ли?.. Он нуждался в материальной поддержке фон Мекк и не меньше в ее слепой вере в его талант — Надежда Филаретовна задолго до всех музыкальных знатоков увидела в бедном консерваторском профессоре и композиторе-неудачнике гения, который станет в ряд с величайшими из величайших, ему нужна была и она сама в ... письмах. Чайковский не мог ответить на любовь Надежды Филаретовны так, как ею трепетно ожидалось, он не мог быть ей «милым мужем», но последнее имя, которое он произнес, умирая, было: «Надежда»...

К тому времени добрые души сумели донести до ушей Надежды Филаретовны «стыдную» тайну ее кумира. Фон Мекк поступила как настоящий светский человек: лишила Чайковского расположения, пенсионна и писем. Ее отступничество было едва ли не самым сильным ударом в жизни Чайковского. И не в денежной поддержке тут дело, к этому времени неплохие гонорары приносили ему сочинения и концерты, к тому же государь положил ежегодное пособие. Но оправдывались и наихудшие опасения: ему не место среди порядочных людей, и неизбежен час окончательного позорного разоблачения. В какой-то мере он оказался подготовленным к тому беспощадному суду чести, который был уже не за горами. А Надежда Филаретовна оплатила свой жестокий поступок потерей рассудка. Она кончила жизнь в сумасшедшем доме.

Грусть — превосходный материал для лирического творчества, но Чайковский не стал бы Чайковским, если б работал только на этом материале. Трагическое давно уже наращивалось в его музыке, а в том душевном состоянии, в котором он находился после утраты самого близкого духовно человека, в предчувствии конца, овладело им безраздельно. Шестая симфония могла и должна была появиться только в это время. Чайковский заглянул в глаза смерти и не отпрянул в ужасе и отчаянии. «Патетической» назвал он симфонию, не оставив себе иллюзии, что за смертью есть что-то, кроме пустоты, и принял такой исход, ничуть не обесценивающий чуда жизни.

Через несколько дней после исполнения симфонии Чайковскому на собственном опыте довелось проверить истинность своего художнического отношения к небытию. Это, пожалуй, единственный в истории искусства случай такой страшной и окончательной проверки искренности и правды. И Петр Ильич не дрогнул.

Нельзя дважды приговаривать к смерти, но можно умерщвлять память о человеке, восхваляя ушедшего за качества и свойства, ему не присущие. Во всем огромном мире введена правда о мученической жизни Чайковского, искупившего этой мукой то, что искупать не нужно, и о страшном исходе. Только соотечественники так стерильно чисты, что просто не могут принять правду о жизни и смерти того, кто ввел российскую свирель в мировой оркестр. Как это жестоко и как больно!

Не надо пышных жестов. Но, может, пора уже благодарно и покаянно принять истинный человеческий образ великого художника — мученика и жертвы.

Сто лет назад неожиданно оборвалась жизнь Петра Ильича Чайковского. Он только что закончил и исполнил Шестую симфонию («Патетическую»), лучшее, как он знал, а вскоре это поймут и другие, свое произведение, был на подъеме душевных и телесных сил, и вдруг — короткая болезнь и смерть. Как официально считалось, — от холеры.

Да, в Санкт-Петербурге свирепствовала холера, ежедневно люди в халатах с капюшонами, похожими на одеяние святой инквизиции, собирали и увозили для сожжения трупы несчастных. Но тело покойного композитора не сожгли, ему повелением государя-императора Александра III устроили соборные похороны. Для прощания открытый гроб был выставлен в Казанском соборе — честь, которой удостоивались лишь августейшие особы и высшие сановники.

Загадки Чайковского

Петербург недоумевал. Было известно, что Петр Ильич перед своей болезнью на глазах брата Модеста, племянника и слуги как-то очень театрально выпил стакан сырой воды. Как мог допустить такую неосторожность человек, боявшийся сквозняков, дождя, ветра, кутавший горло даже в хорошую погоду? По городу пополз слух, что Петр Ильич покончил самоубийством, приняв яд. А причину называли весьма близкую к той, которую уже в наши дни признали истинной многие исследователи жизни композитора, а другие — яростно и бездоказательно отвергают.

Вот версия, которая мне лично кажется единственно правдоподобной. Петра Ильича приговорили к самоубийству бывшие соученики по школе правоведения. Один из них служил в Собственной Его Императорского Величества канцелярии, и ему попало письмо-донос от некоего барона, обвинявшего Чайковского в попытках совратить его юного сына. О том, что Петр Ильич был перевертень и никогда не знал женщины, было известно всем сколько-нибудь близким ему людям. Из четырех братьев Чайковских лишь старший обладал нормальной физиологией, трое остальных, поразительно между собой схожих, скрывали в себе женскую суть. Наткнувшись на письмо, чиновник испугался, что Александр III, отличавшийся строгой нравственностью, не только покарает Чайковского, но и распространит гнев на всю адвокатскую корпорацию. Он собрал однокашников и сообщил им о своем открытии. Они вызвали Чайковского и поставили его перед выбором: или добровольный отказ от жизни, или общественный скандал и позорный суд. Петр Ильич, не колеблясь, выбрал первое. Что было дальше, известно. Когда Александр III узнал под-

ноготную смерти любимого композитора, он разрыдался и сказал: «Какие дураки! У нас баронов хоть завались, а Чайковский один». И распорядился о торжественной тризне...

Такова загадка смерти Петра Ильича. С ней связана загадка его страдальческой жизни. С молодых ногтей он боялся, что его «позорная» тайна станет всеобщим достоянием и приведет к тяжкой каре. Другие — те же братья его, или поэт Апухтин, или, скажем, Марсель Пруст, позже — Мережковский, Кузмин, Сомов, Дягилев следовали физиологической неотвратимости влечения и не делали из этого трагедии. Но Петр Ильич мучительно пытался одолеть природу. В молодости он увлекся певицей Дезире д'Арто и поторопился сделать ей предложение. Она вдохновляла его музыку, и он серьезно верил, что с ней придет к нему избавление от кошмара его жизни. Но бракосочетание все откладывалось, и неожиданно Дезире оказалась замужем за дураком-баритоном, гастролировавшим с ней в России. Петр Ильич с тайным чувством облегчения и грустью во взоре принял «удар судьбы», отозвавшись на него лучшим своим романсом «Средь шумного бала».

Россия, словно разборчивая невеста, всегда была сурова к своим гениям, не спеша сказать им желанное: да! Сколько их уходило непризнанными или полупризнанными: Тютчев, Лесков, Аполлон Григорьев, Страхов, Иннокентий Анненский, художник-жанрист Федотов, Рахманинов-композитор (как исполнитель он пользовался полным признанием). Петр Ильич, уже всемирно прославленный, у себя на родине лишь в последние годы жизни занял то место на музыкальном Олимпе, которое давно уже должно было принадлежать ему по праву.

Очень хорошо входить в искусство целой компанией — в окружении друзей-единомышленников. Так было с передвижниками и «мирискусниками» в живописи. А в музыке — с «кучкистами», поддержанными громогласным Стасовым. Музыкальный Петербург, приверженный национальному началу, на дух не переносил московских музыкантов

и особенно «одиночку» Чайковского, не рядившегося в стилизованный русский кафтан.

С Чайковским обходились сурово даже расположенные к нему люди. Его друг по Консерватории и влиятельный музыкальный критик Ларош позволял себе печатно такие окрики: «Если ты маленький, если ты серенький, то какое еще 'фортиссимо'?!»

...Печаль — прекрасный материал для искусства, если помнить, чем кончается жизнь. Эту высокую печаль высмеивали коллеги и критики, когда же Чайковского не стало, они накинулись на Рахманинова: что можно выжать еще из грусти после творца «Сентиментального вальса»? Трудно угодить на тех, кто не хочет слышать!..

Петр Ильич говорил о себе, что он работает, как сапожник, — не в метафорическом, а в буквальном смысле слова: от зари до зари, обливаясь черным потом усталости. Но заработки от сочинительства были невелики, и жил он в основном на скудное жалованье консерваторского профессора. К главному страху его жизни — разоблачению — присоединялись маленькие ужасики: Чайковский боялся одиночества, молнии и грома, привидений, мышей, болезней, дурных снов. В самую трудную пору его жизни к нему протянулась рука вовсе не знакомого ему человека — вдовы железнодорожного магната фон Мекка — Надежды Филаретовны. Покоренная музыкой Чайковского, она предложила ему щедрую бескорыстную помощь, решившую все его жизненные проблемы. Петр Ильич получил ежемесячный высокий пенсioen, позволивший заниматься творчеством, а лето проводить в любимой Италии.

Заслуга Надежды Филаретовны перед русской культурой велика. Каким пониманием, чувством, вкусом и бесстрашием надо обладать, чтобы во всеуслышание назвать титаном «маленького, серенького» и предсказать, что он станет в ряд с Моцартом, Бетховеном, Шубертом!

Петр Ильич с благодарностью принял поддержку и дружбу фон Мекк, оговорив единственное условие: они

никогда не будут видетсья. Как показало будущее, это решение было мудрым вдвойне, хотя современники не понимали аскетизма Чайковского, окрестив его духовную близость с Надеждой Филаретовной «романом невидимок». Завязалась оживленная переписка, составившая три толстых тома.

Конечно, Петр Ильич не мог знать, что, наложив запрет на встречи с фон Мекк, он подарит человечеству эпистолярный шедевр. Писал он превосходно и был едва ли не лучшим музыкальным критиком своего времени; Надежда Филаретовна и сама не догадывалась, что у нее окажется такое сильное и умелое перо. В результате их письма стали классикой жанра, подобно переписке Абеяра с Элоизой, Гете с Беттиной фон Арним, венских романтиков друг с другом.

Но я говорил о двойной мудрости запрета, наложенного Чайковским на свидания с фон Мекк. Первую, побочную и неожиданную, мы узнали, а вторая, входившая в расчет Петра Ильича, коренилась в его понимании человеческой природы. Он предчувствовал, что одинокая женщина с натурой страстной и сильной не удержится в рамках дружбы. Так и случилось. Петр Ильич понимал, что это станет концом их отношений и попытался избежать мучительного разоблачения. Он женился!

Выбор был сделан самый неудачный. Неопытный в делах сердца, Чайковский поверил влюбленности и страстно-самоуничижительным признаниям пианисточки Антонины Ивановны Милюковой. А может, дело в другом: Чайковский поверил, что в опытных руках Антонины Ивановны он, не испытывающий возле нее обезоруживающего трепета, преодолет свою природу и узнает близость с женщиной. Антонина Ивановна была смазлива, глупа как пробка, мало развита, наивно-цинична, но эти качества расцвечивали главную ее суть — нимфоманка. Перевертень и нимфоманка — горячая смесь. И в первую же брачную ночь произошел взрыв. Антонина Ивановна вполне

законно, но чересчур агрессивно предъявила свои супружеские права на Петра Ильича. Кончилось тем, что ему стало плохо, его вырвало... Антонина Ивановна не понимала его или делала вид, что не понимает, и продолжала свои домогательства в последующие дни и ночи, доведя бедного молодожена до попытки самоубийства. Он пытался утопиться в москворецком рукаве возле нынешнего Малого Каменного моста, но испугался свистка городского и выскочил из ледяной воды. В конце концов близкие увезли его от Антонины Ивановны, а Надежда Филаретовна откупила его свободу за довольно крупную сумму. Но развода Антонина Ивановна так и не дала, периодически возникая с просьбой усыновить очередного внебрачного ребенка.

Счастливая крушением этого брака, Надежда Филаретовна удвоила заботу о Петре Ильиче, увеличила ему пенсию и устремилась по тому гибельному пути, на который влекло ее сердце. Она провоцировала «случайные» встречи, она не могла, да и не хотела скрывать своего чувства от окружающих. Это совпало с финансовыми неудачами дома фон Мекков, и напуганные запоздалой страстью матери сыновья Надежды Филаретовны постарались просветить ее насчет Чайковского, сделав это, разумеется, не самым деликатным образом. Последовал разрыв.

Чайковский получил извещение, что выплата пенсионера ему прекращена. К этому времени он уже не нуждался и, решив, что материальные дела Надежды Филаретовны пошатнулись, поспешил предложить ей помощь. Ему не ответили. Потом скрипач Пахульский, когда-то рекомендованный им в дом Надежды Филаретовны в качестве музыкального наставника и ставший мужем ее дочери, написал Петру Ильичу, чтобы тот оставил семью фон Мекков в покое. Только тогда понял он безмерность своей потери — не пенсионера, разумеется, а человека.

Умирая в петербургской квартире своего брата Модеста тяжело, мучительно и неопытно, он заставил своих близких выйти из спальни, чтобы они не видели его физическо-

го унижения. Припав к двери, они слышали измученный, но отчетливый голос:

— Надежда!.. Надежда! — И вновь зовом, молитвой: — Надежда!.. — И со скрипом зубов, с невыносимой болью: — Проклятая!..

То были его последние слова.

Еще горше обернулся разрыв для Надежды Филаретовны. Приступы черной меланхолии, случавшиеся порой и прежде, перешли в душевную болезнь. Она окончила дни в сумасшедшем доме. Таков печальный финал таинственного романа невидимок...

Еще одна загадка Чайковского — его музыкальная судьба. Россия с таким высокомерием встретила явление Чайковского, словно была перенасыщена музыкой великих отечественных композиторов. Но если всерьез, Чайковскому предшествовал лишь один гений — Михаил Глинка. Непрофессионализм — главная беда большинства русских композиторов той поры. Они не доводили до конца работу над лучшими своими творениями, предоставляя это другим. Так было с Даргомыжским, так было с Мусоргским и Бородиным.

Чайковский же сочетал гениальную одаренность с профессионализмом. Наверное, потому и одолел немилостивую судьбу. Но...

«Первый фортепианный концерт», столь же великий и столь же заигранный, как «Лунная соната», Чайковский посвятил старшему другу Николаю Рубинштейну. Знаменитый пианист не оценил дара, сказав, что «эту музыку неудобно играть» (впоследствии он раскаялся в своих словах).

«Евгений Онегин» почти провалился на премьере. Публике понравились лишь шутейные куплеты француза-учителя в доме Лариных. Рецензент предлагал переименовать оперу в «Месье Трике». Дико представить себе, что люди слушали впервые ариозо Ленского, письмо Татьяны — и оставались холодны.

Почему современники великих так тупы и непробиваемы? Вполне объяснимо, если непонятым оказывается новатор, обновитель языка искусства, скажем, Шенберг. Но Чайковский не был творцом нового музыкального языка. Как и Бах, который суммировал достижения барокко, — а тем не менее современники «хлопали ушами», слушая «Пассакалию» и «Страсти по Матфею». И не Сальери надо было завидовать Моцарту, скорее наоборот: оперы Сальери нравились венцам куда больше, чем «Волшебная флейта» или «Женитьба Фигаро».

А вот в балетной музыке Чайковский оказался подлинным новатором. В трех своих великих балетах: «Лебедином озере», «Спящей красавице» и «Щелкунчике» — он превратил музыку из служанки танца в такую же госпожу всего творящегося на сцене. А специалисты по балету дружно утверждали, что музыка Петра Ильича лишь мешает танцу. Их вкус не брал выше Минкуса и Пуни. По счастью, у государя было больше художественного чутья, чем у завядлых знатоков, и Чайковскому продолжали заказывать балеты, несмотря на критические стрелы.

В том, что балетная музыка Чайковского может звучать сама по себе, без пластики, мы вполне убедились в незабываемые августовские дни 91-го, когда из телящика непрерывно лились чарующие звуки «Лебединого озера». Кого осенило, что путч пойдет особенно хорошо под эту эгегическую музыку, — останется одной из тайн нашего бытия.

Не обошлось без Чайковского и в нынешний кризис. Когда Белый дом перешел на осадное положение, на Красной площади залились колокола, затем смолкли, и оркестр гопников со старого Арбата (так выглядели утеплившиеся чем попало оркестранты знаменитого Национального симфонического оркестра США) по взмаху вездесущего Ростроповича «грохнул» увертюру «1812 год»... Участие Петра Ильича в политических играх нашего времени — тоже загадка.

Незадолго перед смертью Чайковский исполнил на рояле в кругу друзей Шестую симфонию. Он глянул в лицо

смерти, но, не испытывая никаких иллюзий, не отпрянул в ужасе и отчаянии. Однако лишь в глазах Лядова да в смущенном бормотке Танеева уловил он некоторое понимание. Для него это, впрочем, уже ничего не значило — он обращался через головы современников к вечности.

Встречи с Генрихом Нейгаузом

Как снежок заводил кавардак гоголек,
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок.

Я всегда завидовал людям, умеющим писать воспоминания. За последнее время мне попалось несколько сборников, посвященных писателям, которых я близко знал. И мне предлагали поделиться своими воспоминаниями о них, но я отказался, за что навлек на себя упреки в равнодушии, душевной сухости и лени. На самом деле тут было прямо противоположное: слишком сильно — порой до болезненности — ощущал я этих людей при жизни, что мешало работе наблюдения и запоминания. И еще — органическое отсутствие во мне той бытовой, уютной ноты, что считается необходимой для воспоминательной литературы.

Стараясь понять свою незадачу, я вчитывался в воспоминания о Юрии Карловиче Олеше. В целом сборник оставляет ощущение верхоглядства, но в отдельных очерках есть точные, даже глубокие наблюдения, остроумие, изящество, напоминающее литературный и жизненный стиль Олеси — мемуаристы изо всех сил, порой небезуспешно, тянулись за славной тенью. Вместе с тем, меня томило чувство, что, за редчайшим исключением, никто из них не любил его по-настоящему и уж во всяком случае не дрожал над горестной, надломившейся на подороге судьбой. Может быть, поэтому все так хорошо запомнили его словечки, шутки, подробности поведения, житейскую шелуху личности. Нередко в трезвом прищуре зрится острый, приметливый, порой очарованный, но никогда не зачарованный зрак. Вот я и договорился до того, что понял свою

незадачу в качестве мемуариста: я смотрел на него зачарованным взглядом, как и на Пастернака, Платонова, Зоценко, Коненкова, Фалька, о которых тоже не смог написать.

Лишь раз я легко и естественно принял участие в сборнике воспоминаний, посвященных знаменитому, радостно талантливому писателю, и, хотя встречался с ним куда реже, нежели с Олешей или Платоновым, вспомнил немало такого, что не задержалось в памяти других мемуаристов. Близ него мое сознание не туманилось, шла обычная работа внимания и памяти, позволяющая мне быть писателем.

Генрих Густавович Нейгауз принадлежал к числу тех, в присутствии которых меня расшибало громом, как говорят сицилийцы. Слишком значительным оказалось его появление в моей жизни.

Мне уже доводилось рассказывать, как сложно соединился я с музыкой, ставшей для меня третьей необходимостью после литературы и живописи. Немилостивая судьба отказала мне в музыкальном слухе; друзья уверяют, что я лишен не слуха, а способности воспроизвести мелодию, которую слышу таинственным внутренним ухом — где оно, интересно, находится? В музыку меня втащил Лемешев, на котором я тяжело помещался, но очень долго моя тугоухая душа отзывалась лишь пению. Инструментальную музыку я не слышал.

В каком-то из тридцатых в Доме писателей, старое название ЦДА, состоялся концерт замечательного, выдающегося, прославленного и вовсе мне неведомого пианиста Генриха Нейгауза. Выступал он в Москве после долгого перерыва, что придавало известную сенсационность концерту, наверное, всосавшую меня, писательского сынка, в Дубовый зал, тогда еще концертный, а не пиршественный.

Хорошо помню свое удивление, что великий музыкант оказался крошечного роста, что держался он до надменности строго, а глаза у него были сердитые, словно собравшиеся в чем-то виноваты перед ним. Сколько я потом ни

видел Нейгауза — на сцене, в домашней обстановке или в гостях, всегда пленяли его раскованность, легкость, изящная свобода движений и расположенность к окружающим. Почему он предстал в панцире настороженности и высокомерия, не знаю. Возможно, он отвык от Москвы и москвичей, не был уверен в приеме аудитории, которую в ту пору артисты вообще считали неблагодарной. Но дело не в настроении пианиста, а в музыке. Я не помню программы, помню лишь, что было много Шопена, Бетховен, Шимановский. Я слушал все равнодушно, с усиливающейся скукой, когда вдруг меня постигло нечто похожее на потрясение Шарля Свана, впервые услышавшего сонату Вентейля, вернее, одну ее фразу, что-то перевернувшую в разочарованном баловне Сен-Жерменского предместья. Он почувствовал возможность иной жизни и новой, великой любви, еще неведомой искушенному в страстях сердцу. И когда появилась Одетта де Креси, похожая на боттичеллиеву Сепфору, она словно заполнила своим узким телом уже готовую форму, вылепленную сонатой Вентейля. Вот эта фраза: «Медленным ритмическим темпом она вела его сначала одной своей нотой, потом другой, потом всеми, к какому-то счастью — благородному, непонятному, но отчетливо выраженному. И вдруг, достигнув известного пункта, от которого он приготовился следовать за ней, после небольшой паузы, она резко меняла направление и новым темпом, более стремительным, дробным, меланхоличным, непрерывным и сладостно нежным, стала увлекать его к каким-то безбрежным неведомым далям».

Хорошо, и все же даже несравненному описательному дару Пруста не удалось создать литературный эквивалент дивной сонатной фразы. Так что оставим в покое три ноты Шопена, подсказавшие не пробудившемуся еще сердцу подростка, какие страшные и сладостные бездны ждут его впереди. Тем более что важнее другое: тут впервые обнаружилась та странная, загадочная мембрана, которая вопреки обкарнанному слуху дала мне наслаждение музыкой,

пусть всего тремя нотами. Но теперь я знал, что есть недоступный мне дотоле волшебный мир.

Я считал, что отомкнуть его можно лишь полуфразой сонаты Шопена, но ключ оказался потерян. У меня не было денег ни на пластинки, ни на билеты в Консерваторию, а черная тарелка репродуктора дребезжала иными звуками. И я перестал искать. Осталась лишь память о сердитом миниатюрном человеке, подарившем мне поразительную мимолетность. Я прочел Пруста раньше, чем снова встретил Нейгауза, и мои три ноты еле слышно звучали где-то в стороне Свана.

Прошло много лет, когда в гостеприимном доме Асмусов я познакомился с Генрихом Густавовичем Нейгаузом. На воскресном обеде присутствовали близкие друзья дома: Пастернаки, Сельвинские, одинокий старый Локс и пришедшие чуть позже Нейгаузы.

Этот приблизившийся к глазам Нейгауз не имел ничего общего с суровым виртуозом тех давних дней. Живой, легкий, летучий, он, едва появившись, сразу озонировал воздух, отягощенный, как в предгрозе, дурным настроением Зинаиды Николаевны Пастернак, чья обычная хмурость усугублялась тревогой за здоровье старшего сына. Нервные токи шли от показно самоуверенного Сельвинского. Он чувствовал охлаждение Бориса Леонидовича, который еще недавно связывал с ним большие надежды, а сейчас щедро отвел ему первое место среди поэтов, ничуть его не интересующих.

Появление Нейгауза как-то странно объединило присутствующих через разъединение. Исполнив крайне дружелюбно и радостно обряд приветствия, он полностью сосредоточился на Пастернаке. Это отвлекло Зинаиду Николаевну от недоброго пригляда за мужем и дало возможность Сельвинскому спустить пары в споре с Локсом, хозяин дома играл тут роль буфера, смягчающего сшибки. Дамы тоже завели свой особый разговор.

Тульский пряник сперва разглядывают и уж потом надкусывают. И Генрих Густавович, закинув голову, некоторое

время лицеизреал чуть заметавшегося от этого молчаливого внимания Пастернака, затем как клюнул коротким вопросом.

Представленный Генриху Густавовичу, не обратившему на меня внимания — подобно Лескову, он был равнодушен к «неизвестным величинам», я уже хотел тихо ретироваться, как вдруг услышал имя Андрея Платонова, а вслед за тем — взрыв восторженных похвал. В ту пору не было для меня никого дороже, да так оно, пожалуй, и осталось. Высокая костлявая фигура творца «Епифанских шлязов», дружившего с отчимом и матерью, не раз отражалась в зеркальной дверце нашего громоздкого платяного шкафа, лишившего нас половины жилплощади; я всегда смотрел на «зеркального» Платонова, ибо материальный его образ был непосилен моей влюбленной душе.

Меня потрясло, что Пастернак и Нейгауз так любят Платонова и «открывают» им свою встречу. В ту пору Платонова удручающе плохо знали даже в литературной среде, к тому же я не умел связывать разнородные явления культуры «в единый клуб». Продолжу по Заболоцкому: незрелая мысль была бессильна объединить два несхожих таинства бытия.

Андрей Платонов с его чисто русской, крестьянско-мастеровой маятой казался мне несовместимым со сложным дачно-городским миром Пастернака (я не догадывался, что оба пребывают не в уезде и на полустанке, а в вечности), и уж подавно страсти по Платонову не имеют никакого отношения к страстям по Шопену или Бетховену. Ан нет, прямое отношение имели друг к другу утонченные московские люди, ведавшие «дыханием почвы и судьбы», и ворончанин с костлявым телом пахаря, лицом рабочего и челом мыслителя, не менее их искушенный в культуре. Приверженность Платонова к русской сути не мешала ему пропускать через себя даже такие органически чуждые явления, как Шпенглер или Вейнингер, ибо в области духа он не признавал ни пространственных, ни временных ограничений. Человечество и веч-

ность были для него реальностью, он признавал певцов мировой, а не районной скорби.

Платонов продолжал управлять беседой небожителей. Сейчас они восторгались рассказом «Фро» о страшном одиночестве покинутой любимым всего лишь на миг молодой женщины.

— Она же дура! — кричал Нейгауз. — Но эвиг вайблихе!..

— Для него нет табу!.. — трубил Пастернак, улыбаясь огромной улыбкой доброго людоеда.

В ту пору он еще обходился собственными, очень длинными, рвущимися из-за губ желтыми зубами. Со вставными челюстями придет поздняя красота, которая и станет для потомков единственной внешностью Пастернака. В. Розанов говорил, что каждый человек в определенном возрасте оказывается словно бы наведенным на фокус: контуры личности совпадают с наружными контурами — это и есть он настоящий. Поэтому, глядя на фотографии, можно сказать: это еще не Чехов, это уже не Бунин. Мандельштам сфокусировался в ранней молодости, Анна Ахматова — на половине жизненного пути, Пастернак — в пожилом возрасте. По-моему, старость придала завершенность облику Нейгауза. Тут, кстати, человек порой бессознательно помогает природе: Пастернак обновил рот, а Нейгауз окутал голову густой и легкой сединой. Пока еще оба находились на подступах к своей окончательной внешности.

— А какую прелестно-бессмысленную песню поют зейтеники из кондукторского резерва! — радовался Нейгауз.

— Он ее сам придумал. Платонов начинал как поэт. И потом писал стихи.

— Хорошие?

— От них пахло Платоновым. Но все портила натужность талантливого самоучки.

— «Вопли Видоплясова»? — засмеялся Нейгауз.

— Господь с тобой, Гаррик! — Добрый людоед обнажил пасть, будто прося на каждый длинный зуб по сти-

хотворцу-самоучке. — Платонов во всем талантлив. Но ученичество ему не к лицу, в прозе он сразу стал мастером.

— Ты хорошо его знаешь?

Нейгауз задавал вопросы отрывистым тоном, словно спешил; отвечая же, скорее тянул, как бы примериваясь к наиболее точному ответу. Впрочем, когда им владело чувство, он словно в упор расстреливал собеседника.

— Он бывает у меня. А знать?.. Ты знаешь кого-нибудь хорошо?

— Конечно! Я знаю тебя.

— Какой ты счастливый. Я себя совсем не знаю.

— О чем вы разговариваете?

— Ну.. не знаю..

— Как, ты и этого не знаешь?

— Да нет.. — тянул Пастернак; интеллектуальная и душевная честность мешали ему говорить приблизительно о важном. — Ну, Гаррик, чего ты меня допрашиваешь?.. Мы говорим о судьбе, о смерти, о паровозах..

— Что ты понимаешь в паровозах?

— Я — ничего. Он понимает. Он паровозник и мелиоратор. Он не считает паровоз машиной. Паровоз — это печь на колесах, а печь — ядро жилья. Паровоз весь горячий, он дышит и требует ухода, как домашняя скотина.

— Так что же паровоз — изба или животное?

— Ни то ни другое. Он никогда не говорит расхожих банальностей.. Вот, вспомнил! Какой-то великий новатор хвастался, что перед рейсом всегда подкрашивает паровоз: там красную красочку положит, там желтую, там голубую. Платонов слушал, слушал, а потом сказал: вот еще одну красочку положишь — и паровоз вовсе не пойдет.

Нейгауз счастливо захохотал.

— Это гораздо глубже, чем кажется.. Я видел его однажды. У него великолепный череп. Какое чело! — И Нейгауз сказал примерно те же слова, какими позже воспевает наисовершеннейший череп своего гениального ученика.

— Он замечательный писатель и замечательный человек! — от души сказал Пастернак, довольный, что его перестали пытаться по части техники.

— Мне очень близко то, что ты говорил о паровозах...

— Я ничего не говорил, — перебил Пастернак. — Это Платонов.

— Неважно. Я с детства люблю паровозы. Они правда дышат, отдуваются, в конце долгого пути с них течет масло, как пот. В ночи они извергают пламя. Они испытывают жажду, требуют насыщения, у них есть характер, личность. Не бывает одинаковых паровозов. Мне ужасно не хочется, чтобы их вытеснили безликие электрички. И потом — про паровоз все понятно, это не то что страшный и загадочный телефон. — Нейгауз передернул плечами.

— Телефон, конечно, непостижим, — согласился Пастернак. — Но ведь не смущают же нас потусторонние голоса?

— Ну, это другое дело... — И без связи с предыдущим Нейгауз медленно, словно разбирая буквочки на таблице в глазном кабинете, проговорил: — «...Ночью поют одни добрые, кроткие сверчки, квакают лягушки в запруде и сопит бык, ночующий в скотном сарае, — и нет ничего страшного».

— А, это «Июльская гроза»! — узнал Пастернак.

— И рядом с этим конец из «Елифанских шлюзов». — Генрих Густавович сощурился, будто разбирал последнюю, самую мелкую строчку таблицы: — «Где же твой топор? — спросил Перри... — Топор! — сказал палач. — Я без топора с тобой управлюсь! Резким...»

Но последняя мелкота оказалась недоступной его глазам.

И тут настала моя минута:

— «Резким рубящим лезвием вцепилась догадка в мозг Перри, чуждая и страшная его природе, как пуля живому сердцу».

Взгляд Нейгауза впервые сосредоточился на мне. Я увидел себя в его зрачке, странно светлом, серебристом — в

цвет высшего качества зернистой икры; я был там одутловатым, распухшим в щеках, с суженным вверху черепом, как в кривом зеркале «комнаты смеха» (хотелось думать, что он видит меня не таким). Как бы то ни было, я отделился от фона, обрел для него самостоятельное существование.

— Еще один неоплатоник! — засмеялся Нейгауз. — «Наступил вечер; комната остыла, потускнела и наполнилась...»

Ну, в эти игры меня не переиграть:

— «...воздыханием неясных лучей тайного и захоластного неба».

— Bravo! — восхитился Нейгауз. — А это помните? «Мне наскучило любить лошадей и прочих животных, и я...»

— «... ищу любви у более субличного существа — женщины».

Мы долго перебрасывались кусками прозы Андрея Платонова.

— А это помните?..

— А это помните?..

— Что вы — как попугайчики? - со своей опасной белозубой улыбкой сказала хозяйка дома.

Если б у меня был другой собеседник, если бы за нашей игрой не следил, добро и заинтересованно, кумир дома, слово «попугай» прозвучало бы не в уменьшительной форме на сахарных устах моей будущей тещи.

— Это самый лучший, самый чистый способ говорить о литературе! — вскинулся Нейгауз.

— Только так можно найти собрата, — добавил Пастернак.

Любопытно, что лет через десять, в ином историческом времени, после войны, мы предавались той же игре с любимым учеником Генриха Густавовича — Святославом Рихтером, но черпали из другой сокровищницы — Марселя Пруста.

— А знаешь, — вспомнил Пастернак, — Платонов сказал, что мужская несостоятельность такой же мощный источник поэзии, как любовь. В смысле, конечно, не стихоплетства, а богослужения.

— Это звучит ободряюще, — с серьезным видом заметил Нейгауз. — Но — примеры?..

— Письма Абеяра к Элоизе, стоящие всей его схоластики, «Повторения» и многое другое у Киркегора.

— Абеяра — понятно, а что случилось с Киркегором?

— Ну, Гаррик!.. Почему он уступил свою невесту Шлегелю?

— Уступил?.. Кто бы мог подумать!..

— Он сокрушался, что не нашел в себе веры Иова, наоравшего на Господа и получившего назад здоровье, богатство и всех своих мертвецов.

— В чем сплеховал Киркегор?

— Не притворяйся, Гаррик, ты прекрасно знаешь, что он потерпел фиаско со своей невестой. Просить Бога о невозможном значит верить в его всемогущество. Но Киркегор не возопил к небу, поставил крест на реальностях любви и принялся творить новые химеры. В чем и преуспел до конца дней.

— Откуда твой паровозник знает Киркегора?

— Но он же еще мелиоратор.

Я догадался наконец, что это игра. Платонов не владел иностранными языками, а Киркегора не переводили на русский. Это был театр для самих себя. Постороннему зрителю не распутать клубка намеков, старых розыгрышей и счетов, шуточных подколов, истинных преодолений, без которых не обошлась эта необыкновенная дружба. И впоследствии я не раз наблюдал их милую игру, где каждый поочередно был то простаком, то ворчуном-резонером.

За столом Сельвинский прочел свое новое стихотворение «Тигр», удивительно пластичное и упругое. Оно всем понравилось, даже Локсу, пробормотавшему что-то о молодых, которые «могут, когда не ломаются». Пастернак

ничего не сказал, и в этом была жестокость, но не прямая, а жестокость самопогруженности, не позволившая ему, в чем он на склоне дней сам признался, оценить по достоинству современных русских поэтов, за исключением Блока. Слишком серьезная жизнь с собою, пребывание в собственных безднах принуждали его выбирать из внешнего мира лишь то, что было нужно ему самому: в человеческих отношениях, музыке, живописи, прозе, иноязычной поэзии. В русской поэзии он не нуждался, место было занято классиками и проговариванием рождающихся строк. Он мог иной раз шумно восхититься чьими-то стихами — из сострадательного безразличия. Но Сельвинский в сострадании не нуждался, и Борис Леонидович не заметил его стихов с тем же хладнокровием, с каким откладывал в сторону книжки Ахматовой с дарственной надписью. Анна Андреевна утверждала, что он почти не знал ее стихов после... «Четок», и не обижалась на него. Даже «воронежскому» Мандельштаму не удалось пробить его глухоты; он слышал сорванный голос Цветаевой-друга, а голос Цветаевой-поэта звучал ему, как потерявшийся в степи колокольчик.

Все стали просить Пастернака почитать, он отказался наотрез: ничего не помнит. Тогда дружно накинулись на Генрих Густавовича, чтобы он сыграл. Пастернак трубил вовсю. Я уже подумал, что, может, выпрошу три заветные ноты, но Нейгауз отрубил: не хочу! Это была месть Пастернаку.

А когда мы прощались и я пожимал маленькую, очень сильную руку, Нейгауз сказал, заглянув мне в глаза:

— Поверим, что ночью нет ничего страшного? — эта перифраза из Платонова стала паролем наших последующих не слишком частых встреч...

Помню одну молниеносную встречу во время войны, когда начались бомбежки. Я приехал к Нейгаузу с каким-то поручением от моих новых родичей Асмусов. И едва я вошел в квартиру, находившуюся в историческом доме по Садовой, близ Курского вокзала, где жили знаменитые летчики, поляр-

ники, музыканты и откуда ушел в смерть Чкалов, как начался налет. Не знаю, насколько опасный, но очень шумный, зенитки лупили так, что мы не слышали друг друга. Долгий, всасывающий пространство свист большой фугаски тоскливо подсказал, что придется спускаться в подвал. В доме Асмусов этот ритуал считался обязательным, и потребовалось все кроткое и неодолимое упрямство моей жены, чтобы нас с ней оставляли наверху. Дерзкое неповиновение бесило мою тещу, не боявшуюся ничего на счете, но преданно служившую обостренному инстинкту самосохранения своего мужа. Я забыл, с какими людьми имею дело. Когда от взрыва задрезжали, трескаясь, оконные стекла, Мелица Сергеевна, маленькая, худенькая, с увядшими волосами и выражением беспечной и всеобъемлющей доброты на терпеливом лице, вскричала голосом вакханки:

— Взлетим на воздух, Гарришка!

И поставила на стол бутылку портвейна и рюмки.

Мне почудилась тень печали на ясном и как всегда оживленном лице Нейгауза.

— За встречу по Швейку: в шесть часов вечера после войны!

— Вы эвакуируетесь?

— В какой-то мере это можно назвать эвакуацией, если считать, что эвакуация, в отличие от бегства или добровольного, по выбору, отъезда, носит организованный характер, с некоторой долей принуждения. Лица немецкого происхождения не оставят в Москве во время войны с Германией.

— Но вы же русский?

— Душой. А по паспорту — немец. В отличие от вашего тестя, он имел мудрость записаться русским. Впрочем, скорее это мудрость его предусмотрительных родителей. Мне, Габричевскому, Рихтеру предстоит скоро организованный отъезд с некоторой долей принуждения. Никаких претензий... все по правилам, но не хочется уезжать. Немцам не видать Москвы, как своих ушей.

Асмусы наказали мне спросить о Пастернаке: он отправил семью в Чистополь, а сам исчез.

— Мы ездили к нему в Переделкино, — сказал Нейгауз. — Но, похоже, он не слишком обрадовался нашему вторжению. Наслаждается одиночеством, хотя делает вид, что ужасно замотан. В Москве дежурит на крыше, на даче весь день копает гряды, вечером переводит Шекспира. Бодр, улыбчив, свеж, у него поразительно крепкие руки и сильная грудь. Да, еще он ездит стрелять на полигон и страшно гордится своей меткостью. Он говорит, что всегда считал себя движущейся мишенью, оказывается — заправский стрелок.

А когда мы прощались, Нейгауз задержал мою руку в своей:

— Так ночью нет ничего страшного?..

Вскоре ему дано было это проверить. Мы расстались надолго. Все произошло, как и предполагал Генрих Густавович, за одним исключением: Рихтеру сказочно повезло. В ту ночь он бродил по Нескучному саду, изживая среди темных деревьев сердечную неудачу, а присланный за ним «эвакуатор» до рассвета просидел в квартире его друзей, приютивших бездомного консерваторского ученика. Ему было предоставлено кресло-чеппендейл с прямой спинкой и роман Майн Рида «Квартеронка». Намучив поясницу и натрудив скучным чтением глаза, он зарекся иметь дело с небожителями и оставил в покое странствующего музыканта...

...Памятен мне один разговор, свидетелем которого я оказался в лиловом коктейбельском вечере, у подножия Карадага. Три пожилых человека говорили о женщинах. Двоих я знал: Нейгауза и члена-корреспондента ныне не существующей Академии архитектуры Габричевского, автора изумительного этюда о загадочном Тинторетто, третьего — с голым, массивным, шишковатым черепом — видел впервые. Он казался мне похожим на виолончелиста Пабло

Казальса, о котором я слышал, что он вылитый Пикассо, а этот, в свою очередь, — копия кинорежиссера Арнштама. Он был из дней киевской молодости Генриха Густавовича, к искусству отношения не имел, то ли археолог, то ли палеонтолог, но не исключено, что геофизик, впрочем, это было нейтрально к предмету беседы. Худой, жилистый, прокопченный солнцем, он заявил о себе как о заядлом холостяке и отчаянном волоките. О, как завидовали ему опутанные браком старые женолюбы!

— Я любил эту женщину, но нам пришлось расстаться. Она не выдерживала моей страсти. Я устал от воплей: «Леонтий, пощади!»

— Она так вопила? — спросил Нейгауз, раздувая усы.

— Именно так, — подтвердил Леонтий.

— От страсти? — прорычал Нейгауз.

— От чего же еще? — небрежничал копченый.

— От страсти еще и не то бывает, — вмешался Габричевский. — Моя дама проглотила зубной протез.

— Твоя дама? — такого удара Генрих Густавович не ожидал. — Когда это было? В прошлом веке?

— Но, Гаррик!.. — Габричевский делал вид, что крайне смущен своим невольным проговором. — Я надеюсь на твою скромность.

— Черт знает что! — вконец расстроился Нейгауз. — Меня окружают старые распутники!

Копченый пожалел его:

— Я слышал вчера на литфондовском пляже, что Липочка из филармонии сходит по тебе с ума.

— Липочка? Эта кувалда? — взревел Нейгауз. — Мне по моим заслугам полагается мадам Рекамье, маркиза Дюдефан, Мария Антуанетта! — Он задыхался. — Клара Цеткин!..

Самое интересное, что тут не было ни зубоскальства, ни фанфаронства — разрывающая жизненная сила, неисчерпанность, молодость крови и воодушевленная вера в то, что он вполне мог бы составить счастье всех этих дам...

И еще одна встреча.

Это было посреди шестидесятых, на квартире Святослава Рихтера, когда он жил в Брюсовском переулке, в композиторском доме. Рихтер устроил небольшую домашнюю выставку художника Краснопевцева. Он любил этого одаренного и упрямо чуравшегося спроса художника, который писал одни только камни. Возможно, я ошибаюсь, и художник обращался к другим сюжетам, не только оформляя ради хлеба насущного рекламную страницу «Вечерней Москвы», но от той выставки в памяти сохранились лишь камни. Я не знаю, что сейчас делает Краснопевцев, не исключено, что он изменил своему пристрастию, пошел вширь или избрал новый фетиш. В шестидесятых он не разбрасывался, его аскетическое творчество находило признание у людей, тонко чувствующих живопись; верным почитателем Краснопевцева был Рихтер, сам одаренный художник, одно время всерьез подумывавший о том, чтоб оставить роляль ради холста и кистей.

Краснопевцев не писал драгоценных камней, его привлекали обычные серые, серо-голубые, бурые «беспородные» каменные уломочки. Такие каменюки повсюду валяются на земле, выстилают пляжи кавказского Черноморья, никто и внимания на них не обращает. А Краснопевцев подберет, очистит от пыли и грязи, чтобы вернуть естественный неяркий, холодный цвет их твердому телу, положит на лист картона, на тряпку или просто на столешницу, редко в близости какого-нибудь нехитрого предмета и зафиксирует с сугубой точностью скромное пребывание неких малостей в мироздании, предоставляя окружающим либо радоваться тому, что они есть, либо печалиться неслиянностью с их сутью. Нет, эти жалкие слова даже не прикасаются к искусству Краснопевцева, но если б его картины можно было «рассказывать», значит, они не нужны. Зачем краски и кисти, зачем добавочная мука, если достаточно расхожих слов?

Художник стоял меж своих картин, приятный молодой человек, молчаливый, как его камни, но еще более

скрытный. Камни не скрытничали, они говорили, но язык их был то внятен, как родная речь, то темен, как ночной бормот природы.

— Вам нравится? — спросил Рихтер.

— Да. Хотя как-то странно, непривычно. Я не был настроен на эту встречу. И я не понимаю, почему мне это нравится. А вы?

— Красиво!.. — Рихтер засмеялся, обнажив зубы и натянув крепкие жилы шеи; так он смеялся, когда хотел уйти от разговора, что случалось нередко.

Тут дело не в том, что он держал на запоре свой внутренний мир, а в обостренной духовной щепетильности. Подобно Пастернаку, но еще последовательней, он избегал приблизительности, пустого велеречия, имитаций глубокомыслия, предпочитая им безобидную банальность и беззащитно-извиняющийся смех.

И тут из боковушки при огромном зале, которому Рихтер пожертвовал четырем комнатам своей квартиры, появился чуть заспанный, хотя и освежившийся пахучей струей пульверизатора, какой-то весь подсушившийся и вовсе не заземленный, с реющей сединой Генрих Густавович Нейгауз, окончательно наведенный на фокус. Тот, казалось бы шуточный, взрыв неиссякаемого мужества в лиловом коктейльном вечере обернулся гусарски лихим жестом — Генрих Густавович отважно сломал стереотип жизни благобно стареющего среди любящей семьи виртуоза, оставил дом и ринулся в неизвестность. Диккенс писал по сходному поводу: джентльмен весьма преклонных лет в самый раз начал новую жизнь, поскольку старой ему хватило бы ненадолго. Если отбросить остроумие, то останется довольно глубокая мысль: такая встряска действительно может продлить век человеку, живущему сердцем. Хотя М.Зощенко в «Возвращенной молодости» утверждает прямо противоположное, но ведь то, что для человека искусства здорово, то ученому мужу — смерть.

И старый артист, консерваторский профессор, воспитавший много поколений музыкантов и одного гения, рванулся прочь из теплого дома в безбытность и бездомность, на лежанку в боковушку, на сквозняк распахнутых городских пространств, чтобы в последний раз ощутить на лице ветер безоглядной авантюры.

Никто не был на него в претензии, меньше всего домашние и уж вовсе ничуть — бесконечная в любви и доброте жена. Это не христианское холодное всепрощение, эта такая слиянность с любимым, когда не остается места ни ревности, ни обиде, ни уязвленному самолюбию, ни страху перед жалом княгини Марьи Алексеевны. Все это слишком мелкие чувства для такого высокого человека, как Мелица Сергеевна. Правда, ревность возведена поэтами в генеральский чин, но Карл Юнг сорвал с нее золотые эполеты: «Ядро всякой ревности составляет отсутствие любви».

Долго и трудно умирая, Мелица Сергеевна просыпалась каждое утро со счастливой улыбкой. «Мне приснилось, что Гаррик пришел. Надо прибраться, сегодня он непременно будет». Он появлялся у смертного ложа своей первой, затем повторившейся, но не поверившей в возможность третьего соединения жены, правда, не так часто, как обещала ей утренняя улыбка.

— Вам это по душе? — спросил Нейгауз о картинах.

— Да. Но чуточку пустынно. Помните, Платонов писал, что ему одиноко в прозе Пришвина — там только природа и нет человека.

— Я этого не читал. Но в литературе я тоже враг ненаселенного пейзажа. Хотя «Жень-Шень» удивительная книга. Пожалуй, там все же есть человек — автор. И здесь есть человек — Краснопевцев. С тонкой, нежной, стыдливой и непреклонной душой. Он не боится этих камней, не боится вечности.

— Много же вы ему приписали! А если весь фокус в том, что мы сами заполняем вакуум? Это наша работа, а не его.

— Но кто же вынудил нас к ней? Вы были в Японии и, конечно, видели «Философский сад»: зеленый прямоугольник травы и несколько грубых камней. Какой глубокий и бесконечный символ! Каждый выносит что-то свое: умиротворение, не житейское, а то, что предшествует чаше с цыкутой, если она — добровольно, или совсем другое — утешение, легкость и тихое желание еще долго пить... — ну, как это у Дельвига? — Он нетерпеливо замахал кистью.

— «Когда еще я не пил слез из чаши бытия», — подсказал я.

— Вот-вот! Еще долго осушать эту чашу. Каждый получает свое, но ничего не было бы, если б гениальнейший художник не разбросал по траве несколько камней. И там, и здесь расчет на сотворчество. Искусству это редко удается. Но знаете, о чем я сейчас думаю: как мало надо для счастья, если уметь вглядываться. Мы вообще обделены этим даром, а жизнь так сумбурна, в ней чересчур много всего, и почти все — лишнее. Какое чудо — простой, грубый камень, какое чудо мы сами, если видим его чудо... Все это очень серьезно и... горестно.

— Почему горестно?

— Сами узнаете в свой час. Старый Лев Толстой плакал по каждому поводу, для окружающих — без всякого повода. А ведь он плакал и над ними, не из любви, а потому что жалко терять всех, даже родственников, не говоря уж о чистых, гладких камнях. Откуда это чувство у начинающего жить Краснопевцева?

А потом начинающая жить поэтесса читала стихи о Пастернаке, и Генрих Густавович отирал щеки маленькими руками, умеющими охватывать безмерность клавиатуры. Жалеешь о камнях, а утрата воспоминаний?..

Когда мы прощались в коридоре, он сказал тихо:

— А ночью правда нет ничего страшного?

Больше мы не виделись.

С той поры прошло много лет. Я уже знаю пронзительное ощущение безмерной ценности всего, что переживает тебя в «прекрасном и яростном мире». И я оттираю слезы своими старыми руками, такими же маленькими, как у Нейгауза, но никогда не прикоснувшимися к клавишам.

Оказывается, писать воспоминания совсем нетрудно, если не посягать на лавры великого наблюдателя нравов Сен-Симона, а простодушно говорить о себе самом. Люди, правда, почти ничего не узнают о том, кто искусил твою слабую память, зато узнают, в каком хорошем обществе ты вращался.

העמותה לקליטת עליה בחיפה

רח'י ל פרץ 20 זיפה 1 3304

ספריה

2922

מס'

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕД ТВОИМ ПРЕСТОЛОМ

3

КАК БЫЛ КУПЛЕН ЛЕС

60

КОГДА ПОГАС ФЕЙЕРВЕРК

128

СИРЕНЬ

179

ГДЕ СТОЛ БЫЛ ЯСТВ...

222

БЛЕСТЯЩАЯ И ГОРЕСТНАЯ
ЖИЗНЬ ИМРЕ КАЛЬМАНА

Часть I

Источники _____	248
Величие и падение Зерноторговца Кальмана ___	251
Изгнанник _____	263
Музыка земли _____	268

Юность немятежная _____	271
Героическое решение _____	276
Маршрут «Будапешт — бессмертие» _____	286
Паула _____	289
«Цыган-премьер» _____	294
Бунт Паулы _____	308
«Княгиня чардаша» _____	314
Время славы _____	329
«Марица» _____	334
Император _____	338
Не уходи!.. _____	340
Разговор с корреспондентом _____	345

Часть II

Ничто не кончилось _____	351
Верушка _____	355
Счастье _____	373
Выбор _____	382
Платиновая норка _____	390
Возвращение _____	397
Открытый дом _____	402
Под осенней звездой _____	406
Конечная станция _____	413
Вспомним о грешной земле... _____	416
Вместо эпилога _____	417

МОСКОВСКИЕ ГНЕЗДА

В Нащокинском переулке _____	423
«Ночной Марсель в притоне Трех бродяг» _	430

ЧАЙКОВСКИЙ: ФИНАЛ ТРАГЕДИИ

435

ЗАГАДКИ ЧАЙКОВСКОГО

445

ВСТРЕЧИ С ГЕНРИХОМ НЕЙГАУЗОМ

453

Юрий Маркович
Нагибин

**ВЕЧНАЯ
МУЗЫКА**



Художественное оформление

Е.Селивановой

Корректор

Н.Быкова

Электронная подготовка оригинал-макета

С.Андрусенко

А.Безуглый

А.Федина

Ответственный за выпуск

И.Смолин

ЛР № 064584 от 14.05.96.
Подписано к печати 10.10.97.
Формат 84x108/32. Гарнитура Лазурский.
Бумага офсетная № 1. Печать офсетная.
Усл. печ. л. 25,2. Тираж 5000.
Заказ № 423.

Издательский Дом «ПОДКОВА»
121108, г. Москва, ул. Пивченкова, 3-1

Отпечатано с готовых оригинал-макетов
на ИПП «Уральский рабочий»
620219, г. Екатеринбург, ул. Тургенева, 13
OCR Давид Титиевский, август 2019 г., Хайфа